

Семь искусств 6/2016



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

6/2016

Журнал

**«Семь искусств»
№ 6 (75) 2016**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2020

Журнал «Семь искусств» № 6 (75) /2016— Ганновер:
Семь искусств. 2020. — 325 с., 20,3 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2020

Оглавление

<i>Евгений Беркович</i> Почему Сахарова не исключили из Академии, или Как оценить правдоподобность легенды?	5
<i>Василий Демидович</i> Интервью с Р.А. Минлосом	19
<i>Григорий Идлис</i> К русскоязычному переизданию фундаментальной работы «Естественнонаучные сочинения Гёте» Рудольфа Штейнера	35
<i>Яков Грановский</i> Мой друг Гриша	46
<i>Лев Гиндилис</i> Григорий Моисеевич Идлис – человек, ученый, мыслитель Воспоминания о старшем товарище	52
<i>Эфраим Баух</i> "Скажи мне, чертёжник пустыни..." К 125-летию со дня рождения Осипа Мандельштама (1891-2016)	61
<i>Марк Авербух</i> О Бродском. Заметка обывателя	82
<i>Азарий Мессерер</i> Исаак Натан – первый композитор Австралии	87
<i>Шуламит Шалит</i> Дорогие мои «Картвели эбразлеби» Памяти Нисана Бабаликашвили (1938-1986)	95
<i>Андрей Крылов</i> Булат Окуджава в Швеции	115
Александр Левингов Ушедший город	123
<i>Борис Родман</i> Капитанские дочки (из путешествий по «Русскому Северу»)	137
<i>Петр Волковицкий</i> Как ветерок по полю ржи	142
<i>Дмитрий Бобышев</i> Я здесь (человекотекст) Трилогия. Книга вторая. Автопортрет в лицах	161
<i>Бахыт Кенжеев</i> Двенадцать элегий	180
<i>Александр Бабушкин</i> Ленинбургский романс. Стихи	187
<i>Леонид Тучинский</i> Точка невозврата	199
<i>Маквала Гонашвили</i> Стихи разных лет	202

<i>Лена Берсон</i>	
В единицах памяти	211
<i>Алина Тальбова</i>	
Посвящение уезжающим осенью	215
<i>Филипп Исаак Берман</i>	
Косынка в белый горошек. Рассказ	226
<i>Илья Криштул</i>	
Миниатюры	232
<i>Леонид Гиршович</i>	
Вспоминая лето. Мемуарная повесть 2008 года	239
<i>Мария Баженова</i>	
Башня безмолвия	278
<i>Алексей Курилко</i>	
Морской лев литературы. Эссеистический анализ и разбор главного произведения Эрнеста Хемингуэя	295
<i>Александр Бириштейн</i>	
Гарри Поттер ибн Хоттаб	308
<i>Михаил Юдсон</i>	
Бунт конформиста	312
<i>Игорь Ефимов</i>	
Закат Америки. Саркома благих намерений	316

Евгений Беркович

**ПОЧЕМУ САХАРОВА
НЕ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ АКАДЕМИИ,
или
КАК ОЦЕНИТЬ
ПРАВДОПОДОБНОСТЬ ЛЕГЕНДЫ?**

«О свидетельствах людей по поводу исторических фактов»

Человек по природе доверчив. Люди охотно верят в то, что видят в газетах и по телевизору, слышат в сообщениях очевидцев. Особенно некритично относится человечество к свидетельским показаниям. Речь идет не только о легковерной толпе, готовой поверить сообщениям о любом чуде. И выдающиеся мыслители подчас не свободны от общих предрассудков. Если Мишель Монтень прочитал у Плиния Старшего, что *«есть народы, которые <...> выбирают себе в цари собаку»*, то он без колебаний вставляет этот факт в свои рассуждения и поучения [Монтень, 1980 стр. 393]. Раз факт засвидетельствован, то он не вызывает у Монтеня никакого недоверия, хотя непроверенные слухи и ложные идеи он разоблачает с непревзойденным остроумием.

Оценка правдоподобия тех или иных легенд – не новая задача для историка. Марк Блок рассказывает, что в XVIII веке среди тем, предлагавшихся Парижским университетом на конкурсе философских работ, чаще всего появлялась тема с названием «О свидетельствах людей по поводу исторических фактов» [Блок, 1986 стр. 50].

История строится на документах и свидетельских показаниях. Они могут содержать факты бесспорные. В качестве примера Марк Блок приводит выражение знаменитого французского мыслителя Пьера Бейля (Pierre Bayle, 1647-1706):

«Никогда нельзя будет убедительно возразить против той истины, что Цезарь победил Помпея, и, какие бы принципы ни выдвигались в споре, нельзя будет найти что-либо более несокрушимое, чем фраза „Цезарь и Помпей существовали в действительности, а не являлись плодом фантазии тех, кто описал их жизнь“» [Блок, 1986 стр. 60].

Но если бы история как наука ограничивалась только абсолютно достоверными фактами, вряд ли она была бы кому-нибудь интересна. К счастью, на деле все не так. Историки научились работать с документами и свидетельствами, в достоверности которых нет стопроцентной уверенности.

Оставим пока в стороне документы, которые могут по той или иной причине содержать ложные сведения, поговорим о свидетельских показаниях. Весь опыт истории учит, что нет таких свидетелей, словам которых можно верить всегда и при любых обстоятельствах. В природе нет «абсолютно правдивого свидетеля», есть только правдивые или ложные свидетельства. У любого человека возможны провалы памяти. Точность образов, которые запечатлеваются в мозгу, может нарушиться из-за усталости, волнения или отсутствия внимания. Нельзя исключать и сознательный

обман. Иногда он вызван желанием приукрасить себя или своих близких, придать поступкам героический ореол. Возможна и другая цель – затушевать неблагоприятные действия, стереть их из своей памяти и памяти потомков. Свидетели лгут, чтобы сделать свой образ красивее. У историков сложился даже специальный термин: «эстетика лжи». Тем не менее, многие очевидцы обманываются вполне искренно.



Марк Блок

Что же делать с недостоверными источниками? Оказывается, и их можно успешно использовать в построении величественного здания исторической науки, нужно только внимательно анализировать психологию свидетельства. Именно на этом построен упомянутый выше «критический метод» в историческом исследовании.

Безусловно, анализ свидетельства с учетом психологии персонажей события является делом тонким, граничащим с искусством. Здесь не может быть готовых рецептов и универсальных алгоритмов. Но все же это искусство поддается рациональному анализу, здесь можно выделить некоторые важные умственные приемы, подчиняющиеся законам логики.

Чтобы не быть голословными, рассмотрим применение анализа свидетельской психологии на примере двух легенд, связанных с преследованием академика Андрея Дмитриевича Сахарова в Советском Союзе.

А.Д. Сахаров и Академия наук СССР

Андрея Дмитриевича Сахарова приняли в действительные члены Академии наук СССР в 1953 году, когда ему исполнилось только 32 года. В более раннем возрасте в Академию приняли только математика С.Л. Соболева, тому на момент принятия в 1939 году было всего 30 лет. До этого Сергей Львович успел шесть лет побыть членкорром, в то время как Сахарова приняли сразу в академики.

Со стороны властей СССР это был своего рода аванс и желание видеть во главе атомной физики человека с русской фамилией. Академик В.Л. Гинзбург в интервью для журнала «Вестник» в 1997 году высказался откровенно:

«Как я уже сказал, в 53-м году меня, по предложению Игоря Евгеньевича Тамма, выбрали в членкоры. Он же предлагал избрать в членкоры и Андрея Дмитриевича, но его избрали сразу в академики. Почему? Им нужен был герой - русский. Евреев хватало: Харитон, Зельдович, ваш собеседник. Скажу, чтобы не было недоразумений: я Сахарова нисколько не ревную, не собираюсь бросать на него тень, но, говоря в историческом плане, его очень раздули по военной линии - из националистических соображений. Он - национальный герой, очень, правда, всех потом подведший» [Нузов, 1997].

Новому академику давали рекомендации его старшие товарищи Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович, бывшие тогда еще членами-корреспондентами.

Поначалу А.Д. Сахаров полностью оправдывал доверие властей, и его щедро награждали высшими орденами и премиями. Один из немногих, он был трижды Героем Социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинской премий, кавалером ордена Ленина...



Андрей Сахаров

Но потом положение изменилось – из верного защитника социалистического отечества он стал с конца 60-х годов прошлого века одним из лидеров правозащитного движения в Советском Союзе, последовательным и принципиальным критиком политики КПСС. Соответственно радикально поменялось и отношение власти к непокорному академику. Против него была развернута настоящая травля в прессе. В газетах печатались письма-осуждения, подписанные знаменитыми деятелями искусства и литературы, известными всей стране людьми, а также простыми рабочими и колхозниками. Сахарова клеймили как врага народа, агента империализма, поджигателя войны и требовали для отступника самого строгого наказания.

Для нашей темы важно подчеркнуть, что санкционированная властями травля Сахарова в печати началась с осуждающего письма 40 академиков. Оно было опубликовано 29 августа 1973 года в газете «Правда». О стиле письма можно судить по первым фразам:

«В последние годы академик А.Д. Сахаров отошел от активной научной деятельности и выступил с рядом заявлений, порочащих государственный

строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза. Недавно в интервью, данном им зарубежным корреспондентам в Москве и опубликованном в западной печати, он дошел до того, что выступил против политики Советского Союза на разрядку международной напряженности и закрепление тех позитивных сдвигов, которые произошли во всем мире за последнее время».

Письмо составлено так, что может служить заявлением в прокуратуру: слова о заявлениях «порочащих государственный строй СССР» - это цитата из статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР, угрожающей тюремным заключением сроком до семи лет.

Среди подписавших письмо сорока академиков можно найти немало громких имен, например, предыдущего и действующего президентов Академии – А.Н. Несмеянова и М.В. Келдыша, руководителя Сахарова по атомному проекту Ю.Б. Харитона, коллег-физиков Н.Г. Басова, Н.Н. Боголюбова, А.М. Прохорова и других.

Впоследствии только два физика, подписавших это письмо, при первой возможности отказались от своих подписей и принесли Андрею Дмитриевичу извинения. Это Сергей Васильевич Вонсовский и Илья Михайлович Франк.

В защиту Сахарова выступил с открытым письмом только член-корреспондент, впоследствии академик Игорь Ростиславович Шафаревич.

В 1975 году Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. Это событие может служить водоразделом двух эпох и в истории Академии наук СССР. Именно в 1975 году А.П. Александров сменил на посту президента Академии М.В. Келдыша, бывшего президентом в 1961-1975 годах.

Следующий этап правозащитной деятельности Сахарова и очередной виток гонений на него выпадает на годы президентства Анатолия Петровича Александрова (1975-1986). В этот период произошел ввод советских войск в Афганистан, против чего Андрей Дмитриевич решительно протестовал. В декабре 1979 года и январе 1980 года он выступил с рядом заявлений, которые были напечатаны на первых страницах западных газет. Терпение власти лопнуло, и в январе 1980 года упрямый академик был лишен всех правительственных наград, в том числе, и трех золотых звезд Героя. Его также лишили и званий лауреата Сталинской и Ленинской премий. Это было сделано, соответственно, Указом Президиума Верховного Совета и Постановлением Совета министров СССР. Но эти органы законодательной и исполнительной власти не могли лишить Андрея Дмитриевича звания академика, т.е. исключить его из состава Академии наук СССР, куда его приняли в 1953 году. А лишить непримиримого диссидента этого почетнейшего научного звания очень хотелось. Тут-то и начинается наша история.

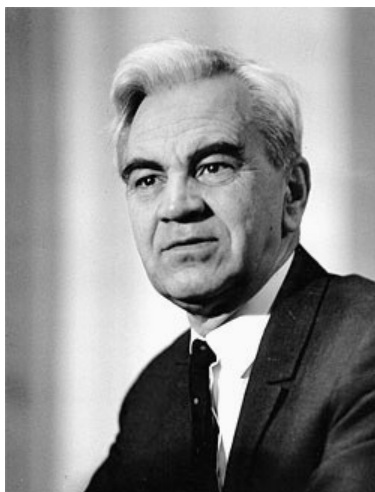
Легенда первая – с Келдышем

О том, почему советским и партийным властям, в конце концов, не удалось лишить Андрея Дмитриевича Сахарова звания академика, достоверно ничего не известно. Нет документов или прямых свидетельских показаний, показывающих, как это произошло. Обсуждение деликатного вопроса проходило за закрытыми дверями, никаких протоколов не велось, участники этих обсуждений воспоминаний не оставили, так что историкам остается только гадать, что помешало сделать еще один шаг в череде наказаний строппивого правозащитника.

Если достоверной информации о каком-то событии нет, то ее место занимают легенды и слухи. Я хорошо помню одну красивую историю, которую рассказывали

на московских кухнях в конце прошлого века. Ее изложил профессор Борис Михайлович Болотовский в докладе, прочитанном на конференции Немецкого общества выпускников Московского университета в Берлине в 2001 году [Болотовский, 2002]:

«В то время президентом Академии был М.В. Келдыш. Он пригласил к себе нескольких авторитетных и уважаемых академиков, в том числе П.Л. Капицу и Н.Н. Семенова, и сказал им примерно следующее: „вы не думайте, что в настоящий моменту руководства имеется намерение исключить А.Д. Сахарова из Академии. Но если, тем не менее, такой вопрос был бы поставлен на общем собрании, как бы вы к этому отнеслись?“ Я уверен, что М.В. Келдыш в данном случае действовал не самостоятельно, а по указанию отдела науки Центрального комитета Коммунистической партии. После вопроса, поставленного М.В. Келдышем, последовало долгое молчание, а потом Н.Н. Семенов сказал: „Но ведь прецедента такого не было“. На это П.Л. Капица возразил: „Почему не было прецедента? Был такой прецедент. Гиттер исключил Альберта Эйнштейна из Берлинской академии наук“».



Мстислав Келдыш

Далее Б.М. Болотовский отмечает неточность Капицы, так как Эйнштейна не исключали из Берлинской (Прусской) академии наук, а он сам вышел из ее состава, и подчеркивает главное:

«Можно сказать, что Альберт Эйнштейн помог Петру Леонидовичу Капице снять вопрос об исключении Андрея Дмитриевича Сахарова из Академии наук. После этого вопрос об исключении А.Д. Сахарова из Академии наук СССР больше не ставился».

На самом деле, неточность допустили оба уважаемых академика, и Капица, и Семенов. Думаю, что если эта легенда верна, то сделали они это сознательно, чтобы добиться главной цели – не допустить исключения Сахарова из академии. Неточность академика Н.Н. Семенова состояла в том, что из Академии наук СССР не раз исключали членов, попавших под колеса сталинских репрессий. Еще в 1931 году на Чрезвычайном Общем собрании АН СССР были лишены звания академиков ар-

стованные Платонов, Тарле, Лихачев и Любавский, проходившие по так называемому «Академическому делу» [Цамутали, 1999 стр. 391-395].

В 1938 году из членов академии исключили списком сразу 21 человека, некоторых из них уже посмертно, после расстрела как врагов народа. Среди исключенных был известный авиаконструктор, член-корреспондент АН СССР Андрей Николаевич Туполев.

Незадолго до смерти Сталина в 1953 году лишили звания академика историка И.М. Майского (настоящая фамилия Ляховецкий). И это далеко не все примеры, показывающие, что «прецедент был». О подробностях выхода Эйнштейна из Прусской академии наук моя статья в журнале «Нева» [Беркович, 2009].

Легенду, озвученную Б.М. Болотовским, мы далее будем называть Легендой № 1, чтобы отличить ее от Легенды № 2, появившейся в 2002 году в книге Петра Александрова – сына президента Академии наук СССР [Александров, 2002].

Легенда вторая – с Александровым

Осторожный академик Анатолий Петрович Александров не оставил воспоминаний, хотя родные много раз просили об этом. О его роли в сохранении за Сахаровым академического звания мы знаем со слов его племянника Евгения Борисовича Александрова, напечатанных в книге [Александров, 2002].

Е.Б. Александров убежден, что именно его дядя защитил Сахарова, не дав поставить на голосование вопрос об исключении. Евгений Борисович приводит рассказ академика о дипломатическом триумфе на собеседовании в политбюро ЦК КПСС. А.П. не называл имён:

«Меня спрашивают, есть ли в уставе Академии процедура лишения звания академика. Я отвечаю – есть, с формулировкой «за действия, порочащие...». Меня спрашивают – так за чем дело стало? Я отвечаю – видите ли, по уставу Академии все персональные вопросы решаются тайным голосованием на общем собрании, и я не уверен, что 2/3 академиков проголосуют за исключение Сахарова. Может получиться громкий политический скандал. Меня спрашивают – а нельзя ли организовать открытое голосование? Ведь трудно поверить, что в этом случае заметное число академиков открыто пошло бы против линии партии. Я отвечаю – можно, но для этого надо изменить устав Академии. Мне говорят – так за чем дело стало? Я отвечаю – видите ли, по уставу Академии любые изменения устава утверждаются тайным голосованием на общем собрании, и я не могу гарантировать, что 2/3 академиков проголосуют за такое изменение. – И тут они от меня отстали!» [Александров, 2002 стр. 241].

В отличие от Легенды № 1, эта версия имеет определенного автора – племянника единственного персонажа легенды – академика Александрова. По смыслу текста ясно, что речь идет о периоде его президентства, т.е. о времени после 1975 года. Автор Легенды № 2 упоминает, что ему известна и история с Капицей и Семеновым, происшедшая при президенте Келдыше, правда, он зачем-то относит ее к заседанию Президиума АН СССР, что сам же называет нереальным:

«Эта история имела хождение в нескольких вариациях и, возможно, имела реальное основание, однако очевидно, что вопросы такого политического значения решались тогда не на собраниях Президиума».



Анатолий Александров

Как мы видели, в изложении Б.М. Болотовского о Президиуме АН СССР речи нет. В остальном Е.Б. Александров считает, что легенда № 1 могла отражать реальный факт.

Итак, мы имеем две версии того, как удалось избежать исключения Сахарова из Академии. Чья заслуга в этом непростом деле была наибольшей? Что остановило готовое на все руководство страны и не позволило поставить на голосование вопрос об исключении? Находчивость академиков Капицы и Семенова или хитрость академика Александрова?

Имеющиеся документы и свидетельства очевидцев не позволяют однозначно, со стопроцентной уверенностью доказать или опровергнуть ни одну из легенд. Все, что нам остается, это сравнить легенды по их правдоподобности.

Оценки правдоподобия

Оценивать правдоподобие той или иной гипотезы можно по различным критериям. Каждый из них позволяет взглянуть на обсуждаемую легенду с новой стороны.

Соответствие логике персонажей

В Легенде № 1 два действующих персонажа, не считая задавшего вопрос президента Академии М.В. Келдыша. Вряд ли академики Капица и Семенов хотели исключения Сахарова, даже если они не разделяли его взгляды. Кто из небожителей захочет, чтобы его коллегу изгнали с Олимпа? Сегодня его, а завтра тебя? Петр Леонидович Капица не подписал письма с осуждением Сахарова. Николай Николаевич Семенов хотя и сделал это под сильным нажимом властей, пост руководителя химической обороны страны обзывал его не идти на конфликт со своим начальством, но тоже не хотел такого прецедента. Так что Легенда № 1 вполне со-

ответствует логике персонажей: они не поддерживали исключение Сахарова и, не высказывая этого явно, сделали все, чтобы отбить у властей охоту посягать на священное звание академика.

Единственное, что вызывает сомнение в правильности Легенды № 1, это ее некоторая «литературность». Для сравнения, пусть даже неявного, действий советских властей с поступками Гитлера, нужна была отчаянная смелость. Пошел бы на такой риск многоопытный Петр Леонидович Капица, неизвестно. Запомнив это замечание, перейдем теперь к Легенде № 2.

Анатолий Петрович Александров Сахарова откровенно недолюбливал. Дело тут даже не в личных, человеческих отношениях. Для президента Академии опальный академик стал как кость в горле. Из-за непрекращающейся правозащитной деятельности Сахарова Александров должен был постоянно объясняться в ЦК, отвечать на вопросы зарубежных и советских корреспондентов, объясняться с зарубежными коллегами... Как вспоминал племянник президента,

«Всё это очень нагружало А.П. и поддерживало в нем постоянное раздражение против Сахарова. Он не любил говорить на эту тему, но когда об этом заходила речь, то он не скрывал своего неудовольствия действиями Сахарова и им самим, как личностью. Он считал действия Сахарова общественно опасными, боясь, что они могут спровоцировать новую волну репрессий, направленных на Академию наук и на интеллигенцию в целом» [Александров, 2002 стр. 241].

Искренность правозащитной деятельности Андрея Дмитриевича была для Александрова под большим сомнением, ведь он знал его еще в тот период, когда молодой и энергичный создатель знаменитой «слойки Сахарова» искал способы уничтожить как можно больше мирного населения предполагаемого противника. Трудно было представить, чтобы недавний ястреб вдруг обернулся голубем мира. И обращение к мировой общественности тоже бесило лояльного государственника, каким был директор института имени Курчатова. Е.Б. Александров подтверждает:

«Недоверие А.П. к искренности действий Сахарова усугублялось обращениями последнего за помощью к американским властям, от которых А.П. ничего доброго по отношению к России никогда не ожидал» [Александров, 2002 стр. 241].

И еще один аспект темы надо принять во внимание. Многие академики, которых власти вынудили публично выступить против Сахарова, понимали, что за лояльность коммунистическому режиму они расплачиваются своей репутацией в глазах коллег, отечественных и иностранных. Евгений Александров выразил это так:

«Фронта Сахарова выставила множество академиков в неприглядном виде, когда их вынудили публично отмежевываться от Сахарова, чья правота мало у кого из них вызвала сомнения. „Он ходит героем-мучеником в белых одеждах, а мы все в дерьме“» [Александров, 2002 стр. 241].

Учитывая эти обстоятельства, действия по защите Сахарова, предпринятые Александровым согласно Легенде № 2, выглядят нелогичными. Ему спокойней было бы навсегда избавиться от возмутителя спокойствия в рядах подведомственной академии, а не спасать его. Но и здесь можно найти причину такого поведения президента Академии наук СССР. Еще больше хлопот и обид, связанных с деятельностью Сахарова, его страшил «громкий политический скандал», как выразил опасения своего дяди Евгений Борисович Александров.

Поэтому обе легенды с известными оговорками можно признать соответствующими логике персонажей. Но это не единственный критерий правдоподобия. Посмотрим на эти версии с других сторон.

Соответствие логике поступков героя

Героем обеих легенд я называю, конечно, Андрея Дмитриевича Сахарова. Как бы он отнесся к исключению из Академии, если бы оно все же состоялось? Безусловно, своим званием «академик» он гордился и им дорожил. Поэтому поначалу лишение этого звания было бы для Сахарова болезненным переживанием. И если власти хотели его наказать за своеволие и инакомыслие, то лучшего наказания и не придумаешь. Вот почему Легенда № 1 совершенно естественно сочетается и с логикой персонажей, и с логикой поступков героя.

Примерно то же отношение к членству в Академии было у Сахарова в начале президентства Александрова. Но потом положение изменилось. В ответ на решительное неприятие Андреем Дмитриевичем афганской авантюры власти в 1980 году перешли от угроз к действиям, причем наказания посыпались не только на непокорного академика, но, главным образом, на его жену, Елену Георгиевну Боннэр. Для Сахарова это оказалось самой страшной пыткой. В письме президенту Академии (т.е. А.П. Александрову) от 15 сентября 1985 года он описывает свое положение:

«Я – единственный академик в истории АН СССР и России, чья жена осуждена как уголовная преступница, подвергается массированной и подлой, провокационной публичной клевете, фактически лишена медицинской помощи, лишена связи с матерью, детьми и внуками. Я единственный академик, ответственность за действия которого перелagается на жену. Это мое положение – ложное, оно абсолютно непереносимо для меня» [Сахаров, 1985].

Опальный академик в последний раз просит помощи у родной академии, не очень веря в успех, поэтому предупреждает, что если его требования не будут выполнены,

«я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР. Я отказываюсь от звания действительного члена АН СССР, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика, что существенно, ведь у меня нет никаких сбережений».

Ощущение, что родная Академия предала своего действительного члена, не покидало Сахарова в последние годы президентства Александрова. И вопрос о выходе из Академии вставал перед ним не раз. Рассказывают (это еще одна легенда, но очень правдоподобная), что во время одного из разговоров между Сахаровым и Александровым на угрозу Сахарова выйти из состава АН СССР президент Академии сослался на устав, в котором такая процедура не предусмотрена. Другими словами, даже если Сахаров добровольно уйдет из Академии, он все равно будет считаться академиком [Бологовский, 2016]. Как мы видим, по сравнению со временами президентства Келдыша ситуация изменилась. Теперь если власти поставят вопрос о лишении правозащитника звания академика, то это будет не наказанием, а выполнением его просьбы. В середине 80-х годов изменилась логика поступков

героя, и Легенда № 2 перестала ей соответствовать. Поэтому говорить о правдоподобии Легенды № 2 можно только применительно к концу 70-х, началу 80-х годов.

Соответствие логике власти

С точки зрения партийных бонз удаление Сахарова из академии было бы желательным и в период президентства Келдыша, и в период президентства Александрова. По логике ЦК КПСС, человек, поднявший голос против политики партии, не должен носить уважаемое всем миром звание академика. При Келдыше намерения властей четко видны по тому факту, что травля Сахарова началась именно с письма сорока академиков. При Александрове дело дошло до лишения опального академика всех наград и званий. Лишение академического звания, как будто, стояло на очереди. Так что обе легенды, рассматриваемые независимо друг от друга, соответствуют «логике времени». Однако при сравнении двух легенд друг с другом выясняются интересные взаимозависимости.

Сравнительный анализ двух версий

Если мы рассмотрим обе легенды вместе, то заметим, что между ними есть тесная связь. Если Легенда № 1 отражает реальное событие, то власть после него уже не должна возвращаться к тому же вопросу, не должна наступать на те же грабли. Урок исключения Эйнштейна при Гитлере не мог быть быстро забыт.

Поэтому чем правдоподобнее выглядит Легенда № 1, тем менее вероятной кажется версия, исходящая из семьи Александровых. Но верно и обратное. Если в период правления Александрова вопрос об исключении Сахарова все же ставился, то по той же самой причине становится маловероятной Легенда № 1. Поэтому вероятность исключения из Академии является важнейшим фактором в пользу той или иной версии.

Но как оценить опасность исключения Сахарова из академии при президенте Александрове? Если верить вдове Андрея Дмитриевича, эта опасность была невелика, как пишет Е.Б. Александров, *«Елена Боннэр заявила, что нет никакой заслуги А.П. в сохранении членства Сахарова в Академии, потому, <...> что никто на это членство не покушался»* [Александров, 2002 стр. 241].

Но Евгений Борисович это мнение опровергает, считая опасность вполне реальной, а заслугу своего дяди – бесспорной: *«Еще как покушались! И защитил его именно А.П., какие бы легенды по этому поводу ни ходили»* [Александров, 2002 стр. 241] (в книге частица «ни» написана с ошибкой, которая при цитировании исправлена).

Для того чтобы разобраться в этом ключевом вопросе, нам нужен независимый свидетель, который подтвердил бы либо мнение Елены Георгиевны, либо мнение Евгения Борисовича. И такой свидетель нашлся – это академик Аркадий Борисович Мигдал, непосредственный участник тех событий, один из тех, кто буквально спас державшего смертельную голодовку в городе Горьком Андрея Дмитриевича Сахарова.

В воспоминаниях, опубликованных в декабре 1990 года в Литературной газете и напечатанных в сборнике «Он междунами жил...» [Мигдал, 1996], Аркадий Борисович говорит как раз о горьковском периоде жизни Сахарова, т.е. начале 1980 года. Тогда президентом Академии наук СССР был Анатолий Петрович Алексан-

дров. По словам Мигдала, именно тогда прошел слух, что на очередном собрании Сахарова собираются исключить из Академии [Мигдал, 1996 стр. 436].

Итак, первое подтверждение версии Александровых получено. Уверенности, что Легенда № 1 отражает действительность, становится меньше. Но это только начало. Далее Аркадий Борисович рассказывает о своих действиях:

«Накануне собрания я поехал в Узкое, чтобы выяснить справедливость этих слухов и посоветоваться с находившимся там секретарем одного из отделений Академии» [Мигдал, 1996 стр. 436-437].



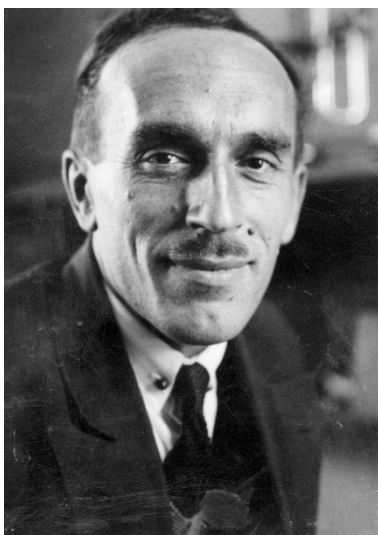
Аркадий Мигдал

Как мы видим, слухи были вполне реальные и заставили Мигдала приложить конкретные усилия, чтобы предотвратить позорное для Академии решение. Очень важным для нашей темы является следующий его шаг:

«Вечером того же дня я приехал к Петру Леонидовичу Капице. Я сказал ему, что никогда не был диссидентом, но если будет поднят вопрос об исключении Андрея Дмитриевича, заявлю на собрании все, что думаю. Среди прочего повторю то, что сказал мне Лев Андреевич Арцимович незадолго до своей смерти: „Если пойдет речь об исключении Сахарова, я выйду на кафедру и попрошу показать мне хотя бы одного из присутствующих в этом зале, кто сделал для страны больше, чем он“. Петр Леонидович сказал мне: „Начните, а более пожилая часть Вас поддержит...“» [Мигдал, 1996 стр. 437].

Это ценное свидетельство о встрече с одним из персонажей Легенды № 1 и о разговоре с ним по теме этой легенды. Было бы странным, если бы Капица не упомянул и о своих заслугах в деле, в котором он был целиком на стороне Мигдала (и Сахарова). Конечно, теоретически остается шанс, что или Петр Леонидович поскромничал, или Аркадий Борисович решил не раскрывать «тайну», но отсутствие упоминания о состоявшемся ранее раунде борьбы «за академика Сахарова» делает Легенду № 1 еще менее вероятной.

Когда эта заметка была почти готова, неожиданно пришло еще одно подтверждение того, что Легенда № 1, несмотря на ее широкое распространение в обществе, все же маловероятна. На этот раз речь шла о другом персонаже этой легенды – академике Семенове. Мне довелось поговорить с Дмитрием Гольданским, сыном академика Виталия Иосифовича Гольданского и внуком Нобелевского лауреата Николая Николаевича Семенова. На мой вопрос, упоминалось ли когда-нибудь в семье деда его участие в совещании у президента Академии, где обсуждалась проблема Сахарова, Дмитрий дал уверенный и четкий ответ: никогда! В то же время, в семье Гольданского слышали Легенду № 1 в такой интерпретации: Капица сказал фразу об исключении Эйнштейна из немецкой академии на Общем собрании АН СССР [Гольданский, 2016]. Это, конечно, еще менее вероятно, чем выступление на Президиуме Академии. Разнообразие вариантов Легенды № 1 говорит, скорее, о ее «литературном» происхождении, чем об отражении реального факта.



Николай Семенов

Напротив, Легенда № 2 о заступничестве академика Александрова представляется теперь вполне реалистичной. Главное косвенное подтверждение состоит в том, что вопрос об исключении Сахарова, к чести Академии, так и не ставился. Штрихи к психологическому портрету академика Александрова, добавленные воспоминаниями Аркадия Мигдала, не противоречат «александровской» версии. Да, Александров не очень стремился помочь гонимому Сахарову, считая, как думали и в КГБ, что во всем виновата его жена, Елена Георгиевна Боннэр. Но когда в ноябре 1981 года ситуация вокруг сосланного в Горький академика стала критической из-за продолжавшейся более 15 дней голодовки, Александров поддался уговорам и использовал последний шанс спасти Андрея Дмитриевича. Анатолий Петрович лично пошел к Брежневу и добился выполнения условия Сахарова – отпустить Лизу Алексееву поехать к ее мужу, сыну Елены Георгиевны [Мигдал, 1996 стр. 438].

Надо отметить, что в верхних эшелонах власти Сахарова знали и, было время, хорошо к нему относились. Борис Альтшулер со слов Андрея Дмитриевича описы-

вает эпизод 1962 года, когда Леонид Ильич Брежнев, тогда еще только секретарь ЦК КПСС, после очередного «разноса» у Хрущёва шел за академиком *«по очень, очень длинному кремлевскому коридору... и говорил, как он уважает Сахарова – и как ученого, и его общественные позиции»* [Альтшулер, 2009].

Тем не менее, нельзя преуменьшать сложности задачи, стоявшей перед Александровым, так как всемогущий Андропов, в чьем ведении при Брежневе находился Комитет государственной безопасности, категорически возражал против каких-либо уступок академику-диссиденту. Как часто бывает при недемократических режимах, среди руководителей страны не было полного согласия, различные группировки тайно боролись друг с другом, и президенту Академии нужно было быть большим дипломатом, чтобы добиться своего. Во время одной из встреч с руководителями страны и мог состояться разговор, описанный в Легенде № 2.

Право не верить свидетелю

Если есть два или больше свидетельств об одном и том же событии, то выбору наиболее достоверного помогает анализ психологии. Мы должны рассмотреть и сравнить возможные мотивы правдивости, лживости или заблуждения свидетелей. Понятно, что степень достоверности того или иного свидетельства при этом редко станет стопроцентной (свидетельство правдиво) или нулевой (свидетельство лживо). Чаще мы получим некоторый промежуточный результат. И здесь мы сталкиваемся с ситуацией, очень похожей на ту, которую изучает математическая теория вероятностей. Но возникает законный вопрос: вправе ли мы вообще говорить о вероятности исторического события, которое уже произошло?

На первый взгляд, нелепа сама постановка вопроса о вероятности происшедшего. Гадать можно о будущем. Прошлое не знает вариантов, оно есть данность, в которой нет места другим возможностям. Однако Марк Блок утверждает, что применение понятия вероятности в историческом исследовании не имеет в себе ничего противоречивого:

«Историк, спрашивающий себя о вероятности минувшего события, по существу лишь пытается смелым броском мысли перенестись во время, предшествовавшее этому событию, чтобы оценить его шансы, какими они представлялись накануне его осуществления. Так что вероятность – все равно в будущем» [Блок, 1986 стр. 71-72].

Использовать математические понятия и развитый математический аппарат для исторического материала нужно, конечно, очень осторожно. Построение математических моделей сложных общественных явлений – задача чрезвычайно трудная, человеческие отношения очень неохотно поддаются формализации. Как писал мудрый Марк Блок:

«Мы не можем избавиться от наших трудностей, переложив их на плечи Ферма, Лапласа и Эмиля Бореля. Но так как их наука находится в некотором роде на пределе, не достижимом для нашей логики, мы можем хотя бы просить ее, чтобы она со своих высот помогала нам точнее анализировать наши рассуждения и вернее их направлять» [Блок, 1986 стр. 74].

Историки древности без тени сомнений вставляли в свои хроники любые небылицы, от козней дьявола до кровавых дождей, лишь бы нашелся очевидец, за-

свидетельствовавший эти происшествия. Никакому критическому анализу эти свидетельства не подвергались.

То, что современные учебники истории очищены от подобной антинаучной ахинеи, огромная заслуга метода рациональной критики, примененного к свидетельским показаниям. Свидетель стал объектом исследования, и мы в состоянии понять, где и почему он говорит неправду. По словам Марка Блока, «*мы завоевали право не всегда ему верить, ибо теперь мы знаем лучше, чем прежде, когда и почему ему не следует верить*» [Блок, 1986 стр. 78].

История XX нередко века творилась за закрытыми дверями. О важных решениях и обстоятельствах, при которых они были приняты, мы узнаем не столько по достоверным документам, протоколам, отчетам, сколько по слухам, легендам, пересказам сообщений очевидцев...

Анализ психологии свидетельств позволяет и тут отделить вымысел от правды, точнее представить себе механизмы истории и отдать должное ее жертвам, злодеям и героям.

Литература

- Александров, П.А. 2002.** *Академик А.П. Александров. Прямая речь.* М.: Наука, 2002.
- Альтшулер, Борис. 2009.** Андрей Сахаров как физик во всех сферах своей деятельности. *Заметки по еврейской истории, №16* 2009 г.
- Беркович, Евгений. 2009.** Прецедент. Альберт Эйнштейн и Томас Манн в начале диктатуры. *Нева* 2009 г.
- Блок, Марк. 1986.** *Апология истории.* М.: Наука, 1986.
- Болотовский, Борис. 2002.** Государство, наука, ученые. Доклад, прочитанный на конференции DAMU (Немецкого общества выпускников Московского университета), Берлин, 2001 г. *Физика. Издательский дом "Первое сентября", № 14* 2002 г.
- Болотовский, Борис Михайлович. 2016.** *Частное сообщение по электронной почте от 22 мая 2016 года автору:* Личный архив автора, 2016.
- Гольданский, Дмитрий. 2016.** *Электронное письмо автору от 13.06.2016.*: Личный архив автора, 2016.
- Мигдал, А.Б. 1996.** К портрету Андрея Сахарова. Сборник. *Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове, С. 434-441.* М.: Практика, 1996.
- Монтень, Мишель. 1980.** *Опыты. Книги первая и вторая.* М.: Наука, 1980.
- Нузов, Владимир. 1997.** ИДЕЯ #2 (Интервью с академиком В. Гинзбургом). *Вестник, 14(168)* 1997 г.
- Сахаров, Андрей Дмитриевич. 1985.** Письмо президенту АН СССР 15 октября 1985. *Сахаровский центр, Москва,* 1985 г.
- Цамутали, А.Н. 1999.** «Академическое дело»// В.П. Орлов (гл. ред.) *Репрессированные геологи.* М.-СПб.: МПР РФ, ВСЕГЕИ, РосГео 1999.

Благодарность

Автор выражает искреннюю признательность Борису Альтшулеру, Борису Болотовскому, Юлию Бруку, Александру Мелихову, Фанне Петровой и Борису Тененбауму за плодотворное обсуждение статьи.



Василий Демидович

ИНТЕРВЬЮ с Р.А. МИНЛОСОМ

Профессора Роберта Адольфовича Минлоса, преподававшего на Мехмате МГУ (сначала на кафедре теории функций и функционального анализа, потом на кафедре теории вероятностей) в свои студенческие годы я лишь видел на факультете. Потом, в середине 1970-ых годов, когда я уже был ассистентом кафедры общих проблем управления Мехмата МГУ, мы с ним (вместе со студентами) оказались на осенних сельскохозяйственных уборочных работах. В ту пору мы поближе и познакомились. И когда, опять же «с подачи» Владимира Михайловича Тихомирова, а также Никиты Дмитриевны Введенской, возникла идея взять у него интервью, я сразу же позвонил Роберту Адольфовичу по телефону с этим предложением.

Роберт Адольфович выразил своё согласие на интервью со мной, оговорив, что его можно будет провести лишь пару недель спустя, поскольку был немного не здоров. И вот, спустя оговоренный срок, я получил приглашение приехать к нему домой, на Чистопрудный бульвар. Там, на его квартире, и состоялась наша беседа.

Ниже предлагается расшифровка нашего, примерно часового, интервью.



ИНТЕРВЬЮ С Р.А. МИНЛОСОМ

В.Д.: Ну что ж, Роберт Адольфович, начнем нашу беседу. Я знаю, что Вы родились в 1931-ом году в Москве. Расскажите немного о своей семье. И имел ли кто-то из Вашей семьи отношение к математике?

Р.М.: Мой отец не жил с матерью. Она была историком, этнографом, а он был лингвистом, профессором английского языка.

Так что от математики мои родители были далеки. Был у меня ещё отчим, художник-оформитель. Он занимался всякими выставками, то есть тоже отношения к математике не имел.

В.Д.: А фамилия у Вас по отцу или по отчиму?

Р.М.: По матери.

Так вот, отношения к математике они не имели. А моя любовь к математике... откуда взялась - не знаю. Но она появилась, причём довольно рано, ещё в школе.

В.Д.: Школу Вы закончили с медалью? И при поступлении на Мехмат МГУ Вам было достаточно пройти собеседование? Так?

Р.М.: Нет, не так! Я закончил школу без медали. Потому что в своём сочинении про Достоевского я что-то там написал, как мне объяснили, что было тогда крамолой.

В.Д.: В ту пору Вам давали сочинение про Достоевского?

Р.М.: Было какое-то сочинение, куда я что-то про Достоевского написал. Когда заканчивал школу.

В.Д.: Мой сын в школе, на выпускном сочинении, тоже что-то писал о Достоевском. Но были другие времена - Достоевского уже даже «проходили» в школе.

Р.М.: Ну да, времена изменились (*смеются*). Мне поставили четвёрку за то сочинение, и поэтому золотая медаль, так сказать...

В.Д. ... Пролетела.

А серебряную Вам тоже не дали? Или тогда такой не было?

Р.М.: Серебряные были тогда. Но если есть четвёрка по сочинению, то медали человек лишался.

Хотя у меня по остальным предметам было всё в порядке.

В.Д.: Так что, у Вас было не собеседование...

Р.М.: ...А экзамен! Самый настоящий экзамен.

В.Д.: Причём, все экзамены? Их было тогда, наверное, много ...

Р.М.: Да, их было много тогда. Около одиннадцати, по-моему... Или чуть меньше ... Во всяком случае, девять точно было. Там была физика, там была химия, были три или две математики, были письменная литература и устная литература, был иностранный язык и что-то ещё ...

В.Д.: И как прошла для Вас эта кампания?

Р.М.: Я всё сдал на отлично. Кроме физики, которую я сдал на тройку.

К счастью физика была моим последним экзаменом. Почему-то экзаменатор был очень недоволен тем, как я отвечал. Уж не знаю, чем он был недоволен – вроде я всё ответил правильно. Но посмотрев мои пятёрки, он, всё-таки, не решился поставить мне двойку и поставил тройку.

В.Д.: В каком году Вы поступили на Мехмат МГУ?

Р.М.: В сорок девятом.

В.Д.: В сорок девятом году ... Ну, это уже были серьезные годы ...
Помните ли Вы своих первых факультетских лекторов?

Р.М.: Ну как же, конечно я помню!
Вообще я помню их всех. Более или менее. Но я могу рассказать, кто произвел на меня наибольшее впечатление.

В.Д.: Да? Очень интересно.

Р.М.: На первом и втором курсах я ходил, естественно, на все лекции. И мне нравился больше всего Узков, читавший нам алгебру.

В.Д.: Узков?

Р.М.: Александр Илларионович Узков, да.

В.Д. Он почти забыт - на Мехмате МГУ мало кто его помнит.

Р.М.: Но ещё лет десять назад он ходил на Московское математическое общество, я там встречал его ... Он потом не преподавал на Мехмате МГУ. И он читал не только нашему курсу, но и предыдущим курсам ...

В.Д.: Он, насколько мне известно, потом в какую-то «спецакадемию» ушёл?

Р.М.: Он и в то время уже работал в каком-то «серьёзном Учреждении». А на Мехмате МГУ он был «на полставки» ...

Ещё Делоне нам читал. Как всегда - такой забавный! Читал, юродствуя немножко.

Да, ещё Тумаркин у нас читал лекции. Довольно скучно ...

В.Д.: Ну, Льва Абрамовича я помню, он мне тоже читал лекции. И Владимиру Михайловичу Тихомирову он их читал.

Р.М.: А вот на старших курсах больше всего мне понравились два человека: Гельфанд и Келдыш. Келдыш нам читал комплексные переменные.

В.Д.: Гельфанд что читал?

Р.М.: Гельфанд читал то, что тогда ещё называлось «Интегральные уравнения». А сейчас это называется «Анализ-3».

В.Д.: Это, значит, Гельфанд Вам читал на 3-ем курсе, в пятьдесят первом году, да?

Р.М.: Нет, на третьем курсе нам читал Келдыш. А Гельфанд нам читал уже на четвертом курсе.

В.Д.: То есть, в пятьдесят втором году?

Р.М.: Да, получается так.

А про остальных лекторов ... Вот мне нравилось, как читал Петровский. Он нам читал обыкновенные дифференциальные уравнения ... Нет, не обыкновенные, а в частных производных уравнения. Он хорошо читал. Правда, было видно, что он очень занят, к некоторым лекциям он не очень готовился. Но, в общем, он содер-жательно читал.

Колмогоров нам тоже читал. Но так, что понять его было нельзя.

В.Д.: Ну, это не новость (*смеются*). А что он Вам читал, теорию вероятности?

Р.М.: Вероятность нам читал, да ...

Нам вообще такие знаменитые люди читали – Келдыш, Колмогоров, Петровский.

В.Д.: Редкий случай, когда кто-то говорит, что Иван Георгиевич всё понятно объяснял. Например, Реваз Валерианович Гамкрелидзе мне рассказывал, что как раз именно потому, что лекции Петровского были непонятны, он не полюбил частные производные.

Р.М.: Я тоже их не полюбил, но по ним в лекциях Петровского было всё понятно. Он, правда, терялся иногда в выкладках, но зато идеи он доносил.

В.Д.: А кто были Вашими сокурсниками? Никита Дмитриевна Введенская?

Р.М.: Нет, она старше.

Среди моих сокурсников очень много знаменитых людей. Пятеро стали академиками – Гончар, Ильин, ...

В.Д.: Ильин Владимир Александрович?

Р.М.: Нет, Арлен Ильин. Он сейчас в больнице лежит, с ним очень плохо (*Примеч. В.Д.: Спустя два месяца после нашей беседы Арлен Михайлович Ильин скончался. А в 2014 году скончался и Владимир Александрович Ильин.*)

Потом Боровков, потом Ершов, потом Витушкин – видите, сколько людей!

В.Д.: Да, сильным был Ваш курс.

Р.М.: Да. И я вам перечислил только самых известных.

В.Д.: Как прошла Ваша первая сессия? Были ли трудности со сдачей зачётов и экзаменов?

Р.М.: Нет, все мои сессии прошли легко. Я за все сессии, за все пять лет, получил только две четверки. Остальные были пятерки.

В.Д.: То есть Вы получили красный диплом?

Р.М.: Нет ... Ведь у меня была одна четвёрка, за марксизм-ленинизм ... Я всегда «терял» на идеологическом фронте.

В.Д.: Понятно: недостоин за ту четвёрку красного диплома (*смеются*).

Вы с первого курса начали посещать спецсеминары и спецкурсы?

Р.М.: Да.

Дело в том, что ещё когда я был школьником, я ходил на Мехмат МГУ на кружок Дынкина. Один год ходил. То есть кружок был два года, но я попал только на его второй год. Кружок закончился, когда я закончил восьмой класс. А основная масса людей там была года на два старше меня: Успенский, Карпелевич, Ченцов... Добрушина там не было ...

И этот школьный кружок, естественно, закончился, поскольку они стали уже студентами Мехмата МГУ.

Так вот, для этих студентов – бывших его школьных кружковцев – Дынкин начал вести уже студенческий спецсеминар. А когда я поступил на Мехмат МГУ, он

и меня пригласил на этот спецсеминар. И я там приблизительно полгода был. Но как-то у меня там «не сложилось» ... Хотя Дынкин до сих пор считает меня своим учеником. Но я так не считаю, потому что на его спецсеминаре я, как-то, «не прижился»...

Зато я стал ходить к Кронроду. И вот там-то я «прижился» ...

В.Д.: О! Очень интересно! Значит, Вы были знакомы с Александром Семёновичем Кронродом?

Р.М.: Ну как же! Очень хорошо с ним знаком был. Дружен, можно сказать, с ним был, часто ходил домой к нему...

Он произвёл на меня огромное впечатление, и стал на несколько лет моим, так сказать, кумиром. И я тогда стал заниматься действительными переменными. Всякие задачи решал. Действительными переменными овладел через задачи, которые он давал...

Он вёл спецсеминар очень интересно. Много народу на него ходило. И первая моя работа была написана под его влиянием - он поставил задачу.

В.Д.: А тогда он каким программированием не занимался?

Р.М.: Не занимался. Хотя уже начинал - какая-то склонность к программированию у него уже появлялась. Но ещё долгое время он занимался математикой.

Ну, занимался ли он сам математикой, этого я не знаю. Но он вёл семинар почти до моего пятого курса. Туда кроме меня ходил Витушкин ... Агранович туда тоже ходил ... Березин не ходил ...

В.Д.: Адельсон-Вельский тоже ходил? Я считал его учеником Кронрода. Или я не прав?

Р.М.: Он скорее соавтор... Может быть, он ученик в каком-то смысле, но, скорее, соавтор. Они совместно сделали знаменитую работу об аналитичности моногенной (т.е. обладающей производной в каждой точке заданной области) функции комплексного переменного. Непосредственно доказали этот факт. Не так как обычно это делается в ТФКП, а, так сказать, лишь методами функций действительного переменного.

А потом он, почему-то, жил в Красноярске, или где-то ещё в Сибири...

В.Д.: Кто? Кронрод?

Р.М.: Нет, Адельсон-Вельский. Он снова появился в Москве, когда я уже был на третьем курсе. И опять он стал ходить на наш семинар. Кронрод его вёл уже с Ландисом.

В.Д.: Адельсон-Вельский сейчас жив? Я с ним познакомился в 1970-ом году, сразу же после зачисления меня на кафедру ОПУ Мехмата МГУ. Он тогда же стал вести, по этой кафедре, занятия по программированию на нашем факультете.

Его к нам пригласил - то ли на полставки, то ли почасовиком – Сергей Васильевич Фомин. Ведь после перехода сотрудников «мехматской» кафедры вычислительной математики на образовавшийся в Университете факультет ВМиК МГУ вести занятия по этой дисциплине, на Мехмате МГУ, было поручено кафедре ОПУ. Совместно с существовавшей при ней Лабораторией.

Р.М.: Я был в Израиле лет десять назад и видел его. Тогда он был жив. А сейчас – я не знаю.

(Примеч. В.Д.: Впоследствии узнал, что чуть больше года спустя нашего разговора, в апреле 2014 года, Георгий Максимович Адельсон-Вельский скончался в Израиле в возрасте 92-ух лет.)

Так вот, он снова стал участвовать в работе нашего семинара. И вскоре Кронрод его «затянул» в ... программирование. В программы шахматной игры и тому подобное. Хотя время от времени он мне показывал, почему-то, какие-то свои тексты, по поводу физики написанные. Но они как-то были «непонятны» для меня... Непонятны, по-моему, и для физиков тоже.

Ну вот, я рассказал вам про эти два семинара: один - на первом курсе, а второй, в общем, длился до моего окончания университета.

В.Д.: Итак, Вы рассказали про «дынкиновский» и «кронродовский» спецсеминары. А когда Вы стали посещать спецсеминар «гельфандовский»?

Р.М.: Гельфандовский? Это было уже на четвертом курсе.

В.Д.: И как насчет курсовой работы? Она ведь уже на втором курсе у Вас была?

Р.М.: Я сделал одну работу между первым и вторым курсом, и она засчиталась мне в качестве моей первой курсовой работы. Она была даже напечатана в «Докладах». Это была небольшая моя заметка ...

В.Д.: Это было ещё у Дынкина?

Р.М.: Нет, уже у Кронрода.

Потом я ещё какую-то задачу у него решил, касающуюся устойчивости дифференциальных уравнений ...

А последняя моя курсовая работа была уже выполнена у Гельфанда. Она была посвящена решению некоего уравнения квантовой теории поля.

В.Д.: Но это уже, наверное, была Ваша дипломная работа?

Р.М.: Да, это была моя дипломная работа.

В.Д.: Ну а вообще, кого Вы считаете своими основными учителями? Как я понимаю, это Гельфанд и Кронрод. А, может быть, ещё и Илья Михайлович Лифшиц?

Р.М.: Илья Михайлович Лифшиц не был моим учителем. Он просто был оппонентом по моей докторской диссертации.

Я к нему ездил в Киев, он ещё тогда там жил ... То есть, извините, не в Киев - а в Харьков ... И там мы с ним и познакомились ... Он несколько раз потом в Москве беседовал со мной ...

Но учителем моим он не был.

В.Д.: Понятно.

Занимались ли Вы общественной деятельностью в студенческую пору? И ходили ли Вы в туристические походы? Это тогда было так модно... И в моё время это было ещё модно.

Р.М.: В туристические походы я, конечно, ходил, и очень охотно.

Общественной деятельностью я тоже... занимался. Потому что без этого было нельзя ... Но «из-под палки».

В.Д.: Скажем, в факультетскую стенную газету Вас не заманивали?

Р.М.: Нет, но я в ней участвовал, и даже два раза. Правда, кончилось это, оба раза, плохо.

В студенческие годы дело было так ...

В.Д.: Не то написали?

Р.М.: Да нет, песню подзабыл.

Я описывал какой-то поход. Там пели песню. Но я забыл конец и вместо него написал: тра-та-та, тра-та-та. А это было истолковано ... «как матерное».

В.Д.: Забавно (*смеются*).

Р.М.: Меня тогда отстранили от газеты, а саму газету сняли.

Второй раз это было, когда я уже работал на Мехмате МГУ. Тогда Арнольд жил в Париже и писал очень интересные письма о своей жизни. Я их читал. Он писал их Наде Брушлинской, своей жене. А я попросил у Нади эти письма с тем, чтобы напечатать их в газете. И несколько писем были напечатаны в газете. Но поскольку Арнольд писал очень откровенно там о разных математиках, то это вызвало некоторый скандал, и эту газету тоже сняли.

В.Д.: Кто тогда был главным редактором газеты, не помните? Ну, естественно, это всё курировалось партбюро, но кто-то там был же главным редактором.

Р.М.: По-моему, Смолянов...

В.Д.: Олег Георгиевич Смолянов ...

Ну вот Вы, всего с двумя четвёрками, окончили Мехмат МГУ. А как насчёт аспирантуры - была рекомендация?

Р.М.: Нет, рекомендации не было. Потому что у меня вечно были неприятности с партбюро, и партбюро не дало мне рекомендацию в факультетскую аспирантуру. Хотя Гельфанд хотел взять меня в аспирантуру, и просил помочь в этом Колмогорова. Но Колмогоров как-то вяло действовал в этом направлении, поскольку не был лично заинтересован.

В.Д.: Но он Вас немного знал уже?

Р.М.: Он знал меня - ведь он представлял мою первую работу в «Доклады». И вообще я с ним встречался. Не скажу, что мы часто разговаривали, но кланялись друг другу. В то время он меня знал. Да и после того мы общались, правда редко. Он, кстати, был моим оппонентом по докторской диссертации.

В.Д.: Как же Вы тогда написали кандидатскую диссертацию? Вы где-то были соискателем? Или поступили в аспирантуру в другом месте?

Р.М.: Да, я был соискателем ...

В.Д.: Соискателем при Мехмате МГУ?

Р.М.: Нет, я работал два года в Лесотехническом институте, у Ефимова. Он там заведовал кафедрой, и у него я сдал все эти самые экзамены.

А кандидатскую работу я написал уже когда был принят на Мехмат МГУ. Это было решение задачи, поставленной Гельфандом, по поводу продолжения меры. И

в моей диссертации было показано, что конечно-аддитивную меру в пространстве, сопряжённом к ядерному, - обширном таком пространстве - можно продолжить до счетно-аддитивной меры.

В.Д.: И кто были по ней оппоненты?

Р.М.: Оппонентами были Сергей Васильевич Фомин и Акива Моисеевич Яглом.

В.Д.: Сергей Васильевич Вас уже знал, да?

Р.М.: Да, знал. Он в то время работал на нашей кафедре, на кафедре теории функций и функционального анализа.

В.Д.: Да, но потом он перешёл к нам на кафедру ОПУ.

Когда Вы стали преподавать на Мехмате МГУ? Если я не ошибаюсь, это всё началось как раз с кафедры теории функций и функционального анализа?

Р.М.: Да. Мы с Березиным были одновременно приняты на работу на эту кафедру.

В.Д.: На полную ставку?

Р.М.: На полную ставку, младшими научными сотрудниками.

В.Д.: «МНС»-ами! Но вы оба были уже кандидатами, да?

Р.М.: Нет, мы были оба НЕ кандидатами. Березин защитился в следующем году, я через два года.

По поводу нас даже случился некоторый скандал. Потому что Гельфанд уговорил Петровского нас принять своим приказом, отменяя всё, минуя все инстанции... И все эти инстанции потом роптали, долго не хотели нас реально принять. Шли даже на то, что задерживали нам зарплату (*смеются*).

В.Д.: Весело!

Тогда же, наверное, появился Ваш собственный спецсеминар? И, видимо, при кафедре теории функций и функционального анализа?

Р.М.: Семинар, который мы начали вести совместно с Березиным, появился, уж не помню точно, может быть и в следующем году, как нас приняли на кафедру... И вели мы вдвоём этот семинар до 1963-го года.

Дело в том, что в 1962-ом году я начал ещё вести семинар с Добрушиным. И как-то уже «березинский» семинар для меня вскоре «отпал».

К нашему семинару с Добрушиным потом присоединился Синай, а потом присоединился и Малышев. Мы этот семинар вели до 1994-го года. Известный такой большой семинар. Туда приезжало много иностранцев выступать. В общем, это целая история.

Кроме того, я вёл ещё один семинар - позже гораздо - вдвоём с Малышевым. И потом, где-то во второй половине восьмидесятых годов, начал вести уже свой собственный семинар. В конце моего, так сказать, пребывания в Университете.

В.Д.: Кто был Вашим первым аспирантом? Помните?

Р.М.: Ну я помню, только я фамилию не помню. Это был молодой человек уже...

Я читал лекции на Мехмате МГУ ... Были там такие курсы для инженеров, инженерный поток.

В.Д.: На инженерном потоке? Он и сейчас существует. Я на нём регулярно читаю лекции. Но он стал платным, и поэтому там очень мало людей теперь.

Р.М.: А тогда он был бесплатным. На него ходило довольно много талантливых людей, которые занимались техникой. И один из них как-то пристал ко мне и сказал, что у него уже есть некоторая тема, и что он сам уже готов над ней работать. И спросил меня, не готов ли я его под своё крыло принять. Вот я его и принял под своё крыло. Он, собственно, всё там сам сделал и защитился. Но формально он – мой первый аспирант.

А аспирант, первый, которого я действительно учил – это был Илья Новиков.

В.Д.: Он мой сокурсник!

Р.М.: Ваш сокурсник? Вы когда учились?

В.Д.: Мы поступили в шестидесятом году. Значит это, наверное, был год ...

Р.М.: Шестидесят пятый.

В.Д.: Ну правильно. Мы окончили в декабре шестьдесят пятого года, и Илья, наверное, поступил к Вам в аспирантуру.

Р.М.: Он защитился, по-моему, в шестьдесят восьмом году, или чуть позже.

В.Д.: Он потом уехал, кажется, в Хайфу, или куда-то там ещё ...

Р.М.: Да, он уехал в Израиль, и сейчас живёт в Тель-Авиве. Приезжает время от времени сюда.

В.Д.: У него была жена Таня Соколовская, тоже моя сокурсница. К сожалению, не помню её отчества.

(Примеч. В.Д.: Впоследствии, при помощи В.М. Тихомирова, я узнал, что её отчество – «Владимировна».)

Р.М.: Да, Таня Соколовская была его женой. Но он развёлся с ней...

В.Д.: Да, я слышал об этом.

Р.М.: Потом у него была вторая жена, которая умерла от рака. И сейчас у него третья жена.

В.Д.: И все жёны были математичками?

Р.М.: Вторая, Марина, да ...

В.Д.: Не скажите, как её фамилия?

Р.М.: Её фамилия ...не помню.

(Примеч. В.Д.: Потом я «связался» по e-мейл с Ильёй Новиковым и узнал, что второй его женой была Марина Александровна Кузьменко.)

Так вот, она, как и первая, была математиком. А про последнюю жену я только знаю, что она тоже из Москвы. А вот кто она по профессии – не знаю ...

(Примеч. В.Д.: Опять же от Ильи Новикова я узнал, что его третьей женой является математик Марина Ильинична Душенат.)

В.Д.: Ну ладно о жёнах Ильи.

Докторскую диссертацию Вы защитили в шестьдесят восьмом году?

Р.М.: Да.

В.Д.: И по ней оппонентом был, в частности, Лившиц, как Вы уже говорили?

Р.М.: Лившиц, Ладыженская, Колмогоров и Боровков. Четыре оппонента.

Дело в том, что Боровков не захотел присутствовать на моей защите. Он прислал лишь свой отзыв. Видимо, это было связано с тем, что защита моей диссертации происходила в тот год, когда произошло ... известное «подписанство».

И я был среди «подписантов» ...

(Примеч. В.Д.: Речь идёт о подписании в 1968-ом году математиками письма в защиту специалиста в области математической логики, философа и поэта, активного участника правозащитного движения в СССР, Александра Сергеевича Есенина-Вольпина.)

В.Д.: Значит, Боровков – человек осторожный, да?

Р.М.: Очень осторожный. И поэтому он отзыв написал, но участвовать в защите не захотел (*смеются*). Но попросил в ней участвовать Колмогорова.

В.Д.: Как прошла защита и где она была?

Р.М.: Она была на Мехмате МГУ. И мне «накидали», по-моему, восемь чёрных шаров!

В.Д.: Серьёзно!

Гельфанд не захотел быть оппонентом?

Р.М.: Нет – он ведь был, как бы, моим научным руководителем!

В.Д.: Точнее, научным консультантом – речь же идёт о докторской диссертации. Но он, конечно, присутствовал на Вашей защите?

Р.М.: Не уверен... Он вообще редко ходил на защиты. Он, как-то, всё делал «в кулуарах» ... Во всяком случае, на моей защите я его не видел (*смеются*).

В.Д.: Да-а, шестьдесят восьмой год, я помню, был «крутым» для Мехмата МГУ! Меня как раз тогда избрали на «освобождённую» факультетскую комсомольскую работу ...

В 1995-ом году умирает Роланд Львович Добрушин. В следующем, девяносто шестом году, Вы становитесь заведующим добрушинской лабораторией Института проблем передачи информации - сокращённо, ИППИ. То есть Вы ушли с Мехмата МГУ?

Р.М.: С Мехмата МГУ я ушёл ещё в девяносто втором году.

В.Д.: Значит, до руководства добрушинской лабораторией...

Р.М.: Да, до руководства лабораторией... Но я ушёл, как раз, в добрушинскую лабораторию. И когда он умер, я стал её заведующим.

В.Д.: Вы с ним дружили? Я его, честно говоря, не очень-то и помню. Один раз только видел.

Р.М.: Ну как же! Добрушин был одним из моих лучших друзей. Я с ним дружил. И совместные работы у нас есть. Много у нас чего общего...

В.Д.: На Мехмате МГУ он читал, по-моему, теорию вероятности?

Р.М.: Да.

Он до шестьдесят седьмого года работал на Мехмате МГУ. Но начальство там очень его не любило. И началось это с того, что он сделал на собрании Мехмата МГУ, в 1956-ом году, своё знаменитое выступление «против официальной точки зрения», осуждённое факультетской партийной организацией ...

Вы об этом, может быть, и не слышали - ведь тогда ещё вы не учились на Мехмате МГУ ... У меня лежит книжка о нём. И если вам интересно, то многое про него в ней можно прочесть ...

В.Д.: Ну, если дадите книжку – то прочту.

Р.М.: Да, возьмите. Там воспоминания разных людей о нём.

В.Д.: Это прижизненное издание к его семидесятилетию?

Р.М.: Нет, это вышло уже после его смерти...

В.Д.: Он что, до семидесяти лет не дожил?

Р.М.: Не дожил: ему было шестьдесят шесть лет, по-моему, когда он умер. Или шестьдесят пять лет ...

В.Д.: У него что, онкология была?

Р.М.: Да, рак.

Там, например, я про него написал следующее. На Мехмате МГУ он долго оставался ассистентом, хотя имел уже мировую известность. Даже доцентом его там никак не делали - начальство не желало его никак повышать. И тогда он ушёл из Университета. Но продолжал вести семинар. Наш семинар, существовавший с шестьдесят второго года. И, вообще, продолжал держать связь с Мехматом МГУ. Потому что многие продолжали обращаться к нему за консультациями, а для некоторых он оставался неформальным научным руководителем.

Но потом он стал вести эту Лабораторию... Набрал в неё очень много сильных людей ...

В.Д.: В ИППИ?

Р.М.: ИППИ, да.

Ну и я стал у него сотрудником...

В.Д.: Там тогда директором был, по-моему, Сифоров?

Р.М.: Когда Добрушин переходил, директором был Сифоров. А когда я переходил, то Сифоров уже умер к тому времени. И директором тогда был Кузнецов. А сейчас у нас Кулешов директор ИИИИИ.

Я перешёл, в основном, потому, что это был девяносто второй год и открылась возможность туда- сюда ездить. На Мехмате МГУ как-то трудно было это совмещать.

В.Д.: Понятно.

Кстати, кто Вас затащил в кругую физику? В частности, кто Вас надоумил заняться изучением спиновых моделей в области фазового перехода? Израиль Моисеевич?

Р.М.: Нет, спиновые модели – это уже позже.

Вообще-то в физику меня, действительно, затащил Израиль Моисеевич. Ещё с помощью той, совместной с ним, работы, о которой я уже говорил - решение уравнений квантовой теории поля. И с той поры я стал всерьёз заниматься вопросами физики.

Ведь в физике - масса замечательных идей и теорий. Но они как-то все «математически не огранены». И много интересного узнаёшь, когда начинаешь заниматься ими с точки зрения математики.

В.Д.: Когда я беседовал с Сергеем Петровичем Новиковым, он всё время сокрушался, что на Мехмате МГУ плохо учат физику, не интересуются ею, даже умные люди. А вот Вы интересовались.

Р.М.: Интересовался. Не только я - мы вместе с Березиным начали ею интересоваться.

В.Д.: А-а, с Березиным. Новиков тоже сказал: «Мы с Березиным сами стали изучать физику».

Р.М.: Это кто так сказал?

В.Д.: Сергей Петрович Новиков.

Р.М.: Почему он сказал «Мы с Березиным»? ... Он, действительно, начал изучать физику, но Березин с ним, в общем-то, не взаимодействовал.

В.Д.: Ну, точно как он сказал, я сейчас не помню - может быть, он сказал «я и Березин» ...

Р.М.: А-а, так ещё может быть.

В то время образовалась небольшая группа, заинтересовавшаяся физикой - я, Березин, Маслов...

В.Д.: Виктор Павлович Маслов, помнится, Физфак МГУ кончал?

Р.М.: Да, но всё равно он стал заниматься физикой как математик. Потом ещё был Людвиг Фаддеев.

В.Д.: Он же был в Ленинграде.

Р.М.: Это так, но он часто приезжал в Москву. А Березин и я часто ездили к нему в Ленинград. Мы взаимодействовали. У нас даже есть с Фаддеевым две совместные работы, тоже по квантовой механике.

А ещё был такой Жислин из Нижнего Новгорода - не знаю, жив ли он сейчас. Ещё был Вугальтер, его ученик - позднее я его за границей встречал несколько раз.

В общем, это была небольшая группа людей. Сейчас это разрослось так, что даже смешно вспоминать, как с нескольких человек всё это начиналось.

В.Д.: Вот ещё такой мой вопрос.

Я веду своего рода компьютерную картотеку математиков и физиков со всех стран мира с указанием года рождения и, если человек умер, то и года смерти. И когда я прочёл, что Вы занимались моделью Нельсона, то, естественно, я заинтересовался кто такой этот Нельсон. Но я не смог расшифровать даже букву его имени «Е». Вы не можете мне её расшифровать?

Р.М.: Могу: Эдвард.

В.Д.: Значит, Эдвард Нельсон! А Вы про него что-нибудь знаете?

Р.М.: Ну, это очень сильный математик.

По-моему, он до сих пор жив. По крайней мере, когда я десять лет назад был в Америке, я его видел. И он даже не слишком старым был тогда.

В.Д.: Он из какой страны – из Швеции?

Р.М. Нет, из Америки. У него есть замечательные работы по математике, они упоминаются в разных учебниках по функциональному анализу. Но он занимался и физикой тоже, и придумал там некую модель.

Кроме того, он придумал замечательную теорию по физике. В семидесятые годы был даже бум по этому поводу. Дело в том, что квантовую теорию поля можно изучать с помощью случайных полей. То есть можно сделать такое отображение квантового поля, что оно станет случайным полем. И наоборот. Это Нельсон придумал. И эта схема легла в основание многих теорий и работ.

У него есть и другие замечательные вещи. Например, он придумал теорему об аналитическом векторе. Не знаете?

В.Д.: Нет, не знаю. Но я заинтересовался, и постараюсь поискать что-нибудь про Эдварда Нельсона, почитать про него. Я-то думал, что он физик ...

Р.М.: Нет, математик. Из Принстона, по-моему.

В.Д.: Хорошо, что математик: информацию про него мне будет легче найти.

Итак, в двухтысячном году Вы стали профессором-совместителем на кафедре теории вероятностей Мехмата МГУ. Кто тогда заведовал кафедрой – Борис Владимирович Гнеденко?

Р.М.: Нет, Ширяев.

В.Д.: Уже Альберт Николаевич Ширяев был, хорошо. Пришлось ли Вам читать курс по теории вероятностей?

Р.М.: Нет, теорию вероятностей я не читал. Я читал два разных спецкурса и вёл спецсеминар.

Кстати, спецсеминар я вёл даже тогда, когда ушёл с Мехмата МГУ в девяносто втором году ... Сначала семинар был приписан к кафедре теории функций, а потом он «перешёл» на кафедру теории вероятностей, когда меня туда приняли на работу.

В.Д.: Так что курс теории вероятностей Вам читать не довелось.

Я, когда готовлюсь к интервью, стараюсь узнать, какие работы опубликованы моим предстоящим собеседником. Конечно, в основном по Internet'у. И про Вас в нём я вычитал, что у Вас был спецсеминар с Вадимом Александровичем Малышевым по спектрам для бесконечночастичных операторов. Это что такое – бесконечночастичные операторы?

Р.М.: Ну, грубо говоря, рассматривается случай, когда гильбертово пространство состоит из прямой суммы конечномерных пространств. Это описывает систему, состоящую из бесконечного числа частиц.

В.Д.: Отсюда и терминология, понятно. Этот семинар, с Мальшевым, продолжается и сейчас?

Р.М.: Нет, уже нет.

В.Д.: А Мальшев здесь? Он же, кажется, долго был во Франции.

Р.М.: Нет, он уже «покончил» с Францией, он в Москве. Просто там время вышло – он же достиг шестидесятипятилетнего возраста.

В.Д.: Да, там жёстко.

Среди Ваших соавторов был такой киевлянин Юрий Львович Далецкий. Я был знаком с этим замечательным математиком и жизнерадостным человеком. Но мне казалось, что он весьма далек от физики. Или я не прав?

Р.М.: От физики он, действительно, был далёк.

Я делал доклад от некоей группы математиков в 1961-ом году на математическом съезде в Ленинграде. В частности, там я рассказывали результаты Далецкого.

Вообще это была единственная наша совместная работа. И так получилось, что мы попали с ней в один доклад, который потом был издан в трудах этого съезда. А больше с ним совместных работ у меня не было. Но мы с ним дружили. Я, приезжая в Киев, часто даже останавливался у него, и, наоборот, он в Москве у меня останавливался.

В.Д.: Сейчас его уже нет, он умер... Замечательный, жизнерадостный человек. Я с ним в Алма-Ате был вместе на защите одной кандидатской диссертации ...

Ну, мои вопросы близятся к концу. Разрешите еще личный вопрос: кто по профессии Ваша супруга - математик? Как ее зовут?

Р.М.: Она умерла. Она тоже была математиком. Её звали Татьяна Юрьевна Попова.

В.Д.: А есть ли у Вас дети? И кто они?

Р.М.: У меня есть сын, который, значиг, лингвист!

В.Д.: То есть к Мехмату МГУ никакого отношения он не имеет ...

Ну и вопрос, который я задаю практически всем моим собеседникам: довольны ли Вы тем, как сложилась Ваша судьба, и ни о чем ли Вы в своей жизни не жалете?

Р.М.: Во-первых, я доволен, как сложилась моя судьба. Но, конечно, есть некоторые моменты, о которых я очень жалею. Личного характера.

В.Д.: Что-нибудь упустили в жизни? Например, некоторые говорят, что я мог бы быть не только математиком ...

Р.М.: Нет, в этом смысле я не промахнулся. Но у меня были какие-то личные трудности...

В.Д.: Если бы Вы, скажем, стали бы физиком, закончив Физфак МГУ – хуже бы у Вас всё сложилось?

Р.М.: Нет, к классической физике меня не тянуло ...Я к ней отношусь как-то так... (*смеются*). Вот квантовая механика, высшие разделы физики – это приятно. А то, что рассказывают про физику на обычных курсах – это как-то неинтересно.

В.Д.: Владимир Михайлович Тихомиров часто говорит: «Физику на Мехмате МГУ надо читать не так! Неправильно её у нас читают!»

Р.М.: Конечно, по старинке всё читают. Дальше трудов Гельмгольца не идут.

В.Д.: Ландау никогда не приглашали почитать лекции на Мехмате МГУ?

Р.М.: Но с физиками была же, знаете ли, длинная история. В тридцать седьмом году было такое их изгнание... Некоторых, кажется, даже посадили – я уж точно не помню ... Но, во всяком случае, многих сильных физиков изгнали из университетов.

В.Д.: И Ландау тоже тогда сидел. Его выпустили лишь потом.

Р.М.: Да, и он долго к Физфаку МГУ не имел отношения ...
Ведь долгое время никаких хороших физиков на Физфак МГУ не брали ... Там был такой ... Предводителей ...

В.Д.: Предводителей и ещё, как потом говорили, сын памятника – Тимирязев...

Р.М.: Да-да, эти двое.

И вообще там были такие мракобесные люди, которые никого на Физфак МГУ не пускали. Лишь после смерти Сталина Петровский смог произвести такой демарш: он, всё-таки, добился того, чтобы эти люди разрешили на факультете читать современную физику. Тогда на Физфак МГУ пришли читать лекции и Ландау и Тамм и Леонтович. Но выяснилось, что среднее звено, которое должно было вести там физику – упражнения – осталось прежним.

В.Д.: Они просто не были готовы к этому.

Р.М.: Да, они не были готовы. Ландау проэкзаменовал всех своих людей, которые за ним вели упражнения, и поставил всем двойки! Поэтому там такой разрыв случился – с одной стороны, читают такие люди, как Ландау, а с другой стороны (*смеются*) ...

В. Д.: Такое бывает! Вот, например, на Мехмате МГУ Арнольд прочёл курс по дифференциальным уравнениям, и его никто больше не повторяет. Потому что трудно придумать задачки, и так далее. Сам он мог, но он же не мог разорваться!

Р.М.: Я вот помню, что нам дифференциальные уравнения читал Немыцкий. Было очень скучно!

В.Д.: Я знал Виктора Владимировича. Может потому он скучновато читал, что не очень готовился ...

Р.М.: Нет, наоборот, он писал все формулы очень подробно – наверное, как раз хорошо готовился. Но всё читал таким скучным, тягучим голосом!

В. Д.: Ну, мне курс обыкновенных дифференциальных уравнений читал Лев Семенович Понтрягин. Всё было очень чётко – но ни единого отступления! Вот

буквально, так сказать, «никуда в сторону»! Я, всё-таки, напрягался тогда, когда его слушал ...

Р.М.: Вот так «чесал подряд» всё?

В.Д.: Да. И писал за ним на доске Николай Христович Розов ...

Р.М.: Ну здесь особый случай – он же слепой. Видимо, ему трудно было «отступать» – ведь ему нужно было «держать в голове» некую схему лекции ...

В.Д.: Ну да, я понимаю! Если отступишь, потом можешь не восстановить мысль. Наверное, так.

Р.М.: Конечно. Это не тот случай, когда человек свободно читает лекцию: что-то напишет, потом что-то поговорит, потом вернётся к написанному ...

В.Д.: Толи дело, когда нам Маркушевич читал курс ТФКП! Обязательно какая-нибудь поговорка на латыни, что-нибудь про историю ...

Р.М.: Да, историю он любил.

Гельфанд очень хорошо читал лекции. Всегда всё продумывал. Даже продумывал, какие анекдоты в лекцию включить ...

В.Д.: Про анекдоты на лекциях Гельфанда я слышал. Но это известно и про старых немецких профессоров. Когда они передавали на распечатку свои лекции, то в рукописи часто присутствовала сноска: «Здесь – анекдот» (*смеются*). Это мне Константин Иванович Бабенко рассказывал – Вы, конечно, его знали?

Р.М.: Да, конечно.

В.Д.: Ну что ж, более или менее мы обсудили всю...

Р.М.: ...Программу...

В.Д.: Да. Осталось только Вас поблагодарить за беседу и от всей души пожелать Вам здоровья, сил и исполнения всего того, что Вы сами задумали ещё сделать!

Р.М.: Спасибо, хорошо. Может, чаю попьём, Василий Борисович?

В.Д.: С удовольствием попью, Роберт Адольфович ...

Март 2013 года



Григорий Идлис
К РУССКОЯЗЫЧНОМУ ПЕРЕИЗДАНИЮ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
«Естественнонаучные сочинения Гёте»
РУДОЛЬФА ШТЕЙНЕРА

Среди людей *посредственных*, как правило, в чести
Лишь те, кто всем им и во всём, увы, *сродни*.
А ГЕНИИ, по сути, так редки!..
Тем паче, ежели ОНИ
Настолько ТАКОВЫ,
Насколько *мы* –
Увы!..

Как правило
(Не правда ли?),
Нет правила
Без исключения...
Есть, правда, мнение!..

Да! Но
Оно
Одно:

*«Гёте представляет, быть может, единственный
в истории человеческой мысли пример сочетания в
одном человеке великого поэта, глубокого мыслителя
и выдающегося учёного»*

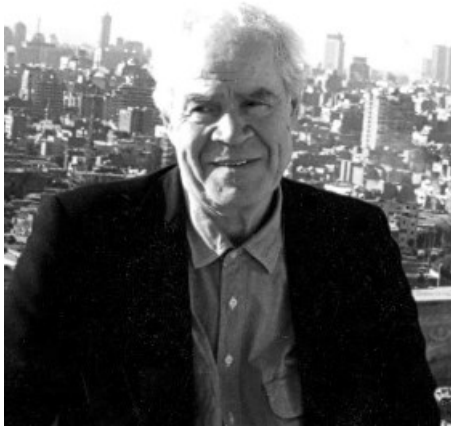
К.А. Тимирязев

Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832), безусловно, был одним из истинных гениев XVIII-XIX вв. и остаётся таковым на все времена!

Обычно Гёте заслуженно ценится всеми, прежде всего, как поэт-философ, создавший гениальную трагедию «ФАУСТ» [1]. Менее известно у нас то, что Гёте был и гениальным мыслителем, учёным, натуралистом. Хотя его «Избранные сочинения по естествознанию» [2] опубликованы в 1957 г. – к 40-летию СССР – в академическом издании в серии «Классики науки» (в переводе И.И. Канаева с наиболее полного Веймарского немецкого издания, которое первоначально поручалось подготовить к печати и прокомментировать ещё молодому тогда Рудольфу Штейнеру, ставшему затем основоположником антропософии – антропософски ориентированной духовной науки).

Кстати, в публикации И.И. Канаева содержится не только приведенное выше – в моём эпиграфе – высказывание К.А. Тимирязева о Гёте [2, с. 419], но и сетования самого Гёте, уже в глубокой старости, за год до смерти, в статье по истории своих ботанических занятий, в которой он сообщает публике о своей неустанной научной деятельности в связи с открытием им метаморфоза растений: «Больше полувека известеня на родине и за пределами её как поэт или, по крайней мере, сльву за такового; а что я с большим вниманием и усердием изучал природу, её общие физические

и фактические феномены, и постоянно со страстью проводил серьёзные наблюдения – это ещё далеко не столь общеизвестно и ещё менее внимательно обдумывалось» [2, с. 418]. И.И. Канаев опубликовал, кроме того, специальную монографию «Гёте как естествоиспытатель» [3]. Но русскоязычным читателям, даже ознакомившись с этими ценными публикациями [2, 3], трудно составить адекватное представление о всём значении мировоззрения Гёте без ознакомления с должным переизданием фундаментальной работы Штейнера «Естественнонаучные сочинения Гёте» [4], которое подготовила к печати моя дочь Р.Г. Идлис, а я снабдил своим Послесловием с рядом примечаний, частично приводимых ниже.



Григорий Моисеевич Идлис

Ныне широко распространено представление о существовании двух принципиально различных культур – *естественнонаучной* и *гуманитарной*, разделённых чуть ли не *«непреходимой» пропастью*. Кроме того, даже внутри каждой из этих *двух культур* отдельные специалисты фактически подразделяются ещё по своим частным и, как правило, весьма разобщённым специальностям.

Чтобы преодолеть эту *«пропасть»* и соответствующее тотальное *разобщение*, необходимо, прежде всего, *двустороннее движение* и *всестороннее общение*, т. е. не только систематическое общее гуманитарное образование всех специалистов, включая учёных-естественников, но и приобщение всех гуманитариев, по крайней мере, не к каким-то частным историческим достижениям отдельных естественных наук, а именно к *«КОНЦЕПЦИЯМ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»* (КСЕ), которые ныне составляют один из общих курсов, входящий в программу всех российских вузов по всем гуманитарным специальностям (и который, кстати, целесообразно было бы ввести в качестве необходимого общего курса в программу всех наших вузов и по всем естественнонаучным специальностям – наряду с уже введённым общим кандидатским экзаменом по истории и философии науки для всех аспирантов).

При этом сам я – в противоположность Гёте – прошёл т.н. обратный путь: не *«от искусства к науке»*, а, напротив, от собственно естественных наук к сугубо

гуманитарным дисциплинам. Причём не только в смысле своего образования и своих занятий, но и по характеру целесообразного изложения результатов, используя наряду с, казалось бы, универсальным и предельно точным, но по сути чуть ли не бессодержательным – «*иллюзионистским*» – математическим языком непосредственно связанный с нашим бытием более содержательный и живой язык обыденного общения или даже наиболее образный и живой поэтический язык [5].

За 60 лет своей творческой деятельности я, перейдя после I курса физического факультета ЛГУ на ф.-м. факультет КазГУ и окончив одновременно оба его отделения по специальностям теоретическая физика и математика, защитил в МГУ кандидатскую и докторскую диссертации по ф.-м. наукам, работая в Астрофизическом институте АН КазССР, а став его директором, занялся и науковедением, преобразуя его из аморфного состояния типа расплывчатого «обществоведения» в настоящее – аксиоматизированное – *наукознание*, родственное точному *естествознанию* [6], но затем, перейдя в ИИЕТ АН СССР / РАН, погрузился в поиски основ всего естествознания, включая в него, наряду с такими собственно естественными фундаментальными – относительно самостоятельными – науками, как физика, химия и биология, ещё и психологию, составляющую фундамент всех гуманитарных дисциплин и относящуюся уже, по сути, к наиболее фундаментальному ментальному миру. В итоге, исходя из т.н. «атомной гипотезы», как бы пронизывающей всё естествознание и всю его историю, но оставаясь в рамках логически допустимых внутренне непротиворечивых и полных – конечных – аксиоматических систем соответствующих элементов, удалось обосновать принципиальное единство всего естествознания и всей природы вплоть до её ментальной – наиболее фундаментальной – составляющей всего бытия, что нашло своё непосредственное отражение, прежде всего, в моей работе [7], а также в моём вкладе в подготовленные совместно с другими авторами монографии [8, 9], изданные в качестве одних из первых учебных пособий к только что введённому тогда общему курсу КСЕ, который я сразу же начал преподавать в РГГУ, а ныне – после издания ещё одной специальной совместной монографии [10] – преподаю по своей программе [11], рекомендуя в качестве основного учебного пособия, прежде всего, мою близкую к мировоззрению и идеям Гёте монографию [12], в которой особого внимания заслуживает следующий её фрагмент:

Фактическое преодоление традиционного противопоставления материи и сознания, или естественных – точных – наук гуманитарным, относящимся не к внешнему миру, а к самому человеку, к его интеллектуальной деятельности, возникло полвека тому назад, когда автор в 1957 г. на Всесоюзной конференции по проблемам внегалактической астрономии и космологии, по существу, впервые ввёл в современную космологию т.н. АНТРОПНЫЙ КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП (АКП), а в 1958 г. детально проанализировал этот принцип [13], пророчески предвосхищённый ещё Протагором (V в. до н.э.) в дошедшем до нас афористическом высказывании, которым начиналось его сочинение о Природе: «*Человек есть мера всем вещам – существованию существующих и не существованию несуществующих*» [14, с. 167].

В свете рассматриваемых ВОЗМОЖНЫХ НАЧАЛ ВСЕГО (ВНВ) этот АКП оказывается справедливым не только как «слабый» АКП (объяснение возможных специфических особенностей нашего Мира возможностью нашего существования в нём) или как «сильный» АКП (объяснение необходимых характеристик всей Вселенной необходимостью нашего возникновения и существования в ней), но и как т.н. «сверхсильный» АКП (существование Мыслящего Универсума или Высшего

Разума – Бога – как необходимого предельного и вместе с тем исходного *ментального* элемента Вселенной, наиболее *фундаментального, фундаментального* все остальные её фундаментальные структурные элементы [15].

Поэтому вполне естественно, что хотя естествознание в ходе своего исторического развития последовательно стремилось преодолеть подобный *антропоцентризм* («*субъективизм*», или как бы изначально присущий нам – врождённый – «*само-центризм*»), становясь всё более и более объективной наукой о природе (о *материальных объектах*), этот эгоцентризм, или антропоцентризм, казалось бы, окончательно выдворенный прочь за пределы науки, за наглухо захлопнувшиеся за ним её врата, но всегда маячивший перед не зашоренным – свободным от всяких шор – взором наиболее вдумчивых учёных, в конце концов всё-таки вернулся в неё (через её, к счастью, не зашторенное окно) в виде введённого в современную космологию АКП.

Вслед за автором, но независимо от него, к этому АКП обратились Дикке в США, Картер в Англии и многие другие [14, с. 58]. На пионерскую работу автора [13] затем обратили внимание такие известные физики, как Я.Б. Зельдович и А.Д. Сахаров. Барроу и Тиллер специально отметили её в предисловии к своей монографии [16], а К.А. Томилин посвятил ей целую главу «Антропная программа» в монографии [17].

Все естествоиспытатели, вплоть до такого сугубого теоретика, как Эйнштейн, критерием истинности рассматриваемой теории всегда считали, прежде всего, опыт. Правда, сам Эйнштейн, считая требование согласованности теории с опытом тривиальным и практически всегда легко выполнимым за счёт специального – искусственного – введения в неё необходимых дополнительных параметров, основным критерием истинности искомой им предельно общей теории считал её «внутреннее совершенство» (единственность и отсутствие каких бы то ни было произвольных – вводимых руками – дополнительных параметров).

Однако понятие опыта нуждается в уточнении, осуществлённом Рудольфом Штейнером (1861-1925). Ещё в своём раннем «Очерке теории познания гётевского мировоззрения, составленном, принимая во внимание Шиллера» (1886) [18], а затем в других своих основополагающих работах, таких, как «Истина и наука. Пролог к Философии свободы» (1892) [19] и «Философия свободы – основные черты одного современного мировоззрения. *Результаты душевных наблюдений по естественно-научному методу*» (1893) [20], он обосновал необходимость включить в опыт наряду с нашими непосредственными ощущениями и непосредственно воспринимаемые нами мысли, а также сам факт мышления, тем самым устраняя, в частности, предполагавшуюся Кантом «априорность» понятий пространства и времени, превращая его т.н. «вещи в себе» в «вещи для нас» и позволяя нам, не опираясь на какие бы то ни было предпосылки, выносить вполне определённые беспредпосылочные суждения о непосредственно доступном нам макром мире – косном (неорганическом, минеральном), живом (органическом, одушевлённом) или даже разумном (сознательном, одухотворённом). Правда, такие суждения в каждом из этих трёх случаев имеют свой характерный предмет: необходимые *законы природы* для сугубо причинно-следственных отношений косных минеральных объектов, определённые *типы живых организмов*, возможные – реализующиеся – *идеи*.

А умозрительно доступный нам физический микромир и все положенные в его основу т.н. фундаментальные структурные элементы материи, т.е. соответствующие элементарные и субэлементарные частицы и античастицы физической «пер-

воматерии», как, впрочем, и характерные уже для макромира атомные химические элементы, субмолекулярные биоорганические «кирпичики жизни» и введённые нами «ментальные элементы», лежащие в основе наших единообразных взаимосвязанных периодических систем физики, биологии и психологии, фактически представляют собой продукты мышления.

Штейнер выявил роль мышления (которое тоже есть опыт, причём особый, более высокий опыт в опыте, при помощи которого сам опыт углубляется), затем роль чувственных восприятий, затем суть науки, затем показал, как естественным образом (исходя из мыслимой закономерности) членился вся область научных исследований. При этом он и показал, где коренятся предпосылки (т.е. догматика) у Канта, которые оказались затем забетонированы и в фундамент всех последующих научных теорий, ставших в результате этого догматическими построениями, своего рода материалистической религиозной догматикой, материалистическим оккультизмом. Штейнер же показал возможность беспредпосылочного, т.е. основанного на чистом мышлении истинного познания, которое, собственно, есть новое творение.

Проследив познавательную жизнь Гёте во всех областях, Штейнер основал свою теорию познания, которая в своих основных принципах совпадает с гётевским мировоззрением (которое, однако, тот сам не сформулировал, не дойдя до мышления о мышлении, из-за чего оно ещё не было полным), заключает:

«Преодоление чувственности духом есть цель искусства и науки. Последняя побеждает чувственность, превращая её всецело в дух, первое – тем, что прививает ей дух. Наука смотрит *сквозь* чувственность на *идею*, искусство же видит последнюю *в* чувственности. Закончим наши рассуждения словами Гёте, выражающими исчерпывающим образом эту истину: Я думаю, что наукою можно назвать познание всеобщего, знание отвлечённое, искусство же – её механизм; поэтому его можно бы назвать также практической наукой. Таким образом, наука могла бы быть названа теоремой, а искусство – проблемой» [18, с. 94].

Здесь – уже в первой книге Штейнера – переход от чистого познания к практике, которая должна быть искусством. Отсюда в дальнейшем родилась практика антропософии: искусство воспитания, искусство врачевания, искусство земледелия, социальное искусство – всё то, в чём реализуются моральная интуиция, моральная фантазия и моральная техника (в отличие от догматических теоретических наук, породивших аморальные технологии)...

По разделяемому мною замечанию моей дочери Р.Г. Идлис: «Вышеупомянутые три философские книги Штейнера [18-20] – это не информация, это школа мышления, это "хорошо темперированный клавир" для начинающих мыслителей. Пройдя вместе со Штейнером весь путь и научившись самостоятельно разыгрывать эти мыслительные цепочки, подобно гаммам, можно развить способность к самостоятельному беспредпосылочному мышлению, а также видеть и исправлять мыслительные предпосылки у себя и у других. Это и есть путь к истине, предложенный 120 лет тому назад для всех, кто не поленился упражняться в музыке чистого мышления. А кто *не упражняется*, тот неизбежно будет фальшивить чуть ли не в каждой ноте... во всём, что не является голым описанием наблюдений».

Мышление существенно дополняет наши непосредственные наблюдения, ощущения, мысли и зачастую даже опережает их. Формулировки естественных проблем, как правило, опережают их решение. В частности, творчески мыслящие

математики обычно формулируют свои теоремы до их доказательства. Впрочем, сам вывод тех или иных утверждений, теорем, следствий из принятой исходной системы аксиом ещё не есть собственно творчество. Скорее настоящим творчеством оказывается возможное и необходимое изменение или дополнение привычных исходных положений, установок, аксиом.

Это особенно наглядно проявляется в олимпиадах – при порой мгновенном неожиданном решении по-настоящему олимпиадных задач. Такой феномен я неоднократно непосредственно наблюдал на примере своей дочери Р.Г. Идлис, успешно участвовавшей в своё время во многих всесоюзных олимпиадах, но не заиклившись затем даже на своём эффективном участии вместе с Л.Б. Меклером в, казалось бы, весьма успешном и перспективном развитии традиционного естествознания в наиболее сложной области – в биологии [21]» [13, с. 173-177].

Не могу оставить без существенного замечания раздел «Метеорологические представления Гёте» с соответствующим основным тезисом Штейнера:

«Относительно метеорологии заблуждаются так же, как и относительно геологии, когда исходят от действительно достигнутого Гёте и это считают за главное. Его метеорологические опыты нигде не завершены. Повсюду мы видим только замыслы. Его мышление всегда направлено на то, чтобы найти опорный пункт, исходя из которого внутренне можно упорядочить весь ряд явлений. Все объяснения, которые вводят внешнее, случайное, чтобы получить закономерный ряд феноменов, не соответствовали его духовному складу. Когда перед ним вставал какой-нибудь феномен, он старался связать с ним всё родственное ему, всё принадлежащее этому же кругу явлений, так, чтобы возникло целое, тотальность. В этом круге явлений нужно было найти принцип, при котором все закономерности, все родственные феномены, принадлежащие этому кругу явлений, проявились бы как необходимость. Пытаться объяснить явления этого круга, привлекая вне его лежащие отношения, представлялось ему неестественным. В этом мы должны искать ключ к пониманию принципа, установленного им в метеорологии. “С каждым днём я всё более ощущаю недопустимость приписывать неизвестным потокам и течениям воздуха влияние планет, Луны...” “Мы отклоняем все такие влияния, погодные явления на Земле мы не считаем ни за космические, ни за планетные, но мы должны объяснять их чисто земным”.

Гёте хотел атмосферные явления привести к причинам, лежащим в существе земного. Вопрос заключался в том, чтобы найти пункт, при котором непосредственно заговорят все остальные обуславливающие основные закономерности. Одним из таких феноменов является показание барометра. Также и Гёте рассматривал его как прафеномен и надеялся из него вывести всё остальное. Он изучал таблицы Шарона и нашёл, что “подъём и падение в различных, ближе или дальше лежащих, не слишком различных по широте и высоте местах наблюдения, показывают *почти параллельные результаты*”. Поскольку ему подъём и падение представлялись непосредственными явлениями силы тяжести, то он надеялся в изменениях показания барометра найти непосредственное выражение для качества силы тяжести. Но не следует только в это гётевское объяснение вносить ничего лишнего. Гёте ведь отклонил всякую постановку гипотез. Он не хотел ничего иного, как только найти и выразить наблюдаемых явлений, а не собственные фактические причины, в смысле сегодняшнего естествознания. В отношении к этому явлению должны быть взяты и все остальные атмосферные явления. Более всего интересовало Гёте обра-

зование облаков. Для этого он нашёл метод в учении Говарда: постоянно меняющиеся образования устанавливать в определённых основных состояниях и так, чтобы то, “что живёт в переменных явлениях”, “утвердить в пребывающих мыслях”. Он искал лишь средство объяснить преобразование формы облаков, так же как он в той духовной направляющей нити нашёл средство объяснить преобразование типичного облика листа растения. Так же, как там – та духовная нить, так и в метеорологии – различные “свойства” атмосферы на различных высотах, давали ему нить, на которую он нанизывал отдельные образования. И так же, как там, мы должны установить, что Гёте никогда не было свойственно рассматривать такую нить как действительное образование. Он ясно осознавал, что лишь отдельные образования могут рассматриваться как существующие для чувств в *пространстве*, а все высшие принципы существуют только для *духовного глаза*. Поэтому сегодняшние возражения – в отношении Гёте напоминают борьбу с ветряными мельницами. В его принципы вкладывают форму действительности, которую он отрицал сам, и надеются таким образом его ниспровергнуть. Но той формы реальности, которую он положил в основу конкретной идеи, сегодняшнее естествознание не знает. С этой стороны Гёте остаётся для него чуждым.

По-моему, следует заметить, что искомое т.н. «качество силы тяжести» на Земле, которое имел в виду Гёте, непосредственно связано – по закону всемирного тяготения Ньютона – с тем, что на собственно земную «силу тяжести» накладываются приливные гравитационные воздействия вообще всех мировых тел, причём прежде всего – именно «планет, Луны...», а также Солнца!

Аналогичным образом, на все «метеорологические явления», происходящие в атмосфере Солнца, вплоть до всевозможных «солнечных бурь» в виде возникающих время от времени «пятен» на Солнце и других проявлений солнечной активности, несомненно, должны оказывать определяющее влияние приливные гравитационные воздействия, вообще говоря, всех планет Солнечной системы (вплоть до самой Земли), но прежде всего наиболее массивной из них, а именно – Юпитера [12].

Для систематической регистрации солнечной активности обычно используются сводимые в единую шорихскую систему среднегодовые значения суточных относительных величин т.н. чисел Вольфа W .

Вероятной исходной физической причиной циклических вариаций солнечной активности могут и должны служить приливные гравитационные возмущения Солнца обращающимися вокруг него планетами. Планетные приливные возмущения Солнца, прямо пропорциональные массам планет и обратно пропорциональные кубам их средних расстояний от Солнца, имеют один и тот же порядок величины для Меркурия, Венеры, Земли и Юпитера, а для всех остальных планет – существенно меньший порядок величины. Кроме того, с т.н. внутренними планетами (Меркурием и Венерой), которые по сравнению с Землёй располагаются ближе к Солнцу и обращаются вокруг него быстрее, непосредственно могут быть связаны лишь сравнительно краткосрочные вариации, практически не сказывающиеся на рассматриваемых среднегодовых значениях чисел Вольфа. Поэтому основной вклад в их среднесрочные и долгосрочные вариации, обусловленные планетными возмущениями Солнца, может и должен вносить – наряду с Землёй – Юпитер, который обращается вокруг Солнца с сидерическим периодом (относительно неподвижных звёзд) около 12 лет ($T_{Ю} \approx 12$ лет).

Кстати, именно 12-летний календарный цикл лежит в основе традиционной астрологии – эллинистической, индийской и китайской.

При интерференции такого рода сравнительно долгосрочных 12-летних вариаций с обусловленными самой Землёй годичными гравитационными возмущениями Солнца, вообще говоря, могут и должны возникать вариации с периодом, равным разности периодов обращения Юпитера и Земли вокруг Солнца, т.е. $T = T_{\text{Ю}} - T_3 \approx 12 \text{ лет} - 1 \text{ год} = 11 \text{ лет}$, что как раз совпадает со средним 11-летним периодом фактических вариаций солнечной активности, а также систематические долгосрочные периодические вариации с периодом, который равен наименьшему целочисленному общему кратному этих двух периодов (12-летнего и 11-летнего), или, как правило, регулярно повторяющиеся всплески солнечной активности через очередные $12 \cdot 11 \text{ лет} = 132 \text{ года}$ (несмотря на всевозможные вариации её текущего периода). Это позволяет экстраполировать известные фактические данные о солнечной активности на прежние и будущие исторические эпохи.

«Земное эхо солнечных бурь» (возбудителем которых наряду с Юпитером является, кстати, и сама Земля) проявляется не только в рассмотренных ещё А.Л. Чижевским таких глобальных мировых катаклизмах, как засухи, неурожай, эпидемии, пандемии, психозы, войны, революции, катастрофы, которые, как правило, повторяются в среднем именно через 11 лет (по 9 раз за столетие) [22], но и в том, что со всплесками солнечной активности, как удалось установить мне, явно коррелируют и всплески творческой активности известных учёных, по крайней мере наиболее выдающихся физиков [23,12].

Кстати, вышеупомянутые фундаментальные работы Р. Штейнера «Истина и наука. Пролог к “Философии свободы” (1892)» [19] и «Философия свободы – основные черты одного современного мировоззрения. Результаты душевных наблюдений по естественнонаучному методу (1893, 1918)» [20], а также немецкий оригинал его работы «Естественнонаучные сочинения Гёте (1883)» и предвещающий эту работу Штейнера его «Очерк теории познания гётевского мировоззрения, составленный принимая во внимание Шиллера (1886, 1923)» [18], подготовленный, судя по предисловию к первому изданию (1886), ещё до того (по крайней мере в 1885 г.), вместе с упомянутой в предисловии к новому изданию (1923) неопубликованной тогда статьёй об атомизме (1882), – все они относятся именно к годам повышенной активности Солнца: 1882, 1883, 1885, 1892, 1893, 1918!

Аналогичным образом обстоит дело с самим Гёте, знаковые этапы жизни которого, отмеченные, в частности, И.И. Канаевым [2, с. 464-87], а именно такие, как первый замысел Фауста (1770-1771), участие в движении «Буря и Натиск» (1771-1772), начало выхода в свет первого собрания сочинений Гёте (1786), изучение инфузорий и других беспозвоночных (1786), разработка идеи метаморфоза растений (1786-1788), работа над Фаустом (1787-788), издание «Метаморфоза растений» (1790), концепция позвоночной теории черепа (1790), «Опыт о форме тела животных» – фрагмент (1790), издание «Фауста» в виде «фрагмента» (1790), начало подготовки своего научного архива к изданию (1806), стихи «Метаморфоз животных» (1806), окончание I ч. «Фауста» (1806), возобновление интереса к метеорологии в связи с описанием форм облаков Говардом (1815), сборник «Вопросы естествознания вообще, преимущественно морфология» (Т. I. Вып. I, 1817), публикация «Елены», фрагмента II ч. «Фауста» (1826), издание переписки с Шиллером (1828-1829), стихотворение «Завещание» (1829), автобиографическая книга «Анналы» (1830), окончание II ч. «Фауста» (1831), окончание IV ч. «Из моей жизни. Поэзия и правда» (1831), «О спиральной тенденции роста у растений» и другие ботанические статьи в связи с изданием «Метаморфоза растений» на французском языке в переводе Соре (1831), итоговая статья

«Автор сообщает историю своих ботанических занятий» (1831), – все они приходятся именно на годы повышенной солнечной активности: 1770, 1771, 1772, 1786, 1787, 1788, 1790, 1806, 1815, 1817, 1826, 1828, 1829, 1830, 1831!!

Судя по всему, с фазами солнечной активности, на которые приходятся такие особенно знаковые для каждого мыслящего человека события, как его рождение и кончина, связана традиционная тетрада психологических типов людей [12].



Г.М. Идлис и Г.Е. Куртик возле ГАИШ. Ноябрь, 2008 г.

При этом Штейнер (1861-1925), родившийся и скончавшийся в годы повышенной солнечной активности, как, кстати, и Шиллер (1769-1805), оказывается отнесённым к группе крайних «максималистов», или как бы принципиальных «сангвиников» полнокровного – «летнего» – типа, которые формулируют и ценят наиболее общие основы всего, а Гёте (1749-1832), родившийся в год повышенной солнечной активности, но скончавшийся в год её пониженной активности, оказывается отнесённым к переходной группе от крайних «максималистов» к крайним «минималистам», т.е. попадает в группу принципиальных «меланхоликов» итогового – «осеннего» – типа, склонных, прежде всего к дедуктивному нисхождению от общего к частному.

Показательно, что Ньютон (1643-1727), родившийся в год пониженной солнечной активности, но скончавшийся в год её повышенной активности, оказывается отнесённым к переходной группе от крайних «минималистов» к крайним «максималистам», или как бы принципиальным «холерикам» пробуждающегося – «весеннего» типа, склонным, прежде всего, к чисто индуктивному восхождению от частного к общему без измышления, как утверждал он, «каких бы то ни было гипотез».

Тот самый «индуктивный осёл Ньютон» [по известной характеристике Энгельса (1820-1895), относящегося, кстати, к той же переходной группе!], классическим основам естествознания которого дерзнул противопоставить свои *идеи* Гёте, сам относящийся, по моей классификации, к прямо противоположной переходной группе от крайних «максималистов» к крайним «минималистам»!!

Русские космисты К.Э. Циолковский (1857-1935), В.И. Вернадский (1863-1945) и А.Л. Чижевский (1907-1964), родившиеся и скончавшиеся в годы пониженной солнечной активности, относятся к группе крайних «минималистов», или к флегматикам холодного расчётливого «зимнего» типа, в которую входит, кстати, Эйнштейн (1879-1955), сопоставлявший начало и конец всех исследований, прежде всего, не столько с тривиально необходимым согласием теоретических выводов с соответствующими непосредственными наблюдательными данными, сколько с внутренним совершенством самой используемой или искомой и формулируемой предельно общей теории, а вместе с Эйнштейном – целая когорта корифеев релятивистской и квантовой физики: Эренфест (1880-1933), Шредингер (1887-1961), Фок (1898-1974), Сциллард (1898-1964), Ферми (1901-1954), Гейзенберг (1901-1976), Дирак (1902-1984), Вигнер (1902-1995), наряду с такими политическими деятелями, как Черчилль (1874-1965), Сталин (1879-1953), Чан Кайши (1887-1975) и Гитлер (1889-1945) [12].

Сам я, будучи однолетником со своей покойной женой А.А. Зильберберг (1928-1999) и принимая во внимание характер своих работ, склонен относить себя к противоположной психологической группе крайних максималистов, в которую входят – наряду с Шиллером (1769-1805) и Штейнером (1861-1925) – Маркс (1818-1883) и ... Иисус [12, с. 82-88].

Кстати, эта традиционная тетрада психологических типов вместе с известной триадой разделения мышления на логическое, образное (эмоциональное) и интуитивное (инстинктивное) составляют не что иное, как теоретически получаемые 12 равноправных типов мышления, характерных для обычных разумных индивидуумов с конечными индивидуальными потенциальными интеллектуальными возможностями, равноотстоящих по кругу друг от друга и аномально равноудалённых от особого центрального (нулевого или тринадцатого!) типа, характерного для Высшего Разума (Бога) с бесконечными возможностями, а также для т.н. «кубогих» индивидуумов с, напротив, крайне ограниченными возможностями, причём в двух врождённых ипостасях – экстравертной или интровертной [12].

Литература

1. *Гёте И.В.* Фауст. Трагедия. Первая и вторая части / Перевод К.А. Иванова. Санкт-Петербург: Имена, 2005. 648 с.
2. *Гёте Иоанн Вольфганг.* Избранные сочинения по естествознанию / Перевод с комментариями И.И. Канаева. Л.: АН СССР, 1957. 556 с. (Серия «Классики науки»)
3. *Канаев И.И.* Гёте как естествоиспытатель. Л.: Наука, 1970. 408 с.
4. *Штейнер Р.* Естественнаонаучные сочинения Гёте (1883) / Перепечатка самиздатской копии русского перевода, сделанного неизвестным переводчиком. Редактор и наборщица – восстановившая нечитабельные места и отсутствовавшие строки по английскому переводу – Р.Г. Идлис. С современным послесловием Г.М. Идписа. В печати.
5. *Идлис Г.М.* В поисках истины: поэтические наброски творческой автобиографии... М.: Агар, 2004. 190 с.
6. *Идлис Г.М.* Математическая теория НОТ и оптимальной структуры НИИ. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1970. 336 с. См. также 2-е изд. М.: URSS (ЛКИ), 2007. 368 с.
7. *Идлис Г.М.* Единство естествознания по Бору и единообразные взаимосвязанные периодические системы физики, химии, биологии и психологии. I / II // Исследования по истории физики и механики. 1990 / 1991-1992. М.: Наука, 1990 / 1997. С. 37-78 / 101-187.
8. *Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н.* Естествознание. М.: Агар, 1996. 384 с.

9. Буравихин В.А., Егоров В.А., Идлис Г.М. Биография электрона и его родословная. М.: Агар, 1997. 240 с.
10. Кузнецов В.И., Идлис Г.М. Естествознание и образование: итоги перемен и неотложные задачи. М.: Агар, 2005. 184 с.
11. Идлис Г.М. Концепции современного естествознания. Программа курса. М.: РГГУ, 2008. 44 с.
12. Идлис Г.М. Космический – солнечный – пульс Жизни и Разума: Всему своё время... (Концепции современного естествознания). М.: URSS (ЛКИ). 2008. 216 с.
13. Идлис Г.М. Основные черты наблюдаемой астрономической Вселенной как характерные свойства обитаемой космической системы // Известия Астрофизического института АН КазССР. 1958. Т. VII. С. 39-54.
14. Идлис Г.М. Революции в астрономии, космологии и физике. 2-е изд. М.: URSS («ЛИБРОКОМ»), 2009. 336 с.
15. Идлис Г.М. Высший Разум или Мыслящий Универсум как необходимый особый (предельный и вместе с тем исходный) эталонный фундаментальный структурный элемент материи // Взаимосвязь физической и религиозной картин мира (физики-теоретики о религии). Вып. 1 / Ред. д. ф.-м. н., проф. Ю.С. Владимиров. Кострома: МИИЦАОСТ, 1996. С. 126-127.
16. Barrow John D., Tipler Frank J. The Anthropic Cosmological Principle. With a foreword by John A. Wheeler. Oxford: Clarendon Press, 1986. 706 + XXp.
17. Томлин К.А. Фундаментальные физические постоянные в историческом и методологическом аспектах. М.: Физматлит, 2006. 368 с.
18. Штейнер Р. Очерк теории познания гётевского мировоззрения, составленный, принимая во внимание Шиллера (1886, 1923). / Разрешённый автором перевод [с немецкого] Н. Боянуса. М.: Парсифаль, 1993. 144 с.
19. Штейнер Р. Истина и наука. Пролог к «Философии свободы» (1892). Разрешённый автором перевод [с немецкого] Б.П. Григорова. М.: Московский центр вальдорфской педагогики, 1992. 56 с.
20. Штейнер Р. Философия свободы – основные черты одного современного мировоззрения. *Результаты душевных наблюдений по естественнонаучному методу* (1893, 1918)./ Перевод Б.П. Григорова. Сверка и редакция, а также вступительная статья «Книга – мистерия» К.А. Свасьяна. Ереван: Ной, 1993. 229 с.
21. Меклер Л.Б., Идлис Р.Г. Общий стереохимический генетический код – путь к биотехнологии и универсальной медицине XXI века уже сегодня // Природа. 1993. № 5. С. 24-63. Данная статья опубликована с предисловием академика В.Т. Иванова (с. 24), вместе с послесловием академика Д.Г. Кнорре и проф. М.А. Мокульского «Уникальная концепция. О работах Л.Б. Меклера и Р.Г. Идлиса» (с. 63-65) и приложением д.б.н. и к.ф.-м.н. А.А. Замятина «Протоколы испытаний теории нового кода» (с. 65-66), с заключением авторов «Постскрипtum – ответ акад. В.Т. Иванову» (с. 67-70) и вынесенными на наружные страницы обложки журнала цветными иллюстрациями! Воистину беспрецедентная для «Природы» – естественнонаучного журнала РАН – публикация!!
22. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. 2-е изд. М.: Мысль, 1976. 368 с.
23. Идлис Г.М. Закономерная повторяемость скачков в развитии науки, коррелирующая с солнечной активностью // История и методология естественных наук. Вып. XXII. Физика. М.: МГУ, 1979. С. 63-76.



Яков Грановский

МОЙ ДРУГ ГРИША¹

*О милых спутниках, которые наш век
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: «их нет»,
Но с благодарностью – «были»...*

В.А. Жуковский

Весна текущего года принесла ошеломляющую весть – в Москве скончался мой лучший друг, ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ ИДЛИС (для меня просто Гриша). Мы с ним дружили более 60 лет и, хотя жили в разных городах, регулярно встречались. Не буду говорить об этом, а просто поделюсь воспоминаниями о нашей юности, учёбе в КазГУ – уже больше некому рассказать об этом.

Начало, оно очень важно, в нём – зерно будущего...

Время и место. Преподаватели

Это началось в 1948 году, когда я поступил на I курс физико-математического факультета Казахского университета (КазГУ) в Алма-Ате. Тяжкое было время, всего полгода назад отменили продуктовые карточки, мы донашивали шинели, гимнастерки и сапоги отцов. А езда... я жил на Алма-Ате I (Кагановичский район), в 15 км от университета и каждое утро, в 6 часов уходил на «горветку» – пригородный поезд, который приходил на Алма-Ату II (в «город») в 7:30 утра – до начала лекций можно было поспать на задней парте. И так – пять лет...

Наш факультет состоял из двух отделений, физического и математического.

У математиков «царил» профессор Персидский Константин Петрович, академик Казахской АН, крупный специалист в теории устойчивости решений дифференциальных уравнений. Его окружал сонм учеников, диссертации которых были написаны «на персидском языке», т.е. все по теории устойчивости отдельных уравнений, обыкновенных, в частных производных, их систем (конечных и даже счётных) и т.п. Со временем многие стали докторами наук, среди них Вадим Александрович Харасахал, в ту пору наш ассистент по матанализу (и, кстати, чемпион Алма-Аты по боксу!).

У физиков тоже был свой профессор, Виктор Викторович Чердынцев (у студентов – ВикВик), ученик Я.И. Френкеля. Переехав из Ленинграда в А-Ату (не по своему желанию), он бросил теорию («не с кем общаться», по его словам) и углубился в исследование радиоактивности, заведовал кафедрой экспериментальной физики, ездил в экспедиции: там он обнаружил следы урана-233, редчайшего изотопа, установил «предка» четвёртого радиоактивного семейства, назвал его серкением². Оба эти открытия отмечены соответствующими дипломами и увековечены

¹ Прошу простить столь панибратский заголовок, но ведь называть друга по имени-отчеству – нонсенс.

² В память о своём репрессированном брате Сергее и в честь Великого Шелкового пути, по которому пролегли его экспедиции (шёлк по-казахски «серике»).

на его памятнике в Москве, на Введенском (Немецком) кладбище в Лефортове. Это был удивительный человек, о нём следовало бы написать много и отдельно, но не буду отвлекаться...

Нас, молодых студентов, вводил в курс физики доц. Ершов Алексей Данилович. Как он читал! Я часто забывал, что пишу конспект, заслушиваясь его вдохновенной речью... «Это – как песня!» – сказал однажды кто-то. В 1951 году его вынудили уехать из А-Аты (интриги...), но он не пропал – был проректором по науке во Владивостоке, а потом в Куйбышеве, где создавался новый университет³.

Вспомню и о Надежде Михайловне Петровой, ученице акад. Фока В.А. Она читала электродинамику и квантовую механику строго в духе учителя, с которым не порывала связи.

Несколько позже в А-Ату переехал проф. Л.А. Вулис, специалист по газодинамике, он быстро создал целую школу, в которую влились многие «бесхозные» сотрудники.

В общем, у нас были квалифицированные преподаватели, хотя и не блиставшие высокими учёными степенями. Впрочем, со временем они и этого достигли.

Студенты

КазГУ в то время был единственным на весь Казахстан университетом, к нам съезжались отовсюду – в моей группе были двое из Актюбинска (В. Кизнер и П. Усик), а ведь до него – вся республика по диагонали! Было много демобилизованных ребят, старше нас, школьников. Им было труднее учиться, школьную премудрость для них заслонила война.

Вот Коля Сыромятников, Гришин соученик, офицер-артиллерист, коммунист – он стал профессором, зав. отделом в Геологическом институте, ведущем институте Академии, где директором К.И. Сагпаев, президент Академии и «всесоюзный академик».

На их курсе училась красавица Майя Лишак, известная всей Алма-Ате женщина-адвокат, – она бросила юстицию (отдала мужу) и взялась за любимую математику, закончила аспирантуру в Москве у проф. А.Г. Куроша и вернулась домой преподавать в КазГУ, увы, ненадолго (рак...).

Однако всех ярче блистал Гриша: он учился тогда на 3-м курсе, был Сталинским стипендиатом и уже опубликовал свою первую научную работу (увы, по математике).

Я совсем не помню, как мы познакомились, скорее всего, на почве шахмат, которыми тогда увлекалась вся страна: Ботвинник – чемпион мира, его окружала когорта гросс'ов – Керес, Смыслов, Бронштейн. На нашем факультете были сильные шахматисты Брижак, Цай, Голяк – кандидаты в мастера. Тогда это был высокий класс. Их знали и ценили известные мастера Уфимцев, Каталымов, позже М. Таль. Гриша сохранил интерес к шахматам на всю жизнь, любил играть острые варианты, я же постепенно остыл (хотя играл по 1 разряду) – для хорошей игры надо было осваивать груды литературы, а где же взять время...

Как бы то ни было, но к зиме 49 года мы уже сдружились: нас было трое – Гриша, его сокурсник Саша Кострица и я, третий, надеюсь, не лишний. С Сашей мы потом работали в Институте Ядерной Физики, но это было уже в 60-х гг. На их

³ В 70-х гг. я дважды по приглашению АД побывал там с лекциями.

3-м курсе (так он и остался в памяти третьим) я вскоре стал совсем «своим», иногда ходил на их лекции, просто послушать (позже вместе с ними сдавал теорию Дирака, по лекциям Ершова, так как уже знал, что он уезжает).

О других студентах тоже можно многое рассказать...⁴

Вот, к примеру, Нурлан Исаев, очень изобретательный студент; он скрывал, что его отец, председатель СНК Казахстана, погиб в 1937 году. Или Вигя Стафеев, после КазГУ уехал в Ленинград, там вырос в доктора физики, работал с Ж. Алферовым, был директором института в Зеленограде, нашей Силиконовой долине. Оба талантливые ребята, но... водка...

Мечты

О чем мы говорили, о чем мечтали? О Науке – время было горячее, на устах у всех была атомная бомба, физики были в почёте, а какие конкурсы были на физических факультетах... Вот тогда-то и родилась проблема «физики–лирики». Для Гриши никакой такой проблемы не было – он писал стихи, и это знали все безо всяких публикаций. ВикВик тоже писал стихи и даже давал их читать Анне Ахматовой (он же ленинградец), и она их вроде бы не отвергала.

А о чём мечталось? Совсем не об открытиях, а просто о хороших задачах. Меня всю жизнь манили элементарные частицы, проблема лэмбовского сдвига, а Гриша был на перепутье – как раз в это время к нам начал приезжать проф. А.Д. Александров: его, альпиниста, манил Тянь-Шань и Заилийский Ала-Тау, а КазГУ был в этом плане хорошей базой. Параллельно с альпинизмом он создал группу студентов-математиков и увлёк их своими выпуклыми многогранниками. Окончив университет, часть этой группы (М. Квачко, Л. Погодина, Е. Сенькин) уехали в аспирантуру в Ленинград и вскоре стали кандидатами наук.

Гриша и Аня (они к этому времени поженились) хотя и входили в эту группу, но никуда не поехали. Аня преподавала, была заочной аспиранткой и тоже вскоре защитилась...



Григорий с молодой женой в горах, начало 1950-х годов

⁴ Я не касаюсь моих сокурсников, из них выросли вполне достойные учёные – но не о них здесь речь.

Вот вспомнился один случай: сидим, разговариваем и Гриша говорит: «А ведь мы живем под гравитационным радиусом!» Я: «Как так?» Он: «Гравитационный радиус Вселенной больше её размера, Вселенная извне(!) выглядит недоступной черной дырой (правда, тогда этого термина ещё не было). Можно сказать, как элементарная частица. И у неё тоже несколько параметров, как у частицы. Только они не совсем произвольные – надо их так подогнать, чтобы была возможна жизнь». Вот так, в этом разговоре возник тот самый «антропный принцип»... Спасибо Я.Б. Зельдовичу, который своим авторитетом отстоял Гришин приоритет!

Много разного обсуждали мы в те годы...⁵

Реальность

А в жизни было всякое... В 1951 г. Г.М. Идлис окончил учёбу, защитив две дипломные работы – по математике и по физике (не мог выбрать!) – и получил два диплома!

И тут его, лучшего студента, Сталинского стипендиата, отправили не в науку, а в школу – учить детей. Хотя другие сокурсники пошли в аспирантуру – да тот же Саша Кострица – став для этого членами партии...

Поймите меня правильно – школа это очень и очень важно, но надо же понимать – человека с таким научным потенциалом делать школьным учителем...

Многие студенты были просто ошарашены: выходит, ни к чему хорошо учиться, для комиссии по распределению важны *другие* критерии. Вот так, на таких примерах «воспитывали» молодых специалистов! Им демагогически отвечали: «Ваш кумир, Эйнштейн, тоже был учителем и даже добивался этого».

Да, Эйнштейн некоторое время был школьным учителем, но он быстро попал в патентное бюро и там, а *не в школе* нашел себя. Было это в Швейцарии, в начале века, а в наше время (1951 г.) в СССР расстреляли весь Еврейский Антифашистский Комитет! Идлис – еврей, а его сталинская стипендия – это уже прошлое...⁶

... но мир не без добрых людей – Гриша случайно (!) встречает проф. Л.В. Гульницкого (из Горного института), заместителя директора Института Физики и Астрономии, и тот советует ему подать заявление в аспирантуру к академику В.Г. Фесенкову. Так он и сделал⁷. Гриша успешно сдал экзамены, и ГорОНО был вынужден его отпустить, хотя шёл уже октябрь месяц! Так закончилась школьная карьера будущего профессора...

Фес не пожалел о своём поступке – уезжая из Алма-Аты, он вместо себя оставил директором Астрофизического института профессора (!) Идлиса.

Гриша и здесь был верен себе: став директором, он придумал математическую теорию оптимального научного института и написал об этом книгу в духе

⁵ Об одном таком событии Гриша рассказал в примечании к моей статье в сборнике «Исследований по истории физики и механики. 2008».

⁶ Интересно, что сам «виновник» этой кутерьмы готовился к сентябрьским занятиям в школе, думал о школьном кабинете физики и о постановке демонстраций на уроках.

⁷ Эту версию мне поведал Гришин сын Боря. Мне известна и другая история: один из наших преподавателей – доц. М. Маркович – поговорил с академиком В.Г. Фесенковым и порекомендовал ему взять хорошего студента в аспирантуру. Не знаю, какая история верна... А может, обе? Эта история задела многих, многие в городе знали о талантливом студенте и о его «деле».

НОТ (тогда модной «научной организации труда»). Эта книга сыграла позже важную роль и помогла ему переехать в Москву.

Future in the Past

Тривиальна истина, что будущее заложено в прошлом, но не будем упускать из виду, что для реализации этого будущего необходима регулярная, подчас нелёгкая работа. Все те 20 лет (вторая четверть его жизни), что Гриша провёл в Астрофизическом институте, были заполнены такой работой. Здесь он написал многие статьи по астрофизике, защитил обе диссертации, издал «Динамику звёздных систем» и «НОТу» (как её шутя называла Аня), стал Заслуженным деятелем науки КазССР (однако, в Академию его не пропустили!).

Административная деятельность начала его тяготить, но уйти от директорства столь же сложно, как и достичь его... Помог случай: президент «нашей» Академии наук увидел Гришу беседующим с М.В. Келдышем, президентом АН СССР, и сразу сделал «соответствующие» выводы – значит, Идлис вхож в верха, знаком с «самим»... И вот в 1972 году Гриша появляется в московском Институте истории естествознания и техники в качестве научного сотрудника. Здесь в полной мере проявилась его широкая эрудиция, но об этом лучше меня расскажут его коллеги по работе, я наблюдал за нею издали. Хочу только обратить внимание на простой факт – этому институту отдано полжизни (38 лет)!..

Эпилог. Попытка портрета.

Каким же представляется мне мой друг теперь, когда жизнь прожита, а идеи воплощены в книги и статьи?

Прежде всего, и главным образом, исключительно добрым человеком. Это мнение не только моё. Это его качество бросалось в глаза с первых минут знакомства и только укреплялось в дальнейшем, а уж за многие годы – тем более! Эта доброта в нём естественно сочеталась с доверчивостью, подчас просто детской. Он не мог (или не хотел) отделять слова от поступков. И его счастьем было то, что рядом с ним была его жена Аня (Анна Абрамовна Зильберберг), вполне владевшая этим жизненным умением. Она впитала образ жизни в панской Польше (родилась в Люблине и 11 лет жила там вместе с родителями), как и способ бытия в СССР, и разбиралась в людях куда лучше своего романтического мужа. Но послушает он с улыбкой возражения Ани или мои, а сделает всё равно по-своему. Что это? Упрямство, уверенность в своей правоте? Не знаю...

Доброта в сочетании с обаятельностью делали его неотразимым в глазах многих женщин, в избобилии окружавших его⁸.

И вторая сторона – глубокая основательность, то, что называется солидностью. Все его мысли были продуманы до конца и широко обоснованы. Простейший пример – огромная статистика выдающихся учёных, собранная и проанализированная в связи с влиянием солнечной активности на их деятельность.

⁸ Когда прежний Институт астрономии и физики разделился на Астрофизический и Физико-технический, ВикВик написал короткую эпитафию: «ИАФ разбился как арбуз/ на две неравных половинки./ В одной – весьма солидный груз./ В другой – прелестные блондинки!»

А вот мнение авторитетного учёного, академика Н.С. Кардашева, близкого знакомого Гриши ещё с алма-атинских времён: «Во-первых, – широта интересов. Во-вторых, – стремление и умение доводить всё до конкретных результатов. В-третьих, – фундаментальность соответствующих выводов». Насколько мне известно, никаких ошибок в его работах нет! А посвящены эти работы весьма серьёзным вещам. Я не буду перечислять его достижения – он сам описал их в форме поэмы «Итоги» в одной из своих книг («В поисках истины»).

Что остаётся после нас? Трудный вопрос...

Уж если о великом Эйнштейне широкие массы помнят только $E=mc^2$ (да и то не всё понимают, как показал Л.Б. Окунь), то что говорить о нас, грешных.

И всё же, что? «Чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, строчки и другие долгие дела» – Маяковский. Да нет, какие там пароходы! Возражает мудрая Ахматова: «Ржавеет золото и истлевает сталь.... *Всего прочнее* на земле печаль и **долговечней царственное Слово**». Снею солидарен Пушкин: «Я памятник себе воздвиг *нерукотворный*», а Державин прямо спорит с Маяковским: «Металлов *твёрже* он и выше пирамид».

Короче, остаётся Слово, которое «в Начале было» и которое останется навсегда!

Для учёного, каким был Гриша, – это его **Мысли**, воплощенные в **Слова**.

Институт физики горных процессов
Национальной Академии Наук Украины,
г. Донецк



Лев Гиндилис

ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ ИДЛИС – ЧЕЛОВЕК, УЧЕНЫЙ, МЫСЛИТЕЛЬ

Воспоминания о старшем товарище

С Григорием Моисеевичем Идлисом я познакомился в 1954 году. Я тогда учился на астрономическом отделении МГУ, и меня вместе с Димой Куртом (Владимир Гдальевич Курт) после окончания 4 курса направили на преддипломную практику в Алма-Атинскую обсерваторию, которую тогда возглавлял Василий Григорьевич Фесенков. Там я и познакомился с Гришей Идлисом и его супругой Аней Зильберберг. Наше общение, в основном, происходило на волейбольной площадке, также в стенах института; иногда Идлисы приглашали нас, студентов-практикантов, к себе домой. Гриша только что закончил аспирантуру и, насколько я помню, уже завершил работу над диссертацией, которую он успешно защитил в ГАИШе в 1955 г. После окончания университета мне пришлось работать на Алма-Атинской обсерватории, где был установлен спектрограф Н.Н. Парийского для наблюдений противосияния и зодиакального света. Так что знакомство с Идлисом было продолжено. Не прекращалось оно и позже, когда спектрограф был перенесён в Высокогорную экспедицию ГАИШ, близ Алма-Аты. Мне часто приходилось бывать на обсерватории, а Гриша и Аня иногда приезжали в гости в экспедицию. Казалось бы, после успешной защиты кандидатской диссертации можно было немного расслабиться, отдохнуть, заняться обустройством жизни. Но Гриша сразу же сел за пишущую машинку (большая редкость в то время!) и начал писать докторскую. Пишущая машинка – не компьютер, и, если человек садится за неё, чтобы писать диссертацию, значит, он уже всё продумал и уверен, что исправлений будет немного.

В те годы Идлис выполнил серию блестящих работ по астрофизике, увенчавшихся защитой докторской диссертации (1964 г.). Одним из оппонентов по диссертации был Иосиф Самуилович Шкловский, которому было нелегко угодить. Но он очень высоко оценил эту работу. (Правда, впоследствии Шкловский довольно скептически относился к работам Идлиса, содержащим философские обобщения).

В то время большинство учёных были убеждены, что задача науки, и астрономии в частности, объяснить, КАК устроен Мир. Идлис задался вопросом, ПОЧЕМУ он устроен так, а не иначе. Надо сказать, что он не один задумывался над этим вопросом. Известно высказывание А. Эйнштейна: «Что меня действительно глубоко интересует, так это – мог ли Бог создать мир иным?». Также и К.Э. Циолковский спрашивал себя: «Почему же всё проявляется в той, а не в другой форме, почему существуют те, а не другие законы природы? Ведь возможны и другие...». Идлис попробовал решить этот вопрос, исходя из самого факта нашего существования. Анализ этой проблемы привёл его к выводу, что мы наблюдаем не произвольную область Универсума, а ту, в которой существует познающий её субъект, и в которой реализовались необходимые для его существования условия (1958). По существу, это была первая формулировка *антропного принципа*. Приблизительно в те же годы Абрам Леонидович Зельманов сформулировал этот принцип в виде следующего афоризма: «Мы яв-

ляемся свидетелями процессов определённого типа потому, что процессы другого типа протекают без свидетелей». Надо признать, что обоснование антропного принципа с астрономических позиций было дано Г.М. Иддисом. Лишь десять лет спустя появилась известная статья Б. Каргера, в которой и был введён термин «антропный принцип». Она послужила истоком для целой лавины работ, где антропный принцип был распространён за пределы астрономии как фундаментальный принцип мироздания, относящийся к самым его основам, включая и микромир.

В 1964 г. после переезда Василия Григорьевича Фесенкова в Москву Иддис был назначен директором Астрофизического института АН Каз.ССР. Он продолжал свои научные исследования в области астрофизики, динамики звездных систем и космологии. В то же время, по необходимости, он должен был заниматься решением научно-организационных проблем. Как теоретик Иддис не ограничился их практическим решением. Он стремился найти оптимальные стратегии научной организации труда (НОТ). К этому периоду относятся его первые статьи по НОТ, а также монография «Математическая теория научной организации труда и оптимальной структуры научно-исследовательских институтов». Алма-Ата, 1970. Именно в этой работе, насколько я могу судить, Иддис впервые подошел к проблеме деления разумных индивидуумов на 12 типов по уровню их потенциальных интеллектуальных способностей. Впоследствии он использовал этот результат при развитии концепции единства законов материи на всех уровнях ее организации — от физического до ментального. Но эти работы выполнялись уже в Москве, в Институте истории естествознания и техники (ИИЕТ РАН).

После переезда Григория Моисеевича в Москву мы встречались с ним на семинарах, иногда перезванивались. Григорий Моисеевич дал согласие войти в Ученый совет Научно-культурного центра SETI, активно участвовал в работе семинара НКЦ SETI в ГАИШе, а в последнее время — в семинаре Секции проблем космического мышления и Живой Этики при Московском космическом клубе. Я не берусь судить о многогранной деятельности Иддиса в ИИЕТ. На меня наибольшее впечатление произвели его работы о единстве законов материи на всех уровнях ее организации. Впервые я услышал об этом в его докладе на симпозиуме в Вильнюсе в 1987 г., а уже позднее познакомился с его работами в этой области. Попытаюсь изложить, как я понял его идеи.

Следуя за Ньютоном, Иддис вводит в самые общие метафизические рассуждения о Природе математические начала, но уже с учетом квантовых представлений современной науки. Это позволило ему установить принципиальное единство фундаментальных законов строения материи на различных уровнях ее организации (физическом, физико-химическом, химико-биологическом и психологическом). Он показал, что все многообразие структурных форм материи на всех уровнях ее организации можно описать с помощью трех (и только трех!) универсальных характеристик, каждая из которых принимает ряд квантованных собственных числовых значений. Иддис называет их: интегральная I , дифференциальная D и спинальная S . На каждом уровне самоорганизации материи общее число значений для всех трех универсальных характеристик тождественно равно числу фундаментальных структурных элементов материи на данном уровне, которые как раз и реализуют эти собственные значения. Такое удивительное соответствие, по-видимому, является одним из проявлений разумной, предопределенной гармонии Вселенной.

На физическом уровне фундаментальными структурными элементами являются лептоны, кварки и антикварки. Кварки и антикварки различаются электриче-

скими и цветовыми зарядами. Имеется шесть типов кварков, шесть антикварков и четыре лепгона (электронное нейтрино и антинейтрино, электрон и позитрон). Общее число фундаментальных структурных элементов равно $6 + 6 + 4 = 16$. Дифференциальная характеристика D сводится к цветовому заряду, интегральная I – к электрическому заряду, а спиальная характеристика – к спину. Дифференциальная и интегральная характеристики принимают по 7 собственных значений каждая, а спиальная характеристика имеет два собственных значения. Общее число собственных значений $7 + 7 + 2 = 16$.

На химическом уровне фундаментальными структурными элементами являются эталонные химические элементы. Начиная с нейтрона и кончая идеальным элементом Id с атомным номером $Z = 118$: $n, H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Id$. На биологическом уровне фундаментальными структурными элементами являются стандартные генетически значимые аминокислотные и нуклеотидные основания, выступающих в качестве эталонных субмолекулярных биоорганических блоков. Наконец, на ментальном уровне это типичные разумные индивиды (психологические типы), различающиеся по характеру мышления – соотношением интуиции, логики и эмоций.

Существенно, что число возможных основных последовательных уровней организации материи не может быть произвольным. Их должно быть четыре (и только четыре!). А именно рассмотренные выше: физический, химический (точнее, физико-химический), биологический (или химико-биологический, биохимический) и четвертый, которому Идлис не сразу подобрал название: человеческий, биосоциальный, антропный, сознательный, разумный, психологический. Если три универсальные характеристики можно рассматривать как выражение троичности Мира, то четверку уровней самоорганизации материи можно ассоциировать со знаменитой тетрадой пифагорейцев. А в совокупности они дают число семь. В соответствии с четырьмя уровнями организации материи Идлисом разработаны четыре *взаимосвязанные* периодические системы эталонных фундаментальных структурных элементов материи.

Первая (исходная) система, как мы видели, действует на физическом уровне и целиком основа на существующей классификации элементарных (точнее, фундаментальных) частиц – лептонов и кварков; она теоретически обосновывает все характерные величины всех элементарных лептонов и кварков исходного электронного поколения. Вторая система, действующая на химическом уровне, представляет собой модернизированную периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева; она подводит необходимые общетеоретические физические основы под периодическую систему элементов Д.И. Менделеева. Существенно, что на основе циклически замыкающейся системы атомных химических элементов Идлис предсказал существование *идеального* элемента Id с предельным атомным номером $Z_{\max} = 118$, который был впоследствии синтезирован в Дубне. Две последние системы фундаментальных структурных элементов, действующие на биологическом и психологическом уровнях, созданы Идлисом заново и представляют собой совершенно новый феномен в науке.

На каждом уровне имеются *ключевые элементы*, «открывающие» и «замыкающие» систему эталонных фундаментальных структурных элементов на этом уровне. Идея о ключевых элементах хорошо иллюстрируется стихотворением Идлиса с длинным названием: «Закон природы как некое необходимое общее правило со вполне возможными закономерными исключениями из него или особыми ключами к нему».

Для всех бесспорных истин много ль, мало ли?
 Воистину, как правило, нет правила
 Без всяких *исключений* из него!
 Во-первых, *исключения* того,
 Которое, по самым общим правилам,
 Не только *подтверждает* это правило,
 Но служит одновременно *ключом*
 Само же для *открытия* его –
 Искомое закона или правила,
 Всего их *Зámка* и *замкá*, как правило!!
 А во-вторых, в конце концов, того,
 Что *Зáмок* замыкает на *замóк*!!!

В физике *ключевыми элементами*, «открывающими» и «замыкающими» систему эталонных фундаментальных структурных элементов физической первоматерии, являются нейтрино и антинейтрино исходного электронного поколения.

В химии аналогичными ключевыми элементами являются нейтрон и антинейтрон Идлис обращает внимание на то, что Д.И. Менделеев с самого начала считал, что периодическая система химических элементов должна начинаться *не с водорода*, а с некоего гипотетического наилегчайшего «эфирного» элемента. Однако он не решился обременить свою систему, не всеми и не сразу признанную, еще допущением о существовании гипотетического элемента.

В биологии ключевыми элементами являются простейший глициновый аминокислотный остаток и особый пролиновый аминокислотный остаток. Из этой системы также вытекает, что общими жизненно необходимыми элементами, входящими в состав каждого из стандартных – генетически значимых – биоорганических блоков могут и должны быть *только* водород (H), углерод (C), азот (N) и кислород (O). Кроме того, в некоторые функционально выделенные блоки могут входить (и действительно входят!) фосфор (P) или сера (S).

Наконец, на ментальном уровне организации материи, еще по существу незагруном наукой, Идлис подвел необходимые общетеоретические (биофизические) основы под единую периодическую систему эталонных ментальных элементов, обосновав существование периодической циклически замыкающейся системы ментальных элементов. Ключевым элементом в этой системе является, «божественно всемогущий Высший Разум (Бог)» с бесконечными потенциальными возможностями, которым соответствует нулевое значение характеристик $D(0) = I(0) = 0$. Остальные теоретически предсказанные типы мышления, числом 12, циклически замыкаются вокруг исходного (нулевого) уровня, образуя двенадцатиугольник. Число 12 является совершенным в пифагорейской математике. Как подчеркивает Идлис, Высший Разум «необходим для полной гармонии всех фундаментальных структурных элементов материи». Но в отличие от последних, он «заведомо не может быть продуктом ее естественной самоорганизации, а выступает в качестве всеобщего *первоначала* и *предела*, оставаясь, однако, несмотря на эти две свои ипостаси, принципиально единым, самоотжественным и неизменяемым». Важно подчеркнуть, что все выводы, относящиеся к Высшему разуму, получены Идлисом без всяких ссылок на какие бы то ни было философские системы, исключительно на основе строго научного математического подхода.

Интересно отметить, что по суммарному числу собственных значений для всех трех универсальных характеристик, а также по тождественно равному ему

числу структурных элементов материи рассматриваемые уровни разделяются на две пары. Два нижних уровня, не имеющих непосредственного отношения к Жизни и Разуму, и два верхних, связанных с Жизнью и Разумом. Для первой пары уровней эти суммарные числа равны 16, а для второй 28.

Когда в СССР начались работы по поиску внеземных цивилизаций, Идлис, по складу своего ума, не мог остаться в стороне от этой проблемы. Помню наши плодотворные беседы на эту тему. Идлис был участником первой советско-американской конференции SETI в Бюракане (1971), участником Зеленчукской школы-семинара SETI (1975), Всесоюзного симпозиума «Вильнюс: SETI-87». Его немногочисленные, но очень глубокие работы по проблеме внеземных цивилизаций сохраняют свое значение до настоящего времени.

В 1975 г., анализируя закономерности развития космических цивилизаций, Идлис развил идеи об информационной экспансии цивилизаций в другие макромиры. Поскольку экстенсивное техническое развитие цивилизаций, даже в случае их экспансии в космическое пространство, не может продолжаться достаточно долгое время, возникает трудность с реализацией их познавательной деятельности. По мнению Идлиса, познавательная функция цивилизаций является основополагающей, по мере развития цивилизаций она должна усиливаться. Если на ранних стадиях цивилизация познает окружающий мир, чтобы обеспечить себе выживание в этом мире, то в дальнейшем она переходит «от познания ради жизни к жизни ради познания». Познавательная функция должна развиваться экспоненциально. Идлис видит глубинное обоснование этого закона в теореме Гёделя. Но как обеспечить постоянное экспоненциальное развитие познавательной функции, учитывая ограниченность технического развития цивилизаций? Идлис предлагает нетривиальное решение: цивилизации должны развиваться не «наружу» в космическое пространство, а «внутри». В глубины материи, в другие соприкасающиеся с нашим миром квазизамкнутые миры, используя в качестве «туннелей» для проникновения в эти миры элементарные частицы нашего мира. Конечно, в этом случае речь может идти только об *информационном* проникновении. На основании этих идей Идлис пришел к выводу, что жизнь на Земле, по всей вероятности, возникла не случайно, а в результате разумной деятельности (информационного проникновения) некоторой неизмеримо более развитой цивилизации из соседнего квазизамкнутого макромира. Это очень интересная конкретизация идей К.Э. Циолковского о посеве жизни и идей Ф. Крика и Л. Оргела о направленной панспермии.

Изложенные представления основаны на концепции *макро-микросимметрии* Мира, согласно которой каждый квазизамкнутый макромир, подобный нашей Вселенной, при наблюдении извне (из другого подобного макромира) представляется элементарной частицей этого мира, а сам этот мир, в свою очередь, является элементарной частицей первого мира. Получается система «взаимопроникающих» миров. В Едином, Вечном и Беспредельном Космосе содержится неисчислимо множество таких миров-вселенных. И каждая частица любого такого мира потенциально содержит в себе весь структурно неисчерпаемый материальный Космос. Опираясь на идеи М.А. Маркова о фридмонах, Идлис развивает концепцию макро-микросимметрии Мира в ряде своих работ (см., например, Г.М. Идлис. «Революция в астрономии, физике и космологии»).

В заключении мне хотелось бы остановиться на последней книге Г.М. Идлиса «Космический – солнечный – пульс жизни и разума: всему своё время...». Первое

издание ее вышло в 2008 г., а второе в 2010 г., незадолго до ухода Григория Моисеевича из жизни.

Формально книга посвящена проблеме корреляции творческой активности людей (на примере ученых) и физической активности Солнца (*солнечной активности*). Но фактически в ней рассматривается такое множество вопросов, что тематику книги определить трудно. В ней, в частности, затрагивается и проблема единства законов материи на всех уровнях ее организации, о которой говорилось выше [соответствующий раздел в книге называется: «На пути от всех естественных – так называемых точных – наук к их ключевой (исходной и заключительной) метанауке и к истинной духовной науке»]. В какой-то мере, книга подводит итог большого творческого пути, пройденного автором.

Книга открывается несколькими стихами автора: «Memento Mori», «Credo ученого», «Молитва автора», «Всё начиналось с Библии», «Время». Последнее стихотворение позволяет понять смысл подзаголовка к книге: «всему свое время...». Речь идет о времени разбрасывать и времени собирать камни. Идлис говорит о том, что время разбрасывать камни недавно минуло в прошлое. Наступает новое время, время синтеза, время собирать камни. «Вычленил камни из глины, освободить их от тины, соединить воедино! Мастерски!! Несокруσιμο!!!».

Переходя к сути проблемы, Идлис обращает внимание на два обстоятельства: 1) всплески особой *творческой активности* наиболее выдающихся ученых, как правило, совпадают с циклически повторяющимися всплесками *солнечной активности*; 2) даты рождения и кончины таких ученых приходятся, в зависимости от их психологического склада (типа мышления), на различные фазы солнечной активности. Как уже отмечалось выше, Идлис подразделяет разумные индивидуумы по психологическому складу мышления на 12 типов, которые, как он отмечает, невольно перекликаются с 12 знаками Зодиака или с 12 месяцами *лунно-солнечного* календарного года. Их можно разбить на 4 группы (по три типа в каждой группе), сопоставляя каждую группу с соответствующим сезоном года: весна, лето, осень, зима. Каждый из выделенных таким образом *четырёх* основных психологических типов можно связать с уровнем солнечной активности, приходящимся на даты рождения и смерти рассматриваемых разумных индивидуумов.

К первому типу относятся люди, родившиеся в эпоху минимума солнечной активности и скончавшиеся в эпоху максимума. Это первый переходный тип от крайних минималистов к крайним максималистам. Их можно ассоциировать с пробуждающимся «весенним» типом (I). Эти люди склонны к чисто индуктивному восхождению от частного к общему. Типичным примером является И. Ньютон.

Ко второму типу Идлис относит людей, родившихся и скончавшихся в годы максимума солнечной активности. Это крайние максималисты «летнего» типа (II). Они ценят и формулируют, прежде всего, наиболее общие исходные принципы (аксиоматические основы) всего естествознания. Примером является М. Планк.

Третий тип образуют люди, родившиеся в эпоху максимума солнечной активности и скончавшиеся в эпоху минимума. Это второй переходной тип от крайних максималистов к крайним минималистам – «осенний» тип (III). Люди этого типа склонны, прежде всего, к дедуктивному нисхождению от общего к частному. Типичный представитель – Н. Бор.

Наконец к четвертому типу относятся люди, родившиеся и скончавшиеся в годы минимума солнечной активности. Это крайние минималисты «зимнего» типа (IV). Для них не столь важно сопоставление теоретических выводов с наблюдатель-

ными данными, сколько внутреннее совершенство используемой или искомой и формулируемой предельно общей теории. Типичный представитель А. Эйнштейн.

Сопоставляя выделенные им типы с четырьмя традиционными психологическими типами (первый тип – холерики, второй – сангвиники, третий – меланхолики, четвертый – флегматики), Идлис подчеркивает, что такое сопоставление следует понимать условно.

Для статистики Идлис использовал выборку из 132 выдающихся ученых, из которых 49 являются лауреатами Нобелевской премии. Распределение их по четырем психологическим типам определяется соотношением: $N = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 = 33 + 25 + 32 + 42 = 132$, что с точностью до 10% совпадает с математически ожидаемой их численностью. Чрезвычайный интерес представляют комментарии автора к выборке ученых. В результате анализа Идлис приходит к выводу, что ученые, входящие в ту или иную группу, соответствуют необходимым критериям не только по факту своего рождения и смерти, но и по существу – по соответствующим психологическим особенностям своей научной деятельности.

Для изучения корреляции творческой активности ученых с солнечной активностью Идлис использовал выборку из 757 научных достижений, отмеченных в биографическом справочнике Ю.А. Храмова «Физики». Из них 438 падают на период повышенной солнечной активности. Детальный математический анализ показывает, что отклонение относительной величины $438/757 = 0,579$ от математического ожидания превосходит утроенную дисперсию соответствующего нормального распределения. То есть, корреляция является статистически надежной.

Очень интересен раздел о корифеях естествознания. Идлис рассматривает матрицу из 25-и корифеев естествознания:

Пифагор	Анаксагор	Сократ	Платон	Аристотель
Галилей	Кеплер	Декарт	Гюйгенс	Ньютон
Лейбниц	Кант	Гаусс	Фарадей	Максвелл
Менделеев	Пуанкаре	Планк	Резерфорд	Эйнштейн
Нильс Бор	Шредингер	Гейзенберг	Дирак	Гёдель

Он дает лаконичную характеристику основных идей каждого из них. Данная последовательность корифеев естествознания, отмечает Идлис, является вполне обоснованной, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, *исторически*, как хроника, во-вторых, *логически*, так как члены этой последовательности, как правило, в чем-то прямо противостоят своим непосредственным предшественникам, но в результате выдвигают все более глубокие концепции.

В ряде разделов рассматриваются взаимоотношения поколений, учителя и ученики; психологические типы некоторых государственных и общественных деятелей и др. Я не буду останавливаться на этих вопросах. Вернемся к статистике.

Идлис рассмотрел статистику рождаемости, смертности и продолжительности жизни для рассматриваемой выборки выдающихся ученых. Установленные им связи солнечной активности с продолжительностью жизни позволяют дать прогноз окончания жизни. Давать такой прогноз для ныне живущих ученых Г.М. Идлис считал неэтичным, но он попытался проверить его на себе, определив критический год своей жизни $t_{кр} = 2013 \pm 1$ г. Он немного не дожил до этого срока. Отдадим же должное мужеству ученого и отсутствию у него предрассудков: ведь, не каждый согласится обсуждать сроки своей жизни.

В книге дается и анализ собственной творческой активности автора, в том числе ее циклических вариаций. Идлис считает, что генеральная линия его научной деятельности – от частного к общему и обратно. Свой путь в науке он делит на пять периодов.

В первый период (1951-1961) он занимался астрофизикой, космогонией, космологией.

Во второй период (1962-1972), после назначения заместителем директора, а потом директором Астрофизического института в Алма-Ате, он продолжал свои научные исследования в области астрофизики, динамики звездных систем и космологии. В то же время, по необходимости, он должен был заниматься решением научно-организационных проблем. Идлис не ограничился их практическим решением, стремясь теоретически найти оптимальные стратегии научной организации труда (НОТ), о чем уже говорилось выше. Занимаясь науковедением, Идлис стремился превратить его в настоящую науку, аксиоматически оформленное науковедение, родственное точному естествознанию.

В третий период (1972-1985) Идлис занимался в ИИЕТ традиционными историко-научными исследованиями.

В четвертый период (1985-1997), который Идлис считает наиболее продуктивным, он сосредоточил все свои творческие усилия на выявлении и обосновании единых начал всего естествознания.

В последний пятый период он занимался внедрением единых начал естествознания в читаемый им курс «Концепция современного естествознания» и созданные при его участии учебные пособия по этому курсу.

Анализируя собственное творчество, Идлис признается, что, если ему доведется активно функционировать в течение следующего периода солнечной активности, то он хотел бы посвятить следующий – шестой – период своей творческой активности «необходимому переходу от традиционного естествознания и его истории к непосредственно осознаваемой духовной метанауке...». Но ему не суждено было осуществить эти планы.

В ряде поздних работ Идлиса строгое математическое изложение соседствует со стихами автора, которые призваны оттенить и ярче выразить его мысль. О стихах Идлиса следует сказать особо. Начиная с юношеских стихов 1944 года, посвященных девушкам партизанкам, стихи сопровождали его всю жизнь. Красивые по форме и глубокие по содержанию. Он посвящал их своим учителям, отдельным ученым, разнообразным научным и философским проблемам. И это неудивительно. Ибо поэтический язык с его образностью, иносказаниями, метафорами, сокровенными смыслами, порой позволяет проникнуть в суть вещей глубже, чем строгий язык науки.

Чрезвычайно интересны его глубокие комментарии к известному четверостишью Киплинга (см. Г.М. Идлис. Универсальные материальные и ментальные основы Вселенной // Космический разум: проблемы и суждения. М., 2008. С. 95-126).

I have six honest serving men.
They taught me all I knew.
Their names are What, and Why, and When,
And How, and Where, and Who.

Русскоязычному читателю это стихотворение известно в литературном переводе С. Маршака, не вполне точном. Идлис даёт собственный точный перевод, сохраняя принятую Киплингом последовательность вопросов:

Шесть слуг, которыми всегда
Мне всё вокруг дано,
суть ЧТО, ИЗ-ЗА ЧЕГО, КОГДА
и КАК, и ГДЕ, и КТО.

Стихотворение, несомненно, имеет глубокий философский смысл. Идлис придает ему большое значение и подробно обсуждает его содержание. В конце концов, он останавливается на варианте, содержащем не шесть, а семь вопросов:

Семь слуг, которыми мне так
Всё непосредственно дано –
ЧТО, ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ и КАК,
КОГДА и ГДЕ, и КТО.

Приведу еще заключительные строки из его «Credo ученого»:

«Хочешь дерзать
Знать –
Должен уметь
Сметь!»

Задумываясь об итогах жизни, Григорий Моисеевич написал такие слова:

«Я сделал
Что мог.
Кто может,
Пусть сделает лучше.
Так всё же,
Каков на сегодня итог?
Над целым
Господствует Бог,
А не случай.

Чем закончить эти воспоминания? Всегда уравновешенный, доброжелательный, готовый к обсуждению научных и философских проблем, ищущий истину, Григорий Моисеевич Идлис являл пример настоящего ученого.

ГАИШ МГУ



Эфраим Баух

"СКАЖИ МНЕ, ЧЕРТЁЖНИК ПУСТЫНИ..."

*К 125-летию со дня рождения Осипа Манделъштама
(1891-2016)*

1. ЦИТАТА ЕСТЬ ЦИКАДА

К этому невозможно привыкнуть, это всегда внезапно и ново. Совершенно случайно обнаруживаешь свою судьбу в лицо. И это наступает средь бела дня в каком-нибудь суетном углу жизни.

Так событием на всю жизнь стали для меня две книги, по сути, вехи моей жизни – "Разговор о Данте" Осипа Манделъштама и "Охранная грамота" Бориса Пастернака.

Именно, для Манделъштама цитата есть цикада, звенит в ночь, а приближаешься – замолкает. Надо слушать ее издалека, тогда и обнаружится то главное, что притягивает твою иудейскую душу и поддерживает её на поверхности текстового пространства.

Во всём массиве стихов Манделъштама я искал стихи, написанные им в январе 1934. Это был месяц и год моего рождения. Первое, что меня потрясло, это то, что в преддверье моего выхода на свет, в ноябре 1933, им было написано стихотворение, приведшее его к гибели – "Мы живем, под собою не чуя страны".

Но еще более ошеломило, вначале проскользнувшее мимо зрения стихотворение всего лишь в восемь строк под плотно окружавшим его сгущенным поэтическим пространством наплывающих валом стихов Манделъштама.

*Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветер.*

*– Меня не касается трепет
Его иудейских забот –
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.*

Первое что меня потрясло: да ведь это неким бессознательным толчком, провидением поэта, обращено к нам, всем поколениям создателей еврейской страны – Израиля.

Второй мыслью было: он отвергает этот трепет или жалеет, что трепет этот его не касается?

Он демонстративно отстраняется от иудейских забот, или, в отличающей его запальчивости, тут же жалеет, что это вырвалось из его уст.

*Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осознать.
"Господи!" – сказала по ошибке,
Сам того не думая сказать.*

*Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.*

2. ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ

Кто это – Чертежник пустыни? Не Бог ли евреев, затеявший в пустыне мистерию Сотворения мира?

И по сей день трепет забот иудейских треплет души всех народов, и ничего с этим поделать нельзя: такова Его заповедь, по сути проходящая красной нитью через все Его Десять заповедей.

Осип Манделштам, фамилия которого означает побег, саженец миндального дерева, с плодами отдающими горчинкой, ощущает себя частью природы. Живой, прорастающей, быть может, даже несколько дикой, необузданной, прорывающей всяческие препоны. Он пытается совершить побег, отмахнуться, как от наваждения, от желто-черного иудейства, по цвету талеса, черные полосы которого «безудержностью линий» сковывают, как ему кажется, подобно асфальту, рвущиеся из земли травы. Его коробит, что живая природа, к которой относится и «дующий ветер», не может одолеть безудержный набег линий второй природы – логотворческой, сотворенной гением человека.

Но Всевышнего Геометра не касаются заботы этого жестоковыйного народца, как и его отдельного представителя, будь он даже гением, который вечно недоволен, и от самого своего рождения лепечет. Но надо отдать этому народцу должное: из своего младенческого *лепета* он вырабатывает опыт освоения прорастающего, подобно дереву, языка. И словно вскормленный материнским молоком *лепета*, пьет из него опыт познания духа, который является ядром Сотворения.

В младенческом *лепете* скрыты все будущие разгадываемые тайны языка, который Геометр намеренно смешал, зная наперед, что из этого выйдет, и ничуть об этом не жалея. Еще бы, люди уже затеяли башню, чтобы добраться до Него.

А это слишком затейливо и по-настоящему опасно. Ведь позднее *лепет* обрачивается опытом – прозрением Кассандры, видящей мир, который безудержностью линий влечется к своей гибели. И Кассандра не в силах мир этот спасти.

Но, не имея другого источника, весь свой опыт неблагоприятный мир пьет из этого *лепета*.

Затаенная самостоятельность языка с неохотой раскрывает свои уловки, как всяческие скрытые закоулки Лабиринта. Язык сам по себе лабиринт: втягивает благодарную жертву, по Манделштаму, «расставляет ловушки, восхитительные мостики над пропастью смысла».

Метафоры жалят, как пчелы, несущие мед.

Желание признать бессмысленность подоплекой мира открывается лишь в вавилонском смешении языков.

Бессмысленность сама в себе, как феномен, непостижима. Но человек не может с этим смириться, и торопливо придает ей смысл. Так, что ли, и начинается философия – осмысление впопыхах бессмысленности. Стараясь форсировано, напористо прорваться в метафизические пространства, мы столь же быстро обнаруживаем себя в Пустоте. Ничто обессиливает. За отсутствием ориентиров, душу объемлет страх – панический, смертельный. Тут необходимо мужество – преодолеть полосу бессмыслицы и опустошенности, и внезапно – это удел одиночек – доберешься до мира, в котором скрыт феномен Сотворения всего – природы, жизни, ангельских высот и дьявольских бездн.

Так возникает изначальная сопряженность души с тайной всеобъемлющей сущности.

Завораживает «пленительная доверчивость итальянской речи...Дантовские песни суть партитуры». Осип Мандельштам все годы изучал итальянский язык, главным образом, по «Божественной Комедии», и вообще считал итальянский язык дадаистическим, то есть, по сути своей, младенческим лепетом.

Межъязычье – язык поэзии, и вообще лепета – бормочущего с самим собой – творчества. Это и есть та самая завораживающая ткань существования, одновременно растворяющего и скрепляющего весь разнородный поток впечатлений и переживаний, пока ты жив.

Наплывы памяти секут реальность, заставляя эту реальность заползать в норы и расселины скуки.

В горах Крыма я проходил геологическую практику. И каждый снежный колодец, куда солнце в вообще не проникает до дна, каждая расселина мерещилась мне входом в Преисподнюю. И тотчас перед моим взором возникал «медальный профиль» Данте с горбинкой носа и капюшоном, придающий ему угрожающий облик в стиле иезуита-инквизитора, что абсолютно не вязалось с его образом, встающим со страниц «Божественной Комедии». Перед любой расселиной мерещился Данте, замерший перед решением спуститься в эту манящую тьму, оказавшуюся Адом.

Конечно же, Осип Эмильевич понимает, что от иудейства ему не сбежать. В его творчестве достаточно часто вкраплены упоминания своего еврейства. То и дело промелькнет, к примеру, в «Египетской марке» – «с моим еврейским посохом», «в еврейских квартирах стоит печальная усатая тишина», или – «молодой еврей пересчитывал новенькие, с зимним хрустом, сотенные бумажки». Вспоминаю, по ассоциации, на миг иное кольцо – метро в Риме времен большой эмиграции из СССР, когда я работал посланцем Израиля в поздние семидесятые прошлого века, – Дантово кольцо существования, куда спускаюсь из сумрака в желтый свет вагонных плафонов. И сидящий напротив бледный и шуплый русский еврей с редкими причесанными волосами, с мешочком апельсинов, суетливо пересчитывает какие-то бумажки, которые извлекает из карманов. Он без конца пересчитывает и перекладывает скудные доллары и лиретты из кармана в карман. И что-то просительное, униженно-грустное, беженское светится в его лице. А поезд, убыстряя ход, катится вглубь чужой жизни, как в воронку. И видит этот молодой еврей в стекле вагона собственное испуганное бледное лицо, раздавленное катком неизвестности и гарантированной безнадежности.

Главный герой «Египетской марки» еврей Парнок напоминает главного героя великого романа Джеймса Джойса «Улисс», ирландского еврея, жителя Дублина Леопольда Блума.

Вот еще – из «Египетской марки»: «Память – это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?»
Это Осип о себе и жене Надежде.

*Мы с тобой на кухне посидим.
Сладко пахнет белый керосин.
Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,*

*А не то веревок собери –
Завязать корзину до зари,*

*Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.*

Типичный синдром иудея. Мандельштам жил под знаком побега от своих еврейских корней, но они настигали его за любым поворотом памяти. Вкус тысячелетнего изгнания особенно усилился к годам, взбаламученным, как прибор с камнями и дребеденью пляжей, все этим «шумом времени», Гражданской войны, в Федосии, которую он венчает таким определением – «жалкий глиняный Геркуланум, только что вырытый из земли, охраняемый злобными псами... Если выйти на двор в одну из ледяных крымских ночей и прислушаться к звуку шагов на белоснежной глинистой земле, подмерзшей, как наша северная колея в октябре, если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева пригуженной жизни, замешанной на густом собачьем лае и посоленной звездами, – физически ясным становилось ощущение сплывшейся на мир чумы – тридцатилетней войны, с моровой язвой...»

Но и нагретый рай еврейского детства гнал от себя. Ибо «весь стройный мир-раж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался – и бежал, всегда бежал».

Дедушка в Риге, «голубоглазый старик в ермолке», хотел его взять на руки и маленький Осип чуть не заплакал. Вдруг старик вытащил из ящика комода черно-желтый платок, накинул мальчику на плечи и заставил повторять за ним незнакомые и потому устрашающие слова.

А на Рижском взморье, «на земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы». Росли будущие гениальные исполнители.

Осип не помнит, как воспиталось в нем благоговенье к симфоническому оркестру, особенно к Чайковскому.

Моими музыкальными воспитателями были уличные репродукторы, висящие на столбах, куда бы я ни шел. Так я запомнил и по сей день помню наизусть симфонии Бетховена и Чайковского.

Осип вспоминает в «Шуме времени»: «У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безязычие. Русская речь польского еврея? – Нет. Речь немецкого еврея? – Тоже нет... Это было все, что угодно, но не язык, все равно – по-русски или по-немецки...»

Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушенья, шапкой в комнате посетившего их провинциального гостя,

крючками шрифта нечитаемых книг Бытия, брошенных в пыль на нижнюю полку шкафа, ниже Гёте и Шиллера, и крючками черно-желтого ритуала...

«Книги лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами... Это был повергнутый в пыль хаос иудейский. Сюда же быстро упала древнееврейская моя азбука, которой я так и не обучился. В припадке национального раскаяния наняли было мне еврейского учителя... Он учил, не снимая шапки, отчего мне было неловко».

Моя мама работала секретарем-машинисткой, и на скудные гроши своего заработка наняла мне меламеда – сначала ребе Пружанского, потом – ребе Пустильника. Меня их головные уборы не смущали. Мой отец, закончивший в 30-е годы юридический факультет университета в Гренобле, на юге Франции, и погибший в 1943 году под Сталинградом, был полиглотом, в совершенстве знал французский, итальянский, немецкий, и, естественно русский и иврит. Он даже преподавал эсперанто. В десять лет, когда мы вернулись из эвакуации, мама наняла мне старенького ребе, чтобы научить меня читать кадиш по отцу. Ребе был учителем старых ешив, и заставлял меня заучивать целые главы из пророка Исаяи. В одиннадцать я мог цитировать наизусть всю книгу Экклезиаста (Коэлета). В таком возрасте уже это двуязычие позволяет видеть мир совсем по-иному и понимать, что не одним единственным языком жив человек. Более того, оказывается, даже если вторым языком не пользуешься, скрывая его знание, и вместе со всеми поешь в хоре «О Сталине мудром», второй язык не пропадает, а служит прибежищем души от окружающей фальши и перманентного страха. В трудные минуты жизни, когда тирания достигла апогея, и за одно неосторожное слово можно было загреметь за решетку, когда, казалось, просто этого не выдержишь, я читал про себя Экклезиаста. Второй язык был охранной грамотой. Потом я еще изучил, в достаточной степени, румынский, итальянский, немецкий и английский. Я говорю – в достаточной степени, чтобы переводить с этих языков на русский. При таком многоязыковом восприятии мира, не пропадает именно чувство языка. Говорят о русском языке, как чужеродном в Израиле, но ведь около 20 процентов населения, почти миллион, если не более, читает на этом языке, по сути, целое государство в государстве. Говорят о болезненной ломке, но ее я ощущал там, не в силах вырваться из бульдожьей хватки цензоров.

По этим древнееврейским текстам, словно тайным ходам, куда прятались воины Бар-Кохбы в пещерах от римских легионеров цезаря Адриана, в определенной степени родоначальника антисемитизма, я скрывался от окружающего послевоенного мира, который почти все время был угрожающе страшен.

Не знаю почему, но именно эту угрозу несли вкрадчивые звуки гавайской гитары, которая в те дни была популярна.

По словам жены Мандельштама Надежды Яковлевны, все страшные часы обыска и ареста Осипа в мае 1938, за стеной, в квартире поэта Семена Кирсанова не замолкал гнусавый гнусный звук гавайской гитары, адский аккомпанемент тишине за стеной, откуда готовился уход в гибель.

Невысокий человек, известный тем, что писал стихи лесенкой, подражая Маяковскому, Кирсанов запомнился мне стоящим на сцене Центрального дома литераторов и читающим свои стихи. Запомнил я лишь четыре строчки:

*...Встречать, не задрожав,
Как спуск аэроплана,
Сниженье тиража
И высадку из плана...*

3. В ПЕТЕРБУРГЕ ЖИТЬ – СЛОВНО СПАТЬ В ГРОБУ

Страшен январь 1934 года. Моя мама говорила, что таких морозов давно не было. Топили неизменно печь в часы, когда я должен был явиться на свет.

В своей знаменитой книге «Воспоминания» жена Осипа Надежда Яковлевна Хазина пишет: «Я не помню ничего страшнее зимы 33/34 года в новой единственной в моей жизни квартире. За стеной – гавайская гитара Кирсанова, по вентиляционным трубам запахи писательских обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером – толпа гостей, из которых половина подослана. Гибель могла прийти в форме быстрого или медленного уничтожения. О.М., человек активный, предпочел быстрое. Он предпочел умереть не от руки писательских организаций, которым принадлежала инициатива его уничтожения, а от карающих органов. Обычные формы самоубийства О.М. не признавал, как и Анна Андреевна. А на самоубийство толкало все – одиночество, изоляция, время, тогда работавшее против нас ... Выбирая род смерти, О.М. использовал замечательное свойство наших руководителей: их безмерное, почти суеверное уважение к поэзии: «Чего ты жалуешься, – говорил он, – поэзию уважают только у нас – за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают...»

*Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь – за твою рабу...
В Петербурге жить – словно спать в гробу.*

В марте того же года, предчувствуя в своем грядущем «безудержные линии» судьбы Данте, изгнанного из Флоренции и умершего в Равенне, и Овидия, изгнанного из Рима жестоким цезарем, из гнезда которого вылупился и «кремлевский горец», он не может избавиться от тоски обоих – Данте и Овидия – которая свела их со света.

*Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет, и будет – гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно – и все-таки до смерти хочется жить.*

*С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.*

Можно ли представить мужество души поэта, вокруг которой все более сжимается кольцо смертного чувства страха?

Надежда Яковлевна продолжает: «... Думаю, что он не хотел уйти из жизни, не оставив недвусмысленного высказывания о том, что происходило на наших глазах. Враждебно относился к этим стихам Пастернак. Он обрушился на меня – О.М. был уже в Воронеже – с целым градом упреков. Из них я запомнила: «Как мог он написать эти стихи – ведь он еврей!» Этот ход мыслей и сейчас мне непонятец, а тогда я предложила Пастернаку еще раз прочесть ему это стихотворение, чтобы он конкретно показал мне, что в них противопоставлено еврею, но он с ужасом отказался».

Анна Ахматова: «Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: «Я к смерти готов». Вот уже двадцать восемь лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места...»

4. "РАЗГОВОР О ДАНТЕ"

Прежде, чем приступить к "Разговору о Данте", который я бы назвал лебединой песней Осипа Мандельштама, хотя эти два слова от частого употребления несколько овевают сладостным запахом смерти и балета, я коснусь еще одной, выпившей немало крови поэту, истории, связанной с обвинением его в плагиате. Этого он касается в "Четвертой прозе", где, главным образом, фигурирует дом Герцена.

Приближаясь к нему или покидая его после занятий на Высших литературных курсах, ВЛК, на которых я проучился два года, я всегда останавливался у ворот, ведущих в обширный двор. Я еще раз пытался оглядеть двенадцать окон здания Литературного института, где обретались и ВЛК, и еще раз вспомнить слова Осипа Мандельштама в "Четвертой прозе":

"На каком-то году моей жизни бородатые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной. И все было страшно, как в младенческом сне.

In mezzo del cammin del nostra vita – на середине жизненной дороги (первая строка "Божественной Комедии" Данте) – я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет.

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе – она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне...

Я несу моральную ответственность за то, что издательство Зиф (Фабрик и заводов) не договорилось с переводчиками – Горнфельдом и Карякиным. Я – скоряк драгоценных мехов, я – задохнувшийся от литературной пушинины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца – Акакия Акакаевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза обегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа – навстречу плевриту – смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиних окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона сребреников и счета печатных листов".

В этом доме Герцена он проживал с женой некоторое время, но никто не мог припомнить в какой комнате, почти лишенной мебели, где они, как бездомные, спали на матрасе, разложенном на голом полу.

Здесь же он в безмолвном вопле, в "Четвертой прозе", взывал к бывшему хозяину дома: "Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы как хозяин в некотором роде отвечаете... Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность..."

Александр Иванович! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться..."

Что это – насмешка, издевательство над собой самим? Или даже гордость? – "...С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю. Никак не могу привыкнуть: какая

честь! Хотя бы раз Иван Моисеич в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак... Французику – шер мэтр – дорогой учитель, а мне – Мандельштам, чеши собак. Каждому свое.

Я – стареющий человек – огрызком собственного сердца чешу господских собак, и все им мало... С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? У цыгана хоть лошадь была – я же в одной персоне и лошадь и цыган".

И тут же, внезапно проснувшись от страшного сна, он отчетливо, как печать, кладет свое слово:

"Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганицы писательского отродья..."

Писательство – это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными.

Писатель – это помесь попугая и попа... Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи".

И как мне привиделась в ночи, на Тверском бульваре, бредущая по лунной дорожке, пара – Пилат и Йешуа – в "Мастере и Маргарите" Булгакова, другая пара – сына сапожника, оказавшегося дьяволом во плоти, Иосифа Джугашвили, и Осипа, – гораздо позднее, – я вздрогнул, обнаружив в "Четвертой прозе" такой пассаж: "...Ленин и Троцкий ходят в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое – один вопрошающий, другой отвечающий, и один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит, и никак им не разойгись".

Пустота и зияние окольцовывают эти пары, выступая основой этого виртуального города, словно он выпал в осадок, обнажив свою истинную кровавую основу. И не говорят они, а лепечут.

"Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений... Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем... Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычье от рождения. Мы учились не говорить, а лепетать – и лишь прислушивались к нарастающему шуму века, и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык."

Таков полный и окончательный расчет Мандельштама со своим временем да и с писательским племенем.

Есть лишь одно светлое пятно – Данте.

И то оно омрачено смертью Андрея Белого, с которым Осип обсуждал в доме творчества в Коктебеле "Разговор о Данте".

Белый умирает 10 января 1934 года, за три дня до моего рождения, и Осип посвящает ему целый цикл стихотворений. – "Стихи памяти Андрея Белого". Эти строки написаны 11-12 января 1934 года.

Вот – начало стихотворения:

*Голубые глаза и горячая лобная кость –
Мировая манила тебя молодящая злость...*

А вот его финал:

*Меж тобой и страной ледяная рождается связь –
Так лежи, молодец, и лежи, бесконечно прямаясь.*

*Да не спросят тебя молодые, грядущие – те,
Каково тебе там – в пустоте, в чистоте-сироте...*

О какой пустоте речь. Данте, второй великий Геометр, совершил Сотворение второй Вселенной – геометрически выверенную спираль Ада, Чистилища, Рая, уже более шестисот лет потрясающую сознание человечества.

5. ЧАСТО ПИШЕТСЯ – КАЗНЬ, А ЧИТАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО – ПЕСНЬ

В стране сгущалась злокачественная атмосфера. Во всех щелях государственной жизни, шевеля тараканьими усами "под вождя", сидели на приеме у возбудившегося населения полуграмотных доносов усердные столоначальники в гражданской одежде. Шла всеобщая переключка заушателей-стукачей, как результат принуждения к поголовной грамотности в уголовное время.

В горах Крыма, где никто не мог меня подслушать, я, бормоча, сочинял стихи:

*Пока мы здесь, по Крыму лазаем,
Клянясь святым Петром и Лазарем,
Я вверх бреду по бездорожью
Под пытку жарой и дрожью,
Кляня то время, когда я
Явился из Небытия...*

Выйдя на более ровное место, успокаиваю дыханье –

*Человек не сродни иконам,
Он подвержен иным законам –
Закулисным и законным,
Он не белка, и он не птица,
Он и память помять боится...*

Возлегая под купой деревьев на высотах Демерджи-яйлы, над Алушгой, и отвлекаясь от злостной реальности, там, в низинах, – размышляю на отвлеченные фи-

лософские темы, к примеру, о бесконечном возвращении в тупик единства противоположностей Гегеля, по сути, оказавшегося плотиной для дальнейшего свободного течения мысли. Кант и Гегель с непререкаемым духовным тиранством укладывают человечество в "прокрустово ложе": Кант – "вещью в себе", Гегель – "вещью против себя".

К ночи, по возвращению в палатку, в высокогорное свое одиночество (мой напарник и босс спустился в низины, болеть в Симферополе за свою жену, поступающую в какое-то учебное заведение) оживает страх повторяющегося сновидения – попасть, как в пропасть – в мир бесконечных коридоров, тупиков, лестничных подъемов и спусков – в абсолютный лабиринт, развивающийся невесть куда и невесть зачем.

Давит со всех низин и высот архитектура хаоса. Бесконечны подобные пчелиным сотам клетушки, без малейшей надежды на открытое, распахнутое пространство. Да и оно, в общем-то, не сулит возврата, подобно морю, в котором невозможно найти свой – миг назад – проложенный тобою след. Лишь движение в кошмар, в мир, где память отказывается работать. Мучительна незавершенность среды, нескончаемость сжимающих душу стен, так, что кажется, их вовсе нет, но натыкаешься на них в любой миг желания – покинуть эту удушающую вселенную без единой отдушны. А надоедливые метафоры, как мухи, выются в поисках меда.

Но настает утро вместе с восходом солнца, пробуждением, холодящей чистотой горного воздуха, и открывается – пусть на мгновения – тайная суть строки Мандельштама, вынесенная мною в заглавие этой главы –

Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь...

И возвращается ясная, как рассвет, мысль: самая великая метафора – сама наша жизнь. И надо быть неисправимым мизантропом, чтобы этого не замечать.

Уже войдя в круг приближающейся гибели, Осип Мандельштам пишет:

*Еще не умер ты. Еще ты не один,
Покуда с нищенкой подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.*

*В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.*

*Несчастен тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И жалок тот, кто сам полуживой,
У тени милостыни просит.*

На высоте 1350 метров, по глухим тропам Крымских гор, я ходил, погруженный в размышления. И портил мне настроение выдающийся немецкий философ Мартин Хайдеггер, бывший членом нацистской партии, и в самые страшные дни гибели европейского еврейства, уничтожаемого членами его партии, наслаждался прогулками на высоте 1150 метров по тропам букового леса – Бухенвальда. Его не изводили, как

меня, тени "забитых предков". Над его умильным настроением витала строка Гёте – "На всех вершинах находится покой" – "Über allen Gipfen // Ist Ruh"//...

Петляю по горной тропе. Пастухи сидят у костра, рядом с их землянкой. Издалека доносится блянье, звон колокольчиков, собачий брех: это два пса – большой черно-белый Чубарь-Кулах и рыжий, похожий на лисицу, юркий Сараман – сами с двух сторон гонят овечье стадо в загон.

Легкий горьковатый дым поднимается в овечье небо Крыма.

В горле гор каждый звук становится гортанным. Пастухи гуторят. Чабан Александр помешивает варево, усмехается:

"Наш дом что: спина – стена, крыша – небо".

Непомерной величины месяц выплывает из моря между выветренных, подобных башням, скал. И тени на них кажутся странными письменами, смахивающим на древнееврейские. Ощущение такое, что ты в середине какого-то метафизического текста, и ни одно слово не лучше другого, ибо все велики и загадочны. Опьяняет напиток высот и далей. Возвращаясь из одиночного маршрута, привычно одолеваю какой-нибудь утес. Подо мной шерсть облака расплывается шкурой, сырым мехом, облегающим горло горы.

Дремучая лешачесть леса, море вместо горизонта, палатка вместо крыши, русалочий шепот в листве. В лунном свете мерцает весь циклопический разворот горного Крыма. Облака, заночевавшие ниже меня, чудятся крыльями Ангелов, братьями и сестрами лермонговской "тучки золотой, заночевавшей на груди утеса великана". Забравшись в палатку, читаю при свече псалмы Давида. Самое подходящее место и время для покаяний, безмолвных метаний и молений юношеской души. В полнейшем безмолвии гор тысячелетние строки на языке оригинала кажутся звенящими.

Задув свечу, лежу в полнейшей темноте палатки. Треугольник входа серебрится лунным светом, пробуждая юношескую тягу к метафизике – как оправдание стеснительности перед живой прелестью женщины. Сон приходит пронзительным – до существования – чувством в лоне природы. Приходит отгадкой самой тайны жизни, которая зарождалась, обретала плоть, пульсацию, и, оборвав пуповину, ушла в мир, но рубец обрыва ноет всю жизнь тягой возвращения в безбрежность бытия. Именно, здесь, в горах, безбрежность ощущается особенно остро, ибо – налицо, отчетлива, одинока и сокровенно прислушивается к самой себе. На миг ощущаешь возвращение к единому целому, как некую репетицию последнего слияния. И нет в этом ни грана смерти и тлена. И "Божественная Комедия" ощущается, как великое последнее пристанище.

6. СТЕРЖЕНЬ ВСЕЛЕННОЙ

"Божественная комедия" Данте Алигьери, вознесшая его на высоты истинной гениальности, служила неодолимой духовной поддержкой Осипу Мандельштаму.

Птолемея система мира, отвергнутая Коперником, осмелившимся замахнуться на самого Аристотеля, привлекала Данте своим потерянним и отвергнутым своеобразием. Как ни странно, эта, высмеиваемая учеными система живет в эмпириях поэтического воображения, ибо человек в глубине души не может смириться с тем, что ему отказано быть стержнем Вселенной. Падение в систему Коперника превратило "царя Вселенной" в букашку.

Абсолютное безграничное пространство, ощущаемое Джордано

Бруно, как освобождение, для Блеза Паскаля было лабиринтом и бездной.

Человек – существо героическое, ибо ухитряется не замечать существующей рядом разверзшейся бездны, и уживается в безвыходном лабиринте жизни.

Его устраивает такое доказанное однозначное сцепление обстоятельств, обозначающее для него движение жизни.

И он, как крот, расширяет свои ходы во все стороны.

Будучи странником по характеру и геологической профессии, я уже в семидесятые годы несколько раз побывал со всей семьей – женой, сыном и маленькой дочкой – в Крыму – в коктебельском доме творчества. Сам ходил по окрестностям, на гору Сюрюк-Кая с профилем Волошина, на его могилу, подружился с его вдовой Марьей Степановной и литературоведом Виктором Андрониковичем Мануйловым, работавшим над рукописями Волошина. В программу нашего отдыха входили экскурсии на моторных лодках в ближайшие бухты. Особенно привлекала Сердоликовая бухта, где компанией, возглавляемой известным прозаиком Александром Борщаговским, мы ползали по гальке, рылись, как одержимые, собирали светящиеся мягким лунным светом сердолики, прозрачные халцедоны. Со стороны, по выражению наших лиц, нас можно было принять за беглецов из сумасшедшего дома, ищущих клады.

В Коктебеле я все время ходил за тенью Осипа Мандельштама, который здесь подолгу проживал в годы Гражданской войны, и позднее, в тридцатые годы именно здесь обсуждал рукопись "Разговора о Данте" с Андреем Белым.

С первого дня своего творчества Мандельштам был пленен камнем, и первая книга его стихов – "Камень".

Вот отрывок из "Разговора о Данте":

"Позволю себе маленькое автобиографическое признание. Черноморские камушки, выбрасываемые приливом, оказали мне немалую помощь, когда созревала концепция этого разговора. Я откровенно советовался с халцедонами, сердоликами, кристаллическими гипсами, кварцами и шпатами и т.д. Тут я понял, что камень как бы дневник погоды, как бы минералогический ступок. Камень не что иное, как сама погода, выключенная из атмосферического и упрятанная в функциональное пространство. Для того, чтобы это понять, надо себе представить, что все геологические изменения и самые сдвиги вполне разложимы на элементы погоды. В этом смысле метеорология первичнее минералогии, объемлет ее, омывает, одревливает и осмысливает".

Данте одолевала неосуществимая, но жадно желаемая мечта – жить в мире камней. Неужели, писал он, "Мы рождены для скотского благополучия, и остающуюся горсточку вечерних чувств не посвятим дерзанию выйти на Запад, за Геркулесовы вехи – туда, где мир продолжается без людей".

Мне, по первичной своей профессии геологу, особенно видна клишированная привязанность криптиков-воспевателей Данте к "ужасающим" ландшафтам и "графической" скорби знаменитых иллюстраций к "Божественной Комедии", сделанной Густавом Доре. В "Божественной Комедии" ощутим скорее язык петрографа, кристаллографа, влюбленного в минералогию. Он любит особую прозрачность кварца, дымчатого агата, матового на свет халцедона, зелёной мраморностью диоксида, светлой голубишной апатита, лунным свечением сердолика.

В отличие от камня, Слово изнашивается и умирает, когда, предназначенное вечности, оно, сопротивляясь, переходит в земное бременное пространство. "Божественной Комедии" это не грозит.

7. ПОЮЩИЙ ОРГАН

Представляя читателю "Божественную Комедию", как одно из чудес света, всеохватной единой метафорой, Осип Мандельштам отдает предпочтение иудейскому началу. Нельзя сбегать от корневой своей сущности тому, кто гордится "почетным званием иудея", в котором кровь отягощена "наследством овцеводов, патриархов и царей".

"Итак, вообразите себе, что в поющий и ревуший орган вошли, как в открытый дом, и скрылись в нем патриарх Авраам и царь Давид, весь Израиль с Исааком, Иаковом и всеми их родичами Рахилью, ради которой Иаков столько претерпел.

А еще раньше в него вошли наш праотец Адам с сыном своим Авелем, и старик Ной, и Моисей – законодатель и законопослушник...

*Он вывел тень прародителя,
Его сына Авеля и тень Ноя,
Послушливого законодателя Моисея,
Патриарха Авраама и Давида царя,
Израиля с отцом и его отпрысками,
И с Рахилью, для которой он столько всего совершил...*
Ад, Песнь четвертая, 55-60.

*Trassesci l'ombra del primo parente,
D'Abel suo figlio, e quella di Noe,
Di Moise legista e ubbidente";
Abraam patriarca e David re,
Israel con lo padre, e co'suoi nati,
E con Rashede per cui tanto fe'...*
Inferno, IV, 55-60

После этого орган приобретает способность двигаться – все трубы его и меха приходят в необычайное возбуждение, и, ярясь и неистовствуя, он вдруг начинает пятиться назад.

Если бы залы Эрмигажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей, вошли друг в друга, смешались и наполнили комнатный воздух футуристическим ревом и неистовым красочным возбуждением, то получилось бы нечто подобное Дантовой "Комедии". "

8. ПО СЛЕДАМ ГЕНИЕВ

Сентябрь 1979. Впервые лечу в Италию посланцем Джойнта. В самолете сами собой слагаются строки:

*...Ощущаю приступ острый
К морю синему, к звезде.
Аппенинский полуостров
Сапогом плывет в воде.
Раньше жил всю жизнь в дыре я,
Как сурок, что спит да спит.
Нынче мир, как галерея,
Светом гением раскрыт...*

Стихотворение выйдет в книге стихов (1999) с посвящением Осипу Мандельштаму.

В аэропорту Рима – Фьюмичино (Леонардо да Винчи) встречает меня посланец Джойнта и Еврейского агентства Саша Гольдфарб, в будущем приближенный Бориса Березовского. Он везет меня ночевать в католический пансион. По дороге на миг вводит меня в столбик вынырнувший, буквально из-за угла – Колизей.

Всю ночь не дает мне спать деревянная фигура Христа над моим изголовьем. Опять приходит на память Осип с описанием Выборга в "Шуме времени", упрямого и хитрого городка с библейскими стихами "в изголовье каждой постели, как Божий бич... Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычье рождения. Мы учились не говорить, а *лепетать*..."

Как еврей из эс-эсэрии, теоретически, и по иллюстрациям, я знаю достаточно хорошо Италию. Заблудиться на этой легендарной земле невозможно. Имена ведут от одного к другому, и почти косяком к Данте, о котором Микельанджело Буонарроти сказал: "Никогда не было на земле более великого человека, чем Данте".

Детская надежда получить дар вдохновения от Данте не ослабевала в тайниках души Микельанджело всю его долгую жизнь. Любимый город Европы – великолепная Флоренция вошла в его душу, когда еще ребенком он играл на ее улицах, чтобы затем вознести в вечность своим гением художника, скульптора, архитектора и поэта воистину храм Возрождения. Это было нечто великое, которое потрясает столь же, как вера в словесную архитектурную конструкцию вселенной Данте – "Божественную Комедию".

За исключением Священного Писания, ни одно произведение в мире не нашло такого отражения в живописи, скульптуре, музыке и литературе, как "Божественная Комедия". Вспомним строки Пастернака по поводу музыки Чайковского "Франческа да Римини":

*...когда консерваторский зал,
При адском грохоте и треске,
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески...*

Вспомним "Карту Ада" Сандро Боттичелли, "Три тени" Огюста Родена из его композиции "Врата Ада", грешников, полных похоти Вильяма Блейка, странную серию цветных акварелей Сальвадора Дали. Особенно популярна коллекция гравюр Густава Доре, начиная с входа массы грешников в пещеру Преисподней, надписи над входом – "Оставь надежду всяк сюда входящий", и кончая окаменевшим Сатаной.

По свидетельству Джорджо Вазари, преклонение Боттичелли перед Данте, привело к серьезным проблемам в жизни великого художника.

Влияние "Божественной Комедии" испытали многие великие мира сего. Вот – имена – Леонардо да Винчи, Джон Мильтон, Джеффри Чосер, Генри Лонгфелло, Оноре Бальзак, Хорхе Луис Борхес, несколько римских Пап.

Величественный собор Дуомо, высотой в 114 метров, возведенный архитектором Филиппо Брунелески, без устали восхищавшимся "Божественной Комедией", вот уже 500 лет стоит на площади Del Duomo.

Прочтите Третью песнь "Ада" перед посещением Сикстинской капеллы Ватикана, и вы увидите, что вдохновило Микельанджело на "День Последнего Суда".

И представляется кавалькада великих людей, обреченно бредущих во тьму бессмертия, вереница душ, исчезающая в тоннеле, ведущем в Ад.

На память приходит Венеция, церковь Санта Мария деи Фрари.

На сцене, под картиной вечно взлетающей "Асунгы" Тициана, поет церковный хор. Я стою у надгробия великого скульптора Кановы, им же созданного, – двери в Небытие. Не подталкивая друг друга, что непривычно для выходцев из Совдепии, которых в церкви немало, очередью теней уходит человечество. И где-то, вдалеке, мерещится мне собственная моя тень. В такие минуты чувствуешь, как явственно и бесшумно уходит жизнь.

И чудится мне Данте, тоже стоящий со стороны, со своей книгой – "Божественной Комедией". И стоит он перед этим провалом в Небытие, или, все же за шаг от Чистилища, и напоминает проходящим:

"Помните Ночь, ибо она – начало вечности...

Помните: преследующий вечность – сокращает одиночество...

Помните: Иерусалим – центр мироздания, пуповина мира – земной прикол Бога".

Флоренция – земной прикол гениев.

Первая и вторая строка "Божественной Комедии":

*Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу...*

Не так это просто. Мысль такова: в любом, пусть самом невзрачном месте, скрыт вход, щель, лаз – в Присподнюю.

Но для этого многое должно сойтись в душе, чтобы невзначай открылась эта щель в Ад. Это происходит без всякого перехода, незаметно и внезапно. Всё, как-то нечаянно. Непонятно почему, закрыл глаза на миг – открыл – ты вроде бы там же и не там, в ином мире, как бы в том же, но не в том, и какой-то пугающий внутренний импульс ведет тебя властно, вопреки желанию, но сопротивление невозможно. Попытка сопротивляться сама по себе превращается в любопытство, не обычное, а – смертное. Любопытство, превышающее чувство самосохранения.

Один из героев на фреске Страшного Суда в Сикстинской капелле, в отличие от остальной массы грешников, сомкнувших от страха веки, сидит, открыв один глаз: в нем смертельный страх исчезновения борется с любопытством.

Нечто, начертанное на высотах стен, окольцовывающих Ад, вероятно, некие предупреждения, просто не может быть прочитано. Буквы, вероятно, намеренно мелки.

Маленькая отдушина для бессмертной души: воздушные ниши и закоулки Ада напоминают о Чистилище.

9. И СУТЬ ЛЕЖИТ В ЧЕРНОВИКАХ...

*И взрыв, разрыв, расплыв. И начато
В строке, в мгновенье и в веках.
И всё, что на бело – то начерно,
И суть лежит в черновиках...*

Таково начало моего стихотворения "Весна".

В тупике, будь он в Германии или Совдепии, речь, язык и письмо обернулись суррогатами истины, привели к изобретению «эзопова языка» – языка в наручниках, языка, разрешающего жизнь и смерть. В этом языке старый феномен, связан-

ный с письмом, с творчеством, с самыми тайными движениями души, обрел самую мерзительную власть над человеческой жизнью и смертью.

Речь о черновике – хранителе тайн, сомнений, колебаний, не допускаемых в чистовик, о черновике, как вечном доносчике. Писатель, летописец, историк – все они – доносчики прошлого и настоящего – в будущее. Только это и заставляет их тратить жизнь на кажущееся многим ничемное дело. Но они-то знают, что ничто не приносит человеку более высокого, пусть и мучительного, наслаждения, чем творчество, в редкие минуты которого человек способен коснуться седьмого неба. Именно черновику доверяют самое скрытое в душе, которое не должно вырваться в чистовик, а в речи вырывается «оговорками», с которых Фрейд начал свое триумфальное шествие в психоанализе.

Помню, как потряс меня черновик короткого, в четыре строки, стихотворения Пушкина, написанного им в предпоследний год жизни – 1836. Черновик этот опубликован, вместе со стихотворением в десятитомном Собрании сочинений. Сфотографирован черновик настолько мелко, что редко чей взгляд вообще задержится на этих каракулях. Даже с увеличительным стеклом не удалось расшифровать зачеркнутые строки. Стихотворение приковало мое внимание тем, что написано поэтом почти перед смертью, вырвалось из души его болью, быть может, всю его короткую жизнь, таящуюся в ней и показывающую его образ с иной стороны. В танцующих строчках и достаточно многих зачеркиваниях для такого небольшого стихотворения чувствуется внезапный порыв, насущно требующий себе выражения. Из четырех важны только две первые строки. Именно в них отмечается одна «мелочь», измененная в печатном тексте, и другая, видная лишь в черновике.

В первой строке черновика – «Напрасно я бегу к Сионским высотам...» слово «Сионским» написано поэтом с заглавной буквы. Напечатано в Собрании – с прописной. Все грехи советской власти – в такой, казалось бы мелочи – пренебрежение к авторскому тексту классика русской литературы и заведомое, примитивно-атеистическое неуважение, с неким антисемитским душком, к слову «Сион».

Во второй строке черновика «Грех алчный гонится за мною по пятам» – поэт сначала написал «за нами по пятам», затем зачеркнул слово «за нами», заменив его «за мною». Это некий миг, когда слишком общее показалось поэту в миг сердечной боли фальшью перед самим собой, и внезапная оголенность перед этой болью, вырвавшейся этими строками, заставила его написать «за мною»

Легким пером Пушкина к строкам пририсован лев. Вот это стихотворение:

*Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.*

Оказывается, Пушкина, приверженца французской фривольности, почти вольтерьянца, написавшего, по мнению церкви, не менее кощунственную, чем поэма Вольтера «Орлеанская дева», поэму «Гавриилиада», мучительно влекло к Сионским высотам от грехов своих, подобных голодному льву, преследующему его и готовому перегрызть ему горло.

Но, упомянув о черновике, я имел в виду иное. То, что мы называли научно «внутренним цензором». Редактор догадывался, что совершает преступление по отношению к собственной совести, зная и скрывая истину, вычеркивая, сжигая, но, не посыпая этим пеплом голову, а развеивая его по ветру.

Так в деле сочинения, письма, редактирования скрывалась бомба замедленного действия, которую не пытались разрядить, а отводили глаза, приглушали чувства, преувеличивали страх личной опасности, оправдывая этим свое поведение, отступничество, а нередко – прямое предательство.

Пример лингвистам в дотошности выявления «стирания» могли дать люди охраны, гебисты. Не зря же их называли «кригиками в штатском». Они-то профессионально знали, что «стирание» оставляет следы на бумаге, а из подсознания его можно выбить методом «главного критика» – «бить, бить и бить». Они не чурались собирать разорванные автором клочки текста, разбирать с лупой вымарывания.

Исследование Дерриды через деконструкцию работ Жоржа Батая о феноменах «молчания», «эзопова языка» потрясает самим фактом, что можно научно исследовать то, что было нашей повседневной реальностью, не требующей объяснений, а вшитаном с «молоком» тоталитаризма в течение 70 лет.

Деррида за этими стираниями, забвением, заново написанными текстами видит строптивый характер знака, слова, обнажает собственные переживания и упрямство Текста, хранящего все трагедии мира в их зародыше и, главное, всё то, что в грубных звуках «гимна» выбрасывают на помойку Истории. В этом и таится великая истина того, что «рукописи не горят». Иудейское Священное Писание, внешнее в христианскую Библию в виде Ветхого Завета – тому доказательство.

10. ЕВРЕИ – СУЩЕСТВА С ДРУГОГО БЕРЕГА

Знакомый старый еврей, врач, рафинированный интеллигент, худой до такой степени, что неясно, на чём душа в нем держится, прошедший ужасы Гулага, с трудом передвигающийся, по сей день удивляющийся, как ему удалось выжить в те страшные годы, даже сейчас, одержим одной мечтой – попасть во Флоренцию. Только там, говорит он, можно спуститься в Ад, не теряя надежды вернуться.

Я придумал для этого его состояния эпитет – "Ощущение очищения".

Он же несколько व्यспренно, с явным снисхождением, называет это "нисхождением в прошлое". А оно, каким бы ни было, возвращенное памятью, всегда кажется богаче, чем было на самом деле, благодаря эффекту вернувшегося луча, усиленного тоской воспоминаний.

Старик полиглот, включая иврит, который изучал в юности, а родился в год, когда из советской России был выслан первый "философский пароход" с Бердяевым в качестве знамени оппортунизма, и многими другими, составлявшими гордость только набирающей силы русской философии.

Этот корабль был Летучим Голландцем, первой и последней такой вестью, воочию покидающей замыкающийся на глазах Лабиринг одной шестой части мировой суши. И куда бы ты, "скиталец бедный" ни бежал, везде натыкался на ствол оружия, слепо уставившийся тебе в лицо.

Старик любил повторять, как и мой отец, когда начинался разговор о странности и чуждости еврейского племени, что слово "еврей" происходит от древнееврейского – "ми эвер" – "по ту сторону", "с другой стороны", с другого берега.

Я понимал это, можно сказать, на ощупь. Ведь почти под нашим домом протекал Днестр, в дни половодья, кажущийся истинным морем. Я уже понимал, что в связи с водной стихией моя самостоятельность под большим вопросом. Эта стихия прихотливо и своевольно меняла очертания берегов, вызывая во всем мире склоки и столкновения. Тем не менее, мне казалось, что река некой романтической мечта-

тельностью сближает живущих у "вод многих", Данте – на реке Арно, и Мандельштама – на Неве.

Одинокий неразборчивый голос с того берега, обозначавшего край страны, имя которому – Россия, нередко будоражил мой сон, будто был неким сигналом предупреждения. В детские годы я был уверен, что этот голос не вообще, не улетает в пустое пространство, а обращен ко мне. Но даже с самым близким существом – мамой, я не мог поделиться своей тревогой, чтобы она не сочла мне ненормальным. А ведь это, по большому счету, был оклик судьбы с другого берега.

Два феномена отличали меня от окружающих – обостренный слух и не менее обостренное зрение.

В феврале 1937, уже в предчувствии близящейся гибели Мандельштам создает знаменательное стихотворение:

*Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе...*

*И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черногосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.*

*О, если бы меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...*

Я убедился на собственном опыте, что существует боковое зрение, приоткрывающее затаенные обочины мира, и все время не пресекается бормотание – лепет в объемлющем слуховом пространстве, который вовсе не слуховая галлюцинация.

Для меня было привычно, например, играя в шахматы, слышать, о чем говорят во всех комнатах. Как-то один из присутствующих друзей это заметил, и был искренне потрясен. Для меня же это было обычным делом. Иметь такой слух, подозрительно глядя на меня, сказал друг, опасно.

Боковое зрение несет целый как бы дополнительный мир, и он интересней обычного, ибо скрыт и таинственен, и потому именно редко врывается в сознание, говоря, что все потеряно и невозвратно, и ты кажешься себе соннамбулой.

Что же касается "оси земной", я ее не слышал, а ощущал – в быстро текущих водах Днестра, в далеком Черное море, гонимых наклоном земной коры и влиянием земной оси. Вероятно, жизнь у великой проточной воды тайно вкладывает в человеческий характер эту причастность к наклонам, текучести, тяге к далям и тысячелетиям. Наш дом был окраинным, и навсегда вложил в меня ощущение края мира. Слово "провинция" пахло Римом. Овидий был дуновением воздуха, печалью оторванности от рая, так понятного иудейской душе.

Эти закручиваемые земной осью в изгибы, повороты, меандры, воды под синевато-алой аурой последних отсветов заходящего солнца, были главными моими воспитателями, внося в душу ощущение моего места в общей гармонии мира, "чуя все, с чем свидеться пришлось".

Оказывается, сознание имеет собственную автономную память, фиксирующую то, что проскальзывает мимо взгляда и слуха. Совершенно внезапно в памяти возникает нечто неожиданное, неизвестно откуда явившееся. Память оказывается гораздо шире, и несет в себе мир за гранью кругозора и часто в первый миг возникает осколком стекла, ослепленным и слепящим солнцем, лежащим под ногами. Она утягивает в зазор между миром реальным и миром виртуальным, лежащим за ним, над ним или под ним. И в этом зазоре легко возникает, к примеру, в "Божественной Комедии" чудище Герион, то ли прообраз будущего вертолета, то ли прообраз красочного ковра самолета арабских сказок. Фангизия Данте неистощима. И в этот миг "творческого прозрения" открывается во всей глубине и мимолетности исчезновения в следующее мгновение, картой Ада Сандро Боттичелли, вся обзорная гениальность "Божественной Комедии".

11. ДЕМОНЫ ИСТОРИИ

Демон Истории – не нечто иррациональное, насланное неизвестно откуда, извечно заложенное в судьбе одной шестой мира. У демона этого конкретный, знакомый, рожденный нашим страхом смерти, пыток, расстрелов – облик – усатого карлика с тараканьими усищами, возведенного нашим извращенным обожанием в небожителя.

Начиная с 1956 года, затем, в 90-е годы хлынул поток правды. И никто в массе этого народа с короткой памятью представить не мог, что так скоро поток этот захлебнется, обмелеет, обернется реставрацией. Тяжкое похмелье пытались забить крикливым патриотизмом.

История по Джойсу – "сон трактирщика Ирвикера" – это отчаяние человека, упершегося головой в стену. Все – абсурд.

Но стена – осязаемая реальность.

И только такие параноики, как Ленин и Сталин, уверены, стена гнилая: тгни, и развалится.

Горы книг марксизма-ленинизма выброшены из разрекламированной Борхесом Вавилонской библиотеки, метавшей стать всемирным организмом, расчисленным на клетки, но в процессе деления давшим сбой. Эти заманчивые для жадного до новизны интеллекта соты довольно быстро наскучили однообразием, от которого никакие панегирики критики не могли спасти.

После более семидесяти лет казенной канцелярщины, отклонение от которой попахивало кровью, эти бесконечно разрастающиеся клетки превратились в угрюмо смертельный набор тюремных камер рокового ракового пространства, хотя создатель его умер от заурядного разрыва кровеносного сосуда. Небожитель за считанные секунды превратился в кучу дерьма.

Попытка в последние десятилетия гальванизировать его пока не удастся.

Вавилоны преступной мерзости, принесенные им в мир, невозможно прикрыть сахарной пудрой многопудовой лжи. И чем дальше, из-под времени проступает их кровавая правда.

12. ВАРИАНТ ИСПОВЕДИ

Однажды, в горах Крыма, с бьющимся сердцем я дополз до края снежного колодца. В клубящейся тьме в ослепительно солнечный полдень, едва мерцала бездна Преисподней. В этот миг я ощущал безумие, коснувшееся моего сознания, я

уверен был, что никто до меня и после меня не решится на такое, ибо все они принадлежали к поколению неверия.

Чуть позднее, вернувшись в палатку, я стал сочинять некую исповедь Данте. "Не знаю, кто меня избрал. Догадываюсь. Такова избранная Им для меня судьба – шагнуть в бессмертие. Имя мое – Данте Алигьери – всего лишь случайность.

Какие-то крохи моего пребывания в реальности – дом, сгоравший в пожарах и каждый раз восстанавливаемый, даже памятники и гравюры, на которых я не похож на себя, словно речь о другом человеке, – все это жалкие останки и остатки неизвестно чего. Застолбить ничего нельзя. Всё ускользает и расплзается, как бумага, намокшая в воде.

Время – единственная ценность, которую невозможно ни купить, ни продать, ни задержать заклинаниями – "Время, остановись!",

"Мгновенье, замри!"

Даже в Преисподней останется недостижимым и, все же, видимым, дающим тщетные надежды, светящийся горизонт – притягивающая душу линия, соединяющая небо и землю – бессмертие и бренность.

В следующий миг я шагну в пылающую бездну, даже не предполагая, что вернусь. И девушки будущих поколений, чья еще не нарушенная девственность дает им возможность видеть меня, чьи щеки обожжены подземным пламенем, и шпшукаться между собой: "Он был там, и вернулся".

Люди же, в массе, переступая порог Баптистерия во Флоренции, где меня, младенца, окунали в купель, будут вспоминать мое имя, ибо Баптистерий с первого же мига напомнит им огромный орган, ожидающий прикосновения пальца человека, чтобы зазвучать во всю свою Божественную силу.

Такова и моя, надиктованная Свыше "Божественная Комедия": прообраз Баптистерия был мне гениальным эскизом Мироздания, подвижной и, в то же время вечной, трехступенчатой конструкцией – Адом, переходящим в Чистилище, и спасающим надеждой Раем.

И сколько бы это не считалось преувеличением, сбросить его в забвение оказывается невозможным, – и это – при отчаянном неверии и желании – до полной потери дыхания – отрешиться от этих сказочек".

13. ПАМЯТИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Камера-обскура аккуратно и равнодушно фотографирует уголок жилья в стеснении стен, которые предательски "тонки, и некуда больше бежать..."

Ба, да это же камера острога. Видишь. Предательски выглядывает краешек "толчка", вернее, некой омерзительной дыры для опорожнения желудка.

– Фу, как некрасиво и противно.

– Так это же судьба.

Камерная фангазия. Каменная судьба. Каменный лоб государства.

– Уберегите камеру. Да не тюремную. Эту – камеру обскуру. Нашли занятие – запечатлеть неволю. Вы кто – вольный фотограф или камердинер. Лучше были бы капельдинером: музыка капает, а вы эту капель обслуживаете. А-капелла. Каково однажды проснуться в камере от звуков камерной музыки за глухой тюремной стеной. Какое-то безумное напоминание об абсолютной свободе.

Издательская фантазия на гибельную тему. Кимвалы и литавры величают создателей многокамерной империи.

– Ничего не поделаешь, это въелось в душу. Мой бывший сотоварищ по камере не верил, что вышел на свободу, и каждую субботу превращал свою комнату в камеру. Загораживал скудной своей мебелью дверь. И после всего этого перетаскивания, напоминающего ему работу на лесоповале, чувствовал себя в своей тарелке.

Бесправному без конца тычут в нос: по какому праву?

А право четко обозначено: лицом к стене, руки за спину. Или – спиной к стене, взгляд на ствол.



Марк Авербух

О БРОДСКОМ

Заметка обывателя

28 января исполнилась 20 лет со дня ухода Иосифа Александровича Бродского. Вспоминая его, с удивлением и не без радости, обнаружил множество пересечений, случившихся у меня как с его творчеством, так и с живыми отражениями его жизни.

Вот пример. Где-то, по-моему, в 85 году я познакомился со свежим эмигрантом из Москвы по имени Абрам. По специальности генетик, он встречался с нашей соседкой, и однажды мы пригласили их на чай. Гость был статен, умен, интересен, симпатия была взаимной. Весной следующего года у меня была длительная работа в Далласе, где к этому времени Абрам получил позицию в университете, отношения с соседкой были позади. Я позвонил ему, он с радушием отозвался, пригласил в гости. «Я здесь живу с girlfriend, у нее сын, но пусть это тебя не смущает». Мы встретились в ее доме, носившем явственные черты католического вероисповедания владелицы жилища. Симпатичная женщина среднего возраста, скорее всего старше Абрама, она с подчеркнутым пиететом обращалась к своему другу: «Абрам, hupny». И вот, после типичного американского обеда: mash potato, salad, stake – заговорили на общие темы, и она говорит: «Недавно у Абрама был день рождения, и я ему сделала подарок, поглядите» - и показывает мне томик эссе Бродского «Less than one» («Меньше единицы»). Я был смущен, т.к. не знал Бродского-эссеиста, знал только, как изгнанника-поэта, да и с его поэтическим творчеством знаком не был. Вот тебе и американская глубинка!

Года два назад я приобрел (не ахти как широко известный) роскошный фотоальбом Александра Либермана «Campidoglio», посвященный скульптуре Марка Аврелия, воздвигнутой на одном из семи холмов Рима, вблизи Капитолия. Эссе для этого альбома написано Бродским, и в предисловии к этому изданию Алекс Либерман так характеризует автора эссе: «Моя восхищенная благодарность великому Иосифу Бродскому за благородство мысли в его магистерском эссе о Марке Аврелии».

Но вернемся к далласскому эпизоду. Эта история заставила меня внимательнее присмотреться к его поэзии. Поговорим об этом. Со времени наступления зрелого возраста, т.е. в студенческие, и далее, годы, припоминаю за собой лишь два случая, когда я усилием воли и концентрацией внимания стремился «приподнять» себя до уровня читаемого мной автора, т.е. понять его, постигнуть нюансы его творчества. Допустим, Пруста, Джойса, Гессе и подобных «трудоемких» авторов, я и не пытался «освоить» до дна, на это нужна масса времени, да и с непредсказуемым к тому же результатом. Но трём поэтам, попервоначально маловразумительным, я посвятил изрядную долю времени: Манделштам, Пастернак и Бродский – и за свои усилия был вполне вознаграждён, глубины и смыслов мира серьезно обогатили мое восприятие бытия. Другие великие русские поэты: Пушкин, Лермонтов, Фет, Некрасов, Есенин, Ахматова, Слуцкий. Самойлов, Евтушенко, Левитанский, Твардовский, Рубцов – множество славных имён – все же не столь сложны для понимания, как эта троица. Они читаются и воспринимаются без излишних мозговых затрат. Кстати, один из весомых аргументов в подтверждение этого: многие стихи

ряда перечисленных поэтов легко ложатся на музыку и известны в виде замечательных песен и романсов. Стихи же Бродского, за исключением «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать», положенную на прекрасную музыку Олегом Митяевым, вряд ли ложатся в русло музыкальной композиции, это, должно быть, не случайность. Они сложнее, объемнее, требуют вдумчивого углубления в смысл, форму, ассоциации, метафорику, образную структуру. И да, поэзия Бродского, всеми этими достоинствами обладает сполна. *Холмы, На смерть Жукова, Памяти Шмакова, Пятая годовщина, весь, растянутый на десятилетия, цикл, посвященный Марине Басмановой* – только малая их часть. Далеко не все разделяют такую оценку, напр. Наум Коржавин невысоко ценит творчество Бродского. Солженицын написал обширную статью – ну как же, только одному нобелиату дано судить, свысока, по-снобистски, о творчестве другого – где в своей освоенной менгорской манере, похвалив пару стихотворений, к остальным предъявлял свои претензии, что интересно, после смерти поэта, не боясь ответной реакции. Статья поганая, упрекнул Бродского, что он не писал на еврейскую тему, ему, говорит, были и карты в руку.

Евтушенко обычно с горькой теплотой и не раз отзывался о Бродском. Суть его тезиса в том, что Бродский не стал народным, общенациональным поэтом (стараюсь не переверять). Но тут же он констатирует, что Иосиф нашел свою, свойственную только ему, интонацию в русской поэзии, что само по себе огромное достижение. Суждение о народности и т.д., на мой взгляд, очень спорное. Кто определяет степень народности, на каких весах оно взвешивается? В свое время, при жизни, и Пушкин с Лермонтовым были поэтами узкой прослойки салонных дворян и понадобилась капитальная реконструкция и прогресс в развитии российского общества в придачу к серьезному повышению его образовательного уровня, повсеместное изучение в гимназиях, чтобы они стали общеизвестны и любимы. Вообще, общегосударственное признание при жизни – штука все же подозрительная. Уж сколько типографской краски извели для внедрения в народное сознание какого-нибудь Егора Исаева с его «Судом памяти», и Ленпремию сунули, и золотую медальку Гертруды подвесили, а толку шпик, читал, что в перестройку он кур разводил. Таких примеров масса.

Признание поэта народом требует адаптации масс к его творчеству, и это длительный процесс, зачастую выходящий за рамки жизни поэта. Да и сам Евтушенко это определил довольно точно: «Поэт в ней (в России) образ века своего и *будущего* призрачный прообраз». Поэтому, думается, время для поэзии Бродского еще только на подходе. «Поумнеет» народ, и будут гордиться философскими, просвещенческими, гражданскими сокровищами его поэзии, будут изучать самого поэта через призму творчества Иосифа Александровича.

Я различаю две ипостаси Бродского: человека-персоны и поэта. У него было всё точно по Пушкину: «пока не требует поэта \ к священной жертве Аполлон \ в заботы суетного света \ он малодушно погружен». Как человек мог бузить, завалить женщину (есть доподлинное свидетельство потенциальной «добычи», делилась со мной), считаю, что поступил подло написав подметные письма, перекрывая доступ к работе и издательствам Евтушенко и Аксену. Но, конечно же, есть множество свидетельств благородной помощи, например, Довлатову, Темкиной и др. Мне лично рассказывал Валерий Петрович (одно время заведующий департаментом славистики в Джорджтауне), как бережно относился к его поэзии Бродский, всячески поддерживая его талант. Тут я могу перегнуть в ту или другую сторону, поэтому замолкаю. Главное же, этнически никогда от еврейства не отделялся, по крайней мере,

мне ничего об этом неизвестно, прелестный стишок на эту тему приведен в книжке Людмилы Штерн. В друзьях держал множество евреев: Лосева, Рейна, Гришу Поляка, ту же Штерн, был у него близкий друг высокого калибра Александр Либерман и т.д. А вот у Пастернака, в зрелый период его жизни, друзей-евреев не было: Борис Ливанов, вдова Тициана Табидзе, архитектор Масленикова, пианистка Юдина, открестившаяся от еврейства, семья Вс. Иванова, соседи по Переделкину.

Бродский не мог не видеть, что основная масса посетителей встреч с ним – русско-еврейская интеллигенция, другой просто не было, и вел себя с ней – соответственно. Я тому свидетель, т.к. был на встрече с ним 28 марта 1987 г. (за полгода до присуждения Нобеля). Есть у меня альманах «Часть речи», ему посвященный и подписанный И.А. с датой. Кстати, расскажу об этой встрече. Сохранился проспектик с этой встречи, были Бродский, Ричард Ховард, Дерек Волкотт (поэт, родом из Полинезии, ставший через несколько лет после Бродского Нобелевским лауреатом, уверен, не без его содействия). Конечно, основная масса пришедших – русская эмиграция, человек 400-500. Центром внимания был, конечно, И.А. Когда проходил между рядами на сцену, раскланивался налево-направо щедрой улыбкой на множество приветствий. Выступал по-английски, запомнилась фраза о ценности рифмованной поэзии, она дисциплинирует стих. Придает ему изящество и красоту. Говорил о необходимости помочь освобождению Ирины Ратушинской. Потом прочитал свой англоязычный стих, что-то о египетском фараоне, смысл его я не понял. Читал, как и всегда, нараспев, маловыразительно, исполнение Михаила Казакова его поэзии значительно улучшает впечатление от стихов, но вообще-то они предназначены для медленного чтения с листа, а не со сцены. Тем не менее, успех его выступления был всеобщим и полнокровным.

Но я отвлекся. Итак, по психотипу, да, еврей. Но когда божественный глагол касался его чужого уха, все это выбрасывалось за борт. Он требовал для себя, как поэта, общенациональный статус, и тут уже «несть эллина, несть иудея». Видимо, считал, что еврейская тематика будет тому препятствием, поэтому почти никакого соприкосновения с еврейством в его поэзии не было, за исключением «Исаака и Авраама» (еще раннее «Еврейское кладбище около Ленинграда»), да и то это сюжет библейский, но воплощен в поэтической форме гениально, Бродский at his best. Обращает на себя внимание, что поэты-евреи, особенно послевоенного и постсоветского времени почти не касались еврейской темы вплотную: ни Межиров, ни Кушнер, ни Самойлов, ни Левитанский, ни Винокуров, ни Долматовский, ни Рейн... Единственное доблестное исключение: Борис Слуцкий, – мужество которого в освещении еврейской тематики в своей поэзии лишь укрепило его выдающееся место в глазах просвещенных её любителей.

Из поэтической неприкасаемости Бродского к еврейским мотивам вытекало его нежелание выступать в синагогах, не знаю, был ли он в Израиле, ведь надо же читать стихи «на тему». (Попутно замечу, что и в Россию не возвращался, не мог простить запрет правителей на встречу с родителями. Ректор Литинститута С.Н. Есин, гостивший у нас дома, рассказывал, что в 1993 г. послал официальное приглашение И.А. встретиться со студентами и преподавателями ВУЗа, но Бродский написал любезный ответ с отказом).

Его стихия – материк русского языка, русской поэзии, плотность мысли в которой он поднял на новый, трудно достигаемый уровень. Любопытно и загадочно описал это его близкий друг Лев Лосев, уверен он подразумевал Бродского. Не поленись привести его полностью:

Лев Лосев

* * *

«Понимаю — ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», — говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти берёзы,
эти охи по части могил», —
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И ещё он сказал, распалаясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
эти девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копы
и актёрскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда — страна негодаев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
**Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал**
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

Наконец, поговорим еще об одном явлении, связанном с феноменом Бродского. Я имею в виду явление зависти.

В начале оттепельных 60-х в ленинградской комсомольской газете был опубликован обширный подвал, начинавшийся довольно угрожающе. Цитирую приблизительно, но за смысл ручаюсь: «В то время, когда наша молодежь строит светлое будущее, по улицам слоняются бездельники-стиляги, разные П. и бродские»... и в такой стилистике до конца этой разносной малявы. О статье я знаю из первых уст от самого «разного П.», с которым близко знаком и общаюсь более 30 лет. П. — человек, в моем твердом убеждении, с серьезными заслугами на ниве русской культуры. Неординарный, талантливый поэт, стихи которого опубликованы в антологиях «Строфы века» Е. Евтушенко и «Свет двуединый» (Евреи и Россия в современной поэзии), что само по себе — честь немалая. Подвижник-собирачитель редчай-

шей коллекции эмигрантской поэзии (парижской, харбинской, ДП). В далекие питерские времена был дружен с Михаилом Шемякиным, Константином Кузьминским, общался с Иосифом Бродским, Сергеем Довлатовым, Леонидом Аронзоном, Виктором Кривулиным... Во время учебы в московском Литинституте был литературным секретарем Павла Антокольского.

Пропускаю эпопею эмиграции. Где-то в 1981 г. П. после года, прожитого в Вене и по настойчивому приглашению Шемякина переехал в США, в Филадельфию. Вскоре после приезда связался с Бродским, который к этому времени уже занял профессорское кресло в одном из колледжей Восточного побережья и вообще адаптировался среди американского яйцеголового истеблишмента. Бродский просмотрел подборку стихов П., она ему не показалась, и он попытался остудить его поэтические устремления.

С тех пор П. издал много поэтических сборников, ряд из которых занимают достойное место на моих книжных полках. Два из них, проиллюстрированы Михаилом Шемякиным. Недюжинный поэтический дар, незаемный талант на мой, повторяю, субъективный вкус отличает многие (не все, конечно,) из его стихотворений.

В октябре 1987 года Бродский получает Нобелевскую премию по литературе, обойдя враз четверку первачей (Андрея, Беллу, Евгения, Булата), т.е. своих в славе, почете и регалиях **современников**. Элемент политической спекуляции в этом конечно нельзя исключить, но ведь была и настоящая, во всей своей художественной мощи – поэзия, и премия лишь способствовала могучему всплеску внимания к качеству, сути, многообразию его творчества.

Поэт П. сочинил жесткие, прямо зловещие стихи «Черный четверг русской литературы» с датой написания, совпадающей с датой присуждения премии: 22 октября 1987 г.

Сальери премию, Сальери!..
Пусть Моцарт корчится в удушье.
Застыли призраки в портюре –
Прообраз злого равнодушья.

Дангесу почести, Дангесу!..
Ведь Пушкин – пригча во языцех...

И т.д.

Вот такое апокалиптическое обвинение-зависть.

Ну как же можно простить? Лихие хиппари послесталинской эпохи – они вместе кутили, вместе фарцевали, вместе собирались в кафешках, вместе охмурили чужих плодами своих поэтических вдохновений – а теперь: одному – Нобеля, другому же – ну как бы сказать помягче – АНТИБУКЕРА. Да и праведно ли жизнь распоряжается: избранным – славу на последующие поколения с бюстами, памятниками, включением в школьные программы, а другим – забвенью?

А может праведно?!
Сам и отвечаю: Да, праведно!



Азарий Мессерер

ИСААК НАТАН – ПЕРВЫЙ КОМПОЗИТОР АВСТРАЛИИ

*Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.*

А. С. Пушкин

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» был написан А.С. Пушкиным во многом под влиянием «другого гения» – Джорджа Байрона. Из классических комментариев Юрия Лотмана к роману мы узнаем, что уже в первой главе прослеживается шесть ссылок на Байрона, включая всеми нами заученное в детстве «Как денди лондонский одет...». А эпиграфом к восьмой главе Пушкин взял начало знаменитого стихотворения Байрона: «Fare thee well, and if forever / Still forever fare thee well» (Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай).

Однако, кроме отдельных строф, Пушкин не переводил стихов Байрона, возможно, потому, что английский язык знал неважно и читал большинство произведений «другого властителя наших дум» в прозаическом переводе на французский – фактически он взялся изучать английский лишь в ссылке, в Кишиневе, для того, чтобы прочитать Байрона в подлиннике. Михаил Лермонтов же, воспитанный, в отличие от Пушкина, на английской, а не на французской поэзии, сделал прекрасные переводы Байрона. А вслед за ним и другие русские классики – Федор Тютчев, Афанасий Фет, Алексей К. Толстой – переводили великого английского романтика. Видное место среди этих переводов занимают «Еврейские мелодии» Байрона. Правда, издатели в СССР редко указывали, из какого цикла взяты эти переводы, оправдываясь тем, что еврейская тема затрагивается далеко не во всех из них. В частности, в первом и, признанно, самом лучшем стихотворении этого цикла “She walks in beauty” нет никаких указаний на то, что Байрон прославляет библейскую красоту. Вот эти строчки в вольном переводе Самуила Маршака:

Она идет во всей красе –
Светла, как ночь ее страны.
Вся глубь небес и звезды все
В ее очах заключены.

В других же стихах еврейская тема превалирует, например, в «Арфе Давида»:

Разорваны струны на арфе забвенной
Царя-песнопевца, владыки народов, любимца небес!
Нет более арфы, давно освященной
Сынов иудейских потоками слез!

(перевод Николая Гнедича)

Вдохновителем и первым издателем этих шедевров был композитор Исаак Натан, прослышавший об особой любви Байрона к Танаху, или, как принято порусски называть, Ветхому Завету. В 1821 году Байрон писал другу: «Я усердный читатель и почитатель этих книг; я их прочел от доски до доски, когда мне еще не было восьми лет, – т.е. я говорю о Ветхом Завете, ибо Новый Завет производил на

меня впечатление заданного урока, а Ветхий доставлял только удовольствие». Для Исаака Натана же эти тексты были священными.



Исаак Натан, 1820

Он родился в 1790 году в Англии, в Кентербери, в семье кантора Менахема Натана, польского иммигранта, выдававшего себя за незаконнорожденного сына польского короля Станислава II. В своих мемуарах Натан пишет, что его реальный отец был широко образованным человеком, по вечерам он собирал своих детей и рассказывал им легенды и мифы, связанные с историей еврейского народа. Родители хотели, чтобы Исаак стал раввином и с этой целью отправили его в Кембриджский университет, но он рано проявил незаурядные музыкальные способности, тратил все свои карманные деньги на покупку нот, пропускал занятия в университете и только и мечтал, что стать музыкантом. Натан вспоминает в мемуарах, что на чердаке отцовского дома он обнаружил старый клавесин и, вставая в 4 часа утра, играл целый день на нем с таким воодушевлением, что, забывало еде. В конце концов родители уступили, разрешив ему брать уроки у одного из самых известных в то время музыкантов Доминико Корри. Через восемь месяцев он заслужил одобрение учителя, сочинив свою первую песню «Детская любовь». За свою жизнь он написал около 200 песен.

С раннего детства Исаак Натан присутствовал на службах в синагоге, и древние еврейские мелодии усвоил, как говорится, с молоком матери. Став профессиональным музыкантом, он первым в истории записал ноты наиболее популярных еврейских религиозных гимнов и решил издать их вместе с написанными на эту музыку стихами какого-нибудь прославленного поэта. Сначала он обратился к Вальтеру Скотту, но тот отказался. Байрон тоже долго отказывался, но Натан проявил невероятную настойчивость, не принимал ответа «нет», как говорят в Америке. В конце концов Байрон согласился, и вскоре его посетил подлинное вдохновение, когда он окунулся в атмосферу библейских сюжетов и старинного еврейского песнопения.



Лорд Байрон

По свидетельству Натана, Байрон по многу раз слушал мелодию и сам подпевал во время ее исполнения, прежде чем приступал к сочинению стихотворения. Надо думать, что вместе с Натаном он не раз посещал синагогу, вслушиваясь в ритмы и фразировку синагогального пения. Не удивительно, что даже те стихи этого цикла, которые не затрагивают библейские сказания, органически сочетаются с еврейскими литургическими мелодиями. Например, стихотворение «Она идет во всей красе» написано на музыку гимна «Леха доди», приветствующего наступление субботы. Популярнейший ханукальный гимн «Маозгур», сочиненный в XIII столетии в Германии, звучит в песне «На берегах Иордана» («On Jordan's Banks»). Вот отрывок из этого стихотворения Байрона:

Там, там, где на камне десница твоя начертала
Закон, где Ты тенью Своею народу сиял
И риза из пламени славу Твою прикрывала,
Тот мертв, кто б Тебя Самого увидал.

Свергни своим взглядом, разящим из тучи громовой,
Не дай попирать Твою землю свирепым врагам;
Пусть выронит меч свой из длани властитель суровый;
Доколь будет пуст и покинут Твой храм?

(Перевод Дмитрия Михайловского)

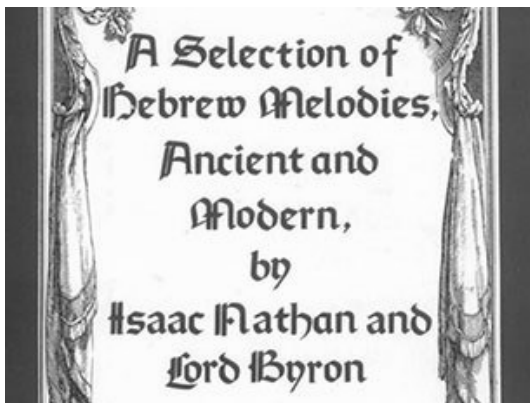
А мелодия читаемой на Йом-Кигур молитвы «Яале таханунейну» («Прими наши мольбы») соединилась с вышеприведенными стихами «Арфа Давида».

«Если я забуду тебя, Иерусалим...»

В опубликованных в 1829 году воспоминаниях о Байроне, скончавшемся пятью годами ранее в возрасте 36 лет, Натан, рассказывая об их совместной работе, приводит интереснейшие детали. Например, получив от Байрона второе стихотворение, композитор не преминул заметить, что в отличие от первого: «Она идет во всей красе», в новом опусе всего лишь пять строчек. «Да, – сказал Байрон, но в пятой строчке я отослал тебя на небо, дальше лететь некуда». («И звуки ее к небе-

сам посылала струна»). В это время к Байрону пришел некто по делу, и беседа превралась. Однако как только посторонний вышел, Байрон вдруг признал: «Ты прав, Исаак, я подвел тебя» и неожиданно вручил ему дополнительные пять строчек.

Другая знаменитая песня «Мы сидели и плакали на реках Вавилона», которая содержит, пожалуй, самое знаменитое высказывание в еврейском эпосе: «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука» («May this right hand be withered for ever»), как утверждает Натан, была написана Байроном в один присест, в его присутствии, и ни одного слова он потом не изменил.



Обложка к первому изданию «Еврейских мелодий»

Результат содружества Байрона с Натаном превзошел все ожидания: в апреле 1815 года сборник песен «Еврейские мелодии» стал бестселлером в Англии. Продавался он за баснословную цену в одну гинею, что примерно соответствует 120 долларам в наше время. И несмотря на внушительную цену было раскушено 10 тысяч экземпляров сборника.

Конечно, имя Байрона и его одухотворенный лик на обложке способствовали финансовому успеху. Но большую роль также сыграло умение Натана представить «товар» в самом лучшем свете. Так, во вступительной статье он написал, явно преувеличив истину, что этим еврейским мелодиям более 1000 лет, а некоторые из них исполнялись древними евреями еще до разрушения Храма царя Соломона. Он также в качестве соавтора комментариев поставил фамилию Джона Брэма, популярнейшего в то время оперного певца-еврея, давшего согласие использовать его имя за процент от прибыли.

Незадолго до отъезда Байрона из Англии, в 1816 году, Натан прислал ему в подарок мацу и пожелание в письме, чтобы небеса всегда хранили его, как хранили они еврейский народ. Байрон принял дар с благодарностью за добрые пожелания и высказал надежду на то, что маца станет ему талисманом против демона-разрушителя, дабы не потребовалось бы смазывать кровью дверные косяки.

Заработав громкое имя на «Еврейских мелодиях», Натан продолжил издавать свои ноты и литературные произведения, а в 1823 году опубликовал великолепное эссе по истории и теории музыки. Вот один из пассажей из этого оригинальнейшего труда в моем несколько вольном переводе:

«Умеренная экспрессивность являет собой наивысший уровень мастерства в искусстве, это магическая формула успеха, приводящая к высочай-

шей оценке артиста, это последний, завершающий штрих в работах живописцев, поэтов, музыкантов. Подобное совершенство достигается пристальным наблюдением и упорным трудом, тогда как выразительность подлинная есть непременно результат природного живого чувства, дитя врожденного чувственного восприятия, навеянного Музами и Грациями, без коего даже самый совершенный голос и самое виртуозное исполнение, хотя и могут поразить на время, не находят пути к сердцу слушателя и зрителя.



Лорд Байрон

Бесчувственного певца, коему не хватает смысла чередовать разные уровни экспрессивности, можно по справедливости приравнять к мраморной статуе, приятной для глаз своими симметричными пропорциями, неодушевленной и потому побуждающей нас вскоре отвернуться, наскучив своей безжизненностью, и обратиться к предмету менее красивому, но более жизненному».

И в подтверждение своих мыслей Натан обильно приводит выдержки из произведений классиков: Шекспира, Мильтона и других.

Придворный музыкант

Эссе композитора имело громкий успех в Англии и произвело большое впечатление на самого короля Георга IV, назначившего Натана директором Королевской музыкальной библиотеки. Одновременно Натана пригласили давать уроки музыки дочери короля, принцессе Шарлотте Уэльской – ей он посвятил несколько своих песен, которые сам же и исполнил в лондонском оперном театре «Ковент Гарден». Однако оттого что голос у него оказался недостаточно сильным для больших залов, а до изобретения микрофона оставались несколько десятилетий, с карьерой певца пришлось расстаться, посвятив себя дирижированию опер собственного сочинения. Поставленные Натаном в лондонских театрах комические оперы обеспечили ему славу и высокое положение в светском обществе.

Но даже будучи придворным музыкантом, Натан сохранил верность еврейской религии. Свою первую жену, ирландку по происхождению, он заставил пройти гиур и стать еврейкой. Она была талантливой писательницей, опубликовала несколько популярных романов под своей девичьей фамилией Элизабет Уорсингтон (Elizabeth Rosetta Worthington), но, к несчастью, рано умерла. Жизнь Натана после смерти жены вполне соответствовала романтическим представлениям пушкинско-байроновской эпохи. Судя по портретам, он был красив и не чужд любовных увлечений – их у него было немало, не раз проигрывался в карты, дрался на дуэлях. Примечательно выступление Натана в суде в 1835 году в качестве свидетеля со стороны леди Ленгфорд в её бракоразводном процессе. Он показал, что не смог снести того, как лорд Ленгфорд, публично оскорбил свою жену, и бросился защищать её достоинство, послав обидчика в нокаут. Надо ли удивляться, что в том же году Натана судили за рукоприкладство, но присяжные его оправдали.

Король Вильгельм IV даже поручил ему исполнить некую секретную миссию при дворе, посулив в награду целое состояние, однако вскоре скорострительно умер, а его министр герцог Сассекс повел себя непорядочно и отказался возместить исполнителю даже 2326 фунгов собственных затрат на выполнение тайного поручения короля. В начале 1840-х годов Натан оказался на грани банкротства – ему грозила долговая тюрьма. Тогда он решился на кардинальный шаг – эмиграцию в Австралию.

Добровольно в Австралию

В первую половину 19-го века в Австралию ссылали преступников, но лишь до того, как там обнаружили солидные запасы золота, после чего на этот далекий континент добровольно двинулись десятки тысяч людей. В конце концов, в метрополию сообразили, что посылать туда заключенных – значит потворствовать их устремлениям. Так Австралия из огромной тюрьмы превратилась в страну свободных людей с быстро развивающейся культурой вполне европейской по духу. Одним из людей, сыгравших большую роль в создании фундамента этой культуры, стал Исаак Натан, прибывший в Австралию со своей второй женой и восемью детьми. Первый профессиональный композитор и дирижер в стране, он впервые в её истории дирижировал в главном соборе Сиднея мессами Генделя и Моцарта. Он также становится хормейстером кафедрального собора Святой Девы Марии, основывает музыкальную академию и хоровое общество, проводит серии лекций, фортепианных и органых концертов классической и современной музыки.

7 мая 1847 года в сиднейском театре Виктория состоялась премьера первой австралийской оперы «Дон Хуан Австрийский», автором музыки и постановщиком которой был Исаак Натан. Любопытно, что сюжет оперы по либретто Д.Л. Монтефиори напоминает фабулу ранней трагедии М.Ю. Лермонтова «Испанцы»: девушка из семьи сефардов, которые тайно остались евреями, влюбляется в юношу-принца, который узнает, что был усыновлен и что у него еврейское происхождение.

В те годы в Европе композиторы стали проявлять пристальный интерес к национальному колориту и народной музыке. Известно знаменитое выражение Михаила Глинки: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем». Следуя этому веянию, Натан стал первым композитором, изучавшим музыку австралийских аборигенов. Он записал и обработал целый ряд аборигенских песен, включив их в свои произведения. Правда, критики не без доли иронии вопрошали, отчего это некая якобы аборигенская мелодия так походит на песенный

фрагмент из оратории Генделя, на что Натан откликнулся в пространной статье подробным описанием поразившего его пения самородка-аборигена. В ней, в частности, говорится:

«Я услышал эту мелодию пропетою необыкновенно чисто и проникновенно аборигеном из племени Манеру... Первые такты в самом деле были удивительно похожи на фразу из Генделя, тем не менее данный абориген никогда не покидал Австралии, и обвинять его в музыкальном пиратстве невозможно. Остается только признать, что нет лучшего доказательства необыкновенной природной силы музыки Генделя, а также истовой силы этого аборигенного музыканта. Время от времени печальная мелодия у аборигена переходила в неразборчивый и долгий речитатив, потом внезапно у него снова вырывались ноты, пропетые во всю мощь его сильнейшего голоса, которые напоминали «Аллилуйю» из генделевского хора. Услышать эти ноты от подобного существа в дикой пустыне было впечатлением настолько сильным, что оно не поддается описанию».



Исаак Натан

Трагическая смерть

Натан сочинял музыку по-моцартовски легко и быстро. Любопытен в этом смысле один пример: в 1845 году пришло известие о гибели прославленного австралийского ученого- первооткрывателя Людвиг Лейхгардта (Ludwig Leichhardt (1813-1848)) в ходе тяжелейшего путешествия к будущему порту Элингтон на крайнем севере континента. Директор «Барака» (The Barrack) – первого здания в Сиднее, бывшей тюрьмы, превращенной со временем в музей истории города, написал оду на смерть Лейхгардта, а Натан сочинил к ней музыку. Буквально за несколько дней до исполнения этого произведения обнаружилось, что путешественник выжил – аборигены убили двух других участников экспедиции - и вскорости он должен был вернуться в Сидней. Нисколько не обескураженный, композитор за несколько дней сочинил новую радостную ораторию «К счастливому возвращению домой Лейхгардта». Не удивительно, что на него после этого случая посыпались заказы на музыку к тем или иным памятным событиям, как то годовщины осно-

вания английской колонии, учреждения городского муниципалитета Сиднея и т.д. Широкую популярность завоевала его оратория «Прекрасные девы» (Currency Lasses), прославляющая женщин Австралии.

Как и все этапные переломы в его жизни, смерть застигла Натана неожиданно-негаданно, непредсказуемо: январским днем 1864 года 74-летний композитор попал под колеса конного трамвая. Виновным в трагическом происшествии был признан погибший, но тормозным кондукторам было поставлено на вид за недостаток бдительности. Между прочим, 50 лет спустя точно так же и в том же возрасте погиб под колесами трамвая в Барселоне великий зодчий Антонио Гауди.

Материалы для этой статьи я частично почерпнул из лекции Чарльза Бритни в Сиднейской консерватории, директором которой является один из потомков Натана. Среди других его многочисленных потомков стоит выделить сына композитора, прославленного хирурга Чарльза Натана и двух дирижеров. К сожалению, музыка Натана исполняется ныне редко, а вот стихи Байрона, к которым он имел самое непосредственное касательство, сделались классикой, их можно услышать в сопровождении музыки других композиторов. На YouTube, например, очень советую послушать гениальное стихотворение Байрона «She Walks in Beauty» в сопровождении конгениальной мелодии великого композитора Густава Малера из его 5-ой симфонии: <https://www.youtube.com/watch?v=ofsHSvS-f50>



Шуламит Шалит

ДОРОГИЕ МОИ «КАРТВЕЛИ ЭБРАЭЛЕБИ»^[1]

Памяти Нисана Бабаликашвили (1938-1986)

«Не верится, что нашего брата Нисана нет уже тридцать лет. Но его не забывают не только близкие люди. Наша Хая-Мерав хранит и собирает воспоминания, публикации его профессоров, студентов, друзей. Через эти рассказы, а в наших сердцах Нисан жив всегда, его личность обретает еще большую яркость, неповторимость», – говорит младшая сестра Рива. Нет, она назвала старшую не Хая-Мерав – это официально, а как ее все называют, Цаца, что по-грузински «ласковая». А кто одарил ее этим именем – бабушка ли, мама Малка или папа Израиль, Рива не помнит. Зато сама Цаца помнит, что именно бабушка Хана, и что папа как раз неизменно поправлял: не Цаца, а Хая^[2]. А имя Мерав добавили в память маминой сестры.



Израиль и Малка Бабаликашвили

Много лет назад, когда я заинтересовалась историей жизни необыкновенного не только для своей эпохи раввина Израйля Бабаликашвили (1899-1971), когда его биография, деяния на благо людей, его дневники буквально заворожили меня, дру-

^[1] *Картвели эбраэлеби* – (груз.) грузинские евреи.

^[2] Хая – женское имя, от хай (иврит) – живой, например, *ам Исраэл хай* – народ Израйля жив, *агада хая* – живая легенда. Имя Хая (уменьшительно-ласкательное Хаяле) бытовало, в основном, в идишской языковой среде.

гие члены этой семьи остались в тени. Но будучи однажды приглашенной в этот необычный и гостеприимный дом, я со временем и почувствовала себя в нем как дома, будто росла тут и каждого знаю лично. Всем историкам-востоковедам, специалистам по Кавказу, знакомо имя сына раввина, Нисана Бабаликашвили, их покойного коллеги. Но прежде чем говорить о нем, надо сказать, что всем четверем детям отец сумел дать не только высшее образование, но и сам обучал их ивригу, молитвам, песням и вырастил всех в еврейской традиции. И если вспомнить о времени, на которое пришлось и детство, и юность детей Бабаликашвили, приведенным фактом их биографий и характеру отца остается удивляться и гордиться! Недаром же публицист, поэт и математик Борис Кушнер писал: «Нас, евреев, помнящих своё родство, часто обвиняют в национализме... Так уж укоренилось в сознании очень многих, что русский может чувствовать себя русским, грузин – грузином, немец – немцем, кто угодно кем угодно. Только не еврей – евреем!»



Хая-Мерав (Цаца) с родителями, 1960 г.



Иосиф Бабаликашвили

Сегодня мне хочется пригласить и тебя, мой читатель, в дом Бабаликашвили, и хоть немного рассказать и о других детях, а потом уже о самом Нисане...

Первыми в семье появились девочки, за ними – два мальчика, Нисан родился в 1938-м, Иосиф в 1940-м. О мальчиках кто-то написал, а другие повторили: «Оба брата явились в мир на мгновение, как образец для подражания».

Еще учась в школе для одаренных детей, Иосиф стал рисовать, и портреты Руставели, Данте, Байрона, Шиллера вскоре украсили стены кабинета по языку и литературе. Увлёкся бисером, его ожерельями любовались. К празднику Рош а-Шана грузинская синагога получала в подарок от братьев красочный настенный календарь. Иосиф поступил на механико-математический факультет. На выпускном экзамене в университете присутствовал директор НИИ автоматики и приборостроения, и искать работу Иосифу не пришлось. В 27 лет у него уже была семья – жена Тая и полуторагодовалый сын Арон, готовая к защите диссертация и мечта создавать медицинские приборы. Старшая сестра говорит:

«2 октября 1968 года, в день рождения Иосифа, мы оплакивали нашего брата, а родители – сына. Папина прощальная речь над могилой Иосифа была исполнена не только боли, но и библейской мудрости, а нам с Ривой кажется, что отец уже никогда не вставал со своего кресла»...

Обе дочери были к тому времени замужем, и обе на редкость удачно. Ни заказать, ни купить себе чудо невозможно, но дождаться его можно. Из пункта А (Самарканд) в пункт Б (Тбилиси) приезжает молодой еврейский парень Сион Худайдатов. Его знакомство с раввином Израилем Бабаликашвили происходит в очереди за растительным маслом. В одни руки давали только пол-литра, дело происходило году в 1936-м, а почему приезжий Сион предложил помочь серьезному еврею в ермолке (кипе) получить побольше масла, мы не знаем. Богоугодное дело, мишва, среди евреев приветствуется уже тысячи лет, жаль, что масло кончилось именно на них... Раввин пригласил гостя встретить субботу у него дома. Сиона очаровали две маленькие девочки раввина. До судьбоносного события, когда будущий педагог Хая Бабаликашвили встретится с Борисом Худайдатовым, молодым врачом-невропатологом и... племянником Сиона, оставалось еще лет двадцать... Раввина за «иудаизм» и его распространение дважды арестовывали, но выпускали, и к великой радости почти один за другим после девочек родились у них с Малкой еще два мальчика. Потом грянула война. Сион прошел ее от начала до конца, был ранен, но остался жив. Обо всем этом они рассказали друг другу во время новой и опять неожиданной встречи в московской синагоге, и тогда уже «грузин» Израиль Аронович стал гостем «бухарца» Сиона Ниязовича, потому что Худайдастовы жили тогда в Москве. Может, именно во время этой беседы вспомнил Сион и маленьких дочерей раввина. Сколько же им сегодня, 25-26? Они не замужем? Оставалось познакомиться с ними своего племянника. «Врач, любящий свою профессию, но и литературу, театр, к тому же соблюдающий еврейские традиции – это, видимо, меня подкупило, – говорит Хая, – и я, очень привязанная к своим родным, к своему дому, к Тбилиси, как околдованная, еду в Самарканд! Хорошо, что семья из 15 человек (11 детей, две бабушки, свекор со свекровью) оказалась доброй. Дети "благоволители" ко мне, а Борис обожал моих родных!»... Свадьбу сыграли в 1955-м.

Доктор медицинских наук, ученый, посвятивший основные труды лечению церебрального паралича у детей, основал в 1994 году в Иерусалиме (вместе с профессором Ф. Ляссом) реабилитационный Центр для детей, находившихся в радиусе

100 км от места аварии на Чернобыльской АЭС. Борис Худайдатов скончался в 1999 году в Иерусалиме.



Хая-Мерав (Цаца) Бабаликашвили и д-р Борис Худайдатов

Перед отъездом в Израиль в декабре 1990-го Хая полтора года преподавала в Тбилиси иврит. Из письма Мери Хухашвили, одной из ее учениц: «Может, для кого-то это были просто уроки иврита, а для меня нечто гораздо большее... Общение с Вами равносильно второму университету. По иронии судьбы, будучи оторвана от своих корней, я, например, глубоко изучила историю Англии и до позорного мало знала о жизни евреев, о величии Торы. Вы необыкновенная, и вся Ваша семья необыкновенная. Я проплакала весь вечер, когда реально представила себе, что по понедельникам и четвергам мы уже не будем спешить на иврит...».

В том же году, когда Хая выходила замуж, Рива только познакомилась со своим Робертом Черновым. Отца его звали Александр Чернов. С такой фамилией жить в России при всех властях легче, чем с фамилией Шварц, но судьба уготовила ему новую напасть – жениться на девушке по имени Берта Каплан! После дела о покушении эсерки Фани Каплан на вождя революции Ленина носить такую фамилию стало опасно. Роберт родился уже в Батуми, в 1935 году, а позже вся семья Черновых переехала в Тбилиси. Тут начинаются «уроки музыки». Рива училась уже на 3-м курсе теоретико-композиторского факультета Тбилисской консерватории, когда на 1-й курс вокального приняли 19-летнего Роберта Чернова, юношу с «роскошным голосом», но без всякого музыкального образования. Известно, что такие случаи до крайности редки. Примеры? Шаляпин! Марио Ланца! Из наших современников – Соткилава!.. Впервые Рива увидела Роберта в концертном зале (какой красивый!), и кто-то сказал, что он дружит со студенткой-сибирячкой, которая жила два месяца в доме Бабаликашвили и часто говорила Риве о своем парне, не называя его имени... Странная история, но никаких видов на него у Ривы не было, просто вскоре он стал ей встречаться на каждом шагу – то в коридоре, то в библиотеке, а каждый вторник – на традиционном академическом концерте... Вскоре Рива стала помогать Роберту в занятиях по гармонии, сольфеджио, своего инструмента у Черновых не было, поэтому он был естественно и просто введен в дом рабби Бабаликашвили. Всем этот обаятельный юноша понравился, а он, не знавший до того никаких еврейских обычаев, традиций, потихонечку набирался знаний и стал тут своим, но... Позднее мама Малка призналась, что отец очень пе-

реживал, ведь ему то и дело сообщали, что его дочь видят с каким-то молодым человеком... И каким сдержанным и мудрым оказался папа Израиль: никогда, то есть ни разу не упрекнул свою дочь... А Роберту явно интереснее была дружная компания однокурсников Ривы, и когда они всей гурьбой, человек десять, поехали в Москву, присоединился и он...

Рива вспоминает: «Это были его музыкальные "университеты". Наши отношения долго держались "на пионерском уровне", помню, что на Роберта большое впечатление произвел один наш разговор. В принципе, он ведь вырос в ассимилированной семье. Я очень тосковала в разлуке с сестрой, уехавшей к мужу в Самарканд, и мы с ним часто говорили о ней... Как-то я без всякого умысла сказала, что девушке из еврейской семьи, соблюдающей традиции, нелегко выйти замуж, и мне показалось, что у него эта фраза вызвала как будто сочувствие ко мне. Правда, поняла я это позже».

Забавная деталь, почти анекдот: и Рива и Роберт были комсомольскими секретарями на своих факультетах...



Рива Бабаликашвили и Роберт Чернов

А «пионерский период» в их отношениях длился почти три года, до самой свадьбы, а иначе, говорит Рива, и быть не могло, несмотря на ежедневные встречи. Свадьба состоялась в январе 1958-го. Что меня поразило в истории их дружбы и любви? Абсолютное отсутствие не только громких, но и тихих слов о том, как они относятся друг к другу. Надо прожить долгую жизнь, чтобы встретить такую пару: похуже характеры, оба добры и бескорыстны, с уважением относятся к людям, безгранично преданы родным и друг к другу, но без внешнего проявления эмоций!

А вот послужной список каждого.

Роберт Чернов работал солистом театра оперы и балета, перешел в ансамбль Закавказского военного округа, затем стал музыкальным редактором радиокомитета Грузии, главным редактором Тбилисской студии грамзаписи фирмы «Мелодия», снова вернулся в оперный театр, но уже заведующим труппой и режиссером, а впоследствии являлся главным режиссером и директором Тбилисской филармонии. «Конечно, незаменимых людей нет, – скажет музыковед Галина Мошкович, –

но особое место Роберта Чернова в сфере человеческих взаимоотношений сейчас пустует, его личному участию в сложной системе работы филармонии, как и своеобразному колориту его личности не может быть равноценной замены.

Рива или Ревекка Израилевна Бабаликашвили, по словам той же Галины Мошковиц, «более 30 лет трудилась на ниве музыкального воспитания», «на ее занятиях царил радость открытия», «она влюблялась в своих учеников, и они отвечали тем же»... А вот об открытых уроках: «хотелось аплодировать ее находкам и озарениям, а главное, той стабильности результата, которой ей удалось добиться»...

Ученики Ривы – и победитель Международного конкурса пианистов имени А. Рубинштейна в Тель-Авиве (1995) Александр Корсантия, и неподражаемая Тамара Гвердцители, а для нее они все еще Сашенька и Тамрико, каждый в свой черед приглашает ее на свои концерты в Иерусалиме, и если знают, что она пришла их послушать, то, не сговариваясь, производят в микрофон приветствие своей читательнице дорогой Ревекке Израилевне, которая оказала им честь своим присутствием в зале...

31 мая 2015 года Роберта Чернова не стало. Рива скажет: «Очень больно, что он уходил в страданиях!» Она не говорила о своих страданиях, но родные и близкие друзья поражались ее самоотверженности и силе духа. Я знала, когда и куда они поехали: то на консультацию к профессору в Кфар-Сабе, то на проверку в больницу «Асаф а-роф», но если телефонную трубку в Иерусалиме снимал Роберт, он неизменно шутил, и я по наивности радовалась, ну вот, ему лучше, а потом от самой Ривы узнала, что, насколько мог, он старался скрывать боль и от нее... Всех нас потрясло «Слово прощания» Ривы на уход Роберта. Мне его прислал их сын Эмиль (Эммануэль), и в канун *азкары* – годовщины ухода Роберта (но по еврейскому календарю) я благодарю семью за разрешение опубликовать это печально-счастливое «слово прощания и любви».

«Роб! Дорогой мой человек! Я так надеялась, что ты ещё долгое время не покинешь меня. Мы ведь хотели уйти из жизни вместе, так как в течение почти 60 лет стали единым целым – крепким, дружным.

Я тебе бесконечно благодарна за прожитую жизнь, насыщенную, интересную, полную любви, взаимопонимания и взаимоуважения. Ты был как подарок судьбы, стал праздником моей жизни, хотя праздник этот был омрачен трагическими событиями в моей семье. Ты помог мне выстоять, безропотно взял на себя часть моего горя. Ты был терпелив, чуток, мудр и тактичен. Про таких, как ты, говорят: "ходячая совесть и благородство".

Благодаря твоим необыкновенным человеческим качествам тебя любили и уважали все, с кем ты имел хоть какие-то отношения. У тебя был талант общения с людьми самого разного уровня и характера. Все поражались, как ты мог справиться с таким, например, трудным коллективом, как труппа оперного театра, где ты проработал несколько лет. Все были влюблены в тебя, ты был авторитетом, твоё слово было значимым для каждого. И твой отъезд в Израиль стал для многих, очень многих, настоящим ударом. Люди с сожалением говорили об этом, не скрывая слёз.

Ты прожил красивую в духовном плане жизнь, всегда был в ладу с самим собой, чист во всех отношениях перед богом и людьми.

Я благодарна тебе за истинно сыновнее отношение к моим родителям и вообще ко всей моей семье. Эта любовь и это уважение были взаимными. Ты быстро стал для каждого из нас самым родным человеком, как будто всегда был с нами. Особые отношения у тебя сложились с единственным

внуком, который боготворит тебя и всегда говорит, что ты для него "Человек № 1"!

Я не знаю, как можно продолжать жить без тебя, но ты знаешь и всегда говорил, что я стойкая и умею справляться с трудностями. Я тебе обещаю, что постараюсь выдержать и этот удар судьбы.

В этом мне помогают и помогут любимые люди, потрясающие друзья, соседи и, наконец, наш сын и внук, моя сестра, которыми мы так гордимся. В эти тяжелейшие дни наши друзья проявили чудеса внимания и доброты, за что я им бесконечно благодарна.

Мне очень больно и обидно, что такой человек, как ты, ушёл из жизни в таких ужасных муках. Это несправедливо! Говорят, что небеса забирают лучших. Это правда, но ведь хорошие люди нужны и на земле, их не так уж и много.

"Опустела без тебя земля"...

Когда ещё родится человек, подобный тебе?

Дорогой мой! Прости меня за те огорчения, которые когда-либо я причинила тебе.

Прости!»

И вот уже пролетел год. В 2016-м дата со дня ухода Роберта почти совпала с 30-летием со дня ухода брата Цацы и Ривы – Нисана.



Нисан Бабаликашвили

Нисану Бабаликашвили, как и его брату Иосифу, и их отцу, не довелось дожить до перестройки, чтобы приехать в Израиль вместе с мамой, сестрами, их мужьями и племянниками Эмилом и Ароном (сын Иосифа и Тани), но один раз он все-таки в Израиле побывал.

Приглашение ему послала Берта, мать Бориса (Дова) Гапонова, уже после смерти своего великого и несчастного сына. С самой Бертой на эту тему мы не успели поговорить, а упоминавшие имя Нисана, как человека, помогавшего Гапонову, встречается часто, но в чем именно состояла его помощь, никто как-то не акцентировал.

И только сейчас я приблизилась к отгадке, а она проста...

Нисан отправился из Тбилиси в Кутаиси на день рождения к дяде Шимшону 10 апреля 1960 года. После застолья дядя спросил, не хочет ли Нисан познакомиться с интересным, «не от мира сего», человеком, знатоком иврита. Дядя подвел его к какому-то низкому домику. Нисан переступил порог и увидел молодого человека, сидевшего на полу, устланном листьями, и услышал какое-то странное шуршание. Это были листья тутового дерева, а шуршание исходило от поедающих их гусениц шелкопряда.

Гапонову было 26 лет, Нисану и того меньше – 22 года. Тогда и таким образом состоялось их знакомство. Заводская многотиражка, где работал Борис, платила ему копейки, и они с матерью «кормились» разведением шелковичного червя и продажей коконов. Но еще больше Нисана поразило, что Гапонов решил перевести с грузинского на иврит поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» – гигантский, титанический труд! Я ошибалась, полагая, что Нисан помогал ему своими познаниями в обоих языках. Нет, в такой помощи гениальный Гапонов не нуждался. Но он нуждался в буквальном смысле этого слова...

Вернувшись в Тбилиси, Нисан начал ходить по инстанциям, рассказывая о Гапонове, где только мог, пытаясь устроить его на работу. Но у Бориса не было высшего образования, «корочки», документа. Примешь такого на службу, сам с нее вылетит.

В первый раз Гапонов поехал в Ленинград сам, выступал с лекциями, имел успех у просвещенной публики. Во второй раз именно Нисан полетел туда с Бертой и больным уже Борисом, которому предстояла операция опухоли в мозгу. Нисан сразу вернулся в Тбилиси, потому что болел и его отец. Нисана отговаривали от новой поездки в Ленинград, но сам Израиль Бабаликашвили сказал: у него, мол, большая семья, вокруг любящие люди, а у Бориса и его матери никого нет. И Нисан полетел в Ленинград снова, чтобы привезти Гапоновых домой после операции Бориса. Он уже не ходил, лежал на носилках. Ни одна живая душа не встретила их в тбилисском аэропорту...

Когда Гапоновы получили, наконец, разрешение на отъезд в Израиль, Берта Гапонова прожила целый месяц в доме семьи Бабаликашвили, Нисан помогал оформлять документы. В связи с ошеломляющим успехом в Израиле перевода на иврит «Витязя в тигровой шкуре» появились публикации и в грузинской печати. Гапонов стал знаменитым, и сразу появилось много друзей – в Грузии, в Москве, Ленинграде, Израиле. Но это уже другая тема.

А я поняла наконец-то, почему именно Берта Гапонова, страдавшая, похоронив сына, невероятно, послала Нисану Бабаликашвили гостевой вызов в Израиль. Он был первым, кто знал Гапонова не в конце 1960-х, а с весны 1960 года и помогал ему, чем только мог, в этом я не сомневаюсь, но рассказывать о таких вещах в семье Бабаликашвили не поощрялось...

Известно, что самое горячее участие в публикации перевода поэмы Руставели на иврит принимал израильский поэт и переводчик Авраам Шлионский. Переписывался с ним и Нисан. И когда книга вышла в свет, Нисан получил ее с автографом А. Шлионского.

המקור הוא
מאמר שכתב
הרב אברהם
פרידמן
בשנת 1928



Автограф поэта А. Шлионского на книге Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» в переводе на иврит Дова (Бориса) Гапонова, подаренной Нисану Бабаликашвили

Разыскав публикацию Нисана на иврите в одном из израильских журналов («Лашонэйну» – «Наш язык») в начале 1990-х, я не интересовалась, как именно попала его работа в Израиль. Но сейчас знаю о переписке, которую Нисан вел не только с поэтом Авраамом Шлионским, но и с другими людьми, в частности, с Игаэлем Ядінном, интересовавшим Нисана, скорее всего, не как военачальник и политический деятель, а как археолог и историк, сын археолога и историка профессора Элизера Сукеника и продолжатель его дела по изучению Свитков Мертвого моря и археологическим раскопкам, которыми Нисан занимался и сам в Грузии и других местах. Не было в живых уже ни Гапонова, ни Шлионского, когда в 1974 году Нисан прилетел в Израиль. В Тель-Авиве он выступал на радио, в Иерусалиме – в Еврейском университете, много ходил, просто гулял по Израилю и был совершенно счастлив!



Нисан в Иерусалиме. Гора Скопус

Давно зная интересные воспоминания профессора Георгия Антелавы о Нисане Бабаликашвили, опубликованные в журнале «Литературная Грузия» и не публиковавшийся ранее текст выступления бывшего отказника и журналиста Александра Разгона на юбилейном вечере отца и сына Бабаликашвили в Иерусалиме (11.12.2000), я решила, что лучше их ни я сама, ни кто-то другой о Нисане не расскажет.

Но для публикации этих работ надо было получить их разрешение. Помогли сестры Нисана. Георгий Антелава прислал мне чудесное письмо, и благодаря ему у нас завязалась небольшая и, я бы сказала, дружеская переписка.

Многоуважаемая госпожа Шалит, шалом!

Я прочел в интернете Вашу публикацию о равнине Бабаликашвили и очень обрадовался: такие люди, как его сын Нисан, да и вообще вся семья Бабаликашвили, постоянно должны быть рядом с нами, напоминать всем-всем, что единственная наземная миссия человека – творить добро.

Я Вам бесконечно благодарен за то, что вы опубликуете мою статью. Естественно, у Вас на это все права. Что касается моего т.н. «портрета» того периода, пороюсь в своих «пергаментях» и ежели найду что-либо подходящее, то непременно пришлю. Сейчас я целиком (кроме лекций в университете) занят работой над книгой о Шуре Цыбулевском, издаваемой Павлом Нерлером в Москве. Это для меня счастливое время. Прошу Вас приписать меня к числу тех людей, которые сотрудничают с Вами и помогают Вам. Будьте здоровы.

Гоги (так меня величают близкие).

Ну, может ли такое письмо не расположить к человеку, спросил бы Шолом-Алейхем...

Дорогой Гоги,

я знаю, как Вас величают друзья и рада быть причисленной к их сонму.

Если мой текст «Неотторжимые от Сиона» – о семье Бабаликашвили – имел честь быть Вами прочитанным, то Вы, видимо, нашли в нем и свое имя. Перечитала свой текст и я. И в сердце воцарился покой, ибо, не зная ни Вас, ни Вашего величия, вычленила или, как сказал бы Шолом-Алейхем, «вычислила» тонкого и доброго человека и процитировала именно его много лет назад, не приписав ни одного его (Вашего!) умного и сердечного слова себе! Разве могла я тогда предположить, что буду («Учитель! перед именем твоим», по слову Некрасова) нести ответ? А нынче за именем полумифического профессора Георгия Антелавы стоит человек, позволивший мне такую вольность – называть себя просто Гоги? О, праздник духа! Это, знаете ли, некое вознаграждение за наносимые жизнью огорчения!

Но к сути...

Давайте же послушаем тех, кто лучше других знал Нисана Бабаликашвили и как ученого и как человека.

ГЕОРГИЙ АНТЕЛАВА

«И делал он угодное в очях Господних»^[3]

О Нисане Бабаликашвили

Ни на секунду не задумываясь, я с благодарностью принял предложение Зазы Абзианидзе^[4] написать несколько слов о Нисане Бабаликашвили. Казалось, что может быть проще рассказать о любимом человеке, с которым связано не одно де-

^[3] «Вспоминая ушедших друзей», журнал «Литературная Грузия», № 8-9, 1998.

^[4] Редактор журнала «Литературная Грузия».



сятилетие ежедневного общения, дружбы. Расказать так, чтобы собеседник услышал его тихий голос, увидел его семенящие шаги, явственно представил доброе, улыбающееся лицо.

Однако все оказалось гораздо сложнее. Не хотелось вкратце пересказывать его и без того короткую биографию, ограничиться так называемой «служебной характеристикой» – это лишило бы читателя возможности увидеть и почувствовать Нисана. Его знали многие, и каждый из этого множества людей знал его по-своему. Кто-то с ним дружил, кто-то его любил, кто-то соглашался с ним, кто-то нет, но для всех Нисан был личностью, Человеком.

В нашей суетной жизни мы часто не осознаем, кто находится рядом. В каждодневной рутине разные мелочи становятся более значимыми и притупляют наши чувства. Отсюда постоянная торопливость, спешка, небрежность в

общении: «Привет, что нового, не пропадай, звони...» Это – с близкими. Мы их не щадим. С дальними же мы более учтивы.

Мы не всегда дорожим присутствием ближнего, но зато слишком хорошо осознаем степень и тяжесть утраты. Теряем часть своего. Но это потом, после потери, когда память вплоть до малейших деталей воскрешает все, что связывало тебя с ушедшим. Именно эти детали восстанавливают все подлинное, настоящее, прошедшее сквозь тончайший фильтр наших чувств.

Нисан был Человеком праведным. Позволю себе, не лукавя, сказать, он ни разу, даже мысленно не нарушил ни одну из Десяти Заповедей. В то же время он был свободным человеком – гражданином, ученым, поэтом. Он не писал стихов (во всяком случае, не публиковал их), но всей душой любил и чувствовал изысканную поэзию Библии. Иначе чем объяснить его безукоризненные переводы на грузинский язык «Плача Иеремии», «Екклесиаста», «Песни песней»...

Сын мудрого, сурового, но доброго раввина тбилисской синагоги и тихой, почти безмолвной матери, он вместе с сестрами и братом вырос в семье, к которой обращались люди, нуждавшиеся в тепле, утешении, добром слове. В семье же он изучил запрещенный тогда родной язык.

В 1964 году он окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета...

Блестящее знание языков (иврит, грузинский, русский, немецкий, английский, арабский), солидное образование, далеко выходящее за рамки университетских программ, высокая культура и подлинная интеллигентность сформировали ученого Нисана Бабаликашвили. Научные работы еще при жизни утвердили его в ряду первоклассных исследователей-гебраистов. В одной из служебных характеристик говорится: «Исследования Н. Бабаликашвили внесли заметный вклад в область еврейской эпиграфики, еврейских языковых традиций грузинских евреев... Его работы отличаются высоким профессионализмом...» Высокий профессионализм Нисана-ученого был обеспечен знаниями и колоссальной ответственностью, с которой он относился ко всему за что брался. Здесь же уместно сказать, что Ни-

сану-студенту безусловно повезло: ведь в университете он был учеником выдающегося ученого и педагога Георгия Церетели и воспитанной им блестящей когорты грузинских семитологов: Константина Церетели, Алекси Лекишвили, Тины Маргвелашвили, Этери Сихарулидзе, Марии Недоспасовой... Полученные им знания Нисану ученый и педагог щедро передавал другим, уже своим ученикам.

Учеников у него было много. Это – коллеги, студенты университета, переводчики, литераторы, языковеды, интересующиеся ивритом, Библией. За советом, консультацией к нему обращались люди из разных стран и городов. В архиве Института востоковедения сохранились письма почти из всех центров гебраистики с просьбами выслать оттиски его статей. Георгий Васильевич Церетели доверил ему продолжение начатой им работы – изучение «Тбилисской рукописи древнееврейского Пятикнижия», хранящейся в Институте рукописей нашей Академии. Эта работа велась вместе с учеными-гебраистами из Института Библии университета французского города Нанси. Увы... ей не суждено было завершиться. Скончался академик Церетели, скончался профессор Жерар-Эммануэль Вейль, не стало Нисана...



Нисан Бабаликашвили, 1960

Многим, очень многим своим ученикам, выехавшим в Израиль, он облегчил жизнь на исторической Родине. Он их обучил родному языку в Грузии. Мы помним, с какой любовью проводил он почти подпольные занятия. Изучение иврита в Союзе не поощрялось. Нисану нередко доставалось за такую «самодельность», которую он, несмотря ни на что, не прекращал...

Добрый Человек, Нисан постоянно заботился о благе других, ни на минуту не думая о своем шатком здоровье. Делал все молча, тихо. Мало кто знает, сколько он бился за улучшение условий жизни и облегчение страданий Бориса Гапонова. К Нисану обращались все, никогда не думая о его времени, усталости, недуге. Обращались, потому что знали – отказа не последует. Поразительно, как он помнил дни рождения не только друзей, но и их детей, родителей. Всем он дарил тепло, внимание. Просто, между прочим, без лишнего слов... «Это твоему сыну, он же учит французский...» «Это» оказывалось великолепной книгой.

Книги были неотъемлемой частью его жизни. Редкая семья могла похвалиться такой библиотекой, какую имел он. Именно библиотекой, доступной всем, а не закрытой коллекцией.

Рисовка в натуре дата соответствия: 1.10.1768.

№ 2. Надгробная плита с этой надписью находится на еврейском кладбище города Ахалзке /см.табл. № 2/.

Текст

1. הנה נפטר 2. על קבורת 3. אשתו 4. אברהם 5. ביום 6. ח' שבט 7. ה'תקכ"ב 8. ה'תקכ"ב

Перевод

1. Это - женщина /2. на могиле по смерти 3. Астры, дочери Абрама/ 4. в этот день в мск /5. в день 6. 10 числа 7. 1722 года/ 8. в мск /9. в мск/

Указанная в натуре дата соответствия: 6.08.1768.

№ 3. Надгробная плита с этой надписью находится на еврейском кладбище г. Ахалзке ГССР. Текст надписи с переводом опубликован в книге И.И.Войнаковича "Еврейское кладбище в Грузии", Тбилиси 1971. Надпись выгравирована на всех четырех сторонах надгробного памятника /см.табл. №№ 3,4,5/.

Текст

1. הנה נפטר 2. על קבורת 3. אשתו 4. אברהם 5. ביום 6. ח' שבט 7. ה'תקכ"ב 8. ה'תקכ"ב

Перевод

1. Это - женщина /2. на могиле по смерти 3. Астры, дочери Абрама/ 4. в этот день в мск /5. в день 6. 10 числа 7. 1722 года/ 8. в мск /9. в мск/

2. ОБРАЗЦЫ ЕВРЕЙСКОЙ ЭПИГРАФИКИ КАВКАЗА

Предлагаемые образцы еврейской эпиграфики изданы по специально собранному материалу, собранному на протяжении 1972 - 1978 гг. во время научных исследований Института востоковедения АН СССР под руководством Г.В.Петрова по материалам еврейских общин на Кавказе. Пользуясь случаем, считаю своим долгом выразить благодарность участникам экспедиции - А.С.Цыбульскому /заведующий/, а также Г.А.Замдзваскиани, З.С.Богаченко и другим людям, оказавшим помощь в содействии в этой работе.

№ 1. Надгробная плита с этой надписью находится на еврейском кладбище города Ахалзке /см. табл. № 1/.

Текст

1. הנה נפטר 2. על קבורת 3. אשתו 4. אברהם 5. ביום 6. ח' שבט 7. ה'תקכ"ב 8. ה'תקכ"ב

Перевод

1. Это - женщина /2. на могиле по смерти 3. Астры, дочери Абрама/ 4. в этот день в мск /5. в день 6. 10 числа 7. 1722 года/ 8. в мск /9. в мск/

Из сборника «Семитологические штудии»

Вообще дети Малки и Израиля Бабаликашвили, будучи многосторонне развитыми людьми, составляли как бы одно интеллектуальное целое. Одна из его сестер, Цаца, посвятила себя книгам. Она была сотрудником Фундаментальной библиотеки Академии наук. Многим посчастливилось общаться с ней, обращаться за советом. Компетентность ее была поразительной. Вторая сестра – Рива – известна в Тбилиси как один из лучших специалистов по теории музыки. Долгие годы она проработала в Тбилисской музыкальной школе для одаренных детей, воспитала не одно поколение учеников.

Музыка, особенно классическая, была страстным увлечением Нисана. Богатейшая фонотека (пластинки, кассеты) занимала большое место в его тесной квартире (если жилье этой семьи в старом Тбилиси можно назвать квартирой). Его часто можно было встретить в концертных залах, в оперном театре. Он мог пропеть (вот голосом он явно не мог похвастать, что компенсировалось абсолютным слухом и поразительным чувством произведения) с начала до конца оперы Верди, Бизе, Россини... Порой он этим «злоупотреблял». Особенно во время наших экспедиций по Грузии, Дагестану, Северному Кавказу, Крыму, где он облазил почти все еврейские кладбища, переписывая эпитафии. Ночью в машине Нисан вдруг начинал петь. Пел громко, даже очень громко. Остановить его было невозможно: не действовали ни просьбы, ни уговоры. Надо было устраиваться на ночлег, но «концерт» продолжался. «Программа» была разнообразной и, что самое страшное, почти бесконечной.

В работе он был фанатиком. Ничто его не останавливало. Тяжелые полевые условия, погода, дальние переезды, пища, совершенно противная его здоровью – все это не имело никакого значения. Главное – иметь при себе огромный портфель – «акушерский саквояж». Боже, чего только в нем не было. Железная щетка, рулетка, различные кисточки, калька, тушь, постоянно (!) влажная тряпка, книги, тетради и... водка. Это для нас, непременных участников «автодиссеей» – Шуры Цыбулевского, водителя Зекерии Богданова и, реже, меня, чтобы не мешали общению с усопшими предками. В этих летних поездках собирался огромный, казалось, малозначительный материал, переносимый на кальку, записываемый в блокноты. Потом длительный период его обработки, публикации и, наконец, диссертация, блестяще защищенная, получившая самые высокие оценки авторитетных семиологов многих стран.

Изданная отдельной книгой, она стала раритетом сразу же после выхода в свет.

Нисан тяжело болел. Болезнь была хронической, изнуряющей, приносящей много физических страданий. Однако никто, даже из самых близких ему людей, не может припомнить, чтобы он говорил о своих недугах. Относился он к ним пренебрежительно. Потасить его к врачу было, практически, невозможно. Другьям стоило немалых усилий уложить его, уже обреченного, в больницу, где он тихо, скончался, успев раздать им всю свою доброту и тепло.

АЛЕКСАНДР РАЗГОН

«Аристократ духа»^[5]

«Проходит время и каждый человек, оглядываясь назад, понимает, что были в его жизни совершенно исключительные встречи. И я, оглядываясь назад, увидел, что и у меня было таких встреч три, с людьми совершенно удивительными по их

^[5] Из выступления на юбилейном вечере отца и сына Бабаликашвили в Иерусалиме (11.12.2000).

душевным качествам: я говорю о профессоре-математике М. Беньяминове (бухарском еврее), об академике А.Д. Сахарове и о Нисане Бабликашвили.

Нисан – первый грузинский еврей, с которым мне удалось познакомиться. Это произошло в Москве, в середине 80-х гг., когда группа отказников (среди нас были и профессоры и научные работники) и не только отказников, каким был и я, стали самостоятельно заниматься исследованиями в области еврейской истории. Однажды была организована встреча с Нисаном Израилевичем.

Есть такая высочайшая степень духа, когда чувствуешь, перед тобой человек – интеллигент высшей пробы, аристократ духа. Вот Нисан был именно такой. Это проявлялось во всем: и в том, как он слушал человека, в его жестах, в его умении ответить, в его умении задать вопрос. Это не было чем-то отработанным, выученным. Нет! Это было у него естественно.

Сидя тогда зимой в московской квартире в замшевой куртке (я еще удивился, почему он так кутается, потом узнал, что он был тяжело болен), Нисан рассказал историю, которая должна была как будто вызвать смех. Нисан шел по улице в Тбилиси и встретил молодого человека, который спросил: «Вы действительно занимаетесь историей еврейского народа?» Нисан ответил: «Да». «Давайте напишем историю еврейского народа?» – предложил тот. Нисан рассказывал об этом с горькой усмешкой, с болью за поколение молодых людей, совершенно не знающих еврейской истории и потому так с наскоку, с налету готовых писать историю еврейского народа. У Нисана болело еврейское сердце... Во все времена рассеяния, где бы евреи ни были, они отстаивали не просто право на существование, а свою национальную честь, свое национальное достоинство! Нисан и был одним из таких людей. Мне могут возразить: «Нисан был сугубо ученым, и какая там борьба?!» Нет! Нисан был борец – и в двух словах я это докажу.

О Нисане тут говорили как об ученом, как о педагоге и переводчике. А я хочу рассказать о нем как о выдающемся общественном деятеле.

В условиях Советского Союза, в условиях совершенно антисемитского государства, Нисан Бабликашвили сумел проделать совершенно поразительные вещи:

- 1) он добился легального преподавания иврита в Тбилиском государственном университете;
- 2) он добился издания и выпуска научно-исследовательского журнала «Семиологические штудии» (из-за неимения времени я опускаю подробности об истории создания этой серии журнала).

Хочу подчеркнуть, что иврит в СССР преподавали в двух местах: в школе КГБ и в духовной православной семинарии, где простой еврей, да и никто из желающих не мог учить иврит. Нисана ивриту научил его родной отец – раввин Израиль Аронович.

Мне известно, что путем многих ухищрений, при поддержке грузинской интеллигенции и научного руководителя академика Г.В. Церетели, сначала удалось



устроить маленький факультатив по изучению иврита (Нисан, будучи студентом II курса университета, стал преподавать иврит студентам семитологического факультета), переросший в самостоятельную дисциплину на факультете, которую сам Нисан и вел.

И во что это вылилось? Не просто «учениками», нет, гораздо больше и шире: когда началось национальное движение в СССР, толчком которого послужило знаменитое письмо группы 18 грузинских евреев (1969 г.), многие люди захотели учить иврит, появились преподаватели, собирались группы, изучали буквы, искали самоучители. Власти с этим боролись. Боролись просто: людей «хватали за шкуру» и говорили: «Мы не против изучения иврита, но у вас нет утвержденной программы. Для обучения любому предмету нужна утвержденная программа!» Тогда им отвечали: «Есть утвержденная программа, она существует в Тбилиском университете, есть и преподаватель – Нисан Бабликашвили». И власти вынуждены были прихлопнуть рот...

Это первое, что сделал Нисан!

Второе. Он пришел к своему научному руководителю и как «наивный проstack» сказал: «Что-то нехорошо получается: классические языки во всех университетах мира – это латынь, древнегреческий, древнееврейский. У нас преподаются и латынь, и древнегреческий, а древнееврейский – нет, и это несправедливо!»... Пробыли иврит!

А с журналом «Семитологические штудии» было так. Нисан опять обратился к своему научному руководителю с вопросом: «В Баку выходит журнал "Советская тюркология", Ереван – центр советской визангистики, а мы, что же, хуже других? Давайте станем центром советской семитологии ("советской гебраистики" нельзя было говорить – в слове "гебраистика" есть слово "еврей")».

Так пробыли журнал «Семитологические штудии».

В III номере журнала «Еврейский исторический альманах» (первые два номера вышли в Москве под моей редакцией) в самиздате (после знакомства с Нисаном нас уже ничего не могло остановить)... III номер вышел в Иерусалиме. В нем помещены, кроме всего, и две статьи одновременно – и это не случайно – это статьи о Феликсе Шапиро и Нисане Бабликашвили. Это два человека, два деятеля еврейской культуры, вернее два борца за еврейство! Ф. Шапиро, автор «Иврит-русского словаря» вывел язык иврит из забвения, его напечатали! А Нисан заставил зазвучать язык, который мертвым лежал в словаре. Вот, что сделали эти два выдающихся человека...

Наша задача – сделать так, чтобы память об этих людях перешла к следующим поколениям!»

В мае 2016 года исполнилось 30 лет со дня кончины востоковеда Нисана Бабликашвили.

Первая публикация (сокращенный вариант): «Еврейский камертон», приложение к газете «Новости недели», май 2016.

Приложение

Еще до заочного знакомства и переписки с профессором Георгием Антелавой мне стало известно, что в Москве готовится издание сборника, посвященного поэту и писателю Александру Цыбулевскому. Но я давно знала и даже писала о сотрудничестве ученого-востоковеда Нисана Бабликашвили с Шурой Цыбулевским (в качестве фотографа), когда он отправлялся в свои научные экспедиции по древним еврейским захоронениям на Кавказе и в Крыму. И у

меня возникла мысль предложить Хае-Мерав (Цаце), сестре Нисана, рассказать о дружбе ее брата с Шурой. Она тут же, смею сказать, с радостью и благодарностью, взялась за работу. Почему «с благодарностью», читатель поймет с первой же ее фразы. А для нас это еще одна возможность заглянуть в гостеприимный дом семьи Малки и Исраэля Бабаликашвили.



Памятник Нисану Бабаликашвили
(арх. Шота Бостанашвили)

Хая-Мерав Бабаликашвили «И еще спасибо Вам за Нисана, – говорил нашей маме Шура...»

(Под редакцией Шуламит Шалит)

«Для меня это счастливая возможность вновь окунуться памятью в свое прекрасное прошлое, воочию увидеть сам дом в Тбилиси, родных, братьев, которые так дружно собирались вокруг не только обеденного стола, но и письменного – и вели интересные беседы на самые разные темы со своими друзьями. Одним из самых дорогих гостей был Шура Цыбулевский (1928-1975), писатель, поэт, литературовед. Александром его никто не называл, поэтому Шура...»

Приходу Цыбулевского как-то по особенному бывал рад наш папа, рабби Израиль Аронович Бабаликашвили. А понравившегося ему человека отец всегда и без видных стараний умел вызывать на душевную беседу. Благодаря своей наблюдательности отец очень скоро заметил, что Шуре как-то неловко за свои поверхностные познания в вопросах еврейской истории, религии и поэтому вел свои беседы именно в таком «русле». Позднее Шура признавался моему брату Нисану: «Беседы с твоим отцом – это краткий курс моего еврейского университета!». Нисан же, будучи сыном раввина, хорошо знал не только еврейские традиции, но и иврит, получив хотя и домашнее, но достаточно основательное образование. Будучи студентом 2-го курса на факультете востоковедения Нисан был приглашен преподавать иврит и на своем курсе и на 3-м. Поэтому можно считать естественным, что уже тяжело больной Шура именно Нисана просил проводить в последний путь организовать по еврейским канонам – с чтением Тэлим (Псалмов) и поминальной молитвы – Кадиша. Такова была воля Цыбулевского, и она была неукоснительно исполнена. Нисан сделал, что мог, и более того. Известно, что у евреев покойника нельзя оставлять в комнате одного, а если нет родных, бывает, что нанимают для этой цели уважаемого человека из синагоги. Всю последнюю ночь Нисан провел рядом с покойным другом, читая положенные в такой ситуации молитвы. На следующий день из России проводить в последний путь Шуру Цыбулевского прибыли его друзья – их было человек семь. Соседи Шуры по дому на ул. Хетагурова распределили гостей между собой, принимая как близких людей в течение семи дней траура. И в этом проявились любовь и уважение к Шуре. Хоронили его в гробу – уже по грузинскому обычаю, предварительно не закрывая лица. Мне это было непривычно, но я помню его лицо одухотворенным, как будто над ним витал неземной свет Шхины...

Мы жили в самой живописной части старого Тбилиси, кстати, недалеко от грузинской синагоги, потому что была тогда в Тбилиси и так называемая «ашкеназская» синагога, где собирались европейские, у нас говорили, «русские» евреи. Мы занимали двухкомнатную квартиру на первом этаже, а на втором этаже жила наша бабушка, мать нашей мамы Малки. В одной комнате у нас была столовая с огромным столом и книжными полками вдоль стен. В другой – спальня с двумя глубокими нишами. Сейчас мы в них заглянем, добавлю только, что в застекленном коридоре стоял еще диван, а на кухне, в углу, находились запасные раскладушки – все это для гостей. Одна из ниш была отцовской вотчиной – часть полок со священными книгами, а часть с «рабочим инструментарием» – кисти, краски, черные кожаные ремешки для наложения тфилин, пергамент для заполнения мезуз, пачки художественно оформленных ктубот (брачных договоров). Вторая ниша служила для запасных постелей, опять же для приема гостей, которые не переводились, поэтому частенько нас, даже взрослых уже детей, всех четверых (два брата и две сестры), отправляли к бабушке на второй этаж. Но над этой горой постельных принадлежностей, горой из одеял, матрасов и подушек, находились две «тайные» полки Нисана. Эта ниша была занавешена, а на полках хранились особые книги – так называлась полу- или вообще запрещенная литература, тут были Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Анна Ахматова. Кажется странным, что такое происходило даже в 1960-е годы.

Познакомились Нисан и Шура Цыбулевский в Институте востоковедения Академии наук Грузии, куда Шуру приняли в 1960-м, в год его основания. Нисан был принят научным работником только в 1967-м. Шапочно они были знакомы и

раньше, но тут как-то быстро сблизилась и тесно общались. Вскоре Шура оказался в нашем доме. Приобретать редкие книги Нисану помогало то, что одно время он работал в Книжной палате товароведом. А к его «тайным» полкам доступ имели, разумеется, далеко не все. Шура представлял собой исключение.

Я помню манеру Цыбулевского усаживаться в глубоком кресле с томом Мандельштама, Ахматовой... Любил вслух прочитать поправившиеся места. Бывало, какие-то их этих книг перекочевывали в его фотограмметрическую лабораторию, куда его принял сам академик Георгий Васильевич Церетели, которого обожали оба – и Шура и мой брат, но и Цыбулевский не впускал к себе кого попало, а только тех, кого не опасался, кому можно почитать вслух, кто не настучит... Он ведь свое уже отсидел...

Иногда, удобно устроившись в этом кресле, Шура не читал, а молча, но с явным удовольствием наблюдал за происходящим в доме: моя сестра Рива, музыкальный педагог, принимала своих учеников; брат Иосиф преподавал математику и физику, к нему приходили те, кому нужна была «срочная помощь» перед контрольными или экзаменами; на кухне со своими «талмидами» (учениками) занимался отец... Перед уходом Шура подходил к нашей маме, давая ей точную и трогательную оценку увиденному, не забывая поблагодарить «тетю Малку» за угощение и обязательно добавлял: «И еще спасибо вам за Нисана!» Нам, домочадцам, было очень лестно, что он, такой красивый и немногословный, в общем, человек, будучи старше Нисана на десять лет (Шура родился в 1928, а Нисан в 1938), дружит с нашим братом, дает ему на суд свои еще неизданные сочинения: «Что сторожат ночные сторожа», «Владелец шарманки» и др. Это с легкой руки Шуры Цыбулевского наш дом называли то «школой», то «библиотекой», то «информационным центром»...

Думаю, что под впечатлением бесед с отцом и с Нисаном написались у Шуры такие строки:

Кривые лесенки. Шагал
 Не смог бы сам кривее...
 Есть счастье в том: я тут шагал
 Где все вокруг – евреи...

А прокопченный мир суббот,
 Легенд кругое тесто.
 Горели все и рабби тот,
 Не сдвинувшийся с места.

Он часто приводил к нам своего единственного сына Сашу, который подружился с моим племянником Ароном, сыном брата Иосифа. Они играли в свои детские игры. Станным казалось, что оба мальчика не любили играть, как другие мальчишки, в «солдатики», в войну... И горько, что судьба их обоих не пощадила: оба остались сиротами в раннем детстве.

Шура в качестве фотографа сопровождал Нисана во многих его научных экспедициях, например, в Дагестан, в Крым. Работы Цыбулевского вошли как иллюстрации к академическим трудам Нисана, при жизни которого вышли три номера основанного им журнала «Сеμιтологические штудии». Вот лежит передо мной третий номер. Здесь опубликована статья моего брата, написанная после их сов-

местной поездки в Крым: Н.И. Бабаликашвили. О нескольких еврейскоязычных караимских эпиграфических памятниках из Чуфут-Кале. // Семигологические штудии. Тбилиси, III. 1986. И в том же номере успели дать некролог на смерть Нисана Бабаликашвили. Получается, что судьба подарила им почти равное число лет на земле: Шура прожил 47 лет, Нисан – почти 48.

Мне кажется, в этом институте прошли лучшие годы жизни и Шуры и Нисана. Тогда же у Шуры появились и другие преданные и искренние друзья. Среди самых верных я считаю Тамару (мы ее называем Тома) Фрадкину, Марию Недоспасову, Георгия Ангелава...

В 1998 году в журнале «Литературная Грузия», №7-9 появились рядом воспоминания Георгия Ангелава и о Нисане Бабаликашвили – к его 60-летию (стр. 216-220), и об Александре Цыбулевском – к 70-летию (стр. 221-225, о нем – в соавторстве с М. Недоспасовой и А. Гвахария). Сами они не дожили до своих юбилеев, но для меня и для сестры Ривы есть какая-то грустная и трогательная символика в том, что их имена рядом, как будто они снова вместе».

Приняв на финише эстафету от сестры Нисана Бабаликашвили, ученого и благородной души человека, 30-летию со дня ухода которого задумывался мой небольшой рассказ о нем и о его семье, я благодарю всех, украсивших его своими воспоминаниями. Чувствую себя как на форуме в интернете, куда слетелись «чувства добрые» из разных географических пространств, и все мы, надеюсь, и ты, читатель, оказались если не вместе, то ближе друг к другу, где бы мы ни жили – в Грузии, России, Израиле, далее везде...



Андрей Крылов

БУЛАТ ОКУДЖАВА В ШВЕЦИИ

Две беседы с Магнусом Юнггреном

«В 1962 году Булат, Роберт Рождественский, я и Станислав Куняев собирались ехать с жёнами в туристскую поездку в Швецию, — вспоминает Евгений Евтушенко, — но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации, бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то «наверху» «вычеркнули» из списка. Мы единодушно, и в том числе Куняев, заявили, что без Булата никуда не поедём. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу. Но вот что поразительно — он держал себя там с таким спокойным достоинством и с таким сдержанным ироничным любопытством, что порой казалось: это мы за границей первый раз, а он там — частый, слегка скупающий гость».



Здесь необходимы как минимум три уточнения. Во-первых, эта поездка состоялась не в 1962 году, а ровно полвека назад, в 1966-м. Во-вторых, всего группа советских писателей, направлявшихся в Швецию, насчитывала до двух десятков человек. И в-третьих, для Окуджавы поездка была *первой* — на Запад. Партия сначала проверяла своих граждан на соседях по «социалистическому лагерю». И Булат Шалвович уже к тому времени побывал в Польше, но испытание «братской» заграницей он, как видно, не выдержал: общался с неблагонадёжными лицами. Небывалый случай: за него вступились коллеги — и «о, чудо!»... Окуджава выступал в Стокгольме и в Лунде.

Столичная газета «Экспрессен» направила для беседы с писателем корреспондента — молодого филолога М. Юнггрена, статью которого и опубликовала 5 июня 1966-го.

Как память о том времени доктор философии, заслуженный профессор русской литературы Гётеборгского университета, переводчик Магнус Юнгрен хранит в своём домашнем архиве книгу «Весёлый барабанщик» и фотографию поэта. И то и другое имеет дарственные надписи: «Магнусу, желаю быть ещё больше! Б. Окуджава. 31.5.66 г.» (Магнус, как известно, по-латыни — «большой») и — «Дорогой Магнус, желаю счастья! Булат. 4.6.66 г.».

Ещё через полтора десятка лет состоялась ещё одна их беседа — уже в Москве, — и новая статья г-на Юнгрена об их второй встрече была напечатана 18 июня 1981 года той же газетой. Оба материала мы предлагаем вашему вниманию.

Окуджава ещё посещал Швецию: в октябре 1990-го и в декабре 1993-го, — однажды Магнус Юнгрен даже был на его выступлении, но тогда старые знакомые даже не поговорили...

1. Все слушают его песни, но их нельзя издавать: «Он ведь может иметь в виду бомбу...»

Выглядит он экзотично: невысокий, худой, смуглый, усы, чёрные вьющиеся волосы. В уголке рта болгарская сигарета. Он смотрит на вас дружелюбными, немного грустными глазами. Ему сорок два года и зовут его Булат Окуджава.

Он является одним из наиболее спорных писателей Советского Союза и вот вдруг он — похоже, что это было для него так же неожиданно, — оказался в Швеции, с неофициальным писательским визитом. До этого он никогда не был за пределами социалистических стран, а пару лет назад его не выпускали даже за пределы СССР.

Булат Окуджава, грузинско-армянского происхождения, поэт, прозаик и автор киносценариев (его первый фильм был показан на последнем фестивале в Венеции), но у себя на родине он больше всего известен как автор песен и трубадур. Он написал порядка девяноста песен, которые получили совершенно неслыханную популярность среди русской молодежи, от Мурманска и до Владивостока. Это песни о войне, бессмысленном, грустном, о жизни в Москве, о старом поношенном пиджаке, песни о любви, сатирические песни, наполненные двусмысленными символами и аллегорическими остротами. По типуажу он, пожалуй, напоминает Боба Дилана, оба пишут примерно о тех же вещах, однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаешь, что у них на самом деле и не так много общего: их протест заложен в самом времени. Окуджава более сродни Жоржу Брассенсу, и он сам это подтверждает, отвечая на мой вопрос:

— Брассенс значил для меня очень много. Как и Жак Брель. Американские поп-песни протеста я почти никогда не слышал, но французский шансон мне очень близок.

Сравнение между Диланом и Окуджавой может, однако, быть плодотворным с другой точки зрения. Песни Дилана выходят огромными тиражами на пластинках. Песни Окуджавы могли бы выходить огромными тиражами — но издавать их «нельзя». Они либо совсем антигеройские либо слишком грустные по тональности, «унылые», во вред молодежи. Но Окуджава всё равно доходит до своей публики: его песни можно найти по всей России на бесконечных магнитофонных плёнках, — сколько их, он не знает и сам.

Грустно то, что запрет на запись Окуджавы ударил по нему вдвойне. Радио «Свободная Европа» в Мюнхене решило, что в его лице они нашли бунгара и со-

ратника, и часто транслируют его песни, — что естественно делает его только ещё более подозрительным в глазах русских властей. Это типичный пример того, как реакционеры на Востоке и Западе благоприятствуют деятельности друг друга, помогая друг другу аргументами. Вдобавок одно «сомнительное» издательство в Лондоне воспользовалось случаем, выпустив долгоиграющую пластинку с несколькими, нелегально вывезенными из страны песнями Окуджавы, естественно не спросив у него на то разрешения. И эта пластинка, конечно же, стала благодарным инструментом в руках реакционеров от культуры^[1].

Но песенные гастролы Окуджавы по Союзу всё-таки не были остановлены. Вместо этого в последнее время он сам ограничил выступления. Он просто-напросто устал от своих песен, хочет попробовать себя в других областях. Своё последнее турне четыре месяца назад он совершил вместе с Евтушенко и несколькими другими молодыми: тогда стадион чуть не лопнул. На двух выступлениях было тридцать тысяч молодежи.

Сейчас Окуджава пишет в основном прозу: большая повесть на автобиографической основе, — о духовно бедной жизни сельского школьного учителя глубоко в провинции уже готов^[2]. Как и несколько небольших прозаических зарисовок. Но ничего не напечатано.

Он также занят новым киносценарием: там речь пойдёт о юности Пушкина, его бурных годах в салонах Петербурга и о его ссылке на Кавказ как следствии нескольких оскорбительных для царя стихотворений^[3]. Возможно, Окуджава переживает свою нынешнюю ситуацию как схожую с пушкинской в начале 1820-х. Его никогда не выслали, но телевидение, радио и пресса эффективно его замалчивают, и у него есть много, как он сам иронически выражается, «друзей» на самом верху. Его песни могут иногда быть так же остры, как и памфлеты Пушкина, но различие в том, что Окуджава тщательно старается завернуть наконечники своих копий в сравнения и описания. В одной из его наиболее известных и наиболее злых песен говорится о большом чёрном коте, который сидит и наблюдает за своими подданными, пряча ухмылку в чёрных усах: «Он давно мышшей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочке колбасы».

Ведь это, конечно, Сталин?

— Нет, — говорит Окуджава, — моя сатира потеряла бы своё действие, если бы была направлена против одного единственного лица. Она обыгрывает актуальные явления, само мышление.

Ага, говорят некоторые, думая, что понимают. Чёрный кот — это, может, скорее русские неосталинисты, «наследники Сталина», если цитировать Евтушенко. А как тогда быть с песенкой о петухе, который стоит совершенно один посреди двора и кукарекает в пустоту: «Не может петух умолчать, потому что он создан кричать». Это же, наверное, намёк на Хрущева и его кричащие и унижительные призывы к писателям?

— Нет, — говорит Окуджава, на этот раз с большим ударением. — Вовсе нет. Этого человека я бы вообще за всю жизнь не удостоил и строчкой^[4].

Свои стихи Окуджаве тоже трудно издать. Он дебютировал в возрасте тридцати двух лет в волшебном 1956 году; до этого он просто писал для самого себя и своих друзей, зарабатывая на жизнь как учитель сельской школы. Три маленьких тонких сборника стихотворений — это то, что выпущено по сей день, хотя полное собрание его стихов могло бы быть намного больше. Последний сборник «Весёлый барабанщик» вышел осенью 1964-го, после многих «но» и «если». Сначала изда-

тельство отсеяло около десятка из представленных Окуджавой стихов, — они были убраны не по каким-то особым причинам, а что называется, на всякий случай: «Окуджава может подразумевать бомбу, когда пишет “сосуд”... Позже весь проект неожиданно отложили на будущее. И пока писатель сам ни отправил возмущённое письмо протеста тогдашнему начальнику культуры Ильичёву, книгу не начали печатать.

Окуджава всячески подчеркивает, что русская культурная жизнь всё-таки разбивается: отбор стихов в «Весёлом барабанщике» был не таким строгим как в его двух предыдущих сборниках. Кто знает: в следующий раз, может, будут и «Чёрный кот», и «Петух». В интервью Михайло Михайлову в «Московском лете 1964»^[5] Окуджава приводит яркий пример. Это произошло, рассказывает он, однажды, когда его вызвали в Центральный Комитет партии, где ему было сказано: «Вы можете писать такие приятные песни, почему вы написали эту песенку “О дураках”?» Окуджава пообещал больше о дураках не петь. И где-то год спустя его вызывают снова. В этот раз ему говорят: «Вы, написавший такую хорошую песенку о дураках, почему вы написали эту песенку о “Чёрном коте”?»

Вот так-то.

Когда я встретился с Окуджавой, он уже пробыл в Швеции шесть суток, свои первые шесть суток в стране Запада. Он очень тих и спокоен — особенно рядом с шумным Евтушенко, — но мне кажется, что под этой спокойной поверхностью он немного сбит с толку:

— У нас так много предубеждений и предвзятых представлений друг о друге, — говорит он. — Когда же наконец приезжаешь, то замечаешь, как твои предварительные установки начинают распадаться одна за одной. Я, например, приехал сюда в твёрдом убеждении, что ваши «моды»^[6] — это испорченная и развращённая молодежь. Это совсем не так, не правда ли? Многие из них ведь политически активны, социально сознательны? Может, они, наоборот, самые прогрессивные? В Советском Союзе так много легенд...

Окуджава открыт, постоянно готов проверить свои оценки, он как бы ошупью идёт через наш разговор. Многие из его ответов выливаются в вопросы: об условиях жизни в Швеции, о шведском кино, о наших церквях и наших церковных ритуалах («Я неверующий, но церкви — это же история культуры»), о ценах на наши машины, о короле, о цензуре и свободе печати, о Синявском, которого он никогда не читал, о шолоховской Нобелевской премии. Для тех, кто как раз перестрадал пресс-конференцию Шолохова прошлой осенью^[7], встреча с Окуджавой очень полезна. Он не даёт никаких готовых ответов, он тщательно взвешивает свои слова, он уверенно избегает всяких клише и пустых фраз. Это симптоматично для всего творчества Окуджавы, ключ к его популярности среди молодежи и основная причина недоверия к нему со стороны власть имущих.

Когда я спрашиваю его, какого современного русского поэта он охотнее всего читает, ответ ясен:

— Бориса Пастернака.

Перед тем, как я покидаю Окуджаву, он, усиленно подбадриваемый Евтушенко, достает гитару и поёт некоторые из своих песен: «Песенку старого шарманщика», посвящённую жене Евтушенко, «Голубой шарик», «Бумажный солдатик» («Он был бы рад в огонь и дым, за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный»), и под конец «Песенку весёлого солдата» (так Окуджава представляет её, хотя в более официальной версии она называется «Пе-

сенка а м е р и к а н с к о г о солдата»). Последняя строчка звучит так: «А если что не так — не наше дело! Как говорится, родина велела. Как славно быть ни в чем невиноватым, совсем простым солдатом, солдатом».

Вряд ли Окуджава мог уйти дальше от тех «зелёных беретов», о которых поёт сегодня Барри Садлер^[8].

2. Тоска и хитрость Секретное оружие русского романа

Во время своего визита в Москву я навещаю Булата Окуджаву в Безбожном переулке. Он уже несколько лет живёт в роскошной по советским понятиям четырёхкомнатной квартире. В квартире этажом ниже раньше проживала Кристина Оноссис.

Последний раз я видел его пятнадцать лет назад. Весной 1966 года он впервые побывал на Западе и оказался в Стокгольме. Он пел свои песни на мероприятии «Кларте»^[9] в «Стокгольмской Гражданской школе» (*Borgarskolan*), а я брал у него интервью для страницы культуры газеты «Экспрессен».

Тогда он только что закончил свои большие, необычайно популярные выступления по Советскому Союзу и начал писать прозу. Ему было сорок два года, и он стоял на пороге нового направления своей литературной деятельности. В ближайших планах был киносценарий о ссылке Пушкина на Юг как следствии нескольких памфлетов против царя.

В то время у него наблюдался осторожный оптимизм. Сатирическая песенка, которую он написал за пару лет до этого и за которую его жестко критиковали, теперь вдруг была признана властями, — и они теперь порицали его за новую, гораздо более едкую песню, которую наверняка они признают в будущем, когда придёт время.

Когда я встречаюсь с ним в этот раз, это другой Окуджава, даже если отвлечься от того, что пятнадцать лет — вообще большой срок в жизни взрослого человека. Это романтик, которого жизненная закалка превратила в реалиста и которого достаточно грубо лишили тех иллюзий, которые у него когда-то были.

Он говорит о всём своём поколении писателей — тех, кто стал известен около 1956-го, в тот год, когда разоблачили Сталина и он сам вступил в партию, — как об опустошённом. А. Кузнецов, В. Шукшин и Ю. Трифонов умерли, Ю. Казаков замолчал, Г. Владимов по-прежнему отходит от инфаркта, полученного после семичасового допроса в КГБ на Лубянке, В. Войновича много лет травили, прежде, чем он, наконец, смог эмигрировать в Мюнхен, В. Аксёнов сидит в Мичигане, лишённый гражданства, как и В. Максимов в Париже. Остался только Окуджава, и он тут почти как заложник, окружённый двусмысленными «привилегиями».

Сегодня он не верит в какие-либо изменения. Всё в Ибанске^[10], кажется, так же, как это всегда было и будет. В этой ситуации уход в историческую романистику стал его убежищем.

— Тридцать лет сталинщины лишили нас истории. Сейчас есть огромный интерес к прошлому. Всё, что я пишу, на самом деле основано на подлинном материале. Я роюсь в архивах и в букинистических магазинах.

В романах Окуджава постоянно тяготеет к ключевым пунктам истории, к взрывным моментам далекого прошлого: наполеоновское вторжение 1812 года, восстание декабристов 1825-го, освобождение крестьян в 1861-м.

Это способ в замаскированной форме показать настоящее — чем всегда пользовались русские писатели, — но одновременно это и попытка дойти до корней, найти объяснение русским трагедиям двадцатого столетия.

Одна из его наиболее лукавых книг «Похождения Шипова, или Старинный водевиль» написана в 1971 году. В ней речь идёт о двух тайных агентах, которым после освобождения крестьян поручили следить за молодым графом Львом Толстым в Ясной Поляне. Стало известно, что у графа есть школа для крестьян, и учителями в ней работают радикальные студенты. Царская бюрократия сразу же начинает опасаться подрывной деятельности.

Оба сыщика оказываются совершенно неудачливыми в качестве агентов: им даже не удаётся добраться до Ясной Поляны. Михаил Шипов на самом деле — воркарманник, а его поделщик — мифоплёт неизвестного происхождения. На самом деле они вовсе не заинтересованы в своём спецзадании. Вместо этого они тратят все деньги на кабацкие приключения и смачные эротические эскапады, — одновременно снабжая своих заказчиков фальшивыми отчётами подрывных типографий Х Толстого и о подготовке им заговора.

«Похождения Шипова» только что вышли по-шведски в великолепном переводе Ханса Бьёркегрена (издательство «Призма»). Я захватил с собой подарочный экземпляр для Окуджавы, но его конфисковали на советской таможне усердные служащие и специально вызванные сотрудники безопасности.

Можно задаться вопросом «почему»: роман несколько раз печатался в Советском Союзе — и как публикация с продолжением в журнале, и как отдельное издание. Возможно, объяснение заключается в том, что издательство снабдило обложку книги ярким изображением Шипова с покрасневшими от вина глазами, щетиной и красным носом пьяницы, — в глазах современных чекистов это выглядело как анти-советская клевета. Когда я описываю этот инцидент Окуджаве, он ничуть не удивлён.

То, что он хочет показать в романе — если я правильно его понял, — это русская хитрость, способность «маленького человека» вынести унижение при помощи юмора, исполненного тоски, и вводя власти в заблуждение хитроумными уловками и обходными маневрами.

Сегодня Окуджава всю занят работой над своим новым романом «Свидание с Бонапартом». Может, это будет его самый большой по объёму роман:

— Там есть несколько сюжетных линий, которые я постепенно увязываю вместе. Важная линия посвящена австрийскому преподавателю истории, которого в начале 1800-х охватили патриотические чувства, и он завербовался в габсбургскую армию. Когда всё становится плохо, он бежит с поля боя, преследуемый наступающей армией Франции.

В то время, когда французская армия приближается к России, он разыскивает русского генерала и заявляет: «Это я во всём виноват, это меня они преследуют». Потом он исчезает — и французские войска, кажется, останавливаются.

Позднее он снова появляется в Москве — и вскоре Наполеон оказывается на подступах к городу. Вскоре после этого его, обвинив в пожаре Москвы, схватывают и расстреливают французы.

— Каждое общество и каждый отдельный человек несёт ответственность, — говорит Окуджава. — Раньше или позже тот, кто неправильно распорядился своей ответственностью, несёт наказание. Кто-то в моём романе говорит, что Наполеон появляется и наказывает Россию за то, что она ради собственной выгоды вмешалась в Европу.

Если кому-то хочется, то тут, конечно, можно вычитать и современное послание. Что станет историческим наказанием Советского Союза, если он войдёт в Польшу? ^[1] Ни с одной другой страной Окуджава, оказывается, так на самом деле эмоционально не связан, как именно с Польшей: в Варшаве он и его песни были когда-то, если такое возможно, ещё более популярны, чем дома в Москве.

— Другая нить романа ведёт к русскому помещику, который возвращается после учёбы во Франции. Вскоре после возвращения он стреляет себе в голову. Он оставляет завещание, где объясняет, что умирает от отвращения перед русской действительностью. Он просит потомков освободить крепостных крестьян поместья и одновременно сжечь его библиотеку, поскольку литература в этой стране, судя по всему, никому не нужна.

В завещании определённо слышится голос разочарованного Окуджавы, — но одновременно он знает, что нигде литература не значила так много, как в России, что люди в этой стране, сейчас как и всегда, жаждут Слова. Мне кажется, что именно между этими двумя полюсами — между тотальной безнадежностью и осознанием вечной силы сопротивления русской литературы — простирается искусство его прозы.

Перевод со шведского Елены Буггесков

Публикация и комментарии Андрея Крылова

Примечания

^[1] Инцидент с пластинкой и личная встреча с хозяином лондонского издательства Флегеном, произошедшая позднее, в ироническом ключе были описаны Окуджавой в автобиографическом рассказе «Выписка из давно минувшего дела» (впервые: Знамя. 1992. № 7. С. 72-92).

^[2] По всей видимости, имеется в виду первая редакция повести «Как с иголочки», напечатанной впервые лишь на периферии (Кодры. Кишинёв, 1969. № 5. С. 45-95).

^[3] Опубл.: Частная жизнь Александра Сергеича, или Пушкин в Одессе: Киносценарий / в соавт. с О. Арцимович // Киносценарии. 1995. № 4 (июль – авг.). С. 46-81. Фильм по этому сценарию так и не был снят.

^[4] Окуджава неоднократно за свою жизнь высказывался о Хрущёве, определял его как человека примитивного, подверженного «давлению общественных заблуждений и внутренних стереотипов». Вместе с тем заслугу Хрущёва по развенчанию сталинизма он считал очень значительной, называя XX съезд КПСС одним из «ярких признаков распада нашего тоталитарного общества». Сама же формула «Он для меня такой злодей, что я ему даже отрицательной песни не посвятил бы всё равно» в дальнейшем относилась Окуджавой исключительно к Сталину.

[5] Глава в книге под таким заглавием (Франкфурт н/М.: Посев, 1965) написана югославским журналистом и диссидентом М. Михайловым и также фиксирует подробности встречи с Окуджавой.

[6] *Моды* — приверженцы «всего нового»; британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. и достигшая пика в середине 1960-х гг. Шведские «моды» были левыми и выражали довольно неясный социальный протест, внешне они больше походили на хиппи, одевались в «армейские» куртки, исписанные различными знаками и текстами.

[7] Пресс-конференция советского писателя М. А. Шолохова в Стокгольме по поводу присуждения ему Нобелевской премии и само вручение премии состоялись соответственно 7 и 10 декабря 1965 г.

[8] В начале 1966 г. на Западе, включая и Швецию, стала чрезвычайно популярна патриотическая «Баллада о “зелёных берегах”», записанная на пластинки американским ветераном старшим сержантом Барри Садлером (1940-1989), сочинённая им самим в соавторстве с Р. Муром. На время беседы пришёлся пик популярности этой песни.

[9] «Кларте» — шведский филиал одноимённого социалистического общества, основанного в 1919 году Анри Барбюсом.

[10] Вымышленный населённый пункт, в котором происходит действие антиутопической «социологической повести» А. Зиновьева «Зияющие высоты», в то время опубликованной лишь на Западе (1976).

[11] В связи с деятельностью польской «Солидарности» и организованными ею забастовками в 1981 г. многие в Европе и в России опасались повторения событий 1956 г. в Венгрии и 1968-го в Чехословакии.



Александр Левинтов

УШЕДШИЙ ГОРОД

Я почти совсем перестал выходить из дома, лишь изредка выезжаю на такси по своим медицинским делам или на лекции и теперь вижу город на непешей скорости, на которой когда-то исходил его весь.

И это совсем не тот город, который я знаю и люблю, потому что я знал и любил живой город, город людей, людских масштабов и людских отношений. А это всё, формализованное, показушное, враждебное или равнодушное к человеку, я не признаю и не люблю: оно не пугает, но, равнодушное, порождает и моё равнодушные к нему.

Да, я любил тот человеческий город, хотя весь этот нечеловеческий образ жизни и строй проклял задолго до его коллапса.

И я вспоминаю.

Клин

Мы – московские, но после войны отца направили учиться в питерскую академию связи. И каждый год летом мы ездили в Москву, сначала впятером (трое детей), потом вшестером, потом всемером... мы всегда занимали целое купе. Паровозы меняли часто: в Малой Вишере (кажется), в Бологое, Твери и Клину, за два часа до Москвы. Процедура смены паровоза тогда была длительной. Но это не раздражало, а было радостным событием: на перроне стояли устланные белоснежными скатертями столы, чопорные официанты галантно, с полотенцем наотмашку, принимали заказы и тут же исполняли их, почти по мановению волшебной палочки. Горячий, дымящийся борщ в огромной пузатой супнице подавался первым и сразу, потом шли котлеты с картофельным пюре, тоже очень горячие, и, наконец, компот из сухофруктов. Это изысканно-церемонное пиршество и начинало волну радостных предчувствий – скоро Москва!

В город состав втягивался медленно, вгрызаясь в индустриальное исподнее, по многопутью, мимо заборов, глухих стен и заводских дымящихся труб. Когда по поезвному радио начинали «Утро красит нежным светом стены старого Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля» и это означало – въезжаем к причалу Ленинградского вокзала. Начиналась суeta по всему вагону, все проходы забиты чемоданами и баулами, за окном на перроне догоняющие вагон встречающие с цветами и носильщики в белых фартуках и с огромными бляхами, без тележек, разумеется, всё вручную – все в радостном предчувствии встречи. Мама успевает нас между Клином и Москвой отмыть от всепроникающей паровозной сажи, но мы опять успеваем почернеть.

В Москве – утренний дождь, теплый и ласковый. Мы садимся на трамвай и едем, едем, едем. За мостом Окружной железной дороги мы въезжаем в Измайловский лес, рельсы здесь идут загогулинами, мокрые ветки хлещут свежестью по окнам, на поворотах – железный визг, и рифленый пол слегка шкочет ноги слабым током. Потом – прямая и строгая Аллея домов отдыха, обсаженная с двух сторон стройными лиственницами. Красота! Душа продолжает петь «Москву майскую» и, дождю вопреки, «утро красит нежным светом».

Палисадники и дворовая жизнь

Совсем не при каждом бараке имелись палисадники, да и в тех – только для жильцов первого этажа. Деревянный штакетник увит фиолетовыми вьюнками, в самом палисаднике обычно стояла маленькая беседка, в которой чаёвничали по семейному, непременно со свежесваренным вареньем или пенками от этого варенья, что гораздо вкуснее, да с горячими оладушками..., на худой конец, скамейка, непременно росли деревья и кусты: сирень, черемуха, рябина. У нас был беспородный тополь и пара выпендрёжных туй. Вся остальная территория палисадника, который занимал около 20 квадратных метров, занята цветами, прежде всего мальвами и золотыми шарами: красиво, но ни в букет, ни в вазу не поставишь, а потому никто их из посторонних не рвал.

И из-за тесноты коммуналок и жилых комнат, и в силу коллективистского духа, жизнь проходила преимущественно во дворе. На волейбольной площадке вечером во дворе допоздна стучала молодежь, а днем мы, пацаны, играли здесь в футбол, лапту, клёк, чижика, 12 палочек, салки, «замри», колдунчики, штандер и множество других игр, забав и затей. Позже волейбол сменился пинг-понгом: стучали вьетнамскими шариками «два слона» жесткими деревяшками через неровную по высоте доску, навывлет. Появились в конце 50-х и хоккейные коробки, где летом гоняли в футбол.

Здесь же играли и в прятки, но с захватом большей территории, прежде всего сараев.

Сараи предназначались для хранения дров и угля, запирались весьма условно, в сарае непременно стены были обиты самыми дешевыми обоями и имелось спальное место, для любовных свиданий молодежи и старше. Во всех сараях густо воняло презервативами. Мы бегали по крышам сараев, крытым раскаленным толем или жостью, загорали и любили прыгать с них, не без травм, разумеется, поэтому единственным наставлением при уходе из дома во двор было: с сараев не прыгать!». Как же.

Не во всех, но во многих бараках все удобства были во дворе: вода бралась из водоразборных колонок, очень чистая, холодная и вкусная. Двух-четырёх-очковые туалеты обычно обсаживались черемухой, самым санитарным деревом, и были классами по изучению анатомии и физиологии человека задолго до школьного предмета на ту же тему в 10-м классе.

Мужики стучали в козла или жарились в петуха размусоленными картами, женщины развешивали-собирали бельё, тихо мыли косточки или громко скандалили – жизнь двора была многогранна и разнообразна.

Жизнь во дворе занимала всё время: ни тебе телевизоров, ни Интернета, ни прочих планшетников. Уроки списывали за десять минут до первого звонка и на переменах (кто-то ведь делал же уроки, раз мы списывали, я – никогда не делал).

А вот любовь в своем дворе сильно не поощрялась. В школе – пожалуйста, хоть даже из своего класса, а во дворе – засмеют и задразнят.

Весна

Сейчас весна – климатическое явление, а когда город был городом, городом людей, весна... вам всё равно не понять.

Днем сугробы на солнцепёках покрывались черным, очень изящным ажуром, радостная капель сводила с ума и на нет тонкие морковки сосулук (а за ночь они

опять отрастали), снег сверху превращался в хрупкий острый наст, ещё немного – и на реках начинал трещать по утрам лёд, а по обочинкам и канавкам помчались журчавые и бойкие ручьи. Смастеришь из тетрадошного листка кораблик, воткнешь в него вместо трубы обгоревшую спичку – и он понесется, покачиваясь, впереди тебя и твоих мечтаний, надежд, ожиданий, и ты будешь бежать то за ним, то обгоняя, то даже подталкивая на мини-плёсах, пока он наконец, не измочалится в воде или не канет в водосток.

С этих-то весенних ручейков и начинается щенячья влюблённость, неважно в кого, в Люську из соседнего двора, молодую училку, киноактрису, девушку на свежем огромном рекламном плакате «Пейте томатный сок», в жизнь.

В начале апреля, когда снег быстро сходит и замещается первой лёгкой пылью, на теплый потрескавшийся асфальт выбегают шустрые темно-бронзовые жучки, с удивлением порхают первые капустницы и махаоны, почки набухают – сначала у ракиты, вербы и ивы, а потом у всех подряд, кроме дуба, распускается и одевает город в пахучую белоснежную фату черемуха, клейки липкие листочки тополя напоминают о только этой зимой прочитанном Мите Карамазове (это я! это я! как и Алеша, и Раскольников, и Мышкин, и «Сон смешного человека» и все-все-все, подлинные, а не придуманные!)

Шальные майские жуки шастают меж ночных деревьев, ударяясь крутыми лбами о стволы. Росными тихими утрами мы собираем их в спичечные коробки – зачем? Говорят, их принимают в аптеках, но мы так ни разу и не попробовали их сдавать.

Наконец, распускается пахучая сирень, ночи и жизнь наполняются шорохами и смыслами, гремит воспетый Тютчевым первый весенний гром – и на этом весна кончается, с нею кончается школьная неволя, начинается лето...

Весна – это еще и две Пасхи, сначала еврейская, с мацой, халой, маковым пирогом и тремя рублями от нелюбимой тетки, а потом – русская, с крашеными яйцами, куличами, сырной пасхой, умилением.

В страстной четверг дедушка Саша брал меня в Елоховскую церковь слушать псалмы в исполнении Ивана Козловского, Дормидонта Михайлова, Шумской и Баровой.

Это сейчас город – серый: серый снег, серые газоны, серый мусор, серое небо, серые улицы, серые дома, серые машины и люди, серая жизнь.

Измайлово

Вообще-то Измайлово вошло в состав Москвы после революции и долгое время было Москвой весьма условно. «Поехать в город» означало доехать хотя бы до Семеновской (тогда Сталинской). Не знаю, чем мы были любы этому людоеду, но и район наш был Сталинским, и парк – имени Сталина, и несостоявшийся олимпийский стадион – имени Сталина, и здесь же находился бункер Сталина, откуда шла ветка метро-2 на восток, в Балашиху. Впрочем, тогда вся страна была – имени Сталина.

До того Измайлово – это Остров с Измайловской военной богадельней, лес с серией прудов и пасек, несколько деревенок, возникших еще при Алексее Михайловиче Тишайшем, и Измайловская мануфактура, построенная специально для ветеранов Балканских войн – бараки этой мануфактуры так и назывались Балканами, в наше время – криминальный рассадник, а теперь – элитное жильё.

Застраивался поселок заводами, прежде всего Электроставроградом, 45-ым (авиамоторы) и другой, мелкой промышленной шелупонью. В 6 утра начинались сирены и гудки заводов, расположенных между станциями метро «Семеновская» и «Электроставроградская»: здесь работало более половины всего трудоспособного населения, главным образом, рабочие и ИТР. Многие работали и на заводах, расположенных на Шоссе Энтузиастов либо у Курского вокзала: Манометр, Серп и Молот, Войтовича, Калибр, Проекторный, метизный и во множестве другие. Это – мужские рабочие места. Для женщин – швейные фабрики, мануфактуры, ткацкие фабрики, хлебозаводы и вся сфера обслуживания со смешными до слез зарплатами.

Измайловский остров

Он известен не то с 11, не то с 13 века, но его взлет пришелся на годы правления Алексея Михайловича и детские годы его сына Петра, вторую половину 17 века. В 19 веке здесь открылась военная богадельня, а в начале 1920-х годов инвалидов разогнали и заселили рабочими и ИТР авиационного завода «Салют». Там, где раньше жило 500 ветеранов разных войн, оказалось 5000 советских человек, энтузиастов размножения. Они очень быстро удвоили свою численность.

Остров назвали городком Баумана, и это был остров настоящего коммунизма, почти как у кумранских ессеев.

Жизнь здесь была организована так просто и разумно, что казалось – эта секта и станет началом и образцом коммунизма.

Здесь всегда кипела жизнь: летом мы купались, прыгали с тарзанок в воду, ловили мальков подъемниками, катались на лодках, прыгали с парашюта, гоняли в футбол, гремели городками, воровали яблоки из сада. Но даже зимой здесь было интересно: на пологих горках лыжи и санки, был каток, а главное, конечно, баня, построенная военными инвалидами в подвале и отличавшаяся совершенно зверским паром.

Теперь здесь тихо и намолено. В Царевом Дворе все помещения заняты реставрационными и художественными мастерскими. Шумит липа вековая, и под ее сенью так хорошо пьется белое сухое и вспоминается развеселая жизнь на Острове.

Измайловский лес

Парк был в глубине Леса и не очень нас интересовал.

Речка Серебрянка рассекала Лес на Первый и Второй. Зимой на прудах, главным образом на Ольянном, ближайшем, мы катались с горок на лыжах и санках. Грибы – подберезовики, лисички, козлята, сыроежки, изредка беленькие – были здесь в изобилии. Летом бабушка выдавала нам банки под малину или землянику: маленьким двухсотграммовые из-под майонеза, большим – полуплитровые или фунтовые (410 грамм). И попробуй не принести нецелую банку. В Серебрянке – теперь в это уже никто не верит – купались даже взрослые, в небольших омутишках.

За трамвайным кругом на 16-ой Парковой собирали орехи – лес тянулся до Медвежьих озер и ни о каком МКАДе не было даже слухов и сплетен.

Летом в лесу проходили уроки физкультуры – кроссы, зимой – лыжные занятия.

Измайлово устроено восхитительно просто: с запада на восток тянется Первомайская, бывшая Малая Стромынка, с юга на север, упираясь в лес – шестнадцать Парковых. Зимой всё Измайлово вставало на лыжи, летом на пойме Серебрянки

одновременно играли до сотни футбольных матчей: мелочь, старшекласники, молодые, матерые мужики.

Когда-то это был сосновый бор. Во время войны многие сосны были вырублены, а на пойме добывали торф, какой-то колхоз выращивал картошку. Сосны постепенно вырубил все и засадили лес пошлыми рядками беспородных берез. Теперь здесь собирают бутылки и жестяные банки – больше тут ничто уже не растет и не может расти.

Запах метро

У метро был свой, специфический, электрический запах, начинавшийся прямо наверху эскалатора, даже при входе. Куда он делся?

И ещё: первая секция головного вагона и последняя секция хвостового отделялись от остального пространства горизонтальной штангой для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также стариков и инвалидов. И какая бы давка не была в остальном пространстве, эти зоны были табуированы для взрослых.

И, наконец, на каждой станции имелся туалет. Они и сейчас имеются. Но тогда, если приспичило, ты мог спросить у девушки-женщины-старушки, встречающей-провожающей поезда, и она показывала, куда спешить. Теперь об этом лучше даже не вспоминать.

Мильтоны

Мент – слово тюремно-лагерное, воровское, уголовное. А все остальные простые люди говорили «мильтон», не в глаза, конечно, но и не обязательно с презрительной коннотацией, часто вполне нейтрально, просто из соображений сокращения.

Постовые мильтоны на улицах (гаишники – только за городом на шоссе) делились на простых регулировщиков, в основном надзирающих за пешеходами (штраф за неправильный переход на моей памяти возрос с 50 копеек – пара пива – до трех рублей – почти пузырь водки), а были еще мильтоны в стеклянных будках, регулирующие движение транспорта и работу светофоров. Про них был анекдот-загадка: «ни рыба, ни мясо, сидит в стакане и изредка посвистывает». Еще на улицах были заметны участковые, по-старинному, околоточные, и все знали своих и в лицо и по имени-отчеству. И, конечно, были экзотические сыскари и сыщики – теперь ничего этого на улицах нет, теперь все мильтоны – менты и все занимаются втихую рэкетом, коррупцией, шантажом, вымогательством и прочими правоохранительными жульничествами.

В очередях

Очереди – это некий неистребимый символ советской жизни. По любому поводу или даже без повода:

– обычные и привычные, ежедневные очереди (в керосиновой лавке за керосином, хлебные, молочные (разливное молоко в бочках), квасные, пивные, на автобусных остановках, в аптеке, сберкассе, на почте, в кассу за зарплатой, в буфете, в кафе или ресторан, в кинотеатрах, к врачу, за мясом, рыбой, колбасой, картошкой, очереди в универсамах и рыбных «Океанах» – заходишь и сначала занимаешь очередь в кассу, а затем отбираешь товар;

– очереди мужества (с ночевкой или даже несколькими ночевками): за подписными изданиями, кухонной мебелью, летом за билетами на юга, обоями, просто мебелью (самые тяжелые – за книжными полками и диван-кроватьями), за билетами в театры и на кинофестивали – обычно с переключками поздно вечером и рано утром (чтобы не разлежались дома, а страдали вместе со всем народом, понимаешь) и записями номеров;

– очереди за устойчивым дефицитом: детскими колготками, постельным бельем, туалетной бумагой, репчатым луком, яйцами, свиными ножками, дешевыми мелкими цыплятами, арбузами и капустой (по сезону);

– очереди за уникальным дефицитом (за воблой, вяленым лещом, печенью трески, красной рыбой, импортным бельем и т.п.);

– оголтелые и даже опасные для жизни очереди в винные отделы магазинов;

– очереди ни за чем (а вдруг что-нибудь привезут?);

Очереди были таким же тотальным явлением, как сегодня пробки. И смысл тот же – сделать жизнь бессмысленной.

А потому анекдот эпохи очередей:

Мужик видит огромную очередь. Занял, спрашивает:

– За чем?

– За шушерой-мушерой

Отстоял свои два часа. Продавщица:

– Шушера кончилась! Осталась одна мушера.

– Дайте два кило мушеры.

Приходит домой, разворачивает: а там одна шушера.

Демонстрации и отъезды в пионерлагеря

Два раза в год мы ходили на добровольно-принудительных началах на демонстрации: первомайскую и октябрьскую. Я был на обеих – пацаном на весенней и студентом на осенней.

Надо быть на сборном пункте ни свет, ни заря. Потом отдельные группы сливаются в районную колонну. Каждая приличная организация имеет впереди своей группы свой символ или товарный знак, каждый район – своё название, всё в стягах и идеологической бижутерии. Маршрут районных колонн прихотлив и извилист, как удав Каа, остановки очень часты. Во время остановок включались массовики-затейники с гармошками-баянами-аккордеонами или гитарами для хорового задорного пения, иногда с притопами. Потом надо было бежать, преодолевая разрыв в колонне. Перед Красной площадью из колонн тщательно выбраковывали пьяных и подозрительных. Тут же раздавали тем, кто не имел, бумажные цветы, веточки, транспаранты и прочие праздничное вооружение. Мы строились примерно по десять человек в ряд и шли, разделенные колонна от колонны людьми в штатском, примерно каждые полтора метра. Громкоговорители вещали здравицы, приветствия и призывы (например, «вот на Красную площадь выходят труженики Сандуновских бань. В этом году они помыли на 3.8 % больше тел, чем в предыдущем. Ура, товарищи!»). Все смотрели на трибуну Мавзолея с выражением энтузиазма, глубокого удовлетворения и законной гордости на лице. На Васильевском спуске вооружение нужно сдать или можно просто выкинуть и дальше переть пару-тройку

километров до метро (все станции в Центре были закрыты до окончания демонстрации трудящихся).

Несмотря на изобилие людей в штатском, мы все несли с собой мелкие мерзавчики с водкой, украдкой и втихаря прикладываясь к ним до выхода на сцену и почти в открытую – после.

После возвращения домой (иногда очень нескорого – демонстранты имели обычай неспешно причащаться по подворотням и в детских песочницах) – непрерывный праздничный обед, не без неё, родимой.

В самом начале июня начиналось пионерское лето.

У предприятия или учреждения ни свет ни заря, собирались родители, отягощенные чемоданами-рюкзаками и детьми, от головорезов и блядей первого отряда до невинных и наивных первоклашек какого-нибудь семнадцатого отряда. Сборы и переклички у автобусов тянулись необыкновенно долго, порой два-три часа, а, главное, – бессмысленно. Произносились речи, непременно с трибуны. Наконец, колонна автобусов трогалась под звуки медного оркестра, девочки начинали плакать и скучать, пацаны – пожирать свои сухие пайки, запивая их лимонадом или сидром. В последние советские десятилетия, во главе колонны ехали гаишники с включенными мигалками, а те, кто вырос из школьного возраста, с сожалением провожали эти колонны – люди опаздывали на работу, так как почти все маршруты были и без машин, и без водителей. Отправка каждой смены занимала 3-4 дня, столько же – возвращение, смен было три, стало быть, три летних недели горожане обходились без автобусов, но зато – на свободе от своих чад.

Клопы

Был в те времена такой анекдот:

Армянское радио спросили: будут ли клопы при коммунизме?

Армянское радио ответило: конечно будут, ведь в них течет рабоче-крестьянская кровь.

Эта бытовая напасть – результат скученности и антисанитарии, как крысы, мыши, тараканы и мухи. Все они – атрибуты бедной цивилизации.

Чем только не травили клопов! Но самое действенное средство – керосин, которым, кстати боролись со вшами и гландами – универсальное средство!

Бить клопов по стенкам – любимая забава барачной жизни. И с каким наслаждением люди жгли обои при ремонте и раздолбанную спальную мебель, уничтожая колонии этих гадов.

Бани

Ни душей, ни ванн у простых горожан тогда не было, да и не могло быть.

Мы ходили в баню. Как минимум, раз в неделю (я – три раза в неделю, после тренировок). Ходили либо всем семейством, либо мужчины отдельно, женщины отдельно. Благодаря отцу я освоил множество бань в Москве, и Центральные, и Сандуны, и на Соколинке, и на Большой Семеновской, и на Острове, и Первомайские на 6-ой Парковой.

Баня стояла 10 копеек (душевая кабинка – 16, ванная – 25). Веник в ларьке при входе – то же 10 копеек, здесь же можно было купить лыковое мочало, кусок

мыла, вафельное или махровое полотенце, а после бани – стакан или кружку газировки, для женщин продавались панталоны с начесом, косметика типа басмы и хны, разные прочие прибабасы, в которых не разбираюсь до сих пор. Банные очереди, особенно по выходным, были мучительными, особенно, когда мимо тебя вниз, на выход, движется распаренное тело с красной, запотевшей от чистоты рожей.

Обычно никаких шкафчиков для белья не было: чистое и верхнее вешалось на крючок, грязное нижнее – стелилось на лавочку ниже занятого крючка. Деньги, часы и документы непременно сдавались пространщику, иначе попрут, как пить дать. Кое-кто ходил в баню только за этим. Не гнушались и приличной верхней одеждой.

В мыльной было очень влажно и сыро, но тепло, от теплой воды почти ни зги не видно, свет лампочек под потолком только угадывается. Надо найти свою оцинкованную шайку (пластиковые появились много позже), лучше две, тщательно вымыть их и ошпарить кипятком, также найти кусок места в полскамьи и также ошпарить и промыть.

После этого, прихватив ошпаренный и размятый веник, оставив в шайке мыло и мыло (иначе сочтут бесхозными и приделают им ноги), идешь в парилку, забираешься на самый верх и там ждешь, когда начнет забирать. Какой-нибудь де-док рядом, наяривает с мылом в полной шайке свое вонючее исподнее – это никого не возмущает и не удивляет: а где ж ему, сердешному, постирушку устраивать?

Напарившись до изнеможения сил, идешь под душ, в очередь под душ.

И только после этого – мытьё. Два-три раза, чтобы волос пищал (пищит – значит чистый). Считалось нормальным попросить соседа потереть спинку и быть готовым к ответной услуге.

В предбаннике долго не расслаживаешься, потому что знаешь – очередь в два-три лестничных пролёта тоже хочет быть чистой. Складываешь грязное бельё и причиндалы в чемоданчик – до дому. Внизу, в буфете, жадно хлопаешь стакан газировки с сиропом. Всё удовольствие – 23 копейки. Пачка «Беломора» стоила 22 копейки, кружка пива в пивной – столько же.

Газировка

На любом промышленном предприятии, в каждом цеху стоял сатунатор, выдававший струю крепкой и холодной газировки. Я сразу так полюбил эту шипучку, что до сих пор предпочитаю пить только ее.

В приличных магазинах обычно был буфетик, где можно было взять стакан сока (томатный – 10 копеек, яблочный – 14, виноградный – 16 и так далее вплоть до самого дорогого, мандаринового), стоял стакан с водой и чайной ложкой, соль и молотый перец – каждый мог украсить свой томатный сок солью и перцем на свой вкус. Помимо этого, на стойке находилась машинка для мытья стаканов, отделяющая этот процесс от публички прозрачным цилиндрическим экраном, и, конечно. Сатунатор с несколькими сортами фруктовых или ягодных сиропов. Сначала в стакан нацеживался сироп, потом добавлялась газировка. Сладёны могли заказать с двойным сиропом. Просто газировка стоила копейку, с сиропом – от трех до семи копеек (анекдот тех времен: «вам воду с сиропом или без? вам без какого сиропа?»)

На улицах во множестве стояли сатунаторы с набором 2-3 соков, камерой для льда, мойкой стаканов и теткой, зарабатывающей на этом бизнесе жалкие гроши, чуть не доливая сироп. Мелочь у нее всегда была мокрой и потому она неохотно

брала бумажки. На бойких местах этих теток бывало по несколько штук. Надо ли говорить, что к ним почти всегда была очередь?

Потом теток сменили автоматы, которые стали недоливать и просто газировку и газировку с сиропом, потом лихие алканавты расхватали все стаканы ради выпивки на троих, после чего город окончательно умер.

Бритьё

Разве сейчас бреются? – так, фигня какая-то. А в наше время это был ритуал, даже два ритуала: домашний и публичный, но оба – интимные.

О горячей воде в кране тогда не только не мечтали, но даже представить себе не могли, зачем это может понадобиться. Да что там – горячая: за холодное надо было на улице, к колонке бегать. Я когда в Твери бываю, а там почти весь одноэтажный город воду из колонок таскает, сразу вспоминаешь и детство своё, и юность, и первое своё бритьё, в сплошных порезах, прикрываемых газетными лоскуточками.

Перво-наперво наливаешь в гранёный, специально для бритья хранимый и потому отдельно от других содержащийся, стакан крутого кипятку (чтобы стакан не лопнул, в него надо сунуть чайную ложку). Потом берешь достаточно глубокую пластмассовую плошку, сыпешь туда мыльный порошок (вот и вся мужская косметика тогда), добавляешь чуть-чуть кипятку и разлохматившимся помазком взбиваешь пену, чем выше и пышней, тем лучше.

Этим же помазком намазываешь рожу по тем поверхностям, которые надо брить: от уха до уха и от носа до кадыка.

Лезвий тогда было три: наши «Нева» и «Балтика» (после первого искусственного спутника к ним прибавилось лезвие «Спутник») толщиной 0.2 миллиметра и импортное (помню только «Матадор», но были и другие) толщиной 0.07 мм. Как говорится, почувствуйте разницу, но где ж взять импорт, если его почти не бывает? наших лезвий, по десять штук в пачке, хватало на пару недель, импортных – на месяц и более, потому они и стоили раза в два дороже.

Станки для бритья были либо металлические, очень тяжелые, либо пластмассовые, лёгкие, но ломкие.

Завинчивать лезвие в станок надо осторожно, иначе бритва может лопнуть. И бриться надо тоже осторожно, хотя и решительно: всё равно порезов не избежать, особенно с нашими. Некоторые места приходится пробривать и дважды, и трижды, от чего у многих возникают неприятные раздражения кожи. Угривым и прыщавым совсем беда с бритьём, как они, бедолаги, выживали в этой ситуации?

Накопившуюся пену с щетиной надо споласкивать в горячей воде, что в стакане. После бритья тщательно умываешься, развинчиваешь станок, вытираешь его, лезвие вытираешь и укладываешь в пакетик, а если оно уже затупилось, выбрасываешь – в доме всегда полно лезвий, которыми затачивают карандаши, режут бумагу, делают надрезы по обоим бортам рыбы, чтобы растворить при обжарке мелкие косточки. Надо также беречь лезвия от маленьких детей, которые любят их глотать, неизвестно зачем, либо просто резаться.

Тщательно помыть надо также плошку и стакан, после чего можно набрать в горсть немного «шипру» и освежиться, похлопывая себя по гладким щекам.

Это – дома.

А в парикмахерской всё совсем по-другому.

Сохраняется только помазок и плошка с мыльным порошком.

Парикмахер тщательно надраивает опасное лезвие на ременном точиле, висящем на стене, бреет, оттягивая кожу, чего вручную дома не сделаешь. Снятую пену он вытирает на полотенце или бумагу. Апофеоз наступает при бритье горла: неверное движение – и ваших нет, по крайней мере, среди живых. Когда бритвё закончено, парикмахер вкрадчиво спрашивает:

– Компрессик?

Ты киваешь головой. Маэстро достает откуда-то разгоряченную на пару салфетку и набрасывает её в развернутом виде на лицо, а затем прижимает ладонями? Кайф!

Легкие пощечины, после которых еще более вкрадчиво:

– Освежить?

Ты опять самодовольно киваешь, и брадобрей одновременно и экономно и обильно поливает тебя из пульверизатора «шипрот», лишь на исходе публичного бритья возникли другие мужские одеколоны – «Полет», «В полет», «Саша» и что-то еще.

Величественно идешь к кассе, платишь 40 копеек (15 – за бритье, 10 – за компресс, 15 – за шипр), еще более величественно возвращаешься, кидаешь мастеру на подзеркальник гривенник и плывешь, благоуханный, гладкий, довольный на два дня вперед, к выходу. Хорошо, если есть шляпа – чувствуешь себя под ней не то американцем, не то интеллигентом, не то вообще человеком не отсюда.

Трамвай

Самый лучший, самый приятный и самый медленный городской транспорт. Уж как встанет вереница трамваев где-нибудь на Таганке или на Госпитальной, или на Щербаковке, да где угодно! – и до горизонта стоит, и за горизонт уходит в неспешную бесконечность.

Стоил трамвай двадцать копеек (сталинскими, две – хрущевками) до трех остановок, а дальше – в математически неопишуемой прогрессии: из Измайлова до ВСХВ билет стоил рубль шестьдесят, но вряд ли кто платил столько: для приличия заплатишь сорок копеек и тянешься час, а то и больше.

Чешские цельнометаллические трамваи появились в 60-е. Гораздо интересней двух-трех-прицепные отечественные трамваи, усть-катавские, питерского завода Егорова и, наверное, другие.

Помимо пассажирских, бегали грузовые, особенно много их было в Питере. На Угрешской трамвай имеет выход на Окружную железную дорогу, ноя не знаю, использовался ли он когда-нибудь?

Раньше, до появления цельнометаллических, все трамваи имели три фары: по центру, над водителем – осветительная, простая и яркая, по бокам, у самой крыши, два цветных. Каждый номер имел своё сочетание этих огней (красный, желтый, фиолетовый, зеленый), по которым можно было издали определить, какой это номер, что было чрезвычайно удобно: не твой – так не толпись у рельсов и не мешай собой другим.

На колбасе

Транспортные пробки приучили горожан к езде на автобусе, троллейбусе и трамвае внешним образом: уцепился хотя бы двумя точками – за подножку и штангу – и висишь, пока не освободится вагон или не доедешь до своей остановки.

Очень удобно было также ехать «на колбасе», у задней стенки автобуса, троллейбуса или трамвая и только на трамвае можно было ехать между вагонами.

Конечно, это было очень опасно и потому штрафовалось, но в часы пик никакой милиционер не свистел по такому поводу, а вот днем «зайцев» с удовольствием отлавливали, штрафовали либо очень занудно перевоспитывали.

Я очень любил ездить на колбасе, но не в целях экономии, а азарта ради, ну, и, конечно, чтобы хоть куда-нибудь доехать.

Иномарки у «Метрополя»

Это было развлечением и мировым аттракционом для москвичей и гостей столицы.

У «Метрополя» парковались шикарные иномарки, с кожаными креслами, панелями управления из лакированного дерева, вместительные, сверкающие. Но самое потрясающее было – спидометры, градуированные до 180 и более километров в час. Завороженная толпа разглядывала всё это великолепие, как, наверно, обезьяны рассматривали подружку Тарзана Джейн: так вот куда нас поведет эволюция! «Победы» и «Москвичи» (а больше тогда ничего и не было, «Волгу» еще не придумали) по сравнению с этими «Фордами» и «Бьюиками» смотрелись так же, как шимпанзе рядом с нынешними топ-моделями. Вот прошло уже 60 лет, а отечественный автопром так и остался на правах приматов, а весь мир ушел далеко-далеко вперед... И на наших дорогах и улицах отечественные марки встречаются всё реже и реже, как тупиковые и отмирающие ветви автомобильной эволюции.

Прогулки по ночному городу

Долгое время освещенной была только Первомайка, а все Парковые тонули в крошечной тьме, и потому народ высыпал на Первомайку, на наш Бродвей, на вечерний променад. Солидные и степенные пары, семейства, парочки, одинокие искатели приключений, мы, хулиганистое пацанье. Считалось, что мы ходим кадрироваться, но так ни разу ни с одной девчонкой и не заговорили.

Я полюбил тихую, ароматную ночную жизнь города: начиная с весны в домашних тапочках бродить по родному Измайлову, не пугая собой влюбленные парочки на бульваре, промозглыми ноябрьскими дождями мотаться с любимой девушкой, кружа по Парковым, добираться ночью из конца в конец города за пять пустынных часов, размышлять в каштановых аллеях Ленинградского проспекта, которых больше нет, перехватывать, если совсем уж становится морозно, грузовики Союзпечати или почты в нужном тебе направлении – ночной город теплой, душевной, доброй и осмысленной дневного, суетного и озабоченного.

Зимние морозы

Теперь живем как сорная трава – ни тебе настоящих снегопадов, ни тебе настоящих морозов.

Снегу раньше к марту наваливало выше человеческого роста, и мы строили снежные крепости и рыли в снегу пещеры, где было свежо, но не морозно.

После 23 градусов ниже нуля закрывались младшие классы, после 25 – средние, после 27 – старшие. Дополнительные каникулы длились семь-десять дней, а, если повезет, то и до месяца.

Конечно, по домам никто не сидел – на улице! И самый шик было – есть на морозе мороженое. Однажды я перед какой-то контрольной, сняв шарф и шапку, съел тринадцать порций самого дешевого (шестьдесят три сталинских копейки «школьное») мороженого, после чего не болел и не простужался лет пять, не менее.

Рынок

Никаких кавказцев!

На три четверти товарная масса – местного производства: молоко столитровыми бидонами, сметана, варенец, ряженка обливными тазами, на пробу дают немного на плоскость кулака между большим и указательным пальцами (почему-то я этим сильно брезговал – кулак-то свой), мясо, битые куры, вся зеленушка, капуста, грибы-ягоды, цветы, яблоки, соленья-мочения – всё своё, измайловское или из ближайшего окружения.

– Измайловскую картошку не бери, она на навозе, бери липецкую или тамбовскую, черноземную – наставляла мама.

Картошка на рынке стабильно стояла на «пятерку три», любая, кроме летней скороспелки.

Помимо черноземной картошки к дальнепривозным относились сухофрукты, изюм, абрикосы, помидоры, семечки. Ничего другого мы знать не знали и ведать не ведали, а слово «авокадо» было презрительным ругательством зажавшимся и ворочащим нос от «опять этой картошки»

Помимо продуктов в авоськах, с рынка тащили самые нелепые и невероятные враки, слухи и сплетни, которые потом бурно обсуждались в семьях и на кухнях. Потому что главная часть торговли – коммерция, в основе которой, помимо ценообразования, лежит коммуникация.

Наш Измайловский рынок – бывшая тюрьма для немецких военнопленных, ими же и построенная. Простояло это сооружение, несмотря на беспощадную антисанитарию и зверскую эксплуатацию, более 60 лет.

Пирожки

Они должны быть горячими!

Помните? Раньше, на морозе (раньше-то и морозы были нормальными, от минус до двадцати до сорока, а теперь то, что когда было оттепелью – «морозы») стоит на бойком месте толстая тетка, закутанная как кочан капусты, при ней – короб с крышкой сверху, под коробом – клеенка для термоизоляции, а дальше духовитые, с пылу-с жару, жареные пирожки. С капустой, повидлом и ливером – по пятачку (а до того по сорок пять копеечек, ровно в цену билетика в метро), с мясом – по гривеннику.

Берёшь, сколько позволяет карман, иногда даже три штуки, если с капустой, повидлом или ливером. В клочке быстро промокающей бумаги, оторванной от рулона (так вот куда уходила тогдашняя туалетная бумага! Только теперь сообразил).

Если покупателей нет, баба истошно и заполошно кричит: «пирожки! горячие пирожки!», как будто её грабят, но обычно к её точке очередь – и два, и двадцать человек, так что последнему может и не хватить или достанется бесформенный, мятый, потёкший и уже сильно остывший. Но, настоявшись, и такому рад-радёшенек.

А пирожки вообще-то достаточно бесформенные, не то, что домашние печеные, лодочкой. Эти – коричневые, разлапистые, и сделанные на скорую руку, и съеденные того быстрей.

Повидло, конечно, – это то, что последним делают из умирающих яблок. До того делают мармелад, а ранее – джем, а до джема – варенье, а до варенья – компот или сок, а до сока их просто едят.

Капуста... наверно, это всё-таки была квашеная капуста. Почему-так хочется думать. Потому что если «свежая», то страшно подумать о её свежести.

Ливер – именно про него говорили «пирожки с котятами». Когда-то под ливером подразумевалась печенка, прокрученная через мясорубку, но что прокручивали на самом деле, мы узнаем только на Страшном суде, в качестве слабенького оправдания всем нашим грехам и винам.

Я редко брал пирожки с мясом – и дорого и не любил я этот странный фарш, будто долго кем-то жёванный и даже немного переваренный.

Ах, как хороши были эти горяче-обжигающие жареные пирожки на морозе! Лопаешь их, подхватывая языком вытекающее повидло и с гордостью думаешь, что ты и есть – настоящий советский народ, который выдержит любые испытания и всегда готов на подвиг.

А жареные пончики в Москве одно время продавались всего в одном месте – на углу Столешникова и Пушкинской. Огромное окно позволяло видеть, как хитрый автомат сплевывает колечки теста бледно-телесного цвета в раскаленное масло, как эти пончики, плывущие по кругу, автоматическая лопатка переворачивает на полукруге, и они прилипают к лотку уже совсем готовые. Тонкой длинной палочкой тетка, родная сестра пирожковой тётки, цепляет с десятков, а, может, даже дюжину пончиков, укладывает их рядками в лоток, густо посыпает сахарной пудрой и уж только затем начинает расторгивать, кому парочку, а кому и целый кулёк.

К жареным вкусностям относились, конечно, и беляши по 13 копеек штука, сочные, с намеками на бульон и баранье происхождение.

Пончики пышные, сладкие, обжигающие – и какое нам дело до того, что это масло неделями или даже месяцами не менялось – нам до онкологии ещё так далеко!

Сейчас пирожки и пончики заменены «шаурмой», «чебуреками», «беляшами», «самсой», «сосисками в тесте» и прочей дрянью (уже без кавычек), разогреваемыми в микроволновках, иногда даже в полиэтиленовой упаковке. Это также никакой Минздрав не одобрил бы (если бы ему дали это на одобрение), но есть эту гадость уже никак невозможно – невкусно и неаппетитно, и хочется ещё хоть немножечко пожить.

Киоски

Сейчас эта мелкая уличная торговля выглядит неуместно и балаганно до наглости.

А раньше...

Газетные киоски по утрам и вечерам (Известия и Вечёрка) собирали длинные очереди, а между этими очередями – клубы пикейных жилетов «Бриан – голова». Мой дед торговал газетами на углу Первомайки и Первой Парковой, был известен всему Измайлову под кличкой Газетчик, и никому неизвестно было, что он не умел писать и читать по-русски, только на идише и иврите. Они же были и книжными киосками (роман-газета, толстые журналы, художественная литература и нон-фикшн типа «самоучитель игры на аккордеоне» или «техника антраша в балете»).

Табачные киоски размещались чаще. От них вкусно пахло табаком, но мы покупали здесь карамельки (прозрачная и театральная, позже взлетная) или ириски (кис-кис – идеальное средство по снятию мостов и наращиванию карисса).

Галантерейные киоски торговали нитками, пуговицами, наперстками, пальцами, вышивками, выкройками, мыльным порошком для бритья, женской пудрой «лебедь», земляничным туалетным мылом, патефонными иголками, басмой, хной и еще тысячью нужных и ненужных вещей.

Были киоски с мороженым, где выбор был, строго говоря, такой же, как и у обыкновенной лотошной мороженщицы, но промерзло здесь мороженое гораздо лучше из-за избытка сухого льда, а главное – здесь продавались торты-мороженое на всю семью к праздничному столу.



Борис Родоман

КАПИТАНСКИЕ ДОЧКИ

(из путешествий по «Русскому Северу»)

1. Архангельские сказки

Архангельск я любил с детства, хотя побывал в нём впервые только в 26-летнем возрасте. Причиной любви были две имевшиеся у меня книжки — «Архангельские новеллы» Б.В. Шергина (1936) и «Сказки Писахова» (1938). Отец мой, актёр и чтец, бывал в Архангельске на гастролях, а Ст. Писахов подарил ему машинописный текст своей сказки «Не любо — не слушай» для исполнения на эстраде. Тогда же папа привёз мне из Архангельска чудесные пимы из разноцветных лоскутов меха нерпы, с преобладанием золотого цвета; в них я ходил зимой в школу в 1939–40 г.

Писахов и Шергин писали на архангельском диалекте, но авторские языковые стили и, что тоже важно для меня, орфография были у них совершенно разные. Неодинаково выглядели и многие реалии окружающего мира. Ранний Шергин был более городским по языку и сюжетам, а шутовское повествование Писахова велось от имени деревенского мужика Семёна Малины, своими фантазиями перещеголявшего барона Мюнхгаузена.

«Архангельские сказки» сыграли немалую роль в моём лингвистическом и филологическом развитии. Чего стоит только одно полюбившееся мне слово *этта* — здесь.

«Этта будет становьё,
Старопрежно зимовьё»^[1].

Б.В. Шергин неоднократно переиздавался и переделывал свои произведения не без влияния идеологической конъюнктуры. В его позднейших книгах оставалось всё меньше того, чем я восхищался в детстве. Это было вызвано не только переработкой текстов, но и их отбором для переиздания, продолжавшимся после смерти автора. На смену «сталинским гусям»^[2] зазвенели церковные колокола. Сегодня Шергин — один из любимых писателей у православных национал-патриотов.

Писахов остался на «региональном уровне» как известный в Архангельске художник-живописец. Его полотна, посвящённые Арктике, я видел в местных музеях. Но его сказки, высмеивающие попов, в наше клерикальное время вряд ли станут переиздавать; как, впрочем, и некоторые произведения А.С. Пушкина.

2. Деревянный город

В Архангельске я был три раза, и всякий раз прибывал туда морем — из Нарьян-Мара, из Мезёни и из Мурманска, а уезжал по железной дороге. Впервые прибыл в 1957 г. на легендарном корабле «Юшар», заходившем и на остров Колгуев. Там погрузили на наше судно тюки с оленьими шкурами, все предназначенные одному человеку с известной ненецкой фамилией Вылка.

Архангельск показывался мне постепенно и надвигался на меня величественно в течение пяти часов, обступая мачтами кораблей и трубами лесопильных заводов. С

жадностью схватывая окружавшие виды, я бегал палубе и шагал, поворачиваясь во все стороны, по площадке у самого верха мачты, на высоте пятиэтажного дома.

На окраинах города ещё сохранялись деревянные тротуары и даже остатки деревянных мостовых. «Шаг по асфальту и камню отдаётся в нашем теле, а ступанье по доскам расходитя по дереву, оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам»^[iii].

Пассажирский железнодорожный вокзал располагался на левом берегу Северной Двины. И жители Архангельска, и его грузовая железнодорожная сеть общались с левобережьем и, стало быть, со всем внешним миром, через паромы.

Я проехал на пригородном трамвае на север вдоль всего Солóмбальского архипелага. Когда трамвай пересекал запретную зону экспортной лесной биржи, то окна в нём закрывали, пассажиров с «площадок» (тамбуров) загоняли в салон и двери за ними запирали; вагон мчался несколько километров без остановок. Трамвайные линии использовались и для перевозки грузов — за недостатком автодорог.

Второе посещение Архангельска выглядело совсем иначе. Оно и является стержнем моего нынешнего рассказа.

3. Рыжие Куклы

В августе 1969 г. я и мой друг, тоже географ, Игорь Любимов, путешествовали по реке Мезени, преимущественно на моторных лодках. Мне было 38 лет, а Игорю 39. В первой части маршрута, проходившей по стране Коми, нас сопровождали две девушки студенческого возраста. В низовьях реки мы с Игорем, оставшись вдвоём, знакомились со знаменитыми памятниками деревянного зодчества. Нашим путеводителем была книжка из ныне легендарной «жёлтой серии» «Дороги к прекрасному». Тогда же я открыл для себя «закономерность»: примерно половина упоминаемых в книге деревянных построек исчезает, пока готовится издание.

Огромные двухэтажные избы, насчитывавшие до 36 окон, дожидались очереди быть перевезёнными в музеи либо сгореть, что более вероятно. Даже обитаемые дома разрушались оттого, что в них было мало жителей и трудно отапливать все помещения. На распутиях высились гигантские кресты-распятия, увешанные женским нижним бельём. (Если у женщины что-то болело, она вешала трусы или бюстгальтер, соответственно, на бёдра или грудь деревянного Христа. Современные культурологи, пропитанные православием, избегают рассуждать об этой, бытующей и сегодня, форме народного идолопоклонства). И, наконец, там сохранялась даже одна ветряная мельница.

Из города Мезени нам предстояло направиться в Архангельск на грузовом судне (за неимением пассажирского). Общительный Игорь познакомился с лоцманом, который отправлял с этим кораблём двух своих тринадцатилетних дочерей-близнецов к началу учебного года, а сам с женой оставался работать в мезенском порту до конца навигации. Родители поручили нам присматривать за их детьми.

— Наши девочки вам понравятся, вы с ними не соскучитесь.

То были голубоглазые рыжеватые веснушчатые розовощёкие блондинки среднего роста, в красных платьях, довольно крупные, но пока не толстые, с уже оформившимися женскими фигурами, но с ещё детским буйным поведением. Они как бешеные носились по кораблю, а мы, как могли, бегали за ними.

Угрюмые матросы взирали на наши игры молча, с каким-то угрожающим презрением или отвращением. За все 15-17 часов плавания никто из команды не обмолвился с нами ни единым словом.

У девочек было милое архангельское произношение. Настоящие поморы, словно сошедшие со страниц моих любимых книг! Золотокосые красные дёвочки из былин и сказок. Будущие дородные, дебелие русские женщины из-под пера Н.А. Некрасова и кисти Б.М. Кустодиева. У них и имена были литературные, традиционные для пары сестёр — Татьяна и Ольга.

Они из семьипотомственных моряков! Их папа ходил в Лондон с грузом леса. В советское время моряки заграничавания были предметом всеобщей светлой зависти, элитой, возвышавшейся над невыездным населением припортовых городов. Морская профессия была овеяна романтикой.

Рыжие школьницы предложили нам не останавливаться в гостинице, а поселиться у них.

— Будем варить картошку и пить шампанское.

Видать, им хотелось в отсутствие родителей побыть гостеприимными взрослыми хозяйками.

Я представлял себе старинный бревенчатый дом, большую квадратную комнату с множеством окон, уставленную сувенирами из дальних плаваний. Мы будем резвиться всю ночь — кидаться подушками, стаскивать друг дружку с кровати за ноги, бороться на полу, играть в жмурки и фанты...

Девочки расспрашивали нас о каких-то любимых артистах и кинозвездах, а мы даже не знали об их существовании. Я опасался, что мы вскоре упадём в глазах этих девиц и они потеряют к нам интерес. Сможем ли мы общаться с ними сколько-нибудь долго? Подростки изменчивы и непредсказуемы. Одно неосторожное слово, превратно истолкованный жест — и пиши пропало.

Сестёр отправили ночевать в капитанские каюты, а нам указали на обитые искусственной кожей голые и скользкие диваны в кают-компании. Там мы постелили свои спальные мешки. Утром безмолвные матросы поставили на наш край стола тарелки с белым хлебом и маслом, чай и сахар. Покончив с незамысловатым флотским завтраком, мы выскочили на палубу, к девчонкам. Но их словно подменили! Они не улыбались и не смеялись, но молча глядели на нас с каким-то мрачным любопытством и ужасом.

— В чём дело, девочки? Что случилось?

Близнецы молчали. Но догадаться, что именно случилось, нетрудно. Взрослые «вправили им мозги», «открыли глаза». Легко представить, как вчера вечером возбуждённые игрой с нами простодушные отроковицы поведали капитану о намерении пригласить двух московских журналистов к себе в дом. В ответ моряки доходчиво объяснили, чего должны ждать девочки их возраста от уединившихся с ними «взрослых дяденек». Да так объяснили, что дальше некуда! Повергли наивных, ничего не подозревавших девчонок в настоящий шок. В наше «просвещённое» время читателю будет трудно представить, что ни этим девочкам, ни даже их родителям, с радостью отпустившим своих детей на наше попечение, раньше ничего «такого» в голову не приходило.

Испуганные сёстры могли бы теперь не появляться на палубе, но они носились вокруг и строго за нами наблюдали — как за какими-то зверями, монстрами, преступниками, шпионами: не убежали от нас совсем, а только шарахались, отскакивали, прятались, выглядывали из-за угла рубки как белки из-за деревьев, и снова приближались. Как будто продолжалась вчерашняя игра в кошки-мышки, но с обратным знаком. И во всё оставшееся время близнецы ни разу не улыбнулись, не усмехнулись не только нам, но и друг дружке.

Переживания из-за Рыжих Кукол отвлекли нас от морского портового пейзажа. Приход в Архангельск не показался мне таким величавым, как в прошлый раз, на «Юшаре». В последний момент, когда корабль уже стоял у пирса, одна из девочек отделилась от сестры, подошла ко мне и строго выпалила:

— Идите налево, потом направо, там гостиница, всего хорошего, прощайте!

В гостинице для нас мест не нашлось — не помогли журналистские билеты и бумажки от учреждений. От ночёвки на улице спасла третья архангельская школьница. Приезда Игоря в Архангельск ожидала влюблённая в него тринадцатилетняя девочка.

4. Проклятие Игоряшки

На архангельском Севере Игорь был не впервые. Не далее как прошлым летом (в 1968 г.) он пытался заночевать в одной глухой деревеньке, но хозяин избы не пустил его. Двенадцатилетняя внучка старика, приехавшая на лето из города, из-за этого поссорилась с дедом; она хотела общаться с интересными москвичами и, кажется, сама их привела. Тогда Игорь громко проклял старика в присутствии его потомства.

— Страшно, страшно проклятие Игоряшки! — смеясь, блеял Игорь. — Никто ещё не избегал его последствий!

Вскоре после того дед скончался, а его потрясённая внучка Наташа влюбилась в Игоря. Они стали обмениваться письмами, и к моменту нашего прибытия в Архангельск их эпистолярный роман достиг апогея.

Тринадцатилетняя Наташа тепло встретила нас в Архангельске и, пользуясь своими знакомствами, устроила ночевать в «Доме колхозника» — дешёвой ночлежке, где стояли десятки кроватей в одной комнате.

Мы рассказали Наташе о Рыжих Куклах. Она училась с ними в одной школе и часто их видела. Казалось, что этих капитанских дочек знал весь Архангельск. Наташа приняла нашу историю близко к сердцу, была огорчена и очень переживала. Она осуждала рыжих сестёр за то, что те от нас отшатнулись.

Любовь — любовью, но не за нею мы приехали на Север; география была у нас на первом месте, а на осмотр Архангельска времени оставалось очень мало. С моей подачи Игорь заинтересовался Солóмбальской трамвайной линией. Она была уже не такой романтической, как прежде, обречённая на деградацию при конкуренции с автотранспортом. Мы провели в трамвае несколько часов, потому что отключали ток, а нам не хотелось покидать вагон. На конечной остановке спросили у вагоновожатой:

— Сколько километров длины ваша трамвайная линия?

— Вы что, не проспались? — рывкнула девушка.

Уже темнело, а Игоря в городе весь день ждала бедная Наташа. Такое непростительное, неловкое опоздание! Мы поспешили в «Дом колхозника», я улёгся в кровать, а Игорь побежал на свидание со своей юной поклонницей.

Планировка Архангельска проста, но уникальна. Много коротких улиц были перпендикулярны берегу, а несколько длинных параллельны. Но так как Северная Двина здесь изгибается дугой, то и продолжения перпендикулярных улиц сходились в пока ещё не застроенном геометрическом центре, где долгое время сохранялось болото. Вот там и возвели современный вокзал, соединённый с левобережьем железнодорожным мостом; к вокзалу и рос теперь город — от старой деревянной

периферии к новому бетонно-панельному центру. В 1969 г. большинство новостроек находилось посередине между берегом и вокзалом.

Там, за забором одной из строек, Игорь до полуночи целовался с влюблённой в него Наташей. Конечно же, я ему завидовал, но и радовался за него, а немножко и за себя, предвкушая восхитительный день. Завтра мы трое должны были поехать на родину М.В. Ломоносова, в Холмогоры, где и Наташа, постоянная жительница Архангельска, сама ещё не бывала.

Увы! Утром Наташа на автовокзал не явилась. Родители не пустили её в поездку с «незнакомыми взрослыми дяденьками». С тех пор Игорь и Наташа никогда не виделись. Но они продолжали дружить заочно и переписывались ещё много лет. Из писем Наташи известно, как она колебалась, выходя замуж, и как развелась потом. Приезжала ли она в Москву, предполагала ли встретиться с Игорем? Сие мне неведомо.

Примечания

[i] Борис Шергин. Поморщина — корабельщина. — М.: Сов. писатель, 1947, с. 61.

[ii] «Сталинские гусли зазвенели...» — Там же, с. 156.

[iii] Там же, с. 24.



Петр Волковицкий

КАК ВЕТЕРОК ПО ПОЛЮ РЖИ

(продолжение. Начало в №5/2016)

Первые послевоенные годы

После ареста Гельвиха в начале 1944 года мать переехала в общежитие ВТИ, где вроде бы у нее была даже комнатка, а отец жил в коттедже в Демблине. Весной 1945 года он поехал в Варшаву и на развалинах дома на Мокотове, где во время войны жила Бабсик (Мокотов был одним из центров Варшавского восстания 1944 года, и этот район был полностью разрушен), оставил записку, ей адресованную. Бабсик в ноябре 1944 года была задержана немцами и, вместе с другими женщинами, схваченными в районе восстания (мужчин немцы расстреливали на месте), была отправлена в Освенцим. Поток был большой, фронт был близко, так что ей даже не сделали татуировки с номером, а в январе 1945 года Освенцим был освобожден Красной Армией. После освобождения Бабсик некоторое время работала медицинской сестрой во временном госпитале, развернутом в Освенциме. В музее Холокоста в Вашингтоне я получил документ, подтверждающий ее нахождение в концлагере и последующую работу медсестрой. Весной 1945 года Бабсик вернулась в Варшаву и остановилась у каких-то друзей. Кто-то из соседей принес ей записку отца, она написала ему в часть, и отец приехал в Варшаву к теще. Бабсик рассказывала, что она увидела офицера, который представился как ее зять. Она спросила, что может быть он все-таки жених, но отец предъявил ей свидетельство о браке. Отец забрал Бабсика к себе в часть, и она устроилась в его полку переводчиком. Бабсик с гордостью говорила мне, что как переводчик она получала больше денег, чем отец. Ее поселили во второй половине коттеджа, где уже жил отец. Как я понимаю, вторая половина 1945 года, возможно, была самым счастливым временем в жизни моего отца. У него была служба, хорошее жилье, деньги и перед ним открывалась блестящая карьера в Польской Армии: его должны были послать на учебу в Военно-Воздушную Академию в Москву, откуда он вернулся бы уже в звании майора или подполковника в свои неполные 30 лет.

Однако мать ни за что не хотела возвращаться в Польшу и требовала, чтобы отец демобилизовался из армии и вместе с Бабсиком приехал в Москву. И вот они приехали в голодную Москву начала 1946 года: мать живет в общежитии, куда отца прописали, а Бабсика – нет. Доблестным органам оказалась хорошо известна история ее семьи и братьев-белогвардейцев, а также факт ее отъезда из России в 1924 году, и прописывать такую особу в Москве было никак нельзя. Более того, за Бабсиком в общежитие к матери приходил участковый милиционер и обещал выслать ее при помощи милиции, если она сама не уедет. Бабсик какое-то время где-то скрывалась от милиции.

Тем не менее, нашелся выход. Каким-то образом Самуил Григорьевич Гершензон был знаком с Ильей Эренбургом. Илья Эренбург был членом Верховного Совета СССР и мог принимать заявления и реагировать на просьбы населения. Было написано письмо с просьбой прописать Волковицкую Ольгу Владимировну на площади ее дочери Раппапорт Тамары Людвиговны, и Илья Эренбург просил

Мосгорисполком не отказать в этой просьбе. Таким образом Бабсик тоже была прописана в Москве. Эта история имела продолжение в 1984 году. Моя жена, Лена Щорс, была хорошо знакома с дочерью Эренбурга, Ириной Ильиничной Эренбург, которая помогала отцу, работая в качестве его секретаря. Как-то мы вместе с Леной были у Ирины Ильиничны, и я сказал ей, что моя семья обязана ее отцу, который помог прописать Ольгу Владимировну Волковицкую в Москве. Поразительным образом Ирина Ильинична вспомнила эту историю почти сорокалетней давности и сказала, что она видела это письмо и работала с ним.

Хотя все мои родственники были легализованы в Москве, но жить в общежитии ВТИ втроем было невозможно. Отец к лету 1946 года устроился инженером на испытательную станцию в НИИ-94 на шоссе Энтузиастов 38, недалеко от ВТИ, где ему обещали жилье. НИИ-94 Минхимпрома занималось авиационными (а впоследствии и ракетными видами топлива), а отец на испытательной станции проверял мощность и другие характеристики авиационных двигателей, работавших на этом топливе. Этот институт существует до сих пор и называется Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС). Постройки 40-х годов вдоль Шоссе Энтузиастов были заменены на новое здание в 60-х годах. Устроиться отцу на работу с его анкетой было очень непросто и, как рассказывала мать, он рассматривал возможность пойти в Летно-испытательный институт в поселке Жуковского бортинженером-испытателем. Мать говорила, что она была резко против этой идеи, поскольку риск разбиться у бортинженера-испытателя был такой же, как и у летчика-испытателя. Летом 1946 года мать была беременна мной на третьем месяце и мои будущие родители сняли комнату в поселке Ильинское по Казанской железной дороге. Бабсик пошла работать медсестрой в поликлинику. Какие были у нее документы, подтверждающие ее квалификацию, я не знаю. Думаю, что с 1918 года по 1946 год она нигде не работала.

В декабре месяце 1946 года настало время мне появиться на свет. Когда вечером 13 декабря у матери начались схватки, отец повел ее на станцию Ильинское, и они сели в поезд, идущий от Москвы. Казанская железная дорога была построена англичанами, и движение там было не правосторонним, как на других железных дорогах, а левосторонним. Возможно, поэтому в состоянии стресса отец повез мать не к Москве, а от Москвы. Так или иначе, но на свет я появился в роддоме на станции Фабричная в городе Раменское. Поскольку родители были прописаны в Москве, то в моем свидетельстве о рождении на имя Петра Эдмундовича Орнштейна, выданном ЗАГСом Калининского района г. Москвы, местом рождения был указан город Москва. Отец в процессе оформления своих советских документов несколько изменил свою фамилию: из Орнштейна он стал Орнштейном. Изменил он также и отчество: из неблагозвучного Хаймовича в первых своих документах на русском языке он стал Иоахимовичем, что тоже было совсем не по-русски. Некоторые мои друзья впоследствии за глаза звали его Нахимычем.

Химгородок

В начале 1947 года отец все-таки получил от НИИ-94 обещанное жилье. Это была комната 14 квадратных метров в трехкомнатной квартире № 12 на втором этаже в двухэтажном доме № 8 барачного типа во Владимирском поселке. Целый район был застроен каркасными одно- и двухэтажными бараками со шлаком в ка-

честве утеплителя. Этот район назывался Химгородок, поскольку жили там сотрудники химического НИИ-94. Позднее адрес поменялся: дом 4а, кв.12 по 4-й Владимирской улице. В бараках было печное отопление и электричество. Вода была в колонке на улице, холодный сортир тоже был на улице. Каждому ответственному квартирьесъемщику полагался сарай, где хранился каменный уголь для печки и дрова для растопки. Помню, что уголь привозили организованно, а дрова отец откуда-то возил на санках. В квартире была одна кухня на три комнаты, но печка в нашей комнате была отдельная и топилась из комнаты. Две другие комнаты были смежными, но, несмотря на это, в них жили две семьи. В проходной комнате жили старик со старухой, у старика не было ноги, а только деревянная палка, пристегнутая к колену. Они ели из одной миски суп и кашу или со сковородки жареную картошку. За проходной была комната, в которой жили муж с женой и девочка Томка моего возраста. Не помню, как звали этих соседей. Они купили телевизор КВН-49 и приглашали нас его смотреть.

Первые годы после вселения готовили на керосинках и керогазах, так что в сарае стояла еще бутылка с керосином, а потом провели магистральный газ и поставили на кухне газовую плиту.



1955 год. В конце дороги двухэтажный барак. За ним такой же наш.

Александра Владимировна презентовала родителям софу, которая раскладывалась в двуспальную кровать. Этой софе было лет сто, ее как-то обновили и назвали колымагой. У Бабсика была железная кровать, на которой она спала потом во всех других квартирах, а у меня была детская кроватка и коврик на стене, на котором был изображен крыловский квартет. Был еще большой письменный стол, за которым работали по очереди отец и мать, и его же использовали как обеденный. Когда колымага была разложена, в комнате оставались только узкие проходы к кроватям. Меня на улицу в холодный сортир не гоняли, и под моей кроватью стоял мой «младший брат», как называл его отец, – ночной горшок.

Кризис 1949 года

Отец работал в НИИ-94 до 1949 года, когда у него началось воспаление поясничного нерва и после нескольких недель (или месяцев), проведенных в больнице, его уволили по профнепригодности. Мать говорила, что воспаление было вызвано

тетраэтилсвинцом, который использовался в авиационном бензине в качестве антидетонационных присадок и, конечно, его концентрация в воздухе, которым дышал отец, была высокой. Однако заболевание отца так и не было признано как профессиональное. Отцу «за вредность» давали на работе молоко и белую булочку с маслом. Отец молоко выпивал, а булочку приносил домой.

Я помню какие-то отдельные эпизоды из своей жизни, начиная с двух с половиной-трех лет, а более-менее отчетливо помню себя и свое окружение лет с четырех. Мое первое воспоминание в жизни связано с ожиданием прихода отца и этой булочки. Вообще помню ощущение голода. Мне было года два с половиной, когда летом 1949 года мать поехала со мной в Вильнюс к своей школьной подруге Тане.



1948 год. Отцу около 30 лет, а мне еще нет двух.

Таня стала врачом и вышла замуж за известного в Вильнюсе кардиолога доктора Кибарского. Еврей доктор Кибарский, как и мой дед Раппапорт в свое время в Москве, лечил в Литве всякую власть, как до присоединения Литвы к СССР в 1940 году, так и после. Его эвакуировали из Вильнюса вместе с госпиталем, и таким образом он уцелел. В госпитале во время войны он познакомился с Таней, которая была моложе его лет на пятнадцать. После войны Таня родила ему дочь Надю, а потом двух очаровательных мальчишек-близнецов. Мы с Надей потом дружили, и в студенческие времена я довольно часто ездил в Вильнюс. Жизнь в семье доктора Кибарского была очень непохожа на нашу: большая квартира в центре города, загородный дом, крахмальные салфетки за обедом и много чего другого. Как я понимаю, Таня пригласила мать приехать со мной, чтобы немного подкормить нас обоих.

Мать к 1949 году подготовила во ВТИ диссертацию на степень кандидата технических наук. Диссертация была посвящена режиму детонационного горения в трубе. Как я понимаю, экспериментальные данные были получены на установке,

где фронт детонации распространялся по трубе, и сопровождался газодинамическими расчетами. Вроде бы диссертация была готова и принята к защите, но мать добилась встречи и обсуждения своих расчетов с Я.Б. Зельдовичем, который был в то время крупнейшим специалистом по газодинамике быстрых процессов. Честно говоря, я не понимаю, как ей удалось это сделать, поскольку Зельдович с 1946 года сидел в Арзамасе-16 и занимался только ядерной бомбой, а в Москве бывал лишь изредка. Зельдович указал матери на ошибку в ее расчетах и мать сняла диссертацию с защиты, хотя вроде бы Зельдович этого не требовал. Разразился скандал и мать ушла из ВТИ. Более безумного шага в 1949 году, в разгар борьбы с космополитизмом, Тамара Раппапорт сделать не могла. Она говорила, что пыталась устроиться на работу в НИИ-1 к Королеву, но там над ней только посмеялись. Где-то в это время мать побывала у Ландау и попыталась сдать ему первый экзамен по математике из теорминимума. Ландау ее прогнал, но потом она готовилась к передаче: я видел ее тетради с решением задач.



Таня Кибарская после войны



Мать в первые послевоенные годы

Какое-то время все семейство жило на зарплату Бабсика, работавшей медсестрой. Тут у отца открылся туберкулез, которым он заболел еще до войны, так что ситуация стала критической. Положение спасла известная в то время польская писательница и коммунистический деятель Ванда Василевская, позднее игравшая вместе со своим мужем Корнейчуком весьма неприглядную роль в Союзе Писателей СССР. Как удалось с ней связаться, я не знаю, но Ванда, пользуясь своими огромными связями, пристроила мать на должность референта в Бюро Польского торгового советника. Зарплата там по тем временам была огромной, кажется, мать получала не меньше 3000 рублей. Занималась она оформлением поставок технического оборудования из СССР в Польшу, в частности через мать проходила документация на строительство в Польше завода по выпуску автомобилей «Варшава» - копии «Победы». Мать проработала в Бюро четыре года – до рождения сестры в

1954 году. Перед рождением сестры она ушла в декретный отпуск по рождению ребенка и уволилась из Бюро. Бюро находилось на Смоленском бульваре в доме 11 и там иногда устраивали утренники для детей сотрудников. Я помню надраенные паркетные полы, запах хвои (наверно это был новогодний утренник) и вкус польского шоколада фабрики «22 Lipsa», который был в новогодних подарках для детей сотрудников. Кстати этот шоколад мне доставался в подарок и от польских друзей родителей; я люблю его до сих пор. Теперь фабрика называется «Вавель».



Фото 1957 года. Виден польский флаг на здании Бюро.

Дом в Перемышле

Я думаю, что во второй половине 1945 года, когда отец еще служил в Польше, он съездил в Перемышль и оформил документы собственности на дом своего отца, Хайма, поскольку был единственным оставшимся в живых из всей семьи. В 1946 или 1947 году отец продал дом в Перемышле. Вроде бы для заключения сделки он снова поехал в Польшу. В конце 1947 года прошла конфискационная денежная реформа и, как говорила мне мать, почти все деньги от продажи дома пропали. Это утверждение кажется мне странным. Условия реформы были следующими: вклады в сберкассе размером до 3000 рублей обменивались по курсу 1:1. Вклады от 3000 до 10000 рублей уменьшались на одну треть и вклады выше 10000 рублей уменьшались на две трети. Наличные деньги обменивались по курсу 10:1, а зарплаты не менялись.

В 1952 году на деньги, оставшиеся от продажи дома, отец купил подержанную «Победу» примерно за 12000 рублей. Если полагать, что это были все деньги, оставшиеся от продажи дома, нетрудно подсчитать, что денежная реформа унесла 11000 рублей, то есть меньше чем половину денег, вырученных от продажи дома. Конечно для родителей это была огромная потеря, но все-таки не все деньги пропали. Я не думаю, что отец хранил наличные деньги дома (90% наличных денег пропало в результате реформы). Во-первых, деньги за проданный дом были легальными, а во-вторых, украсть деньги из комнаты в бараке было очень просто. Я также не понимаю, почему родители вложили оставшиеся от продажи дома деньги в машину, а не в жилье. Возможно, они надеялись получить жилье от государства. Это произошло, но только в начале 1958 года, и 11 лет семья прожила в комнате 14

квадратных метров без воды, центрального отопления и канализации. Отец с матерью вместе впервые поехали в Польшу в сентябре 1967 года на машине. Они побывали в Перемышле, и дом деда тогда еще стоял. Когда я приехал в Перемышль летом 2014 года, дома уже не было.

Автомобиль в моей жизни

Как я уже писал, отец купил свой первый автомобиль в 1952 году. Это была зеленая «Победа» 1950 года выпуска с длинным рычагом переключения передач на полу. В том же 1952 отец с матерью поехали на этой машине на Кавказ, в Геленджик, куда меня отправили с бабкой на все лето. По дороге они заехали к Грише Гершензону, которого после окончания МАИ в 1950 году распределили в Саратов инженером. Там Гриша нашел себе местную русскую жену Надю Полетаеву, которая в 1951 году родила ему сына Володю и с которой после трех лет работы по распределению в 1953 году Гриша вернулся в Москву в квартиру родителей.

Родители приехали в Геленджик на машине с разбитой правой фарой и слегка помятым крылом. Как рассказывал отец, они проезжали через стадо коров и какая-то корова боднула машину в фару. Отец нажал на газ, корова упала, а они с матерью уехали. Почему-то я очень расстроился, увидев разбитую машину и расплакался. Я думаю, что если бы корова боднула любую из моих многочисленных машин, то корова ушла бы, помахивая хвостиком, а машина не смогла бы тронуться с места. Корпус «Победы» был из стали толщиной 1 мм. Потом у отца была новая белая «Победа», кушленная в 1954 году, потом белая «Волга» Газ-21 1962 года выпуска, а в 1975 году отец пересел на «Жигули». Номера «Победы»: ЭВ 53-27 и «Волги»: 16-54 МОЛ я помню до сих пор, а вот номера всех остальных машин, включая и те, на которых езжу сейчас, уже не запоминались. Это значит, что машина в моем детстве играла значительно большую роль, чем во взрослой жизни. Все отпуска родители проводили сначала со мной, а потом и с сестрой в автомобильных поездках в Крым, на Кавказ и в Прибалтику. В 50-е годы машина позволяла им вырваться из коммуналки в Химгороде и создавала, во всяком случае у меня, иллюзию личной свободы: по крайней мере, она давала свободу передвижения.

Я впервые сел за руль отцовской «Победы», лет в шесть, когда у меня ноги выросли до педалей. Отец выгнал машину в поле, посадил меня за руль и сказал: «Давай». В 13 лет, после занятий в кружке юных автомобилистов в Доме пионеров, я получил удостоверение юного водителя автомобиля. Никаких прав на вождение автомобиля это удостоверение не давало; можно было ездить только с инструктором и только на машине с двойным управлением. Тем не менее, отец сажал меня за руль за городом, и я довольно бодро водил его «Волгу». Году в 1962 меня остановил гаишник по дороге в Киев, куда мы ехали вместе с родителями. На традиционное требование «Ваши документы» я вытащил свое удостоверение. Гаишник опешил и перешел на «Вы»: «Где Вам такое дают?» Я гордо ответил: «В Москве», и он меня отпустил. В 19 лет это удостоверение сэкономило мне время и деньги, потому что ГАИ зачло его за свидетельство об окончании автошколы, и я мог сдать экзамен на водительские права экстерном без посещения курсов вождения. После того, как я получил права в начале 1966 года, отец оформил мне доверенность на свою машину и я ей иногда пользовался. Наличие машины производило сильное впечатление на моих знакомых девушек, и я называл ее «протез обаяния». Первую собственную машину я купил, назанимав у родственников денег, в 30 лет и с тех

пор вот уже 40 лет жизни без машины себе не представляю. Подобное отношение к автомобилю сформировалось и у моей сестры. Отец давал ей водить свою машину, и она тоже жить без машины не может. Нам, детям, отец свою машину доверял и учил нас ездить, но он не хотел, чтобы мать получила права и не учил ее вождению.

Дошкольные годы

Я рос в бараке не испытывая особых неудобств, по той простой причине, что других условий жизни я не знал. Хотя иногда родители возили меня куда-то, где жизнь была совсем другой. О поездке в Литву я уже писал. Другой яркий эпизод, по-видимому, относящийся к 1950 году, – посещение гостиницы «Москва», где жил Леон Вышинский с женой – заместитель отца в Первом польском истребительном полку. Леона поляки прислали вместо отца учиться в Военно-Воздушной академии. Помню блеск паркетных полов, ковры и мрамор колонн и, как всегда, вкус шоколада. Иногда ездили на улицу Горького к Александре Владимировне, бабе Ляляля, как я ее звал. После ареста Гельвиха она жила в одной комнате, похожей на мебельный склад.

В квартире напротив на площадке второго этажа жила Маруся Барановская вместе с сыном – подростком. Она работала аппаратчицей в НИИ-94 и Маруся пекла замечательные пирожки и пироги с клюквой с открытым верхом, перекрещенным полосками теста. Я ее пироги и пирожки обожал. Ни Бабсик, у которой всегда была кухарка, ни мать, которая вообще не умела готовить, ничего подобного испечь не могли. Мне Марусины пироги запомнились как верх кулинарного искусства. Помню, что Маруся называла черта "Рогастый", потому что черта по имени называть было нельзя.

В одной из соседских комнат в нашей квартире жила девочка Томка, примерно моего возраста. Мы с ней играли под столом, устраивая себе там жильё. Потом она куда-то пропала, может быть, переехала. В доме было много детей, но в основном старше меня. Они, как правило, хорошо ко мне относились и меня часто оставляли играть с ними во дворе. Помню обсуждения среди малышей, чей папа убил Гитлера. Каждый говорил, что его.

Жидом меня никто не называл и всех малышей, включая меня, старшие ребята защищали от соседских: перовских и новогиреевских. Мы назывались химгородковские. Старшие ребята зимой развлекались, прицепив полозья, согнутые из арматуры, к трамваю, ходившему по Третьей Владимирской улице. Важно было вовремя отцепиться и не заехать в Перово, где можно было слопотать от перовских за проезд по чужой территории. Я был сначала мал для этой забавы, а потом эта мода прошла. Зато у меня был шикарный самокат на трех настоящих шарикоподшипниках, который сделал мне отец. Не у многих мальчишек были такие замечательные подшипники. У меня было несколько старших друзей, которые меня опекали. Одного звали Валец, и он водил меня к себе домой и угощал компотом, который варила его мать, и приговаривал «Рубай компот, он жирный». По стилю эта фраза соответствует уголовной среде, где вроде бы и пребывал его отец. Вообще отцы были редкостью в нашем доме – я был один из счастливых, у кого был отец. Другого моего опекуна звали Стасик. У Стасика был младший брат по имени Генка, примерно моего возраста. Во дворе их мать (они были от разных отцов, но никто этих отцов не знал) звали проституткой и Стасик бросался защищать мать, когда это слышал. Вроде бы из всех ребят нашего

дома он один остался на свободе. В отличие от остальных ребят, Стасик читал книги и хотел учиться. Почти все подростки из нашего и соседних домов состояли на учете в милиции, и их матери мечтали, чтобы их забрали в армию, до того, как посадят.

Помню сцену возле кинотеатра «Слава» на шоссе Энтузиастов, которую я видел своими глазами. Кинотеатр был построен в 1952 году, так что я думаю, эта сцена относится ко времени не позже, чем лето 1953 года. Днем на площадке возле кинотеатра стоит группа подростков и о чем-то разговаривает. Вдруг все они бросаются врассыльную, а на земле остается малый с торчащей из него рукояткой ножа. Помню, что я тоже рванул вместе со всеми. Я в детстве очень боялся милиции. Мать рассказывала, как в два года я улепетывал со всех ног от милиционера, зашедшего в наш двор.



© www.vostokphoto.ru | id: 7295 | 2014/01

Кинотеатр «Слава» в Москве. Общий вид и фото

1957 год. Кинотеатр «Слава»

Отец, как я уже писал, болел туберкулезом в открытой форме. Много времени он проводил в больницах и санаториях. Года в четыре у меня обнаружили бронхоаденит и начали усиленно кормить. В результате лет до 13 я был довольно упитанным ребенком. В 13 лет я начал быстро расти и сбросил лишний вес, который, к сожалению, появился позже, лет уже в 45. Меня пытались сдать в детский сад, но я начал постоянно болеть, так что Бабсик ушла с работы и лет с пяти сидела со мной. Болел я часто и тяжело. До сих пор помню ощущение одного и того же бреда, каждый раз появлявшегося при высокой температуре, хотя вряд ли смогу передать его словами. Это был какой-то вал, который надвигался и душил меня.

Родители и Бабсик говорили в семье по-русски, но если не хотели, чтобы я их понимал, переходили на польский. В результате года в три я понимал оба языка, но с родителями говорил только по-русски. Лет до шести я не выговаривал буквы «р» и «л». Мое «л» звучало по-польски, и в результате в моей речи слышен был польский акцент, как и в речи моих родителей в 50-е годы. Потом у меня польский акцент исчез, а у отца остался небольшой акцент до конца его жизни. Бабсик всегда говорила по-русски без акцента, а у матери акцент исчез, когда она начала водить экскурсии в Политехническом музее после рождения сестры. Позже я начал читать по-польски, а впервые заговорил по-польски, когда поехал в Польшу уже студентом в начале 1968 года. Мне говорят, что в моем польском есть акцент, но не русский, в отличие от моего английского, где ясно слышен русский акцент.

Когда родители поняли, что я понимаю польский язык, мать с Бабсиком стали переговариваться по-французски. Бабсик пыталась учить меня французскому, но я не хотел учиться, и французский до сих пор для меня чужой язык. В моей первой школе я учился года полтора немецкому: он давался мне легко и я до сих пор не воспринимаю немецкий как чужой язык. Потом я долго учил английский и, неоднократно бывая в Италии, начал немного понимать итальянский. Я думаю, что при желании могу научиться говорить по-немецки и по-итальянски, но никогда не научусь говорить по-французски. Возможно Бабсик своими занятиями со мной французским языком, сама того не желая, поставила у меня в мозгу какой-то блок на этот язык.

В детстве мне читали много стихов, и я заучивал их наизусть. Любимым произведением был «Конек-Горбунюк» Ершова, и года в три родители ставили меня на табуретку и просили продекламировать «Конька-Горбунюка». Минут пять я вроде бы мог продержаться, а с возрастом почти все забыл. Читать начал года в четыре и в пять лет читал все, что попадало под руку. Книг в доме было немного, потому что места для них не было, но тем не менее, родители подписались на Большую советскую энциклопедию (БСЭ), второе издание которой в алфавитном порядке начало выходить в 1950 году. До 1958 года вышло 50 томов, но после рождения сестры в 1954 году места в комнате не стало совсем и родители продали вышедшие тома. Я читал БСЭ подряд, и ждал каждого тома. Когда должна была появиться на свет моя сестра, я прочел статью «Беременность» и сказал: «Мама, я прочел статью в энциклопедии, мне все понятно, но при чем тут папа?» Дело в том, что в статье «Беременность» была ссылка на статью «Зачатие», но том на букву «З» еще не вышел. Потом мальчишки во дворе мне объяснили, при чем тут папа.

Друзья и родственники родителей

Друзья родителей делились на три группы: друзья студенческих времен, польские иммигранты и сослуживцы.

Друзей студенческих времен было немного: Семен Фукс с его красивой женой – врачом Женей. Мать говорила, что она познакомила Семена с Женей. Сема очень рано умер, кажется, не дожив до 50 лет.

Не помню, были ли у них дети. Семен был добрым, но не амбициозным парнем и, кажется, карьеры не сделал. Другой член той же компании бывших студентов МЭИ, Юра Самойлович, был полной противоположностью Семена. Довольно высокий и худой, очень активный и очень амбициозный, он распределился в аспирантуру МЭИ, несмотря на свой пятый пункт, защитил сначала кандидатскую, а потом докторскую диссертации и до конца жизни был профессором МЭИ. Юра – автор нескольких книг и множества статей. Когда мать вышла замуж за отца, Юра женился на еврейской девушке Нелли Шанталь, и молодые жили у родителей жены. После моего появления на свет у Юры и Нелли родилась дочка Наташа, а после рождения моей сестры родился сын Андрияша. Юра все время острит и рассказывал анекдоты, что в то время было небезопасно. Дома у них было много книг, и Юра кое-какие книги давал мне почитать, в частности я помню, что впервые прочел повести Герберта Уэллса в книгах, одолженных у Юры. Летом 1955 года мы жили на даче на станции Луговой и Самойловичи снимали дачу где-то поблизости. Мы ходили в лес за грибами, и брат Нелли, студент-медик рассказывал мне страшные истории об операциях.



Сема Фукс в 1945 году



Юра Самойлович в 50-е годы

Дружба с Семой и Юрой как-то закончилась к концу 50-х годов. Моя сестра напомнила мне две истории, когда Юра Самойлович обиделся на родителей. Родители выписывали несколько польских газет и журналов. Польша в те времена была более веселым баракком социалистического лагеря, чем СССР, и там публиковали репродукции художников, в то время неизвестных в СССР, как, например, Пикассо. Однажды отец намалевал на листе толстой пергаментной бумаги несколько горизонтальных линий, несколько раскрытых глаз с ресницами, а потом, обмакнув в тушь ладонь моей сестры, дважды приложил ее к этому художеству сверху. Все это отец поместил в рамку под стекло. Вскоре приехал Юра, и родители ему сказали, что эту картину как образец современного абстрактного искусства им привезли из Польши в подарок. Юра долго ходил по террасе на даче, которую снимали родители, и где отец повесил эту красоту, рассматривал и, наконец, глубокомысленно изрек: «В этом что-то есть...». Тут родители не выдержали и расхохотались. Юра обиделся. Вторым поводом были винные этикетки. Отец отпаривал этикетки от бутылок выпитого вина, высушивал, подписывал, с кем и когда выпил, и складывал в конверт из-под фотобумаги. Однажды он показал Юре коллекцию, на которую Юра отреагировал странно неадекватно. Вместо того, чтобы порадоваться, что они так много вместе вышли и провели вместе столько времени, Юра сказал что-то вроде того, что он получился чуть ли не алкоголиком, раз так много пил. Но думаю, что основная причина охлаждения отношений с Юрой была в том, что мать очень ревниво относилась к его научным успехам. В студенческие годы мать была более способной студенткой, чем Юра, но он стал профессором, а ее карьера не состоялась.

Я уже писал о Грише Гершензоне и его родителях. Это была семья, где отца и мать любили и всегда были им рады. Вернувшись в Москву из Саратова, Гриша защитил диссертацию и работал в каком-то закрытом институте, где занимался авиационными приборами. Работа Гришу тяготила, он был неплохой поэт и писал

стихи. Однажды, еще в студенческие времена, его вызвали куда следует и посоветовали не распространять свои стихи. После этого он писал только в стол. Помню Гришино стихотворение, посвященное полету Гагарина:

Ты скажешь, разумом не косный:
Отныне человек крылат!
Но первым был отправлен в космос
Не математик, а солдат.
А этим все мешали спазмы,
Их жизнь ужасно берегли
А может думали опасно -
Их взять и выпустить с Земли.

Не думаю, что такой текст можно было опубликовать в 1961 году.

Гришин талант передался его сыну Володе Полетаеву, который начал рано публиковаться и в 17 лет поступил в Литературный институт. Там он учился на переводческом факультете, ему нравилась Грузия и грузинская поэзия, и он переводил Табидзе и Бараташвили. Володя постоянно влюблялся, а в 1970 году влюбился в замужнюю женщину с ребенком, намного старше себя. Не знаю, как она отреагировала на его признание, но 30 апреля 1970 года после бессонной ночи, Володя покончил с собой, выбросившись из окна родительской квартиры на пятом этаже. Он оставил стихи в качестве предсмертной записки:

...но вы забыли, что в итоге
стихи становятся травой,
обочиною у дороги,
да облаком над головой.
И мы уходим без оглядки
в неведение и пустоту,
когда нам давние загадки
разгадывать невмоготу...
А ветер длинными руками
раскачивает деревья,
и листья кружатся над нами
и превращаются в слова...

Не могу не привести еще одно стихотворение Володи из сборника, вышедшего только в 1993 году в Грузии под редакцией Олега Чухонцева:

Февраль сверкающий, хрустальный,
веселый, ветренный февраль.
Легко всплывала над устами
дыханья белая спираль.
И по спирали, по спирали
слова лукавые всплывали -
подобье мыльных пузырей.
и плавали вдоль фонарей
и фонарей не задевали.
Ты говорила: не хочу,
и вырывалась, и смеялась,
и снова к моему плечу,
заплаканная, прижималась...



Володя Полетаев незадолго до смерти

Совершенно особой группой были такие же, как родители, польские евреи, оказавшиеся в СССР и не репатрировавшиеся в Польшу по соглашению между СССР и ПНР от 6 июля 1945 года. Подавляющее большинство поляков, оказавшихся на территории СССР в 1939 году, были депортированы в Среднюю Азию. Часть из них ушла в Иран с армией Андерса в 1942 году, но большинство получили возможность вернуться в Польшу только в 1945 году. Эта волна репатриации поляков продолжалась до 1948 года и составила около 1,5 миллиона человек. Родители в это время работали, готовили свои кандидатские диссертации (мать написала, а отец сдал экзамены кандидатского минимума) и в этой волне репатриации не участвовали. После смерти Сталина, в 1956 году, в Москве польское посольство стало принимать заявления о репатриации от бывших польских граждан, оказавшихся на территории СССР. Представителем польского правительства по делам репатриантов был министр Мечислав Попель, которого родители как-то знали. Вторая волна репатриации в Польшу продолжалась до 1959 года и составила около 250 тысяч человек. На этот раз родители обсуждали возможность возвращения в Польшу. Я помню визит к Попелю, который работал в Польском посольстве.

В отделе информации НИИ-94 работал приехавший из Франции Александр Соломонович Елинер. Он был несколько старше родителей и успел до войны получить во Франции образование химика. Он тоже попал в СССР перед войной 1941 года, но как и когда его семья уехала из России, я не знаю. Он, как и Гриша Гершензон, женился на русской женщине без высшего образования, которая родила ему дочку Надю, года на два старше меня. У них была небольшая комнатка в коммунальной квартире на Разгуляе. Огромный диван, стоящий поперек комнаты, делил ее на две части: маленькую Надину и побольше – родителей. В 1949 году Елинера выгнали из НИИ-94 и он стал заниматься переводами технических текстов на французский язык. Елинер был очень полным и страдал одышкой, что не мешало ему ездить по Кратово, где он, как и родители, снимал дачу в 50-60 годах, на велосипеде, привезенном из Франции,

Во второй половине 50-х годов, когда мать ушла из Бюро польского торгового советника, денег в семье стало не хватать и родители начали подрабатывать переводами. Одной из работ, которую они выполняли, было составление Русско-Польского и Польско-Русского технического словаря. Редактором этого словаря был Шая (Исайя) Самуилович Бир – маленький, толстенный лысый человек, говоривший по-русски с сильным местечковым акцентом. Жена его была в прошлом австрийской коммунисткой. У них была дочь, намного старше меня. В 20-х и в начале 30-х годов Бир был резидентом советской разведки во Франции. Французская полиция не могла выйти на его след и дала ему кличку «Фантомас». Однако внешние данные Бира никак не совпадали с обликом Жана Марэ, который впоследствии играл Фантомаса в очень популярных в СССР фильмах. Леопольд Треппер, будущий руководитель «Красной Капеллы», был связан с Биром через другого агента советской разведки, арестованного французской полицией. В результате Треппер, который был коммунистом, но еще не шпионом, был вынужден уехать из Франции в СССР и вернуться туда в конце 30-х годов уже шпионом. Треппер упоминает Бира в своей книге «Большая Игра».

Шая Самуилович был очень мягким и добрым человеком, помогал родителям в новой для них работе над словарем и всячески их поддерживал. Наверно таким и должен был быть настоящий шпион – совершенно на шпиона непохожим.

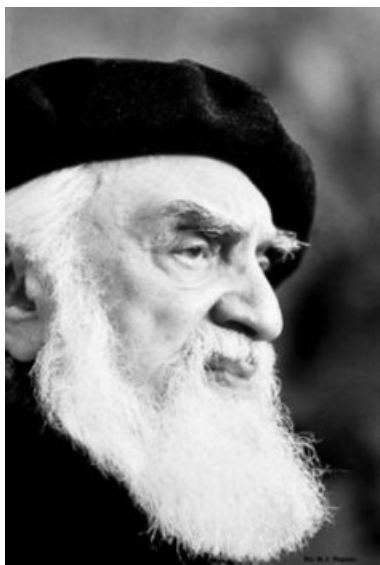
Мать еще со времен Сорбонны интересовалась ракетной техникой. Она мне говорила, что выбрала своей специальностью в МЭИ газовые турбины, поскольку они могли быть использованы, как она считала, в ракетах. Это верно, но только отчасти: газовые турбины действительно используются в ракетах, но не для создания тяги, а для привода топливных насосов. В середине 50-х мать ходила в секцию аэронавтики при Центральном аэроклубе им. Чкалова и представила там свой проект ракетной системы для запуска спутника на орбиту. Помню, что для ее доклада отец начертил общий вид предлагаемой ракеты, первая и вторая ступени которой представляли собой ракетный пакет. Именно по такой схеме была собрана королевская Р-7, которая вывела на орбиту в 1957 году первый искусственный спутник. Вроде бы даже мать вызывали куда надо по этому поводу и спрашивали, откуда она взяла данные для своего проекта. Однако мать показала им свои расчеты, и органы от нее отстали.

На почве своего увлечения ракетами и космонавтикой мать познакомилась с Ари Абрамовичем Штернфельдом – еще одним польским евреем, приехавшим в СССР из Франции в 30-е годы. Штернфельд работал в РНИИ, откуда его уволили в 1937 году. Возможно, что увольнение спасло его от расстрела (судьба Лангемака и Клейменова) или от ареста и ссылки в лагерь (судьба Королева и Глушко). В 1937 году Штернфельд опубликовал в Москве «Введение в космонавтику», а в 1956 году вышла его книга «Искусственные спутники Земли», переведенная на множество языков после запуска спутника в 1957 году. С 30-х годов Штернфельд не работал над засекреченными ракетными проектами в СССР и был идеальной публичной фигурой, поскольку ничего не знал о реальной советской ракетной технике. Он был представлен в конце 50-х годов чуть ли не как отец советской космонавтики. Такая система использовалась в СССР ранее в атомном проекте тоже: публичные фигуры должны были быть далеки от настоящих разработчиков.

Вид у Штернфельда был весьма импозантный.

К тому же он был глуховат и пользовался слуховым аппаратом. Помню, что его комната была завалена книгами на разных языках. После возвращения из эва-

куации в Москву в 1943 году Штернфельд нигде не работал и занимался общественной и популяризаторской деятельностью.



А.А. Штернфельд в 70-е годы

С сотрудниками по работе близких отношений, как правило, у родителей не возникало, хотя несколько случаев заслуживают описания.

Когда мы жили в Химгородке, Бабсик работала медсестрой, а потом старшей медсестрой. В поликлинике, где она работала, Бабсик познакомилась с врачом Ольгой Борисовной Зайцевой. Ольга Борисовна была красивой женщиной, много моложе Бабсика, но несколько старше матери. Она была замужем за директором Электrolампового завода Николаем Степановичем Зайцевым, толстым и неприятным номенклатурным работником. Зайцевы жили в двухкомнатной квартире в доме довоенной постройки на Шоссе Энтузиастов, недалеко от платформы «Новая». Этот дом стоит до сих пор и его нынешний адрес - Шоссе Энтузиастов, д. 20. У Зайцевых было трое детей - погодки, дочка Ира, на год старше меня и сын Володя, несколько меня моложе, а также дочь Марина, несколько старше моей сестры. Дети были красивые, в мать. Не знаю, чем Бабсик понравилась Ольге Борисовне, но меня всегда приглашали на дни рождения старших детей в семью Зайцевых, а как-то раз Зайцевы уехали в отпуск и нам с Бабсиком предложили пожить в их квартире во время их отсутствия. У Зайцевых в квартире была ванная комната и большой черный телефон. На каком-то дне рождения у Иры году в 1954-м или 1955-м я впервые танцевал с девочкой, и мне это понравилось.

В 1956 году после доклада Хрущева о Сталине на XX съезде Николай Степанович сошел с ума и на много лет загремел в психушку. Ольга Борисовна одна тянула троих детей. Николай Степанович провел в психушке лет 15, она все эти годы ездила к нему, возила еду, стирала белье. Муж не общался с ней, отворачиваясь к стене всякий раз, когда она появлялась. Потом его выпустили, он обвинил Ольгу Борисовну в неверности и ушел. Не думаю, чтобы у него были какие-то реальные основания об-

винять ее в неверности, скорее всего эта идея была вызвана его психической болезнью. Детки тому времени уже были достаточно взрослыми, а Ира была уже замужем. Сестра помнит, как она с Бабсиком ходила к ним в гости в Кратово, где Зайцевы тоже снимали дачу, смотреть маленького ребенка. Ольга Борисовна решила оставить детей одних в Москве, а сама, чтобы заработать денег и немножко посмотреть мир, устроилась врачом в Советское посольство на Кубе. Родители дали ее координаты в Гаване своему соседу Жене Мендельбауму, красавцу-пилоту, который довольно часто летал в Гавану на Ту-114 командиром экипажа. Женя появился у Ольги Борисовны, и начался бурный роман. У него была вполне симпатичная жена Маша, Женя переживал, родители хихикали, Бабсик радовалась и говорила, что хоть немножко счастья достанется Ольге Борисовне после ее собачьей жизни (может, она не дословно так говорила, но смысл был такой). Кончилось все плохо. На плече у Ольги Борисовны образовалась какая-то незаживающая язвочка, которая оказалась меланомой. Вернувшись в Москву, Ольга Борисовна вскоре умерла.

Когда отец поступил в 1950 году на работу в «Теплопроект», с ним в отделе работала Софья Ефимовна Прохорова. Вообще в «Теплопроекте» работало довольно много евреев. Софья Ефимовна (Соня, как звали ее родители) была яркой, очень активной еврейкой маленького роста и была замужем за красавцем военным Валентином Степановичем Прохоровым, ровесником матери (у них даже день рождения совпадал). У Прохоровых было двое детей – старший Дима (официально Вадим), на год старше меня, и младший Толя, на два года младше меня. Они оба родились в Осло, где Валентин служил сразу после войны военным атташе. В 1949-м году Валентин поступил в Академию Фрунзе и семья переехала в Москву. Жили в общежитии Академии, в одной комнате, где условия были получше чем у нас (по крайней мере туалет был в коридоре, а не на улице), но ненамного. После окончания Академии Фрунзе в 1953 году Валентина послали в Ростов на Дону подполковником, но в конце 50-х Прохоровы вернулись в Москву, поскольку Валентин, уже в звании полковника, поступил в Академию Генерального штаба. После окончания Валентином этой Академии семья Прохоровых уехала в Ригу, а с 1965 года окончательно осела в Москве.

В начале 50-х Соня была влюблена в отца и впоследствии сохранила теплое отношение ко всем членам нашей семьи. Не знаю, был ли у нее с отцом роман, но не исключаю такой возможности. Матери, наоборот, нравился красивый и очень положительный Валентин. Но Валентин был столь положительен, что ни о каком романе с ним не могло быть и речи. Соня, как полагается еврейской матери, опекала сыновей и учила их музыке. Дима закончил Государственный московский музыкальный институт им. Гнесина. Он переиграл руку и работал концертмейстером в театре Станиславского и Немировича-Данченко, а потом руку удалось восстановить, и он стал солистом Москонцерта. Толя закончил музыкальную школу, но после ее окончания, так же как и моя сестра, к инструменту почти не подходил. Толя поступил на физфак МГУ в 1965 году (не исключаю, что под моим влиянием). После окончания физфака работал в Институте физической химии АН СССР, где в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию. К сожалению, Валентин не дожид до этого события: он скоропостижно скончался в 1975 году, вскоре после присвоения ему звания генерал-лейтенанта и назначения заместителем начальника Академии им. Фрунзе.

Прохоровы жили в трехкомнатной квартире на углу Профсоюзной улицы и улицы Дмитрия Ульянова, недалеко от станции метро «Академическая» в так назы-

ваемом «генеральском» доме (дом 24/1 по улице Дмитрия Ульянова). Соня пыталась женить младшего сына, но он отчаянно сопротивлялся. Моя сестра была у Сони кандидатом номер один в невестки, и Толя сестре, безусловно, нравился. Он был похож на отца, как внешностью, так и манерами, но ничего из этой затеи не вышло. Дима женился на женщине с ребенком и уехал в 1987 году на полгода от Министерства культуры СССР в Мозамбик работать аккомпаниатором в местном балетном училище. Дима решил использовать выезд за границу, чтобы сбежать из СССР. Его жена уехала в Москву до окончания Диминой командировки, а Дима явился в Американское посольство в Мозамбике и попросил в США политического убежища, право на которое ему было предоставлено. Побег Димы в США был запланированным актом, но, честно говоря, я не понимаю, на основании каких его доводов Госдепартамент США не только предоставил Диме право на политическое убежище в США, но и оплатил его перелет из Мозамбика в Нью-Йорк. В настоящее время Дима живет в Нью-Йорке, пишет музыку и статьи на музыкальные темы.

Толино музыкальное образование в конечном итоге привело его в кинематографию, и в 2001 году он, вместе с режиссером Александром Татарским, основал студию мультипликационных фильмов «Пилот». После смерти Татарского в 2007 году Толя стал художественным руководителем студии. В 2009 году Толя получил госпремию России за мультипликационный сериал «Смешарики».

С родственниками дело обстояло совсем плохо. У отца в СССР их вовсе не было. Близким родственником был двоюродный брат матери по отцу Соломон Раппапорт, сын младшего брата деда Людвига. Соломон был моложе матери лет на 5-6 и тоже оказался в СССР после 1939 года. Кажется, его мобилизовали в Трудармию, но он поступил в институт и закончил Московский финансовый институт в середине 50-х годов. Соломон (или Салек, как звали его в семье) говорил по-русски с сильным акцентом и чувствовал себя очень одиноким в чужой стране. Когда он учился в институте, денег у него никогда не было, и он был всегда голоден. Родители его, как могли, поддерживали. После окончания института Салек распределили бухгалтером в какую-то контору, где он встретил русскую девушку Машу и женился. После свадьбы Салек у нас бывал крайне редко, а на похороны отца и вовсе не пришел. После этого ни мать, ни я ему никогда не звонили. Когда умерла мать, сестра позвонила ему сообщить о похоронах. Салек сказал, что чувствует себя плохо, прийти на похороны не может, но чтобы сестра ему звонила, если ей понадобится помощь, потом чуть помедлил и добавил: «советом». С тех пор и сестра ему тоже не звонила.

Его старший брат, Юзеф Раппапорт, уехал из Польши перед войной в Палестину. После войны он получил образование в Израиле и летом 1966 года приезжал с женой в Москву на конгресс. Юзек встречался с родителями и с младшим братом Салеком. Я в это время проводил летние каникулы в походе в Фанских горах и с Юзеком и его женой не встретился. После разрыва СССР дипломатических отношений с Израилем в 1967 году контакты с Юзеком были утеряны.

Близкой родственницей была мамаина тетка Мишигина Владимировна (Тика). Как я уже писал, у Тики с головой было не все в порядке. Она красила волосы в ярко-рыжий цвет и вид имела вполне безумный. Отец называл ее «Фиолетовая тетя». Нас с сестрой она любила и, когда приезжала к своей сестре Ольге, а приезжала она почти каждое воскресенье, рассказывала нам какие-то бесконечные истории про принцев и принцесс. Кроме того, она рисовала очень странные картинки и посылала нам открытки с этими картинками. В Лозанне есть музей Collection de l'

Art Brut, где собраны очень интересные работы психически больных людей. Там я видел картины, как две капли воды похожие на те, что рисовала Тика. Уже после смерти Бабсика, соседи по квартире уговорили Тику переселиться из квартиры на улице Космодемьянских, где у нее была одна комната, куда-то совсем на окраину, на Россошанскую улицу – это по Варшавскому шоссе перед самой Кольцевой дорогой. Там она работала в поликлинике в регистратуре. Нам свой новый адрес она не сообщила. Мать ее нашла через адресное бюро, сестра с матерью туда поехали, но им сказали, что Тика в больнице и больше никто ее не видел. Соседи объяснили, что Тика была уже некоммуникабельной, и я даже не знаю точно, когда и где она умерла. Думаю, что у нее, как и у Бабсика, развилась болезнь Альцгеймера.



На снимке 1966 года двоюродные братья матери
Соломон Раппапорт (слева) с женой и Юзеф Раппапорт с женой

Таковыми же близкими родственниками была семья Трояновых: Кирина (Кина) Петровна была двоюродной сестрой матери. Трояновы, кроме сына Кины Сережи, в Москву практически не ездили, но если кто-то из нас оказывался в Ленинграде, то обязательно к ним заходил. Сережа с военных времен хорошо относился к матери и к отцу, а когда я подрос, у меня установились родственные отношения с моей сверстницей Александрой (Лялькой, как ее звали в семье). Старшая дочь Лидия после замужества жила отдельно, и я ее видел очень редко. Лев Сергеевич был заядлым охотником и держал в квартире двух собак: сеттера Рубина и гончую Чапу. Говорят, что на охоте Чапа работала гораздо лучше Рубина, но Рубин был красавцем и любимцем Кины. Когда Чапа надоедала Кине, она снимала домашнюю туфлю и кидала ее в Чапу, а Рубин эту туфлю приносил хозяйке обратно. Сережа занимался спортивной стрельбой и имел право держать дома малокалиберный пистолет, из которого давал мне иногда пострелять.

В Москве жила еще одна семья, которая была совсем дальней родней: глава семьи Борис Константинович Климов, 1889 года рождения, был двоюродным братом Ольги Владимировны (сестра Владимира Ильдефонсовича, Мария, была матерью Климова). Борис Константинович был химиком, закончил в 1913 году Петербургский технологический институт. В советское время он стал членом-корреспондентом АН БССР и последние три года перед своей смертью в 1953 году возглавлял Сахалинский филиал АН СССР. Так что в Москве он появлялся редко, и я его совсем не помню.



Борис Климов в конце 40-х годов

Его жена была крещеной еврейкой по имени Анна Владимировна (девичью ее фамилию я не знаю). Семья жила в знаменитом доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре (дом 6) в большой трехкомнатной квартире с каминном, в которой впоследствии одну комнату перегородили. В семье было двое детей, дочь Милена 1924 года рождения, и сын Ростислав (Слава) 1928 года рождения. Слава женился, а Милена вышла замуж. Пошли дети – у Милены Никита, 1948 года рождения, Борис, 1950 года рождения, и Аня 1956 года рождения, а у Муры, Славиной жены, дочка Маша, 1952 года рождения. Если добавить к этому списку еще и меня с сестрой, то получается арифметическая прогрессия с 1946 по 1956 год. После рождения внуков большая квартира на Сретенском бульваре превратилась в Воронью слободку, а когда внуки Бориса Константиновича начали жениться, выходить замуж и заводить собственных детей (а они это делали довольно рано), то жить там стало вообще невозможно. Анна Владимировна продала последние свои драгоценности и купила трехкомнатный кооператив в Беляево, куда и переехала с дочерью, зятем и младшей внучкой, предоставив оставшимся членам семьи решать свои жилищные проблемы самостоятельно. Родители дружили с Миленой, ее братом и мужем Юрой Шарковым. Жена Славы Мария (все звали ее Мурой) была старше мужа и считалась внебрачной дочерью митрополита Введенского. Дама была странная, говорила громким голосом и курила одну папиросу за другой. Я дружил с Никитой и Борисом, а сестра с Машей и Анютой. История этой семьи и ее членов заслуживает отдельной главы, и я ее изложу дальше.

(продолжение следует)



Дмитрий Бобышев

Я ЗДЕСЬ (ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ)

Трилогия. Книга вторая

АВТОПОРТРЕТ В ЛИЦАХ

(продолжение. Начало в №12/2015)

Иерат

Здесь придётся мне вновь перенести читателя из эпохи в эпоху, но теперь, после знакомства с козыревской теорией времени, это будет не так сложно. Помните? Виньковецкий жив и, более того, он ещё не уехал. Мы долго, с двумя пересадками и электричкой пробираемся по расползшейся Московии. Останавливаемся у киоска, пока ждём троллейбуса, чтобы доехать до 3-ей Кабельной.

– Мастер любит слатенькое, – говорит Яша, покупая в „Кулинаруи” тортик.

Мастер – Михаил Матвеевич Шварцман, иератический художник (что бы это ни означало), негласный авторитет и глава катакомбного религиозного искусства, которого просто не может быть в Советском Союзе. Но оно есть. К тому же он, и это не случайно, потомок, а именно – внучатый племянник философа Льва Шестова, перед которым преклоняемся и которого превозносим мы с Яковым.

*Ласточкой промчи, перо,
мимо страшного зеро,
мимо яблочка пустого,
мимо бездны Льва Шестова.
– Надо нам пройти сквозь нуль, –
так он мысль свою загнул. –
Надо, чтобы свет забрезжил,
тьмы побольше, побезбрежней...*

Так воскликнул поэт и подтвердил Заратустра. Или: сквозь мрак неверия к свету горних истин, – как утверждал философ, по сути дела – примерно то же, что и вачеслав-ивановское *Ad aspera per astra*. Но во мрак мы пока не хотим, и внутрь терновых нулей нас тоже не тянет. А ведь именно это, хоть и в злобно–пародийном виде, и осуществилось в Рассеюшке, стране нашей. Или – не нашей? Чья она там?

Вот и мастер – курчаво седеющий бородач, широкоплечий приземистый богатырь с просторным лбом и выпуклыми карими очами. Он слывет нелюдимым, живёт в затворничестве с супругой Ириной Александровной, которая держится скромнейше при нём, небожителе. Принимают они далеко не всех, и даже Яков, с ним прежде знакомый, волновался о встрече. Но она, можно сказать, более чем состоялась.

Михаил Матвеевич был из говорливых художников, и очень скоро наши диалоги превратились в его доверительный монолог о священно–знаковом, эмблематическом (а он называл его „иератическом”) искусстве. Само это слово уводило в загадочную древность, в сакральные письмена на папирусах и базальтах, повествующих о запредельных гностических тайнах. Но сами „иературы” глядели со стен тесной комнаты в глубоком, исполненном мирною мощью молчании. Их лишь от-

части выявленные лики напоминали иконы, да ими отчасти и были, выполненные глубокими матовыми тонами на досках с левкасом и уж, конечно, с молитвенной истовостью. Необыкновенным, но органическим образом иконопись сочеталась в них с авангардным, пост-кубистическим рисунком.

Это было, как если бы, например, Пабло Пикассо обратился в христианство, бросил бы вдруг свой кричащий эпатаж (заодно с коммунизмом) и, вместо полуотраженных раскоряк, стал изображать бы погружённых в божественное созерцание святых. Да нет, куда там, тот обуян был самоизвержением, а богатырский наш Михаил Матвеевич, наоборот, самоустранился перед являемой через него духовностью, был лишь пером и кистью, записывающими её эмблемы и знаки.

Они были различимы и зрителю, учёному грамоте, допущенному до них: вот в этом образе сосредоточенной мощи угадывался Илья пророк, там в мирной строгости и силе узнавалась Параскева Пятница, а здесь на грани спасительного чуда – Никола Морской.

Я молчаливо признал за Михаилом Матвеевичем высоченную степень в духовной иерархии, не унижая, однако, и себя, и взаимно был признан. Я прочитал ему те же две части „Медигаций“, что и отцу Александру, но полностью, не обрывая чтения, и получил сочувственную оценку. Вернувшись из Москвы, я написал Шварцману письмо, в котором подытожил мои впечатления от его работ, и вскоре пришёл от него ответ, написанный ясным и косо летучим, без нажима, почерком. Завязалась переписка. Я посылал ему новые стихи, он отзывался на них, порой критикуя, но и это я принимал как честь. Рассказывал, размышлял. Изредка внутри писем делал наброски. У меня сохранился черновик только одного моего письма, первого, его ответ и дальнейшие письма от него. Всё это с краткими пояснениями я привожу ниже. Вот моё первое послание:

9 января 1975 г.

Михаил Матвеевич!

Уже в который раз я перебираю в памяти линии, слова, цвета, – все впечатления незабываемого вечера на станции „Новая“. Воспоминания складываются в знаки и эмблемы, в них проступают черты возвышенного опыта, проясняются свойства души, поместившей себя на самый кончик кисти, на самое острие отважно бегущего пера. Какой риск! Но как явны признаки удачи! Яков был прав – несмотря на обилие увиденных работ, я, кажется, помню их во всех неотделимых от целого подробностях, – во всяком случае, смогу узнать и вспомнить их разом в первый же миг нового общения.

Но, впрочем, и сейчас действие первых впечатлений не прервано: я чувствую в себе мудрое мерцание поверхностей, которые представляются мне зримыми знаками, видимыми личинами невидимых, но живых объёмов. Я и сейчас ощущаю влияние глубокого тёмно-прозрачного цвета и знаю, чувствую, воспринимаю его как обозначение света, пронизающего зрение, будто бы сквозь толщи цветного стекла.

Не стану скрывать, – помимо чувства новизны и силы, сомнения двоякого рода мешали мне тогда высказаться... Вот они: нет ли здесь своеволия, демонизма? И почему столь неявна красота, неотделимая, казалось бы, от созерцания идеальных сущностей? В течение месяца после встречи, вспоминая Вас, размышляя о Вашем искусстве, я не раз возвращался на круги этих сомнений, и постепенно стало проясняться вот что: первым залогом от демонизма являетесь Вы сами, Ваш спокойный и, если хотите, добродушно-богатырский облик, не вызывающий, к счастью, ассоциаций с оккультизмом, магией, волхвованием и т.д.

Успокаивает на этот счёт и тихое, но явное веяние молитвы в Вашем доме, простота и непретенциозность обстановки, множество чистых и неприязательных примет труда.

Да и сами вещи (произведения), почти полностью погружённые в задумчивое бытие самосуществования, в созерцание своей исполненности, хотя и не отрицают наблюдателя (так же, как и автора), но, кажется, уже и не нуждаются в них, а лишь тёмно-прозрачными намёками дают понять о достигнутой ими вне-трагедийности, вне-временности, счастья. И вправду, агрессивная полу-просветлённость (что, видимо, и есть демонизм) в них преодолена, пошла на материал, на дальнейшее преображение; может быть даже, что этот процесс преодоления, пресуществления, подобный созреванию плода, свидетельствует наблюдателю о зарождении таинственной, как бы внутриутробной жизни. Ведь иначе незримое не было бы зримо.

Итак, демонизм – лишь упорство постепенно поддающейся творческому акту материи, последнее упрямство преображаемого вещества, и художник, умачивая левкасом доску, – этот почти живой, дремлющий в полуобморке деревянной смерти материал, – побуждает её погрузиться в иной сон, в uspение духовного созревания.

При этом – чем была бы пластическая красота? – только фальшью, победоу материала над податливым художником, вещества над существом, материи над духом. Красота, выдаваемая как результат творчества, – это, конечно, верх арпистизма, но и всего лишь иллюзия, видимость. „Красивое – это уже не красота“, – как сказал, кажется, Матисс и, похоже, он был прав. Но красота глубоко и тайно созревающая, творимая и творящаяся, – вот что проступает из Ваших творений. Но, чтобы её увидеть, необходимо поверить Вам. Я – поверил.

Ваш Д. Б.

Вскоре от Шварцмана пришло ответное послание:

25 января, год 1975, Москва.

Мир Вам, Дмитрий.

Письмо Ваше получил. Оно прекрасно. Вы поверили мне, за то спасибо, но что здесь я? – лишь знаменую. Понимаю двойственность восприятия Вашего. Такие сомнения и в Евангелии изъявлены: чудеса самого (!) Христа Божьего, видя явными знамения Духа святого, страшась (без опыта встречи), принимали за дела князя бесовского: – Силою де князя тьмы изгоняются беси.

А касаясь т. наз. „красоты“ думается, что воспитание наше, хоть и плохо повсеместно, „гуманистическими“ установками того более ухудшено, ибо снято откровение Богопознания и верят только опыту-разуму нашупи, а красоте – телесной. Таким образом и лучшие умы России прельщались Возрожденным эллинизмом. Сикстинский шоколадный набор, телесная сладость (на своём, впрочем, месте вещь прекрасная) принималась за предельное горнее, экзальтация – за мистическое, красивость – за красоту. По-своему даже арпистическая интуиция это чувствует – Вы правы.

Но не здесь Высшая Реальность. Знамения её не в латинских чувственных актах. Они, знамения эти, даны в иконах и др. явлениях высокой формы, они оставлены нами самим себе в прошлых воплощениях наших, прочтения ради, присного умного делания для.

Здесь свой есть критерий прекрасного. Прекрасное – результат оплотнения Духа. Он явлен как знак духовной иерархии. Слово „эмблема“ будет не точно,

ибо само понятие это подразумевает атрибутивную сферу, (чужеродную), годную для магов, масонов и пр. Вы и сами отметили: этого нет.

Ножево мелькнувшее слово „личина” и вовсе страшно, не только что неточно-стью, но прямым противопоставлением-противосмыслом: личина прикрывает сущность, она-то и есть демоническое и т.д. и т.д. (об этом хорошо писано отцом Павлом Флоренским). Суть же моего дела – открыть феноменом знака выход Духу, просыпаться–проснуться в нумен.

И не то, что надобно (для сего) веровать.

Верую.

*„И видится прозрачный взлёт
в бесчисленные полосы высот,
в зенит, к живым высотам,
туда, в лазурь, блаженную, как мёд,
где мысль медовая свеченьё льёт
и льнёт к небесным сотам.”*

Ваш М. Шварцман.

В конце письма он процитировал строфу из первой части „Медитаций”, и я, не скрывая, радовался совпадению в основных чувствованиях и устремлениях с таким мастером и мыслителем, и радостью этой делится. Когда написались третья часть „Медитаций”, цикл оказался закончен, и я тут же отослал его Шварцману вместе с самиздатским сборничком, распечатанным Галей Руби. Он в ответном письме перешёл на ласковое обращение:

Милый Митя.

Письмо Ваше получил, стихам рад. Третья часть „Медитаций” так же выведена отменно, как и первые две. Скажу лишь о взаимозёмных ленгор-окоёмах в тени ходовых средостений, пусть даже обойдённых (на сей раз) каемкой, что они (на мой взгляд) не совсем медитативны. На сем, впрочем, не стою. Но стою вот на чём: выпренный набор прорыва не знаменует. В сборнике Вашем есть прекрасные стихи, и я решился, не спросясь, дать его посмотреть хорошим людям – любителям словесности и знатокам. Все хвалят, даже лингвисты.

Тут был питерский большой поэтический заезд, и домашние мои сказывали, что звонили. Я был в мастерской, где торчу с утра до ночи, никого не видел и стихов новых не читывал. Кривулин, однако, нашёл меня и привёз к нам Лену Шварц с пуделем и сопровождающим рыжим филологом. Рыжий в стиле иронического поклонника. Все были (а пудель особенно) – эlegantны. Лена, легенде вопреки, нежна, казалась взволнованной и вся эдак несколько не в попад. Словом – лучше легенды и мила, прочитала два хороших стиха. Кривулин очень угощал. Он Вас хвалит, но не за „Медитации”. Побывли гости у нас часа полтора.

С трудом собрался написать Вам: сейчас всё хвораю да работаю. Как хорошо получать письма и как трудно отвечать. Вы уж не взывайте за не столь полный ответ – весна и свет, и дело.

Спасибо за письмо и память. Вы, Слава Богу, нам пришлись во всём. Привет примите и от жены моей.

Весь Ваш М. Шварцман.

Апрель, 7 день. Благовещение.

Москва, г. от Р. X. 1975.

Такое письмо получить было куда как лестно, но меня всё же задело, как он едко (и метко) спародировал мои словесные изыски там, где был у меня, наверное, и в самом деле лексический перехлест. Я, впрочем, написал ему, что это для меня

не беда, а некоторая (и, возможно, кажущаяся) выпренность происходит от воспальённости строчащего пера. Он ответил:

21 дня мая, г. от Р.Х. 1975.

Милый Митя.

Не беда, действительно, что не „беда“, что Вы решили, что мне не понравилась 3-я часть „Медитаций“. Важно то, что я действительно почувствовал Вас „на границе разума“, а посему и позволил себе два слова серьёзных, хотя и наспех и в щели между дневной и ночной мастерскими. Я не против выпренных (лексик) и не за них. Выпренность не реабилитировать (лишь) надобно: свидетельство о Духе св. само рождает высокую метаморфозу.

Преображение в свидетельском акте преобразует и ткань. В актах завета творцы завета, восприемники Благовестия не задавались ни „Высоким стилем“ как таковым, ни (тем более) художественностью. Выбора не было – они были свободны. Дух оплотнял высшей красотой. Феномен знака Духа неизъясним прекрасен, потому высок, высок – потому прекрасен. Не имитирует взлёт – потому взлёт, ибо до превыпренных. А что до „средостений“, то они ни в чём виновны. Читать ответ мой (и на сей раз) можно в щелях меж дел. Я просто против ходовых и не медитативных взаимозаёмов питерских, они (эти заёмы) литературны только, и только наборно-словарны. Я не за записную лексику, изготовленную в актуальном, осознанном самозаказе. Кто зван, у того нет выбора – тот свободен. Не наваливаюсь на виновные слова и, грешным делом, не очень верю, что Вы меня поняли именно таковым образом – если только уж совсем в обрез было времени.

Эсхатология ныне не менее Библейской, „чудище обло“, облыжны словесны личины и лексик и лекций партайных (*так в письме. – Д. Б.*) геносных-поносных, на выбор мало надежд. А надежда есть – перед нами вечность – живём на радиоактивном фоне – куда спешить – знай люби, прямо Дантова лава... (а пузыри на ней, матушки!)

Приятно было получить Ваше кроткое письмо, жаль ответ задержал: некогда, Вы уж простите – прямо набело (то бишь, увы, начерно). Христос в вами, милый Митя, тяжко Вам с бапошкой Вашим, тут ещё куда ни кинь – всё клин, либо на параллелизмах не сойдёшься, либо кривизн не выправишь, грех да только.

Христос с Вами!

Привет от Ирины.

Ваш Шварцман.

Р.С. Приезжайте – ка лучше в гости.

Это письмо было, действительно, написано вдоль и поперек на листке с наброском геральдического щитка и играющих собак – по виду, афганских борзых. А приглашением я воспользовался в следующем году, но прежде получил от Михаила Матвеевича открытку с перуджинской Мадонной и его собственное благословение:

Год от Р. Хр. 1976, Москва.

С Рождеством Христовым, дорогой Митя!

Да будет на Вас и свершениях Ваших Благодать г-да Бога нашего. Аминь.

М. Шварцман.

Я съездил в Москву, остановился у своих на Соколе и, договорившись со Шварцманами, отправился к ним чуть не на целый день, если считать долгую езду к ним и обратно. Знакомые лики на стенах тихо созерцали сакральные тайны, со-

здавая атмосферу намоленности, как в часовне, и в то же время давали понять, что я здесь не чужд, я – свой. Хозяева приняли радушно. Я привёз что-то чаю, а Ирина Александровна неожиданно выставила маленькую водки с закуской, и мы с мастером опрокинули по рюмочке за плавающих и путешествующих, то есть за друзей, отбывших за пределы, и осталось мне ещё на одну – за недугующих и плененных, а вообще – за их здоровье. Но, конечно, ещё до застолья Михаил Матвеевич щедро показал мне свои работы.

Он уже не писал авангардные лики, – скорей орнаментальные и даже конструктивные мотивы появились в его композициях. Но таинственность, истоковость их стала ещё глубже. Похоже было на то, что если раньше Шварцман писал пророков и святых, то теперь это были медитации в цвете о Силах и Престолах, то есть о более высоком ангельском чине. Я даже увидел там зрительные элементы метамеханики, надмирно движущей времени и судьбами, и подивился заредельной высоте его духа.

Показал он и множество рисунков, даже оставил меня на какое-то время одного перебирать слои листов с графическими фантазиями – это были причудливо-изящные зооморфные, вообще биологические и растительные композиции, где непрерывной и точно изгибающейся линией одна идея возникала из другой и переходила в третью, в четвёртую, и так далее. Что это изображало – шевеления в листе Древа жизни?

Я возмечтал тогда о книге стихов, которые были бы достойны таких иллюстраций. Оставалось их написать. И я задумал композицию о сегодняшнем переживании страстей Христовых, – о том, что значат они для меня, болят ли те раны во мне теперешнем, включающем тех, кого я люблю, кто стоит в мире так близко, что я чувствую их тепло и слышу их дыхание, то есть во мне и в том, что моё. И каковы эти раны для Него, пригвождаемого, каково Ему быть казнимым тогда, сейчас и всегда, потому что существует Он и во временах, и в вечности. Вот это сопереживание в настоящем для него времени показал своими стигматами святой и кроткий Франциск из Ассизи.

А сейчас разве не больно? И как во-время, будто сама (спасибо за это Олегу Охупкину) прыгнула мне в руки самиздатская брошюра с материалами о Туринской плащанице! Тогда это была обжигающая сенсация, которую впоследствии „разоблачили“, так нигде и не объяснив, беспристрастные исследователи. Да чудо ведь и необъяснимо. Между тем, эти материалы были не только о погребальных пеленах Иисуса, но и о самой казни, сообщая такие факты и детали, такие анатомические, медицинские и даже химические подробности, от которых при чтении волосы вставали дыбом и чуть не лопались собственные нервы.

Как выразить это в целостном единстве с благословляющим Крестным знаменем, да ещё и в стихах, да ещё и современными образными средствами? И каков риск, – ведь есть даже запрет на эти попытки, если вспомнить былые диспуты с Красовицким и недавние – с Найманом. Мол, грех, да и только! Да, иконописи в стихах пока не существует, но есть же державинская ода „Бог“. А то, что делает сейчас в красках Михаил Шварцман, это ли не пример, это ли не духовный подвиг мастерства и смирения? И – разве отец Александр Мень не дал на то мне благословения? Консерваторы с ним не считаются – пусть. Но у меня оказался (опять же своевременно и своечасно) могущественный заступник, безусловный для всех – святитель Димитрий Ростовский, который даже именем покровительствовал надо мной. В своих „Поучениях“ он как будто прямо мне диктовал:

„Поучимся у пяти ран Господних любить праведных и миловать грешных. Станем на праведный путь и оставим пути злые... У раны сердца поучимся любить

не только друзей, но и врагов... Но не оставим и прочих всех гроздей той лозы, не пренебрежём и прочими ранами на теле Господнем. Святой Фома осызгал их вещественно, мы же должны осызгать их духовно, внедрили ум в язвы Христовы. О пресладкие язвы ручные! Поклоняемся вам благодарственным поклонением и простираем к вам руки наши, дабы ущедрили нас. Не мы ли виноваты в уязвлении ног Христовых, ходящие всегда путями беззакония и неправды, путей же Господних не знающие... О пречистые ноги Господни! Поклоняемся вам, лобызаем вас и ваши язвы гвоздиные, лобызаем же сердцем и устами. Господь позволил людям ранить Своё сердце, изволил принять внутрь сердца Своего холодное железо, рёбра открыл, как дверь, сердце же, прияв рану, стало как открытое оконце... Вот открыта уже эта дверь: всякий желающий пусть войдёт в неё и пажить обрящет."

И я стал бурно сочинять иконную, как я хотел бы верить, композицию под названием „Стигматы“, которая должна была состоять из пяти частей. Когда были готовы две, вторую из них, с визуальными знаками в тексте, я посвятил Михаилу Шварцману и не утерпел, сразу послал написанное по почте. Не дождавшись от него письма, через некоторое время дослал и третью часть, в терцинах, посвящённую на этот раз (прозорливо и целомудренно) сердцу Галины Рубинштейн. Видимо, он посчитал, что это – поэма, и она закончена. Последовал его неоднозначный, как бы двухголосый ответ, написанный разными чернилами и явно не за один присест:

Москва, января 29 дня,
год от Р. Хр. 1977.
Дорогой Митя.

Рад был Вашему письму, поздравлению и в особенности стихам (3–ей части трипиха), которые уж никому, но самому сердцу посвящены. Спешу сказать (вог те и спешу: всё начало года проболел, к тому же, как всегда, прокомкался с ответом).

Так вот. Мне нравится Ваше Сердце и близки Вы благочестием побуждения. Язык от коммунальных плазм очищен, „выкрасав жизнь“ мастерством. Рифмы, как аркбутаны, почти и надобности в них нет. Преодолеть бы и их. Рифма, впрочем, привычное зло. Фонетика! кто? слышит ангела этой стихии! Где царствуют чистые знаки, там нет экспрессий. Слава Богу!

Вот главное, что хотелось бы сказать и это элегантно (можно было бы) заключить подписью. При всём том, прошу прощения, несколько слов о гигиене смыслов. Например: святость не „горкнет“, а если так, как быть с пригорком? Метафора „горклая святость“ – сарказм горький, на Ваших высотах едва ли уместный. „Музыки мускул“... в начальном мусикийском „му“ привычно не ново, зато акменстически гладко. Затем же звук скулит.

– Спазм гладкой мускулатуры, – сказал бы медик. Опять не для Ваших высот. Этакая чувствилизация мистического.

– Феноменологизация, – сказал бы философ. Неверный логосмысл режет и фонетически. В слоях фонем сквозные смыслы и цепи ассоциаций.

А мы ведь „грех вещества вымываем“. Что делать прикажете с „заплаканным демоном“? Так и выходит: – не цельны, не твёрды младшие – или уж чистый „Дыр-Бул-Щил“, на который предыдущие поколения надеялись, либо чистота мистосмысла и никакой эстетической ностальгии. О! БОЖЕ! Верно ли будет сводить неопитски приближенные литургические знаки–слова в литургическом акте, не сушит ли это плоды? (*Тут мастер перешёл с синих на красные чернила и, видимо, взъярлся. – Д.Б.*)

Не говорите только, что не в своё-де лезу, ... моё-де-де мазать, однако и не сказать, что думаю, как-то не самопростительно.

А делясь скажу и не о Вас, но обо всех нас: предельный изыск формы – мифу помеха. Свидетельство о Духе Св. творится с варварским доливом – дичью. Если не так – идёт свидетельство о стиле, рождается т<ак> с<казать> перевод Библии на латынь и называется „Вульгата“. Так и свидетельство икон и мышление икононическое варварскими ордами выкрещивалось, крестя и старую элладскую и римскую форму:

*Ясен, звучит осиянно
дикый строительный луч.*

Не скрою, две первых части триптиха Вещая Душа Моя не берёт. Да! выстроены с тем же пшанием, но...

*Тронут изверженный цвет
некой толикою мрака.*

И хоть имею честь получить посвящение (и спасибо), ан всё-таки честь имею сказать: они (две первых части) несколько затаённый размещительный „долг“. Душа не берёт. Вот я и не ответил тогда, ибо сам эпистолярных изделий (ради их самих или тычка затаённого ради) Душа не берёт. Эпистолярной ностальгии, как и эстетической, не испытываю. Возраст не тот и Делом занят.

Ваш М. Шварцман.

P.S. Милый Митя, спасибо за стихи и весьма бы рад был получить обещанную (!) плотную заветную тетрадь. Проводили Левуха. Знали Вы его? Как будто побывал на погребеньи. Слезы. С какой болью отдираются, Россия! Как вырвешься из пражки трав. На проходах видел Наталью (протеже Вашу). В глазах её, особо за зрачками, покоя нет и удовлетворенья. И слишком дорога профессору выходит выставка. Для ча? Но окупает белый вырез шеи любые взгляды. О! Слава вёртка! Не знаю, все ль уста вдыхают имя: Наталья... Но выдыхают все.

Привет прекрасной Лене, если видите, Шварц. Привет Охапкису и Боре Куприяну (*поэтам Олегу Охапкину и Борису Куприянову. – Д.Б.*). Да, и очаровательной приятельнице Вашей.

Прощенья прошу за чернила – кончились.

Поясно сначала Постскриптум этого странного письма. Про неназванную (из опасенья перлюстрации) „заветную тетрадь“ я сейчас ничего не помню – должно быть, какой-то нужный ему сам– или тамиздатский материал. Левуха я не знал и о нём ничего не слышал ни до, ни после, а вот атмосферой проводов дышал не раз. Загляделся он на Наталью – не Горбаневскую ли? Тогда неизвестно, кто чей протеже. Нет, наверное Маргаригу, звезду. Я ей уши пропел о нём, но о этом позже. А то, что питерские поэты отправились на паломничество к Шварцману, допускаю частично и мою заслугу: стихи, ему посвящённые, могли их впечатлить. Но, увы, не впечатлили самого адресата. Конечно, от него „и хула – похвала“, и с общими положениями можно согласиться, но их приложения к моим стихам, даже к тем строчкам, что он цитирует, меня оставили в недоумении. Можно было бы и выпустить эту часть письма, как сделал бы другой мемуарист, ан нет – не в моих правилах!

Но к Пасхе мастер как–то отмяк (или перечитал стихи), и написал уже совсем в другом духе. Нарисовал на почтовом листке голубя, сидящего на куполе, лошадку и корову с благословениями на боку, а также знак Древа жизни. Текст был такой:

Дни стоят весёлые и марево тёплое, и свету много, и стихи прекрасные прекрасны, и ПАСХА.

ХРИСТОС ВОСКРЕС, милый Митя.

Да освятит Г-дь Вашу Душу, и будет всё на месте и покойно сердцу.

Ваши М., И. Шварцманы.

Христос Воскрес!

Год от Р. Хр. 1977.

Так заочно мы похристовались, недоумения на душе, действительно, улеглись, и я продолжил работу над „Стигматами“. Четвёртую часть посвятил уже уехавшему Якову Виньковецкому, а пятую и последнюю „Раненому имени“, снабдив её, как и вторую, визуальными знаками в тексте. Всё вместе ощутилось уже не поэмой, не циклом, а пятичастным единым складом, наподобие иконных, но в стихах. Готовую вещь я читал раза два в дружественных домах, обретя там некорыстную пажить, завершил первый свой большой сборник стихов, о котором ещё пойдёт речь, и, конечно, послал этот текст Михаилу Матвеевичу. Чего больше в его отзыве – тонкого яду иронии или всё–таки признания с некоторым интеллектуальным скороморшеством – до сих пор не могу рассудить. Вот, судите сами:

Год от Р. Хр. 1978, Москва.

Дорогой Дмитрий.

„Стигматы“ получены.

Всё столь фосфоресцирующе выпренне: изнемогаю от совершенств. И шелушатся все царпины, и одна только остаётся – царпина по небу, – и не имея сил собственных и слов, иерархически соответствующих стиха достоинствам, привозу окаянный, окромя Велемировых, лютю казнясь своими несовершенными, слова возлюбленного Батюшкова:

– собор красот, –

а сам во прахе остаюсь, глаз не подымая, безмерно посвящением утешенный

М. Шварцман.

Маг

Но я не исключаю, что причины (или хотя бы частичное объяснение) внешне запно ревнивой, чуть ли не отторгающей реакции мастера на две начальные части моей композиции были гораздо проще: первая часть имела посвящение другому художнику – Игорю Тюльпанову! Что такое Тюльпанов, если даже Боттичелли, Рафаэль, Перуджино и Микельанджело для него всего лишь „сикстинский шоколадный набор“? И Шварцман спросил меня:

– Это у него грибы из ушей растут?

– Не у него, а у одного из его персонажей. Есть такой портрет.

– Ну, вот видите!

Вижу. Цехового уважения у нас у всех большая нехватка. Вот Яков это хорошо понимал. Он–то мне и подарил обоих художников. Тюльпанова – на своей прощальной вечеринке в разорённой отъездом квартире, где–то на выселках, которые я стал кликать с некоторых пор обобщённо и без разбору Ленинградовкой. Обстановка на проводах была, как водится, похоронная, даже на грани с истерикой. Жена Дина хохотала, как русалка. Яша в предвидении будущих трудностей, наоборот, был напряжённо сжат, как кулак гладиатора. Младший, ещё дошкольник, нарезавшись ранее, мирно спал, а второклассник Илюша, накачанный дедом–патриотом, устроил родителям обструкцию:

– Никуда не уеду! Я люблю нашу страну, я люблю нашу армию!

Армию он, действительно, любил и насобирав целую коллекцию военных значков и эмблемок, которую наши бдительные таможенники у него на следующий день отобрали – нельзя. И ребёнок прозрел, враз избавившись от своего милитаризма.

Между тем, гости входили и уходили. Напротив меня сидел известный человек Цехновицер по прозвищу Цех. Глаза его задумчиво плавали, как рыбы в аквариуме. Чем он был известен, я, честно говоря, так и не знал. Время от времени в верхней части его бороды возникало отверстие, и туда вливалась стопка водки. После этого он вновь задумывался. Тут–то и появился Тюльпанов: на голову натянута лыжная шапка, движения – размашистые, сам пружинист, с большими кистями рук, рукопожатие – уверенное.

– Вот, какой–то спортсмен, – подумал я.

Он и на самом деле был, судя по всему, неплохой теннисист. Но и – величайший искусник. Повернулся ко мне: толстая нижняя губа, широкий нос... Если сравнивать типы людей с собаками (есть такой наблюдательный метод), то это был тип добермана-пинчера, которого он неслучайно когда-то держал. Взгляд, неожиданно ласковый, мазнул меня фиалковым цветом, столь необычным для мужчины. Нет, нет, ничего „голубого”, и при этом – фиалковый цветочный взгляд! А сам – Тюльпанов. Оказалось, что он, как и Виньковецкий, был участником выставки „в Газа”, но я, к своему стыду, картин его начисто не помнил. Впрочем, художник великодушно простил мне такую промашку, и мы решили, что дело это легко поправимо.

Тюльпановы (Игорь и Ольга) селились в комнате жилого корпуса в парке Политехнического института, прямо на первом этаже. Узкая клетушка была вытянута вперёд, к единственному окошку, и вверх, что было остроумно ими использовано: под потолком имелись антресоли для жилья, а низ служил мастерской для работы.

Ольга складом лица напоминала Игоря, смягчив женской миловидностью его черты в своём облике; ранние сединки чуть голубели в её пышных волосах, и они оба казались совершенно пригнанной друг к другу парой, – что называется, „до кладбищенской берёзки”. Но это впоследствии оказалось совсем не так.

Художник стал выдвигать из–за шкафов свои работы, и я онемел перед этим театром великолепий. Театральным было прежде всего зачарованное пространство его картин, в них была магия вдруг раздвинувшегося занавеса и явившегося иного, прекрасного и таинственного мира, наполненного многозначительными мелочами. Но как раз в этих мелочах, в очаровательных и странных вещицах не было никакой условности и бутафории: тщательно выписанные, они были фантастичны и в то же время гипер–реальны, добротны и полны благородства. А вот цвет предметов был настолько интенсивным, что вновь напоминал об искусственном освещении, о театральных софитах и прожекторах. Казалось, в этой красной комнате, изображённой на полотне, обитает какой–то маг, который заходит в неё, прежде чем совершить великие чудеса, либо для того, чтоб оставить в ней заветные сувениры, напоминающие о чудесах уже совершённых.

Но маг в этом пространстве отсутствовал. Я искал его в последующей серии портретов. Среди них находился и тот, с грибами из ушей, о котором было доложено Шварцману.

– Кто это? – спросил я Игоря.

– Так, один фарцовщик...

Впрочем, был там, среди его персонажей, некий, годящийся на роль если не самого чародея, то, по крайней мере, его ученика. Скажем, так: чародей-неудачник. Им оказался загадочный человек Валентин Лукьянов, поэт, бродячий диетолог, го-

лодарь и дервиш, житель двух столиц, связанный и с нищим андергаундом, и – через жену, научного секретаря Эрмитажа – с художественным официозом. Загадочным было прежде всего влияние, которое он оказывал на Игоря, внушая, как тому надо питаться. По его теории, здоровей всего было совсем не есть. Голодать, но лечебно, под его непосредственным присмотром, чтобы можно было всё время контролировать, подчинять себе голодающего.

Явившись из портрета, этот бессонный чародей бывал и у меня, зачитывая до половины четвёртого – утра, ночи? – проходными пейзажными стишатами, заговаривая до отпада, до отключения воли у слушателя, странными идеями собственного сочинения. Контролировать свой желудок я ему не позволил, голодание отверг, но в солидарность с Тюльпановым перестал есть молочные продукты (за исключением швейцарского сыра). Этот сыр, шпроты, орехи, сушёные фрукты, порой сухое вино, а то и настоящий портвейн из Португалии, невесть как попавший тогда на прилавки, составляли наши с Тюльпановым трапезы в пору частого общения. Дело в том, что он предложил мне позировать для портрета. Вернее сказать, для образа в трёхфигурной композиции, которую он задумал необычно вытянутой и притом диагональной. Мы договорились о встрече.

– Как мне одеться-то? Поярче, попарадней?

– Не беспокойся об этом. Я сам тебя „одену”.

Начались сеансы, – менее утомительные, чем я предполагал. Даже занимательные. Странное самоощущение приходило, когда художник впивался зрением в каждый миллиметр лица, стремясь через внешнее выznать сущность. Взгляд его из фиалкового становился фиолетовым, даже ультра. Но мне он до времени ничего не показывал.

Позднее, когда портрет и вся композиция были готовы, я попытался выразить свой опыт позирования, а также размышления о художнике и его методе с точки зрения модели. Получилась заметка на несколько страниц. Поколебавшись, я решил отправить её на Запад. Игорь был не против, я переслал рукопись в парижский „Континент”, наводивший ужас на советских охранителей, и там её напечатала Наталья Горбаневская. Поскольку я рассматривал три стороны необыкновенного искусства, заметка, которую я здесь привожу в несколько сокращённом виде, называлась:

Трижды – Тюльпанов

Душа художника трепещет на кончике нежнейшей кисти.

Его модель вторую неделю пытается соперничать с идеальным натурщиком – предметом. Тяготы вещественного мира уже освоены позирующим, досаждают лишь главная из них – неподвижность. Впрочем, сегодня сместился ракурс; можно, наконец, отвернуться от фотографии почтеннейшего, но, увы, покойного добермана, и взгляд натурщика погружается в питательные контрасты „Комнаты с красным паркетом” – уже готовой картины, висящей напротив.

Художник помогает себе причудливой мимикой, преобразуя лицо модели в сложный, умный предмет со следами, которые оставило на нём время, и с глядящими мимо любых времён глазами.

А картина на противоположной стене в этот момент насыщает сотней своих предметов тесную – не повернуться – клетушку, в которой живёт и работает художник. Да поворачиваться и нельзя – сеанс! Однако, хватает для разглядывания и

размышлений того фрагмента, что видишь прямо перед собой. На непонятной, только для неё созданной полочке пурпурно-розовая банкнота достоинством в 10 желанных рублей стоит на хрустящем полусмятом ребре, а рядом с такой же тщательностью изображён приклепанный клочок рыхлой бумаги, – всего лишь уголок книжной дешёвой иллюстрации, то есть ничто, превращённое в нечто, равноправное ассигнации уже потому, что и то, и другое равно-любовно выписано на полотне... Какая-то крупная мысль проступает из гладкой фактуры поверхности. Да это же – притча! Это ж – история богача и бедного Лазаря, остановленная в своём сюжете ради нового поворота – примирения этих двух в прекращённом времени, в преображённом пространстве, в чуде. Но и этого мало: ведь не только форма, но и цвет, ритм конфигураций, даже, кажется, вес и светимость – всё добавляет свой уровень глубины, свою правду, придавая изображению многослойный смысл.

Или – вот это... Массивный золотой слиток всей своей весомостью свидетельствует ещё об одном драматическом братстве. Он служит подставкой для двух тщательнейше выписанных вещей: для надкушенной чёрствой корки и для нитки жемчуга, чьи круглые светящиеся зубы так странно повторяют дугу хлебного укуса. Сколько тут сказано, и всего лишь на нескольких квадратных сантиметрах холста! А рядом – десятки иных сочетаний, зависимостей, взаимоотношений... Это создаёт исключительно плотную интеллектуальную атмосферу внутри произведений этого художника. В такой атмосфере, например, непринуждённо парящий в воздухе поднос в „Затянувшейся игре” кажется совершенно убедительным. Он просто остался висеть в пересечениях живописных и смысловых связей на этой картине.

Но работы Тюльпанова – отнюдь не сборники афоризмов или притч, а именно картины, зрелища, и потому они принципиально не могут быть истолкованы до конца, так же, как не может быть объяснён смысл, к примеру, павлиньего пера, этого колористического идеала художника. „Загадка имеет отгадку, – это его слова, – а тайна, сколько её ни постигай, всё равно остаётся тайной”. В самом деле, завожжённый зритель пускается по полотну на розыски единого знака, ключа, но общая композиция каждой из картин остаётся магической и необъяснимой. Более того, в „Ящиках воспоминаний” (так странно называется его следующая картина) художник предлагает на выбор целую россыпь разнообразных ключей, но, разумеется, от утерянных замков.

И всё же на этом холсте изображён отдельный, единственный ключ, специально положенный в центр композиции и даже особо выделенный освещением. Но им уже ничего не откроешь, – он распилен на части!

Конечно, тайна остаётся тайной, но пристальное созерцание, как поведал нам Рильке, раскрывает для собеседования самую душу вещей. Для этого не нужно многое. Возьмём предмет. Лучше всего – добротный, не обогланный массовым или халтурным исполнением. Так сказать, – предмет-личность. И попытаемся увидеть его смысл и его красоту. И если мы истово изоощрим своё зрение почти до утраты всех иных чувств, а острие разума сосредоточим на самом кончике очень хорошей, тончайшей кисти и изо дня в день всего себя станем переводить на квадратный сантиметр изображения, то, может быть, тогда возникнет чудо – сверхбытие предмета. Да, подробность и – да, любовь – это приметы, даже приёмы чудотворения. Такая умная, терпеливая любовь делает вещь, полу-погружённую в вещественном мире, – духовной.

*Великий бог деталей,
Великий бог любви,
Ягайлов и Ядвиг...*

Так сказано у Пастернака. А живописец составляет кружок из указательного и большого пальцев и говорит: „За день я делаю вот по столько. Правда – каждый день”. Словно добрый пастырь предметов, он выпестывает даже такую мелочь, как узелок на аккуратно свёрнутом шнурке или, например, изумительную по красоте... обгорелую спичку, создавая изысканный образ, чуть ли не портрет этого ничтожнейшего из предметов.

Ещё одна, старчески–терпеливая мудрость андерсеновской сказочки:

*„Позолота вся сотрётся,
свиная кожа остаётся”*

преодолевается таким, например, сюжетом – клочком обшивки, выхваченным из кресла, и драгоценно сияющим узором жемчужин, который обнаруживается под этой самой кожей. Этот фрагмент – одно из энергичных и прямых высказываний художника. Да, цель его – создание совершенства, но ведь и это – не оставка, а новая счастливая бесконечность. Поэтому даже такой абсолютистический мир, как золотой, может вдруг прорасти – розою, одновременно золотой и живою, что и произошло в „Ящичках воспоминаний”.

Неизбежно возникает вопрос об учителях и предтечах – откуда всё это? Да, художник окончил курс театрально–оформительского искусства у Николая Павловича Акимова и с благодарностью вспоминает о своём руководителе. Но ведь Акимов был не столько художник, сколько режиссёр и художник вместе, поэтому его интересы были несколько в стороне от устремлений его „ученика”. Ставлю это слово в кавычки, потому что странно называть учеником такого филигранного мастера. Можно лишь сказать, что оба артиста были друг другу по вкусу, и это порой чувствуется в более ранних работах младшего. А современные течения в искусстве, разве что за исключением „сюр” и „магического” реализма, обтекали нашего живописца, не затрагивая.

Но и не только живописца. Передо мной – один из листов тончайшей графики: иллюстраций к сонетам Шекспира. На фоне раскрытого окна с известным стратфордским пейзажем глядит вживлённое в костюм великого Вильяма – лицо Николая Павловича! Такое взаимопроникновение разных эпох сначала кажется неожиданным, но потом сознаёшь, что Акимов здесь – к месту: имел же прямое отношение к Шекспиру главный режиссёр Театра комедии. Налюбовавшись тонкостью почерка, изысканностью деталей, вдруг понимаешь большее: этот лист и есть сам по себе сонет!

Два катрена – пейзаж и интерьер – создают завязку и развитие, переходящие в портрет и натюрморт – два терцета веской и стремительной коды. А точку ставит само перо, уже обмокнутое в вигую чернильницу на столе.

И ещё над одной графической серией работает художник – над акварельными приключениями комических человечков, которых он называет „Очарованные разгильдяи”. Его мастерство и фантазия нам известны по живописи и книжной графике. Здесь прибавляется к ним новое свойство – юмор. Эти симпатичные шалуны всё время вытворяют какие–то смешные проделки, занимаются мелкими, но не всегда беззлобными пакостями, изобретают бесконечные подвохи, забавно безобразничают и разгильдяйствуют. Но при этом они благоговейно перед единственной и прекрасной дамой с голубыми пышными волосами, с обнажённым и весьма выдающимся бюстом, ниже переходящим в коренастый пенёк, вросший в землю.

Вот загадка: как смог художник, пребывающий в полной изоляции, живущий без выставок, без восхищения и критики, этих необходимых элементов артистиче-

ской жизни, – как сумел он выйти на столь высокий уровень искусства? Может быть, потому и прорвался, что было трудно? Как это ни странно, свобода от препонов часто останавливает развивающийся талант на полдороге. Один из парадоксов искусства заключается в том, что талант сам по себе отнюдь не значит – всё. Преодолеть непреодолимое, совершить духовный прорыв может только мощный характер, обладающий, помимо таланта художественности, ещё и даром стойкости. Этот дар превращает все испытания, все жизненные лишения в золото и мёд позитивного опыта.

„Меж стен”

Так он в конце концов назвал свою композицию, над которой работал, наверное, не меньше года. Скорей всего он имел в виду не те стены, что дают укрытие и прибежище, а те, что разъединяют и препятствуют... И в самом деле, рядом со мной он собирался расположить Коку Кузьминского, с которым у меня было мало общего, а за ним – москвичка Славу Лёна, которого я тогда и вовсе не знал. Тюльпанов собрался было в Москву, но перерешил и стал писать эти образы „из головы”. В результате все оказались похожими на меня, и это придало разнородной группе стилистическое единство и ещё один сильный притчевый смысл.

Вот справа вполоборота изображён молодой мужчина, поразительно схожий со мной, но на нём фантастическое одеяние, горящий взгляд его устремлён куда–то вдаль, где видится ему не иначе как сам святой Грааль. Но этот человек не „я” или „он”, а лишь его отражение в зеркале: вот видна радужка на грани стекла, видна облупившаяся кое–где амальгама.

В центре – ещё один мужской образ; он мучительно и криво раздвоен: то ли это Кузьминский, то ли я в его роли, и какое-то бесовство проступает из этого человеко-спектакля.

Третья фигура – старик, может быть, гипотетически и напоминающий Славу Лёна в далёком будущем, но в меньшей степени и меня. В глазах – пустота, в облике – бедность и скопидомство, выраженные, как всегда у Тюльпанова, в деталях: пуговицы, грошники, воткнутая в ткань иглолка с ниткой, аккуратно замотанной вокруг неё восьмёрками.

Эта картина, тройной портрет с элементами пейзажей, натюрмортов и иллюзий, давала сложно–странное впечатление: озадачивающее и чарующее одновременно. И всё–таки тот образ, который был написан непосредственно с меня, я стал считать своим портретом, несмотря на фантастические одежды. Или – лучше так: портретом лирического героя моих стихов. Поэтому, когда настало время, я, испросив позволения у Тюльпанова, послал фотографию этого образа вместе с рукописью книги в Париж, Наталье Горбаневской. Подпись художника под портретом стояла, – однако, не из–за того, что он побоялся заграничной публикации. К тому времени эту картину купил американский коллекционер Нортон Додж, и тиражирование, хотя бы фрагментарное, было уже под его контролем. Но фотография была сделана раньше, чем покупка, и потому без подписи это сошло.

С Доджем я познакомился позже, уже после „великого скачка” через океан, который я совершил в конце 79-го года. Я зашёл на его доклад на конференции в Нью-Йорке (или – в Чикаго?), и он сразу узнал меня по портрету. Заговорил, как со старым знакомым:

– Что у Вас с Игорем произошло? Он переписывал портрет несколько раз, делал с Вами ужасные вещи...

– Что же он делал?

– Ужасные вещи. Но потом всё исправил. Так что же произошло?

– Представьте себе, даже не ссора. Просто разрыв отношений...

Никаких „ужасных вещей“ между нами и не было. Наоборот, сначала были очень даже прекрасные вещи, – например, знаменитая выставка неофициальных художников в д/к „Невский“ на проспекте Обуховской обороны, в индустриальном районе на левом берегу Невы. Зал там большой, нервозности было меньше, чем в „Газа“, но художники всё равно жёстко спорили между собой из-за места, из-за лидерства, – за что-то своё... Юрий Жарких опалил краску на холстах и, вместе с именем автора, они производили огненное впечатление. Яйцевидные формы, светясь, всходили и зависали в пространстве у Анатолия Путилина. Юрий Галецкий восхитил если и не самим холстом, то хотя бы палиндромом в названии: „Ave Eva“. Рыцарь Андрея Геннадиева как-то нетрезво двоился. А вот его сероглазый портрет в безрукавке впечатлял, – этот, действительно, рыцарь! Рядом с портретом, словно белокурая Изольда, стояла его создательница Леночка Захарова, тогда – жена Геннадиева, и по виду они являли пример парного совершенства. Но, опять таки, нет!

Фиалковоглазый маг задумал живой иллюзион, – ему понадобились герои, жертвы и, конечно же, ассистенты. Главным героем – Тристаном, а скорее Мерлином, волшебником всего действия, был, конечно, он сам, в мыслях распавшийся столеточко значительный сектор города, куда попали случайные и неслучайные лица, в их числе я. Но кто я – шашка, конь или пешка в игре, знал я нетвёрдо, придерживаясь наугад только цвета, что выбрал гроссмейстер.

Вот я стою глубоко под землёй на шлифованной каменной платформе одной из далёких станций метро. Жду, недоумеваю. Подкативший поезд распахивает прямо передо мной дверь. Там – Геннадиев в окружении лохматых бородачей.

– Дима! Что ты здесь делаешь? Давай с нами.

– Ищу Тюльпанова.

– Я тоже!

Дверь захлопывается, двоящийся рыцарь, совсем сбитый с координат, уносится вместе с художественной компанией. Со стороны эскалатора ко мне приближается пара: это Тристан (он же Мерлин) и с ним – Изольда! Я стараюсь держаться независимо, хоть и дружески, а всё равно я уже вовлечён. Есть ведь ещё одна потерпевшая сторона, там тоже драма! Выражаясь тюльпановски-акварельно, очарованные разгильдяи перестали боготворить свою прекрасную синеволосую даму и стали пилить её пень под корень. Ну, зачем же пилить, это больно, не лучше ли перепоручить её заботам ассистента, кто он там уже – конь или слон?

Слон в смущении. Нет, он такие деликатные миссии отклоняет со всей возможной и невозможной слоновой грацией. Но что же делать? Разрыв уже произошёл, а жить где-то надо. Если некуда деться, сам Тюльпан может переночевать у меня, но это явно не выход. У него есть другой вариант, совсем близко, на задах у Ленфильма. И тут происходит блестящая рокировка. Вот он зовёт меня в своё временное пристанище в ателье, принадлежащем его почитателю. Действительно, это в полутора шагах от моего дома – через двор и по чёрной лестнице на верхотуру. За железной дверью – обширное помещение с перегородками, стены оклеены белым, всюду треноги, экраны, мощные лампы. И на круглых табуретах – компания, достойная кисти магического сюрреалиста: сам Тристан, он же Тюльпан великолепный, соединившаяся с ним нежная Изольда, там же, конечно, хозяин-фотограф и – о, силы земли и неба! – звезда, божество экрана или, как назвал её в очерке один

мой гниловатый приятель, „едва ли не самая красивая и талантливая актриса кино Грета Велехова” собственной персоной.

Никаких „едва ли”! Она самая и есть, со всей несомненностью, – звезда не только с безукоризненно яркой внешностью, но и с говорящей сквозь эту внешность душой. Всякий наш сверстник, посмотревший культовый фильм „Отражение”, образ её в памяти у себя, если не в сердце, очарованно запечатлел. И – тем ещё неизгладимей, что по каким-то эдиповым сюжетным ходам она там и мать, и жена, и невеста.

Оттого, что так близко я вижу затверженное с экранов прославленное лицо, к её красоте прибавляется ещё домашняя миловидность. Она совсем рядом, дышит, смеётся, ходит широко, по–актёрски раскованно, статно, отбрасывая движением головы прибалтийские пряди с плечей и от крутоватого лба, смотрит жарко и каре, и как–то даже заворожённо – и на кого? Уж не на меня ль, в самом деле? Знаю: она, скорей всего, загляделась на того принца из розового замка, каковым изобразил меня маг, и находится теперь под его, не моим, обаяньем. Всё ж, нельзя пренебречь и другим. Стихами. Моими. Вряд ли она была нечувствительна к звукам, рифмам и строфам, – введём и их в оборот. Тем более, что она сама, без меня раздобыв, позднее показывала их Супер-Мастеру, и он, не то одобрив, не то просто приняв, молвил лишь критически:

– Воздуха мало!

– Ну, и воды зато нет! – ответил я раздосадовано ей, сообщившей это слишком уж лапидарное мнение.

Да, стихи, да, тюльпановский образ и, может быть, даже красивая легенда об Ахматовой, ей внушённая магом, – всё вдруг сделалось вместе, ведь находились мы в области подволшебной.

Звезда

Разговор, между тем, шёл о съёмках, носивших сенсационный характер. Ещё бы – Голливуд на Ленфильме! Ставят в кино – и кого бы вы думали? – Метерлинка!

– Вы, конечно, играете Синюю птицу?

– Нет. И даже не фею. Все эффектные роли даны голливудским актрисам: Элизабет Тейлор, Джейн Фонда... Мне досталась скромная роль Молока.

Представляю, сколько белой марли намотала на неё Марина Азиян, художница фильма, сколько мелу набрызгала! Только эти карие жаркие и блестящие... Но речь не о ней, а о заморских звёздах, их скандалах, любовниках, пощёчинах костюмершам, о трепете перед ними администраторов и прочих барбосов.

– А не погулять ли нам, не сходить ли, к примеру, в кино?

Фотограф остаётся, две картинные парочки отправляются бродить по Кронверкскому саду, доходят до кинотеатра „Великан”. Билетов нет. Пускается в ход обаяние нашей кинокрасавицы. Двери должны распахнуться! Она хороша: распахнутая меховая шубка, непокрытая голова, жёлтые с платиновыми прядями волосы по плечам, но на администратора – никакого впечатления. Билетов нет.

– Давайте лучше ко мне. Здесь совсем рядом.

Заходим в „Гастроном”, затем в „Кулинарию”. Звезда выбирает индейку. Никто этого зверя прежде не пробовал, а уж готовить...

– Я знаю, как надо!

Как-то весело авторитарна, отважна. Моя коммуналка преображается. Соседки в изумлении наблюдают: явная небожительница орудует в кухне, распалает духовку, ставит туда здоровенную пиццу, – словом, хозяйничает, как у себя дома. А я на это любуюсь. Но индейка готовится ведь часами, – говорит мой теперешний американский опыт. Кто ж это тогда знал? Вино почти уже выпито, хлеб общипан. Наконец, подаётся аппетитно подрумяненное и благоухающее блюдо. Но внутри – увы и ах!

Маг удаляется со своею Изольдой. Однако, магия его остаётся.

Дальнейшее развивается стремительно и по тем же законам, что в целлулоидной ленте, скорее даже немой. Вот мыгуляем по снегу в сосновом бору за железной дорогой, все четверо. Тристан с Изольдой прячутся от нас за подлеском, я вдыхаю снежный запах красавицыных волос. Декабрьский короткий денёк золотится напоследок. В густеющей тени на поляне вдруг видится тёплое прерывистое сиянье во мгле под ногами. Это горящая свечка в снегу освещает простые предметы, какие можно найти в кармане – монеты, банкноту, ключи... Словно театрик какой вдруг возник на снегу или же натюрморт, тщательно выложенный и оживший – почерк мастера, мага! Подарок от них – нам.

Вот оранжевый щитовой дом с надстройкой – колосковская дача, прообраз того розового замка, что за плечом у портретного принца. Внутри – холодней, чем на улице. Грохаю об пол мёрзлыми дровами, тепло. Чем гостей дорогих бы развлечь? Вот, есть немецкая цитра. Звезда перебирает расстроенные струны и вдруг одаряет нас чудо–романсом. Я такого прежде не слышал. Мелодию, правда, она воспроизводит лишь смутно, возмещает это игрою лица, интонациями, но слова... Слова – декадентски самоцветные, а образный рисунок и строфика выписаны уверенным почерком:

*Ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый,
ни наглой белизной сверкающий алмаз
не подошли бы так лучистости суровой
холодных ваших глаз,
как этот тонко огранённый,
хранящий тайны тёмных руд,
ничьим огнём не опалённый,
в ничто на свете не влюблённый
темнозелёный изумруд.*

Вот бы что ей подарить – изумруд! Где ж такую роскошь добыть, откуда бы выкрасть? Да куда там...

А кто эти слова написал – уж не Иннокентий ли Анненский? По стилю похоже. Но она и сама не знает. Долго я пытался найти загадочного автора, расспрашивал знатоков, музыковедов, никто не мог сказать. Даже Боря Кац был бессилён и нем. И лишь много лет спустя такой эрудит и музыкант нашёлся: Саша Избицер из „Русского самовара” в Нью-Йорке. Слова, оказывается, сочинил д'Актиль, или д'Актиль, он же Анатолий Адольфович Френкель, поэт–песенник. Вот кто был мастер!

А тем временем я тепло без конца обе печи, но нужны часы и часы, чтоб хоть как-то пристанище наше согрелось. И всё равно нырять приходится в ледяные слои одеял, лгнуть друг к другу хотя б за телесным теплом. В свете свечи любуюсь красой и наблюдаю с тревожным предчувствием, но и с любопытством несколько ликов в лице: возможно, это и есть та фактура, что все её образы образует? И который из них настоящий? Может быть, и никакой.

Вот я в небольшой квартирке на... хоть убей, не могу разобраться в московских направленьях. Стиль убранства иной, ей совсем не идущий. Здесь хозяйкою мать, но я её так и не видел. А она меня? Не уверен, не знаю. А вот дочка в косичках мелькнула, хотя бы на фотографии. Во всяком случае ясно, что я не могу здесь остаться. Прият мы находим у её горячей поклонницы, которая даже не поднимает на меня глаз, соблюдая секрет госпожи. Так что ж – разве эти встречи тайные? Нет. Вот мы на премьере кинокомедии, которой суждено на десятилетия вперёд ублажать население целой державы в предновогодние вечера. Кругом – актёрские поцелуи, приветы звездам.

Поздно. Мы у той же поклонницы. Мне постелено на полу, но чисто, комфортно. Я уже растянулся, перебирая яркие ключья впечатлений. А она всерьёз машет гантелями, гнётся, приседает, подпрыгивает, отжимается на руках. Бежит на месте с полотенцем от пота. И это – после целого дня коловращений, включая туда посещение бара в Доме кино.

– Ты не хочешь расслабиться, отдохнуть?

– Ты что? Моё тело – это ж мой хлеб. И не только мой.

И смотрит, как на инопланетянина, – мол, может быть, и твой.

А ведь и вправду ей надо быть в форме: днём у неё репетиция, после – спектакль. Я остаюсь в пустой квартире, у меня есть, чем заняться. Читаю сценарий легендарного „Отражения”, того самого, что сделал звезду звездю. Похоже, что это – официальная версия. Читаю и не узнаю: какая–то советская лабуда; не вижу ни одного из тех образов, что впечатались в память. Впрочем, это понятно, – текст ведь написан для прохождения через целый цензурный конвейер. Нет ни великолепных стихов Супер-Мастера (но они, впрочем, были уже напечатаны раньше, – следовательно, прошли через горло Горлита), ни импровизаций с камерой, ни каких–то очень важных нюансов. Помнится вдохновенное баловство героини, заглядывающей дразняще прямо в объектив (вопреки всем условностям жанра) и, следовательно, прямо мне в душу: Тут я на крючок и попался, забыв, что таких карасей сотни тысяч. Или – вот это: кто смотрел феллиниевский „Амаркор”, тот не может отделаться от навязчивого физиогномического сходства его проходной героини, полубезумной путаны, с нашею, играющей сокровенно–сакрально–семейные роли матери, жены и невесты. Однако, ну и сближенье!

Вечером гляжу из тёмного зала на покатую сцену, где кривляется с затяжным монологом трагический клоун. Если это моносpectакль, то при чём тут она? Впрочем, вот монолог прерывается вставками: лирическими диалогами с ней. Интонации – самые невозможные, но за сердце почему–то хватают. А вот почему, дуралей, провинциал: это ж те нежности, что накануне говорились тебе одному, и они летят теперь в зал, адресуясь любому и каждому – всем! Гишпопотаму, толпе.

И тут же упрёком – себе: дай ей слова, и ты сможешь услышать их из её уст. Но слов пока нет. Есть пока продолженье московского жёсткого карнавала: мы со звездой на проводах Натальи Горбаневской, – тоже, в сущности, звезды диссидентской, загоревшейся жертвенно–жарко у Лобного места на Красной площади в воскресный полдень 25-го августа 1968 года. Как там сказано у Всеволода Некрасова, москвича и концептуалиста, по поводу пражского самосожженца?

Ян Палах

Я не Палах

Ты не Палах

А он Палах

*Он Палах
А ты не Палах
И я не Палах.*

Вот Наталья-то и была наш Палах. И теперь она уезжает на веки вечные в Париж с двумя сыновьями. Провожают её поэты и диссиденты. И кинозвезда. Но вниманием всех овладевает Андрей Амальрик, автор памфлета „Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?“ Он только что из Магадана, весь в ореоле драконоборческой славы. К нему с участливыми вопросами устремляется отец Димитрий Дудко:

– Не приходилось ли терпеть притеснения от уголовного люда?

– Нет, со мной все дружили, – он чуть пришепётывает. – Я им посылки свои раздавал. Даже была поговорка у нас в Магадане: добрый, как Амальрик.

– А здоровье Ваше не пострадало?

– А что здоровье? Фэя вот стала толстая.

Пять лет спустя в эту шею (а именно – в горло) вонзится кинжальный осколок стекла при столкновении в горах на заледенелой дороге в Испании, и он сам не доживёт до предсказанного им развала империи.

(окончание следует)



Бахыт Кенжеев

ДВЕНАДЦАТЬ ЭЛЕГИЙ

ЭЛЕГИЯ ПЕРВАЯ

Верить ли, снова сквозь полупрозрачные облака
рассиялось бельмо луны ргунным светом, Господне око.
Жизнь ли сужается, как замерзающая река,
и становится твердью заснеженной, одинокой?

Или же кругозор налима, по глупости вмёрзшего в лед,
сжимается? Или ревниво рыбак проверяет снасти
для подлёдного лова? На автопилоте крейсирует ночной самолет.
В старости, говорят, утихают страсти:

лакомишься карамазовским коньячком со льдом,
переживаешь, что нет писем от взрослого сына.
Прибывает житейская мудрость, обустроивается дом,
подрастает высаженная осина.

Помнишь, был такой пожилой персонаж из отдаленной земли
Уц? Неудачник, зато неременный участник очных
ставок с Богом. Выздоровел от проказы. Перестал валяться в пыли.
Обзавелся новой семьей и т.д. - смотри известный первоисточник.

ЭЛЕГИЯ ВТОРАЯ

Из прошлого мне что-нибудь сыграй,
скрипач слепой, напомни милый край,
стишок слезливый, писанный по пьянке,
бычки в томате, детский анекдот,
стакан, гитару, да горбушку от
шестнадцатикопеечной буханки

с уральской солью, с постным маслом, да.
Сколь молоды мы были, господа,
сколь простодушны были и невинны,
сколь сладко задыхались, влюблены,
от красоты и дивной глубины
очередной Ирины или Риммы!

Тихонько спит прошедшее навзрыд,
лишь время негорючее коптит
в светильнике умершего поэта,
как масло постное. Ах, нищие, народ
тревожный - пьет, а денег не берет
- наверное, монах переодетый.

И вдруг прошепчет: честно говоря,
кто саван шьет - тот трудится не зря,
так строил фараон на радость сёстрам
свой гроб, и пел предугранный петух,
усваивая вечность не на слух,
а зрением и опереньем пёстрым

ЭЛЕГИЯ ТРЕТЬЯ

Дом: этажерка, кролик, фикус. Не низок, хоть и не высок.
В ладошке яблока огрызок, а в небесах наискосок
летают пламенные стрелы, и мать младенцу говорит:
не плачь! Не звёздочка сгорела, а так, простой метеорит.

Давно и дома нет, и звезды скудеют с каждым днем, пока,
клубясь, переполняют воздух раскатистые облака,
под осень мама моет раму, и мы с сестрицею глядим.
Сухой листок, как телеграмма, летит бульваром золотым.

Нет, не смешно, скорее просто. Резец, орган, крысиный хвост
от колыбели до погоста, под светом падающих звёзд,
небесной сволочи бродячей. Кому пиковый интерес,
кому гоняться за удачей - светло, а времени в обрез.

Как ларчик из крыловской басни, как монтекристовский сезам,
дар памяти ещё прекрасней, чем ночь, отпущенная нам.
Но что и вспомнишь - так неточно, нечётно как-то, сгоряча –
пустой листок депеши срочной, печать ночного сургуча

ЭЛЕГИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

На Венере, ах, на Венере у деревьев синие листья

Николай Гумилев

Удлиненные тени событий и вещей, голосов, чаепитий
поздних, голуби, вещие сны, дальний грохот гражданской войны.

Нет, не граждане мы - горожане, мяли кожу, ковали, дрожали
над младенцами - вдруг дифтерит? Как же ярко Венера горит,

там лишь ангелы, дети малые, ни Дзержинского там, ни Троцкого,
а на елках иголки алые, а в музеях картины Бродского,

водопады, ручьи, лечебная валерьяна, скрипка, пирожного
благоухание, словом, волшебная философия невозможного.

Все исчислено и измерено. Толку нет от мертвого мерина –
травяной мешок, волчья сыть - ни стреножить, ни воскресить.

ЭЛЕГИЯ ПЯТАЯ

Запах горелой резины серые птицы одни
что за бесснежные зимы что за короткие дни
что за январь неохотный распространяясь окрест
будто дошкольник бесплотный хрусткое облако ест
сколько ни шарь по карманам нету мобилы увы
славно лежать полупьяным в вежливых лапах москвы
столько нашепчет историй и подростковых забот
сколько друзей в крематорий микроавтобус свезет
хрип постаревшей пластинки леннон а может булат
организуем поминки водка селедка салат
веруя в родину эту в немолодую родню
выпью расплачусь лишь свету вечному не изменю
словно незрячий ощупал жизнь и сказал неплоха
кладбище звездчатый купол храма у вднх
там же где богоугодный меж гаражей вдалеке
бродит январь безработный с кроличьей шапкой в руке

ЭЛЕГИЯ ШЕСТАЯ

Пора, мой друг, пора. Я Пушкина листаю.
Четвертый час утра. Элегия шестая.
Поморщусь, закурю, и выдохну привычно:
печаль моя мутна и ночь косноязычна.
Вопит во сне вдова, на свадьбе шут рыдает.
подснежник радуется, и тут же увядает,
играют радугой разводы нефтяные
на лужах городских. О чем ты хнычешь ныне,
неблагодарный раб? Кому ты так глубоко
завидуешь? Кому светло и одиноко?
Ах, мышья беготня. Уже пробили зорю.
Запахнет серый свет бродящего лозою,
и дымом - свежий хлеб, не душным, а сосновым,
и спросят мёртвого: «не грустно? не темно вам?».
Лимоном, лавром, друг, точнее, лавровишней.
Давно ли вечно жить нам обещал всевышний?
Но это было там, в других краях, где горе
топили юноши в арабском алкоголе,
и пела под дождем красавица чужая,
грядущей тишине ничем не угрожая.

ЭЛЕГИЯ СЕДЬМАЯ

Л.С.

Все кажется - вернусь, и станет все, как было,
на Малой Бронной, где теперь сугроб
(как я тебя любил, как ты меня любила!),
аптека и кофейня. Жизнь взахлёб.
И будет нам тепло среди зимы косматой:
подпольный Галич с плёнки запоет,
и кухню полутемную зальет
люминесцентный свет продолговатый.

Любил-то я тебя, а был влюблен в одну,
другую, третью, и сердился, право,
когда ты выговаривала: ну,
ты, мальчик мой, неправ, а впрочем, слава
Создателю: он сам - творенья часть,
то сдвинет ось земли, то сам себе дивится,
то посылает всякой мрази власть,
то глупость - юношам, то молодость - девицам.

Кончается благословенный век мой.
Ты умерла, (а я не поумнел),
но все смеешься, пепел сигаретный,
как бы профессор с тонких пальцев - мел,
вдруг стряхивая в оранжевое блюдце.
Нет, не вернусь. Ушедшим не проснуться,
лишь Патриаршие сверкают инеем,
и небо черное, и светло-синее

ЭЛЕГИЯ ВОСЬМАЯ

Ах, как смешно ты мечешься, голубчик, в рубашке клетчатой, в сиреневых носках.
в штанах (вельвет песочный в мелкий рубчик), с зачитанным Овидием в руках.

Не нам воспрять - лишь ангелам, вернее, созданиям, не знающим стыда –
мы выплетаем, глупый мой, бледнеем, а то и вовсе пропадаем, да.

Не возвратит заоблачный охотник оброненного в черных подворотнях,
в года, когда с отточенной тоской свет теплился в столойной мастерской

на первом этаже замоскворецком, на сельском кладбище, в евангелии детском.
где Гавриил, небесный генерал, Давида молодого уверял:

лишь певший об увиденном впервые снять цепь врожденную умеет с грешной выи
одним движением - и в тесном вещем сне зубами скрежетать без помощи извне

ЭЛЕГИЯ ДЕВЯТАЯ

зацвела конопля дозревает мак
а подумал о будущем и обмяк
и зашелся кашлем от сигареты
различив за безлицею синевой
осторожный и жалобный голос
твой повторяющий что ты где ты

распахнется при черной свече зрачок
молоку на смену придет обрат
станет страшно и тихо-тихо,
лишь под утро в углу затрещит сверчок
таракану друг и цикаде брат
подзывая свою сверчиху.

потемнеет пристань недалеке
где спустился бы в лодку с узлом в руке
раскулаченный, только пешим ходом
бормотать ему по водам чужим
над которыми сириус недвижим
истекает бесплотным медом

полно хвастаться кожаным ярлыком
на княжение - певчих сверчков на корм
игуанам и мелким змеям
размножают - и светимся мы во тьме
и встречаемся как не в своем уме
и прощаемся как умеем

ЭЛЕГИЯ ДЕСЯТАЯ

отсидели за школьною партой возмужали в родной стороне
затхлый запах свободы плацкартной кружит бедную голову мне
и играет в граненом стакане счастье странника спелый агдам
и дошкольники машут руками уходящим на юг поездам

и еще я студент не добытчик а страна за мою спиной
набивает ивановский ситчик польхает травой стелной
тянет сети работает то есть про железнодорожный рассвет
сочиняет стучащую повесть но у времени совести нет

счет идет на такие секунды что и выбора нету прости
не замай темновойной пицунды моря в гаграх и праха в горсти
предвечерний покоится с миром не резон уже и недосуг
воскресать молодым пассажирам поездов уходящих на юг

ЭЛЕГИЯ ОДИННАДЦАТАЯ

когда адам отстраивал содом
и любовался собственным трудом
телеги с черепицею скрипели
по глинистой дороге, мастерки
сновали, словно ласточки, легки,
молчали плотники, а каменщики пели.

в чем смысл творенья город расскажи
десятники свернули чертежи
грядущее плотнее и бесплотней
охотник на оленей лжец кузнец
и ростовщик и мельник наконец
обнявши жён справляют день субботний

один адам на ложе земляном
скорбит и размышляет об ином
спи старец спи пускай тебе приснится
красавец Блок (уволенный рыбак)
с медовой папирскою в зубах
и бумазейной розою в петлице

ЭЛЕГИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ

И стартовал бы с чистого листа,
чтоб стала ночь прощальна и проста,
ан не выходит. Грустно. Тараканы
под плинтусом. Зима. Метаморфоз
не жалует, ни в шутку, ни всерьез,
засим (привет, Лебядкин!) и стаканы

сдвигаем с тусклым звоном. Не хотим,
но кожа превращается в хигин,
а руки-ноги - в лапки, и свобода
сужается, как довоенный мир,
до точки, до одной из черных дыр
в развалинах живого небосвода.

А тараканы знай шуршат, шуршат,
кот ловит перепуганных мышат,
бездомный муж на вентиляционной
решетке, в древний кутаясь тулуп,
пёт из горла. И песня льется с губ,
безмолвная, как пруд пристанционный

из Саши Соколова, с трын-травой
и радугой бензиновой. Постой,

на пышный град в убогой обличовке
из жженой глины - оглянись! Жена
с тележкой бредет, обожжена
безумьем. Ни завязки, ни концовки.

Тем и скушна поэзия, та сhere,
что дышит только светом горних сфер
(шучу). Сужаясь от избытка чачи
(как бы зрачок), за истину не пьет,
невнятицу бесшумную поет.
И рад бы изменить ей, но иначе -
не смог бы, нет. Прощальна и проста,
снимает тело мертвое с креста
и, тихо прихорашиваясь, плачет.



Александр Бабушкин

ЛЕНИНБУРГСКИЙ РОМАНС

Стихи

мне кажется уходят поезда туда куда не дотянуться строчке поэты любят чтоб была звезда как в роуд-муви шпалы одиночки чтоб осень чтобы ливень чтоб кресты мосты посты и часовые стрелки мне кажется слова давно пусты ноль в колесе по кругу мчащей белки мне кажется за формою дождя мне видится как в полдень слепнут совы толпа в предощущении вождя и ум в печальных поисках основы мне кажется в прокуренной ночи не спят врачи пожарники и стражи ждуг склянки для анализов мочи и парусники смены такелажа над спящим миром крестик самолёт лист пастернака финиш подрифмовки обкусанные пальцы недолёт великий смысл внезапной остановки когда бы за течением воды умыслить переходы лука в лиру я думаю печальные труды бессонный мозг насылует квартиру отдай бумаге выплюни комок и дай зарок довольствоваться малым а за окном гуляет матерок и гонит околесицу по шпалам

а в стратосферах
в ловких танцах страт
в пунктирах биоритмов мироздания
божественный и гибельный парад
сердечного несчастного мерцания
далекий звездный свет
парад планет
и прочая и прочая
и всё же
антенною не спит в ночи поэт
размазывая соль по пьяной роже
великий химик – космос интеграл
покрыто мраком всё и шито-крыто
как тот межгалактический причал
войны и мира в реках гераклита
а он сопит
затяжки топят в воск
закидывает шило в глотку – розги
и весь сплошной изогнутый вопрос
вопросом на вопрос сжигает мозги
а в стратосферах
в этих блуднях страт
великий магистрат считает души
парад планет предчувствует закат
и стонет
аж закладывает уши

Отлеталось.
И крылья сложил.
Сопла вдрызг.
И соплива подушка.
Как-то криво и косо прожёл.
Как дожёл –
от полушки до кружки.
С пойлом
(господи!) – чистый бензин.
И на кухне,
в ночном пищеблоке –
Чем запить-то?
Ни Зин, ни кузин.
Все сбежали от этой мороки.
Свет поэзиеф! Проза мертва.
Шприц в бедро,
и три кубика нервам.
Нас несет по просторам канва.
Где ты, первый?
Я следую стервой.
Я из этой, из чистой Любви.
Свет стерильный.
Больничная хата.
Это гибельность с детства в крови,
И за что-то треклятая плата.
– Ни фига! Я люблю тебя, жись!
(Эта сказка черна и интимна).
Сколько раз я шептал: «подавись!»
И надеюсь, что это взаимно.

я почка
я кочка
я радиоточка
я отчимом дочкам
разбитая бочка
я отче не ваш
не спаси меня боже
я ложен
я как-то неправильно
сложен
я пропитый
с кожей дряблой обвислой
я весь мочекаменный
и углекислый
с моста
этот вечный развод над невою
и этой неве

про вину свою вою
инфантом в разлив

я поранил свой пальчик
бежит к тебе мама
твой старенький
мальчик

Гори, гори, моя звезда.
«Монады»*.
Приготовь подушку.
На ловких стрелках поезда,
где переводят куш на Кушку.
На дальней станции сойдет.
Какой-то.
Пронесется мимо:
– А вдруг не я?
И мысль уйдет.
Иной
за далью неловимой.
Не тут.
За тридцать земель
произойдет строка в бумаге.
И мыслей этих карусель...
И через горы и овраги
несет энергиями ток.
С чего вдруг мистикой контужен?
Лежишь глазами в потолок.
И на фиг никому не нужен.

* «Монады» Д.А. Пригов

БГ
бегония
огней
так много городских
и в пригород
тех Ленинградских областей
от областной судьбы твоей
сбегаю к черту
словно выпорот
уж век – очко
там Дэвенпорт
в зал славы за Большою лужею
а я ничком
«Советский спорт»
о том втирает мне за ужином

случайно за бугром издат
плетусь в разбитый «Лениздат»
на Моховую
тот – Фонганковский
который был «Политиздат»
лихими мальчиками взят
и значит не противотанковый
за далью не такая даль
а только пьяная печаль
ночами памятью конгуженый
лицейское на вес
миндаль
и Невский
голый и простуженный
поговори со мной о том
вот Цокотуха
Кошкин дом
а Сол Беллоу
разбил всё «Герцогом»
всё перемешано кругом
скелеты
шкаф
и я за дверцами
с лошадкой-палкой
детский плач
и Таня уронила мяч
и тот
кого не помню папою
и память –
форменный палач
и мишка
с непришитой лапою

я к вам пишу
как костыли к ушу
как правила
к клиническим ответам
я ветром полоумия шурушу
глумясь
над дисциплиною сонетов
как вавилонской башни
магистрал
венком к решётке
и не в летнем саде
а за которой падаем в астрал
и водка в глотку
льется на надсаде
я к вам пишу о чем молчит поэт

а свет ложится завтра на работы
куда мильярдно
выписан билет
где нет субботы
чёрные субботы
и в поте лиц
а подле чёрных касс
грошовое отчаянье веселья
и падают звездой
в последний раз
зажечь
и
в вечный мёрзок новоселья
я к вам пишу
а более чего?
ни вкривь ни вкось
лишь с косяками знался
я так же как и все
искал всего
и за земную ось не удержался
заварен чай
заточен карандаш
а дашь? не дашь?
всё врет лигература
а истинно блаженен бумбараш
и обгрызая кончик кох-и-нура
и пепел на пол
мимо чашки чай
ну где ты?
выручай!
сорвались строчки
к тебе пишу
иди уже встречай
ищи в приюте
место одиночке

Ленинбургский романс

*Моим дочерям,
появившимся на свет на Васильевском острове,
Татьяне (в Ленинграде) и Наталье (в СПб)*

заутреня
и с горем пополам
с горючим чаем
чаяно ль нечаян
и в хлам
и хоть в окно
бежать словам

и наступает день
до слез отчаян
и снегу
этот день не пережить
растворено
пропащее в природе
течет
уже вот-вот
должно поплыть
как смысл
на философском пароходе
безглазому туману
все равно
всепроницаем
плесенную пищей
ума непостижимое
как дно
и осознание
сколь давно ты нищий
как пропасть
поражения в правах
не биль а был
и боль развоплощения
зима
на петербургских островах
кладбищенская сырость
просвещения
витальный смог
неистребим совок
как запах щей
с конногвардей газпрома*
как воробьев
таджикский говорок
как серость
ленинградского горкома
в зените** сплава
в ротенбергах ска***
шаломе мордобоя
финкельштейна****
былая слава
невская доска
прогресс
как относительность
эйнштейна
с утра соплей
слезами не залей
а до идей
как до фантазий клодта

излюбленными
яйцами коней*****
а резус не прошел
в приемной отта*****
и мы помчали с водами
большой*****
он принял нас
васильевский блаженен
и век поплыл
узбекской анашой
и смылся
как с купюр
миндальный ленин
и смылись все
и смысл между строк
уж четверть века
как не появлялся
проснулся рано
как щенок продрог
и сел писать
как сэсээр распался

* офисы «Газпрома» на Конногвардейском бульваре
** ФК «Зенит»
*** Ротенберги, владельцы ХК «СКА»
**** Вадим Финкельштейн, владелец M-1 Global
***** легенды о конях Клюдта на Аничковом мосту
***** НИИ Акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта (роддом)
***** Большой пр., ВО

Б.П.

сентябрь
достать чернил и вылить
и запретить стихи строчить
дать закодированным
выпить
глухонемым
заголосить
услышать это оглашение
слепым
увидеть память снов
умалишенным
на мгновенье
явить творение основ
а смысла нет
в листве горящей
в осеннем вызове воды
но есть

в природе говорящих
предошущение беды
как в той
оставленности богом
душа предчувствует обрыв
сплошной шлагбаум
всем дорогам
и окончательный разрыв
...
до февраля не дотянули
навзрыд
в сентябрьскую течь
и в тех чернилах
утонули
и здравый смысл
и ночь
и речь

жене (...на 1981 год)

это чистое виденье
сон пугающей мечты
как над юношеством бденье
гений чистой красоты
том стоит а под обложкой
фото той что сердце рвет
эти формы
эти ножки
эта челка
этот рот
над доской портрет толстого
а ботинки сука жмут
не приемлет подростковый
ум ни май ни мир ни труд
вот она головкой вертит
чувет женское вперед
а в глазах такие черти
в животе водоворот
это было
было дело
тыщу лет тому назад
это старость полетела
в юность
в школьный ленинград

не ждите не ждите
ведь лучшие годы прошли
они с нами шли

когда мы
и не знали об этом
мы их не заметили
мы за ответами шли
они нас нашли
когда мы
уже знали об этом
что лучшие годы
ушли

правда с кривдой
сидели на горочке
а под горочкой
рай или ад
только всяк
кто с спустился
с пригорочка
не вернулся
с ответом назад
все покинули
канули
сгнули
белый свет
ожиданьем томим
правда с кривдою
вдою раскинули
знать придется
спускаться самим

этим строчкам
не светит конец
ни к чему не ведут
раз зачеркнуты цели
в этой матрице
гибельно всё
ё моё
бедный федоров
как же хотел ты
нас всех воскресить*
очень прост этот план
и тебя ни о чем не спросить
не спросить соловьева
не софийствует больше никто**
лишь ночами артур
в своем черном пальто
все кукует на горной вершине
всё о мире как воле

представление звездам рисует
корень четверояк
для закона
оснований достаточных нет***
и счастливейшим был
нерожденный****
пустота пустотой
в пустоту опускается шар
свет рождается мертвым
в девайсах иконах
миру прах
и на вечныя лета
если быть
оснований достаточных нет
спи и ты бодрейяр*****

* Фёдоров Николай Фёдорович – русский философ-богослов, основатель «русского космизма» и «философии общего дела» как «всеобщего воскресения усопших», которое считал исполнением Божией воли.

** Учение русского философа Владимира Соловьева о Софии.

*** Артур Шопенгауэр. Основной труд «Мир как воля и представление». Ключом к нему служит работа «О четвероюком корне закона достаточного основания». Ключом к которой являются «Афоризмы житейской мудрости».

**** Датский философ Сёрен Кьеркегор в своей работе «Несчастнейший» самими счастливыми назвал нерожденных.

***** Французский философ Жан Бодрийяр.

подающим надежды
вот так эту жисть и дожить
стихотворчество пить
и доить ненавистную прозу
раскорячившись между
себя изводить и душить
даром перевода
переваривая целлюлозу
а и проклятый творчеством
корчеством выкорч иван
дураком доживать
пережевывать буквицы пищу
этим именем отчеством
вдавлен до пола диван
этим отчеством именем
выстрочен сирый и нищий
ты поплачь дурачок
а и явится чудо чудес
из словес до небес
славы блеск
вензельета крылата

и отскочет крючок
и придет вседержитель собес
и глагольствует уес
золотая шестая палата

Не парадоксов друг.
Не гений.
Так получилось.
Мир растений.
Кто вкривь, кто вкось.
Межзвездный гость.
И сами звезды.
Всё былось.
И что ему тогда казалось?
И ведал ли?
Какая жалость...
Нам знать того...
И что он нам?
Когда и мы, и всё –
он сам.
Куда забрел уже не знает.
И этим миром пребывает.
От мира есть.
И миром есть.
И миру мировая весть.

обожрешься собой
захлебнешься словами
пой рефлексия
ной
бог привет
между нами
за тобою собой
наблюдает оно
дно проекции той
о моё сатанó
человеко за веко
бревно во всю зенку
тем бревном
я пожизненно
вмазанный в стенку
припечатан
за лужей большой
напечатан
и надежно в ряды
запечатанных спрятан
рвется вон из себя

охреневшее эго
в микроскопе творец
наблюдает как мега
среди прочих
микробом корячится мег
задыхается
бедный
смешной
человек

когда из букв
кончились слова
когда самих не стало
этих букв
космические струны
трын трава
не выдавили
поминальных звуков
все ухнуло
в кромешную дыру
все провалилось
в мóрок коматозный
вселенский пес
забился в конуру
и выл на звезды

я повякаю
чего-то накалякаю
я состряпаю
свой гоголь-моголь свой
я кириллицею
столбиком заляпаю
лист бумаги
паранойей дождевой
серым грифелем
на белое и серую
мышью шишелом
и мышелом тоска
словно тришпер
из общаги сэсэсэровой
гвоздь
и тем гвоздем
прошита доска



Леонид Тучинский
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Сердце билось, билось, билось.
Час за часом, каждый день
За свободу, справедливость
И другую дребедень.
Ты скажи, скажи на милость,
Друг, какого вдруг рожна
Ты вчера остановилось,
Не добившись ни хрена?

Рубили лес. Летели щепки:
Берёза, ясень, дуб, сосна.
Топор вгрызался споро, цепко,
Не зная отдыха и сна.
Да, не легка была работа.
Лес вековой – ох, не легка!
Теперь на тех местах болото,
Должно быть, тоже на века.

У анчутки ухо чутко,
Лишь услышит скрип души
Налетит тотчас анчутка
И утащит в камыши.
Верить сказочкам ничуть мы
Не спешим. Скрипи душа!
Сладко чавкают анчутки
Днём и ночью в камышах.

Как было в книгах всё понятно:
Слова, характеры, дела.
Да, даже если безвозвратно.
Да, даже если кровь текла.
А в жизни дни не рифмовались.
Сюжеты были, но без тем.
Встречались, жили, расставались,

Дрались, мирились... А зачем?
Листаешь: числа, числа, числа,
Безумный слоган «се ля ви»...
Ах, в книгах было столько смысла,
А в жизни смысл один: живи.

Комиссары в пыльных шлемах,
Коммерсанты в круглых шляпах,
Продувной навывлет шельма,
На просвет святейший Папа
Хороводят, верховодят,
Воду льют и тушат свет -
В общем, делают погоду.
Климат делает поэт.

Вот здесь летала стрекоза,
Кузнечик бодро прыгал в травке,
Лягуха пучила глаза
Из заболоченной канавки.
Их нет. А я зачем-то есть,
Вершок пожухлый корнеплода.
Не велика, милочек, честь
Венчать отсутствие природы?!

Мне нечего тебе сказать,
Мой век. Прими моё молчанье.
Так и напишем в завещанье:
«Мне нечего тебе сказать».
Живи. Точнее доживай.
Дожевывай остатки жизни,
И не зевай на нашей тризне...
А, впрочем, чёрт с тобой, зевай!

Вот комарик тонконог
Маленький, малосенький,
Он ужасно одинок,
От того и грустненький.
Вот он сел ко мне на лоб,

Пообщаться хочется,
Я его ладошкой хлоп -
Спас от одиночества.

Космополит, нонконформист! –
Кричит мне тощая берёзка.
В негодование мелко лист
Её дрожит. И метит хлётко
Промокшей веткой по щеке
Меня отметить, как Иуду.
Пожалуй, спорить с ней не буду:
Иду, и пальмы ветвь в руке.

Я стар, я стар, я супер стар,
Не в смысле, что конец настал,
Нет, я – звезда литературы!
Но то, что я большой поэт,
Большой, большой, большой секрет.
Об этом знает лишь сосед,
Любитель выпить под сонет,
Да две соседки дуры!



Маквала Гонашвили

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Как искали друг друга они, как друг к другу стремились –
Человек и Всевышний, и каждый в другого глядел...
А в ладонях моих два крыла, два отрезанных - бились,
И казалось, что веер в руках трепетал и белел.
Я не помню, не знаю – кто крылья ломал мне до хруста,
Кто захлопнул ворота, – и небо закрылось вдали,
Кто сначала мне дал откровенье – стоглазо, стоусто,
А потом оглушил на шершавых ладонях земли...
А земля, как уставшая мать, как голодный ребёнок,
Так просила о ласке, о слове, о деле меня:
То кричала во сне, то меня поносила спросонок,
То в раскаянье бурном дарила рубины огня.
То меня ревновала ко всем сквознякам, то в раденьи
Расстилала ковры самых нежных фиалок своих...
И тогда я узнала, что значит полёт и паденье,
Что такое соблазны, и лица какие у них.
Вот когда небеса отражались в канавах и лужах,
Содрогались, почуя, что с женщиной схожа и я:
Так слабы мои руки, и хищный, беспомощный ужас
Дышит женскою страстью и заполняет меня.
Неужели не ведомо мудрому, вешему небу,
Что и ангел пропащий с крылом перебитым – потом,
На земле прозревая, презрев всё, что здесь на потребу,
Превращается в слабую женщину с жалобным ртом.

ЖИЛИ-БЫЛИ

Улыбаешься мне и из прошлого ты еле-еле,
Обнимаешь за плечи меня – так светло и легко...
Только ты меня больше с собой не захватишь в Хомхели.
К снежным синим вершинам, высоко-высоко!
Там, в Хомхели, есть хижина – прямо в ореховой чаще,
Где огромное солнце пытается в тень заглянуть.
«Ах, малышка!» - ты шепчешь мне, словно пытаясь летящий
Облик времени остановить, чтобы вспять повернуть...
Я от сказок твоих убежала, мой дедушка славный!
И в дороге я встретила дэвов и гномов, и вот –
Тот, кто с Богом боролся, тот истовый, тот своенравный,
Святотатственный дух наказания торжественно ждёт.
Потому что и в сказке расплата грядёт за деяньем

И волшебники бродят по жизни, и бесы снуют,
Три дороги лежат возле камня судьбы по преданьям,
И у каждого озера ночью русалки поют.
И о боли моей ты, мой дедушка, вовсе не знаешь.
Как стоит одиночество посередине земли!
Ты колёса судьбы, как телегу, по мне прогоняешь,
Чтобы к ране кровавой слова прилепиться могли.
«Это только начало, – ты мне повторяешь, – начало...
Если холоден воздух, тяжёл он, как будто свинец,
Помни только о том, что ты в добрую сказку попала:
Чем страшней в ней события, тем будет чудесней конец!»

Переводы Олеси Николаевой

В ЗАКОЛДОВАННОМ КРУГЕ

Люди размежевались по сотам
И устали тупо в экраны,
Затянуло их разум в болото,
Полусонно оно и туманно.

Чуть проснёмся - ломимся в палаты,
Там вельможи подбросят костей нам,
Были мы всемогущи когда-то,
Ныне рады и доле постельной.

И под дудку мы пляшем чужую,
В упоении, как скоморохи,
И на барских пирах мы блядуем,
Подбирая упавшие крохи.

Снова пир. Изнемогли от танцев,
К чёрту прямо в объятья лечу я -
То кормлю я хозяев – паяцев,
То заблудшего сына ищу я.

Я и дочь, я и мать. В мире брэнном
Я зову вас - и боль в этом крике.
Я - страница из книги Вселенной,
Только вырванная из книги.

Ни отчизны, ни рая другого
Не желаю, хоть в стенах - прореха.
С настоящим я прошлое снова
Склеить пробую, да без успеха.

Не оставь меня, Господи-Боже,
Отврати от меня - сделай милость

Этих высокомерных ничтожеств,
Что купили себе именованность.

Башня замкнута. Тьма - в целом свете,
Я на грани безумья, в испуге.
О, доколе терпеть пытки эти
И ходить в заколдованном круге?

ПОДАРИТЕ МНЕ ЛУНУ

И ангел-хранитель мой сбился с пути,
И хляби разверзлись небесные,
И падалью город пропах изнутри,
И мертвенны горы окрестные...
Город – базар,
Вести – кошмар
В муках
Кромешных,
В помыслах
Грешных
Душу
Сгорбило
Скорбью...
Купол небесный треснул и рушится –
Огромный,
Голод и холод выпили душу
Жадно.
Кто из достойных тут уцелел,
Не озверевши?!

Ловят прохожих стражи-разбойники
В крепкие верши...
Нету доверья солдатам своим -
Власти нас кинули,
Даже прославленные смельчаки
Рты поразинули.
Беженцы знают – свои грабанут,
Так вызвать наёмников!
Хоть бы спасли, защитили бы нас
От родных уголовников...
Город мой, город, воспетый в стихах -
Нитях жемчужных...
Сколько божественных песен лилось
В этих просторах;
Ныне здесь хмурая проза царит
Хрипло, натужно,
Что-то мурлычет, в лицо нам плюёт,
Смачно и споро...

В городе сердца ты ходишь как тень,
Как чужестранец,
Нищему в кепку кинешь монетку –
Сам голодранец..
Нищий пошлёт тебя – слишком скудна
Тётки подачка.
Гордость и честь, и величье грузин –
Вот они, на карачках.
Нищие – вдоль, поперёк – попрошайки,
Вооружённые попрошайки,
Высокомудрые попрошайки,
С кожей, покрытой коростой
Калеки –
Не человеки, не человеки..
На рассвете снова рэп
Раскучорится
И попрутся по вокзалам - площадям
Ясновидящие да гадалки,
Лжепропроки, лжепропрочицы,
И кто ещё там?
В жизни цель одна –
Выживание.
Но стрела летит мимо цели.
Ты в своей стране – беженец
Без пропитания,
Без работы,
И даже без постели..
Бусы яшмовые, шляхи ядрёные,
Толстые, как начальники районные,
Каждый день в рай оные
Передком повертеть приходят.
Волки их, как овец, к водопою водят,
Где вино да брашно,
Где смешно – не страшно.
Голод-холод высосал душу
Безымянных героев, сберёгших честь..
– Что народ намерен есть?
– Друга друга.
– Где таится депутат?
– На сессии. На съезде. На собрании.
Разогнан митинг,
Народ бежит, перепуган,
Затухают страсти,
Затухают сердца в мерцании..
Распоротый народ,
Брат встаёт на брата;
Последний раунд, смотрите, вот,
Купите "баунти" на месячную профессорскую зарплату!

И страх в глазах, и ночь в душе...
Купите, купите, КУПИТЕ ЧТО-НИБУДЬ УЖЕ!!!
Лавки да будки, ларьки, прилавки...
Как ты горюешь, сердце,
Спасенья ища во всеобщей давке...
Город – базар,
Вести - кошмар...
Ну-ка, поэт, не пора ли в окошко
Выглянуть, понаблюдать немножко,
А то и, даст Бог, написать,
Как луне в небесах,
В пламени горящего мусора вольготно плясать.
Ей, охваченной вонью палёной,
Её, задымленной и зачернённой,
Некогда ж романтической и влюблённой,
Радостно в небе плясать...
Или вот человек бежит,
Добытую буханку хлеба к груди прижав,
А на пузе крест, весь измокший от пота, ржав.
Вот тебе тема – где хлеб он достал?
И почему вериг в Христа не перестал?
И как ему удалось сохранить пузо
Размером с полтора арбуза?
Подарите мне луну,
Пропалённую и зачернённую дымом мусора и навоза.
Это не поэзия!
И это не проза!
Так же как Тбилиси мой теперь –
Не город и не деревня,
Не легенда, не явь.
А так – что-то среднее –
Не вброд, не вплавь...
Или разве свободой можно назвать
Обрётённое?
Это не вольница, да и не рабство позорное...
Это не правда, не ложь,
Эту болезнь
Никак ты не назовёшь,
А потому
И лекарств для неё не найдёшь...
Если Господь повелит быть великой воде,
И не останется суши ни пяди нигде,
Будет ли избран хотя бы один человек,
Кто по велению Бога построит ковчег?
Иль не осталось достойного ни одного,
Сгинет Земля, и не выживет в ней ничего?
Предстало прошлое, словно с луны свалилось,
От изумленья или от обиды, скажите на милость?

Прошлое, так похожее на настоящее
(Что для нас явилось откровением),
И у нас неприязненные -
Как у оптимиста с пессимистом, или наоборот,
Отношения...
Потеряв надежду что-либо изменить,
Мы набрали воды в рот, и она начала гнить.
В стоячей воде - неподвижная слизь,
Лягушки в ней завелись.
Город - базар,
Вести - кошмар...
Без руля, без ветрил
Страна,
Ни покрышки ей нет,
Ни дна.
Вот явился властитель дум
И кричит: "Проявите ум!
Вот о чём поведу я речь:
Под Россию нам надо лечь,
У неё молоко сосать,
Нам Россия - родная мать!"
У Фомы Неверующего вопросы такие:
"Так мать нам или мачеха эта Россия?"
"Ну-ка быстро, золы в глаза ерегику,
Единенью с Россией-матушкой врагу!
Потерянное – потеряно, безвозвратно умчалось,
Сберечь бы нам
Хотя бы то, что осталось!
Нам своими руками
Мать-Грузию удалось задушить,
Почему ж теперь мачеху не полкобить?!
Матушка-Россия!!! Матушка-Россия!!!"
С неба падает тело на скалы –
Удар...
Кто принёс себя в жертву?
Дедал? Или Икар?
Или это был ангел падший?
И ангел-хранитель мой сбился с пути,
И хляби разверзлись небесные,
И падалью город пропах изнутри,
И мертвенны горы окрестные...
Ветры свищут в доме без крыши,
Снег и дождь в доме том пируют,
Что же листья летят всё выше,
И чего в небесах взыскуют?
Боже правый, спаси хотя бы
Тех, кто в сердце Тебя лелеет,
Иль к чертям угодим мы в лапы,

Или змий обовьёт нам шеи..
Или крылья – Твой дар предвечный –
Только груз, непомерно-тяжек,
А седины горя не лечат,
А крыла извалялись в саже...
Страсть отправила плоть на муки,
И размыло дороги к Богу,
Как устали, изныли руки,
Что воздеты к Его чертогу...
Нас предали судьба и братья,
Неужели в Тебе не спасёмся?
Пусть дождём нас земля в объятья
Примет – все мы в неё вернёмся.
Отвори же для Воскресенья
Душам нашим Врата Спасенья!
Город – базар,
Вести – кошмар...
Подарите мне луну,
Пропалённую,
Подарите мне луну
Зачернённую...

Переводы Владимира Саришвили

* * *

Похоже, я стала стареть. Чуть чего – и реву.
И дни пролетают как будто в два раза скорее.
У зеркала встану – а в нём моя мать наяву...
О, Господи, это же я! Как я быстро старею.
Гляжу каждый день в календарь – и всё время грущу,
мне кажется, в нынешней жизни ускорилось что-то.
Наверно, старею. иначе, зачем я ищу
для будущей книги своё институтское фото?
Старею, старею... Уже привыкаю к врачам.
простила обиды врагам, себя мыслями грея
о том, что спокойно могу теперь спать по ночам,
ни их, ни судьбу не ругая... Конечно, старею.
И лишь иногда, когда в город ко мне погостить
приедет порой моя мама без предупрежденья –
за тысячей дел я теряю привычку грустить
и вновь превращаюсь в девчонку, себе в удивленье.
А мама целуется с внуками, пьёт сладкий чай.
Мы с ней говорим о знакомых, о счастье, о горе.
Но даже впослова, но даже на миг, невзначай,
она не коснётся отца моего в разговоре.

Он умер давно. (Все мы канем однажды во мгле!)
Он был, как и все, не бессмертен. и жил очень мало.
Я раньше считала, что знаю всё-всё на земле.
Но жизнь пролетела – а что в ней я толком узнала?

ДАЛЁКИЕ ПУТИ

Зере Романадзе

Добро – не прощают. Ну кто же простит тебе то,
что ты можешь щедро делиться деньгами, мечтами,
не ведаешь злобы, душа твоя пахнет цветами
и запах фиалки в тебе вызывает восторг?
Ну кто же простит тебе то, что на боль и на зло
Ты всем отвечаешь прощением, а не проклятьем,
что, словно земля, принимаешь любого в объятья,
и от беспроblemной судьбы отказалась без слов?
Так чудное дерево возле дороги растёт,
и все, кто устали в пути, в его тень забредают,
чтоб персик сорвать (а порою и ветки ломают,
когда высоко от земли им понравится плод).
Тебя гнёт в подкову судьбы беспощадная власть,
а ты только шепчешь с улыбкой мечтательной: "Мне бы
взлететь хоть однажды на крыльях в прозрачное небо..."
Но - чтобы взлететь – надо прежде – хоть раз – но упасть!
Ты так терпелива. Ночами, слагая стихи,
не просишь себе у Творца ни признанья, ни славы.
Стекают с пера на тетрадь золотые октавы,
пока за окном тишину не взорвут петухи...
Талант – не прощают. Ну кто же простит тебе то,
что ты, клеветы не боясь, смотришь чисто и свято?..
... Пока ты не дашь себе быть, как Спаситель, распятой,
на этой планете - тебя не признает никто.

Переводы Николая Переяславова

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Невидимый, бьёт колокол над нами,
И воздух мерным боем леденит.
Архангел с перебитыми крылами,
Взлететь не в силах, с храма вниз глядит.
Плачь, колокол, твой голос похоронный
Да не умолкнет после похорон!
На город песен грянули вороны
(На чёрных крыльях нету ли погон?!)

Мать-Грузия, лицо седою прядью
Скорей закрой, не то ослепнешь ты,
Твою живую землю пядь за пядью
 Покрыли ядовитые цветы.
Вай, сердце, вай, вай, родина, не стану
Одежды рвать и призывать точить
На мечь кинжал, но эту злую рану
 Какое время сможет залечить?!
 Едва мечты серебряные трубы
 Запели, соплеменники мои,
 Исподтишка отравленные зубы
Вонзил нам прямо в душу год Змеи!
Подкованный сапог ребро ломает
И бьёт тупым носком в кричащий рот...
 И если Бог растерян и не знает,
 С кого взыскать –
 пусть спросит мой народ!

Перевод Евгения Сливкина



Лена Берсон

В ЕДИНИЦАХ ПАМЯТИ

Толстая девочка в группе риска
Не выживающих в средней школе,
Как я мечтала пойти в артистки!
Боле чего уж, куда же боле!
В общем, тут можно уже смеяться,
Хохму такую любой оценит:
Я же мечтала под гром оваций
Резко скончаться в финальной сцене.
Чтоб не какой-то там детский лепет
В ТЮЗе, а чтобы во взрослой драме.
Или, хотя бы, как бедный лебедь,
Но по-нормальному, со словами.
Ну, потому что уже не страшно,
Если я больше не Лена, или
Не для того мы меняем страны,
Не для того мы меняем имя,
Приобретая особый навык,
Скрытый в вопросе "Куда деваться?"
На постоянку, навеки, нафиг,
Лучше, конечно, под гром оваций.

Памяти Якова Когана

Не покидай тот город, в котором молод.
Город, в котором, куда ни посмотришь, море.
Город, в котором память, как срез граната.
Город, в котором родной холодок гранита,
Как полотенце ложится на лоб - так надо,
Все перетрется, угихнет, угомонится.

Не оставляй тот город, что так тиранил
Первой любовью, которой всегда не равен.
Город, где если пасмурно, значит, ясно.
Город, где шорох прибоя как шум трамвая.
Город, где мама всеильнее бога Яхве.
И недоступней всевышнего, так бывает.

Где он сейчас, с его сквозняком горячим,
Город, что недораспробован, недотрачен?
Море, куда ни глянешь, давно другое.
Жизнь отступает так тихо, как будто голос,
Бьющийся слабой волною в сухое горло.
Город уходит, смотрите, уходит город.

Как пахнет снегом в киевской Софии,
Как память поднимается со дна!
На фреске – «неизвестные святые».
Ну здрасте – «неизвестные святые»,
Когда я знаю эти имена.
И что экскурсовод ни говори нам,
Как между пальцев прах ни растирай –
Да вот же Зина, Тоня и Марина.
А там, на заднем плане, это рай.
Глядят сурово и не рады, что ли,
В проеме распахнувшихся дверей?
Как будто все еще боятся боли,
Моей боятся боли, не своей.
Прожить не то, чтоб мало или много,
Но ничего не удержать в горсти.
Как их терзали нежность и тревога!
Терзала нежность, Господи прости.
На голых досках, без резьбы и лака,
Они стоят со мной средь бела дня.
Вот бабушка, а рядом с ней собака,
Предательство простившая собака,
И бабушка, простившая меня.

Что же так нагло, бешено не везло?
Прячет мой ангел голову под крыло.
Потом, тебе оперенье, давай бубнить:
Мол, что-то распалось, какая-то, видно, нить,
И эти обрывки никак не соединить.
Он в этих перьях – вылитый трансвестит.
И чуть поверь я – вскочит и полетит.
Но зря он тут крутит пальцами у виска.
Я что-то не помню (а помню наверняка),
Чтоб он приземлился без травмы и синяка.
В нем каждый атом гонит его на край,
Он авиатор, типа как братья Райт.
Какая там видимость, если кругом зима?
Он хочет лететь. Он, конечно, сошел с ума.
«Ну ладно, - ему говорю, - полечу сама».
Я собираю – то, что с собой, в полет.
Ну там, для рая. В общем-то, как пойдет.
А он пожимает плечами: «Тебе видней,
Но там холоднее, чем здесь, и куда темней,
И нет у тебя, уж прости, бортовых огней».

Ну, извините. Где же мне взять огни?
Что же до ниги – связывай и тяни.
Я соединяю обрывки и берегу.
Мои позывные «Ты слышишь меня?» – «Угу».
Но если мой ангел летает – и я могу.

Когда меня сослали в лагерь,
В здоровый лагерь пионерский,
Где надо было веселиться
И что попало хором петь,
Мы с бабушкой договорились -
Когда совсем достанут песни,
Чужие люди, звуки горна
И деревянный туалет,
Я напишу письмо ей: "Здравствуй,
А как живет моя гагара?".
И бабушка отправит маму
Эвакуировать меня.
Гагара очень гармонично
Тогда царила на комодке.
Смотрела черными глазами
Спокойно собирая пыль.
Уже нет бабушки лет 20.
Комода нет и той квартиры.
И некому за мной приехать
И некуда меня забрать.
Но как живешь, моя гагара,
Родная глупая гагара?
И отвечает мне гагара:
"Я просто чучело, а ты?"

Осень в библиотеке следует за зимой.
В темное время года легко стареть.
Я бы могла быть книгой, книга могла быть мной,
Если была бы правдой, хотя б на треть.
Пылью и сладкой прелью пахнут ее листы.
Как мы ее читали, отняв у тьмы!
Темное время века с нами уже «на ты».
Это пока не правда, но это смысл.
Поздно куда-то ехать, поздно менять насест.
Мы себя растраницили, обобрав.
Чтоб из подтекста боли образовался текст

Нужно писать отчетливее, чем Брайль.
Что ни случится с нами, где мы ни окажись,
Как ни читай наощупь сырой фасад,
Мы в единицах боли меряем нашу жизнь,
И подгоняем цифры под результат.

Временами, когда я долго тебя не вижу,
Ты мне кажешься, нет, не старше, а просто выше,
Как деревья из детства: тем выше они, чем дальше,
Если лето, я слышу шум тополиный даже.
Если долго кого не видишь, в сухом остатке
Только память, ее ошибки и опечатки.
Повторяет то так, то иначе одно и то же,
Чем правдивее память, тем менее мы похожи.
Как далекие страны текут молоком и медом,
Чтобы встретить холодным ветром, голодным годом,
Точно так же и память, что вроде непогрешима,
Провожает холодным взглядом, глядящим мимо.
Что ж тогда остается, по-честному, без обмана?
Пара фоток, записка, ракушки на дне кармана,
Повторенье твоей повадки в привычном жесте,
Или огорочь солнца и дробот дождя по жести.
Это, в общем, не выход, но все-таки это выдох,
Помнишь, в детстве кричали маме: «А Лена выйдет?»
Пыль дрожала в подьезде, ты помнишь, и плыло лето.
Если Ленка сейчас не выйдет, зачем все это.



Алина Талыбова
ПОСВЯЩЕНИЕ
УЕЗЖАЮЩИМ ОСЕНЬЮ

...Эти осенние распродажи
С привкусом мяты под языком!..
Темные листья на плитах Пассажа,
Рой купидонов на крыше – рядком.

Нам вот сюда, за растрепанной тенью,
Через пристрелянный кошками двор,
По задыхающимся ступеням,
Стенами, выкрашенными в минор.

По коридорам, приправленным луком,
К двери, где нас так нерадостно ждут.
И нелегальной поэмой разлуки
Список измятый –

что продают:

Мебель эпохи волюнтаризма,
Бра и лысеющие ковры,
Томик научного коммунизма,
Не дошагавшего в эти дворы.

Эти безудержные распродажи!..
Чьи-то костюмы, шиньоны, очки,
Вазы, сервизы, отрезы –
и даже
Грустные кошки и хомячки.

Ах, эти вестники у подъездов!..
Эти береты смешных стариков,
Дети, взволнованные переездом,
Гордые миссией проводников.

Нам вот сюда, за сутулым подростком
Или бодрящейся дамой в летах.
И снова – пейзажики в тесных березках,
Эти обои в невнятных цветах...

Говор немецкий, польский, еврейский
Тянется через тамóжни годов.
Говор усталый, застенчивый, резкий
И торопящийся –
до холодов.

в двориках тесных,
 памятных до слез,
сходились по-соседски
 Ягве и Христос.
И к ним еще подсаживался
 смуглый Магомет,
и разговор налаживался –
 на десятки лет...

Летний вечер поздний,
на крышах –
кошек гроздя.
И сияли звезды
над ними и двором –
не пятиконечные,
не шестиконечные,
 не восьмиконечные,
а – просто человечьи
(и Божии пригом).

Слезы и песни –
пополам и вместе.
Ах, Песах, Песах –
сердце не на месте...

А вот же, прямо к Песаху,
письмо от Бори с Эсей
(или от Фиры с Мишей,
или от Софы с Гришей):

*«...а зимой дождливо.
Две комнаты купили.
Ну, не в Тель-Авиве –
а что мы там забыли?..
А курсы пригодились –
полгода сумки шили.
В общем, попривыкли,
и так, вообще – живем...
А давно вы были
на папиной могиле?..
Назвали внучку Лией
и –
 большой шалом...»*

Однажды летом, в Москве

(Из сборника «Московская баллада»)

Что ж, Таганка, с глазами табачными
И с московскою льдинкой в крови –

Ничего мы толком не начали
И закончили –
до любви.

А запомнилось, что – ровесники,
Очерк юных и впалых щек,
И пажонский отсверк по лестнице
Потрясающе красных носок.

И рассказ про раввина-деда,
И про скорый отъезд в никуда,
И что жалко Университета...
(Эмиграций шальная звезда

Разгоралась над юностью нашей,
И быстро наполнилась темным вином
Расставаний фатальная чаша,
Что испить было всем суждено.)

*«А я скажу вам,
что виза – не главное...»*
И церквушка крестила тайком
Эту очередь неправославных
Православным широким крестом.

Ах, Лето-Лето –
по имени- отчеству!..

Ах, потерянный номерок!..
Мне опять позвонить тебе хочется
И сорваться к метро на часок.

Говорят, поискать – и обрящете.
Только ездите хоть год по кольцу:
Выпал – в щелку, в пыль,
во вчерашнее
Закатился Таганки камушек...
Без него мне Москва –
не к лицу.

Три путника

*Людмиле Ефимовне и Григорию Александровичу ВОЙЛЕРАМ
сквозь годы и страны – с любовью*

...Три путника беседуют над бездной
На мостике, опершемся на ветер.

Давно –
когда-то –
Вечность здесь зевала
И вдруг скончалась.

(Кажется, от сердца).

И с той поры остался этот зев
В чудовишных лиловых складках плоти,
Окостеневший в жутком смертном вздохе.
И в зевных складках, ямах и извивах
Кишиг и брызжет черная река
Слюной помешанного...

А над всем над этим
Сияет небо, словно взгляд ребенка.

И в этих декорациях о рае
Три путника беседуют, конечно,
Или об аде,
или о Всевышнем,
Или еще о чем-то самом главном.
Слова их важны и несуетливы...
И облака отводят от лица.

Но если бы мы подошли поближе
(Вброд чрез небо –
тенью или пгицей –
Не раскачав перила из веревок),
Тогда бы мы услышали, *о чем*
Три путника беседуют над бездной,
Кивая мудро шляпами друг другу:

Что –
снова в моде желтые сандалии,
Что –
щиколотки девичьи как серьги
Старинных мастеров –
такой же тонкой
Работы... Что жучок испортил вишни,
Что хорошо в жару сушить циновки...
Что рыбу лучше есть совсем холодной...
И что сосед их бьет жену и сына.

А рай и ад глядят на них с тоскою
Глазами трав, пробившихся сквозь камни,
Как брошенные в кладовой игрушки
На выросших хозяев –
или как
Нелепые, из косточек свистки,
Отцам семейств попавшие в карманы...
А рай и ад глядят на них с тоскою
И виновато сознают никчемность
Свою в непредсказуемом сравненьи
С холодной рыбой и горячей сплетней.

(Кто эти камни?..

Что мы в этом мире?..

О чем поют перила из веревок?..)

Три пугника беседуют над бездной

В конце июня или, может, мая.

Над бездною, как птицы, их ладони.

Они пройдут –

и опустеет мостик.

...Который год в своей плетеной рамке,

Зависнув между шкафом и диваном,

Три пугника беседуют над бездной

В одном – увы!.. –

приснившемся мне доме,

Которого на свете больше нет.

Песенка об июньском трамвае

Снова вижу я сон:

на рассвете по улочкам узким

Едет красный трамвай

и звонит на подъемах и спусках.

И бегу я за ним,

и вскочить на подножку стараюсь,

И вот-вот догоню...

И – опять, как всегда, просыпаюсь.

И не знаю, с чего и зачем,

мне трамвай этот дался,

Ведь сейчас и трамваев

почти что уже не осталось.

Но опять он идет, громыхая,

навстречу рассвету.

И звоночек звонит,

и летят занавески по ветру.

(...Ах, июньский трамвай,

ах, июньский трамвай,

Ты свернуть в мою улицу

не забывай.

И во сне даже –

не забывай...)

Но однажды я в красный трамвай этот

все-таки сяду.

И меня он домчит

без билетов и без пересадок

В год, не знаю, какой,
но такой, где судьбою хранимы,
Снова вместе справляем мы
Пасхи,
Новрузы,
Пуримы,
Где соседи ключи и детей
доверяют друг другу,
Там, где черненький парень
целует блондинку- подругу
На рассветном бульваре...
Все войны уже в хрестоматиях.
И чинары шумят,
и, как девочки, спят наши матери.

*Ах, июньский трамвай,
ах, июньский трамвай,
Я прошу тебя только –
не опоздай!..
Ты, пожалуйста, не опоздай...)*

**Монолог уличного торговца
на проспекте Руставели**
(«Лит.А3» - 2014)

...И я там жил,
и я там был,
и я там душу схоронил
на абшеронском берегу.
Я без нее прожить – могу.
Душа – она ведь не нога,
не глаз, не ухо, не рука,
не хлеб, не соль,
не свет, не тень.
Я вижу каждый божий день:
благополучное людье
живет прекрасно без нее...

Страшнее нет проклятья, чем
вам жить в эпоху перемен:
зигзаг истории – и вот
страна обрушилась, как свод.
И запылала в тех потъмах,
и партбилеты, и дома,
и эмигрантов хоровод
взвихрился над страную...
Вот
где, Данте, матерьял для саг
новейших:

кто здесь друг, кто враг,
кто праведен, кто грешен – Бог
их разберет.
Я бился лбом
в бетон ревущих площадей,
в чугунолицых их вождей,
но ничего понять не мог...

Я помню: ночь и лунный рог,
на масляных волнах паром.
И нам казалось, что Харон
свою посудину пригнал
на этот ледяной причал.
И пуль трассирующих свист,
и друга старенький «москвич»,
пробившийся сквозь этот ад.
Друг был ни в чем не виноват,
мы плакали, обнявшись, но
вокруг дурное шло кино,
где говорилось, что *должны*
друг друга ненавидеть мы,
что мы теперь –
враги навек...

...А после долго падал снег
в далекой северной стране,
Где довелось скитаться мне.
Я был мигрантскою трухой
На той столичной мостовой –
Похерив «красный» свой диплом,
Я в руки взял простецкий лом.
Я дворничал и зимовал
В лифтерке, тесной как пенал,
С усталой матерью своей –
Земля да будет пухом ей!..
А позже я бежал на юг –
Подальше от державных вьюг,
Поближе к...
– Берёте?.. Вам
Я уступлю как землякам.

Я к новой родине привык,
Стал здешний понимать язык.
Немало здесь своих красот,
(И ровно столько же забот).
С работой мне помог сосед,
Я не разут и не раздет,
И лучшей доли не ищу.

Я с иностранцами трещу
На бойком инглише своем,
Им разъясняя, что почём
Среди изделий в стиле «фолк»...

Наверно, есть какой-то толк
В происходящем –
им видней,
Вожатым душ и площадей.
А плачущий дождями Бог –
Он тоже, в общем, одинок:
Ни друга, ни жены... И я
Его жалею, как себя.

А на досуге на своем
Я размышляю вот о чем:
Еврей, украинка, грузин,
Азербайджанка, армянин...
Вы – бабки и деды мои,
Как примирить мне вас в крови?..
Как вычленить единый ген
В эпоху грозных перемен?..

Я здесь не свой,
и там не ваш:
Не каравай и не лаваш,
И не маца и не чурек –
Тот самый «лишний» человек,
О ком твердили в школе нам.
– Ау, страна, друзья, жена!..
Работа, дети, милый дом
И белый город за окном –
Ау, несбывшаяся жизнь!..
Душа, сорвавшись,
рухнет ввысь,
И встав пред Господом благим,
Обнявшись, мы заплачем с ним...

К Шагалу

Я не очень вас понимаю,
Дорогой васильковый мэтр,
Но я тоже ночами летаю,
Поднимая ресницами ветр.

Мастерю на бумаге окна
И – взлет – занавески к ним.
(А без лампы нежней любовникам,
И серым, и голубым.)

И в моих запотевших стеклах
(По городу в каждом окне)
То ли Витебск, то ли Моздок ли –
Ах!.. –
Париж примерещится мне.

Мигры,
звезды,
свастики,
скипетры...
Всех историй душный нагар.
Но к утру взойдут на палитре
Густые замесы чар.

– Эпатаж?..
– Шарлатанство?..
– Учение?..
Этикетки в годах умрут.
Но без всякого без стеснения
Витражи к небесам растут.

В небе звездном угол срезает
Звено реактивных коров...
Я не очень Вас понимаю –
Мне невнятен язык волхвов.

Пост-Шагаловское

Из цикла «Долгое прощание»

Который год, который век подряд
Над городом влюбленные парят.

А я сама была той вечной Беллой
В каштановых кудрях и с узким телом.

И я была, как воск, в твоих руках,
В клубившихся над нами облаках.

Припавши головой к груди твоей,
В измятом платье цвета всех морей.

И я роняла туфельку с ноги
На чьи-то океаны и пески.

Манжетой зацепив за Нотр-Дам,
Пролетных птиц зовя по именам...

Наш Витебск сложен, пышен и богат:
Он снова громоздит – за рядом ряд –

Лачуги из бетона и стекла.
В одной из них я, помнится, жила

За прутьями своих сплетенных строк.
Меня хранил надежно потолок

От глупости полетов – и дождя.
Я счастлива была тогда, летя.

Вдыхая ветер, пахнувший тобой,
И бархат блузы чувствуя щекой.

Я знаю – ты напишешь в свой черед
Сухую кистью встречный город тот.

Банк и отель, бордель и стадион...
Дневной азан или вечерний звон,

Минхá иль месса – вряд ли различишь.
В круговороте следствий и причин

Я медленно седею на лету,
Вкруг сердца осязая пустоту.

Наш Витебск прожит, выжат и в прокат
Сдается – всем желающим подряд.

Но фреска да хранит парящих нас...
Прошу: живя хотя б еще сто раз,

Женясь, плодясь и пополняя счет,
И беспокоясь славы насчет,

Нравоуча детей, грубя врачу –
Не отдавай забвенью-палачу

Ты бедной Беллы смутные черты...
Но знаю я –
меня уронишь ты.



Филипп Исаак Берман

КОСЫНКА В БЕЛЫЙ ГОРОШЕК

Рассказ

Так всегда бывает в этих местах, да и не только в этих, до поры сухо, а потом заладят дожди, захлестнут все, а дел еще непочатый край. И так по неделе частят, с утра, с небольшими дневными или вечерними перерывами, под сплюсненным небом. И вроде бы не сильный, а мелкий, и хворый дождь. Расползутся дороги, станут мылкими. И машины крутит из стороны в сторону, делают пережег бензина. И тогда вернее транспорта, чем лошадь, нет.

Теперь Антонов пожалел, что свернул на эту развилку, потому что геодезиста он так и не нашел, хотя проехал он уже много, а теперь и вовсе не знал, куда сворачивать.

Лысый плелся понуро, копыта его часто разъезжались, он припадал, но быстро восстанавливал свое первоначальное положение, как человек, поскользнувшийся на льду. Однако телега выскивала свою колею сама, и тем облегчала передвижение Лысому.

Антонов сидел на мокром сене. Ехать ему было далеко, и собираясь, он положил побольше сена. От долгой и валкой дороги он устал и потому иногда ложился в телегу, уставившись в хмурое, будто застиранное небо. Дорогу ему никто не указывал, дали лошадь, да и он сам думал, что найдет, потому что степь не лес, и однажды он уже был там. Он вспомнил всю свою дорогу, по которой он с утра тянулся, и подумал, что обратно возвращаться уж резона нет, а дорога должна была все-таки привести к какому-нибудь жилью, потому что обратно, в этой одинаковой кругом степи, можно опять поехать не туда.

Дорога действительно привела его в деревеньку из нескольких дворов, расположенных, однако, далеко друг от друга, а возможно, это был только отшиб даже большой деревни, скрытой отсюда сопками.

Он въехал в первый же ближний шаткий двор, стал там, и пошел к черному от воды, старому сруб. Сперва попал он в маленькую переднюю, а потом толкнул дверь и оказался в основной, наверное, и единственной комнате, где было темно.

– Можно? – спросил Антонов, став уже за порог и ожидая.

– Ктой-то, незваный? – отозвался резкий женский голос из-за ситцевой, от пола на всю комнату, занавески. Антонов оглядел комнату, дощатый пол с щелями в палец, прямо перед ним открытую без дверцы печь, которая едва топилась и давала в комнату небольшой жар и свет. Справа, под низким и нешироким окном, вдоль стены, стояла длинная лавка. Из-за занавески вышла женщина, босая, застегивая юбку. Сверху она была в белой и чистой из грубого полотна рубашке под самое горло, не оставляющей ничего открытым.

– Чего глаза пялишь, – сказала она Антонову, прикрыв грудь ладонью, – дверь затворите, небось, холод.

Антонов неловко прикрыл дверь и теперь стоял, ожидая, что она скажет. Она вышла, чтобы прибрать волосы и набросить платок на плечи, и Антонов увидел на занавеске выпирающую ее ногу.

–Идите к лавке, чего пнем стоять-то, – сказала она.

Антонов прошел к лавке, стараясь меньше грязнить, сел и положил руки на колени. Он подумал, что, может, у нее нет мужика, и ночевать у нее будет неловко, и потом начнут говорить, что привела к себе заезжего командировочного.

–Чего надо-то, чего мне с вами делать-то? – спросила она, осматривая Антонова.

–Геодезист мне нужен, – сказал Антонов, – дома надо ставить. Сейчас не успеем, зимой поздно будет.

–До Степаныча далеко будет, – сказала она, – куда ж теперь до него-то. С утра надо.

–С утра и еду, – ответил Антонов.

Он посмотрел в окно, снял свой намокший брезентовый плащ, и не найдя на стене гвоздя, положил в угол.

–Как звать вас? – спросил Антонов.

–Настей звать, – ответила она. – А зачем вам?

Он не знал, что ему сказать, они помолчали немного и, решившись, Антонов сказал:

–Переночевать мне надо, Настя, вот что.

Она встала, прошла босиком до печки, вынула неостывшую еще из духовки и неочищенную картошку и дала Антонову.

–Нельзя мне. Двое у меня детишек от разных мужиков за занавеской. А своего нету.

Антонов посмотрел и вспомнил, как она прикрыла ладонью грудь, и подумал, что было ей не больше двадцати шести.

Он разломал картошку и, очищая шкурки, раскладывал их на лавке, чтобы потом класть туда чистую. Потом достал из полевой своей сумки, от Парамоныча, выданный им же спирт для геодезиста, и черную буханку хлеба, купленную в Харлове. Антонов решил, что стоит уж сегодня выпить, раз уж неизвестно где будет ночевать сегодня, и будет ли вообще, хоть и был спирт для геодезиста.

–Что ж я соли-то не подала? – сказала Настя.

Она быстро встала и ушла за занавеску и принесла оттуда банку соли.

–Давайте выпьем, Настя, – сказал Антонов.

–Только стаканы нужны, а потом я пойду.

Она принесла стаканы. Он налил по полстакана ей и себе, и они выпили. Она сидела тоже на скамье, и между ними была чистая картошка на разложенной им шелухе, и банка соли, и начатая неполная бутылка спирта, и два стакана.

Антонов разломал хлеб. Подал половину Насте, густо посыпав солью.

Они съели по куску хлеба с солью и по картошке. Картошка была даже теплая.

Лампа стояла на подоконнике, и им было светло.

–И лук есть? – спросил Антонов.

–Есть, – обрадовано сказала Настя. Она достала лук, очистила и теперь сама, макнув целую головку в соль, подала ее Антонову.

–Люблю смотреть, как мужик ест, – засмеялась она.

Она и сама взяла луку, и теперь они оба ели картошку и хрустели луком с солью и черным хлебом.

После спирта Антонову стало тепло, и он подумал, после того как Настя засмеялась, что хорошо бы остаться здесь и никуда не ходить.

И Насте тоже стало тепло, она радовалась, что может посидеть тихо, поест картошки и выпить с мужиком. И вся ее дневная маята исчезла сейчас, и она подумала, что хоть и нескладная ее жизнь, но бывают и у нее хорошие дни.

Антонов налил еще, и они выпили снова.

–Хорошо пошла, – сказал Антонов.

–И у меня тоже, – ответила Настя, и они оба рассмеялись.

Они съели еще картошки и луку, и теперь они ели только отломанные от хлеба запеченные корки, а мякоть оставляли, потому что голод уже притаили.

–А как вас звать-то? – спросила Настя, теперь уже не смущаясь этого незваного мужика.

–Антонов, – сказал он, привыкнув к фамилии своей в институте.

–Значит, Антоша, – сказала Настя.

–Можно и так, – сказал Антонов, улыбаясь.

Кто-то из ребят задвигался за занавеской, и Настя встала посмотреть. Потом она вернулась. Они доели картошку, теперь уже без лука и хлеба, просто с солью. Потом они посидели еще.

Антонов молчал и не знал, что сказать. Он подумал, что, может быть, это и есть счастье.

Лампа на окне погасла. Антонов вздрогнул.

–Кончился керосин, – сказала Настя тихо, – идти за ним далеко, аж за сопку.

Антонов ничего не ответил. В комнате было уже совсем темно.

Между ними, на лавке, стояла банка соли и расстеленная по лавке шелуха, и лежал плохо пропеченный мягкий хлеб.

Он отломал кусок этого хлеба.

–Пойдемте, – сказала Настя.

Я останусь здесь, – сказал Антонов. – Я никуда уже не пойду.

Настя встала и принесла ему его брезент из угла, и он начал медленно натягивать его.

Она вышла поглядеть на улицу.

Она открыла дверь, и ее обдало дождевым шумом. Теперь лил серьезный настоящий дождь надолго. Она глянула в темноту и ничего не увидела, ни двора, ни кола, даже своего валкового забора.

И ей стало горько оттого, что нигде не было света, что гостил у нее чужой незванный мужчина, что Антонову надо уходить, и что ей теперь, уже придется оставить его у себя. Она прислонилась к косяку и тихо заплакала. Но ничего не было слышно, потому что лил серьезный настоящий дождь надолго. Потом она вытерла глаза и вошла в дом.

Пока она так стояла, будто вся жизнь ее уже прошла и закончилась.

Антонов уже оделся и ждал ее, чтобы проститься. Он уже не думал о погоде, о домах, и о том, где ему придется спать.

–Раздевайтесь, Антоша, – сказала Настя. – Положу спать у себя.

Он снова начал раздеваться и побросал все в угол. Она подметала, где готовила ему постель.

–Вы не беспокойтесь, сумею, мягко будет, – сказала Настя, постилая на пол цветастое, из разных кусков, ватное одеяло.

Она забыла про свою горечь, когда распахнула в дождь дверь, про свои горькие бабьи слезы, и про нелегкую ее жизнь. И ей снова стало хорошо, будто они сидели с Антоновым на лавке, ели вместе хлеб и говорили.

–Только бы с полу не дуло, всежки холод, – сказала она.

Потом она принесла подушку, взбила ее и сама легла испробовать.

Она примостилась и так и эдак, перевернулась с боку на бок, а потом легла на спину.

–Хорошо будет, – сказала она довольная и встала.

–Спасибо, – глухо сказал Антонов. Он снял с правой ноги ботинок и, когда она поворачивалась, смотрел на нее. Он подумал, что вид у него, наверное, несурьезный, в военных отцовских бриджах, без сапог, с распушенной поверх гимнастеркой.

Настя ушла за занавеску, и Антонов услышал, как заскрипели под ней доски, когда она укладывалась.

Потом он слышал, как она встала, хлопнула дважды сеними и долго не возвращалась. Когда она вошла, он оглянулся к ней. Она стояла в мокрой телогрейке и платке.

–Что ж вы лошадь-то забыли, Антоша, – рассмеялась она, – а сами-то улеглись, ботинки сняли. Сразу видно, что городской.

–Вы меня простите, Настя, – про лошадь я забыл.

Ночью Настя не спала, она думала об Антонове, о том, что плохо все-таки постелила, как бы не дуло. Она вспомнила, что ей было хорошо с ним, когда они сидели на лавке, и ели картошку с солью и луком, и черный хлеб. И она забыла, что на улице лил настоящий дождь надолго, и что скажут завтра соседи, и про двух детишек от разных мужиков, дети спали теперь в ряд, вместе с нею, на досках.

Антонов тоже не спал ночью, ворочался с боку на бок и думал о Насте, о том, что до холодов надо поставить дома, что его ожидают в загопункте и, что зря он, наверное, сбился на эту развилку и попал в Настин дом и теперь мается. Потом он услышал, что она встала босая. Она вышла из-за занавески в рубашке и быстро пошла к тому месту, где он лежал на полу.

–Дай хотя бы полежу возле тебя, возле мужика-то, – сказала она виновато, и, присев, быстро юркнула к нему, укрываясь его брезентом и прижимаясь к нему вся. Антонову сделалось жарко и, обнимая ее, он подумал, что вместе с ними, здесь же, были ее дети, в одной с ними комнате, и что живет она на отшибе, может, даже большой деревни.

–А мужика, ой как хочется, – быстро говорила она, целуя его лицо и глаза, – и все мужики по деревне по своим бабам. А кто был, так, кто в городе пропал, а другой в армии остался. И такого бы мужика, как ты, Антонушка.

Антонов был на Алтае полгода. В поселке стояли выложенные из бутового камня склады, ожидая, когда пойдет зерно. Камень били где-то у Колованского хребта, на границе с Монголией.

Кроме складов, ничего не было. Сам он жил в землянке, оббитой сосновой доской.

Сначала он варил в котлах асфальт, делали у складов тока под зерно. Потом пошло зерно.

Когда машины буксовали, они сбрасывали зерно под колеса.

Были только грунтовые дороги.

Ночью небо был черным, без просветов с боков, но без туманов и облаков, чистое, с большими яркими звездами.

От них только и шел ночной свет. И от этого виделась чернота неба.

Дождевой шум вдруг разом стих. Так бывает в этих местах. Можно ехать часами по мылкой дороге, машину будет вести из стороны в сторону, дождь падает плотной завесой, промокнешь до костей, наберешь на сапоги пуд глины и надорвешь мотор, и вдруг, будто чудо, будто Бог тебя услышал, на две половины разделится дорога, прочертится как ниткой на две половины, и там, где ты был, там тебя уже нет; и машина рванет по сухому на все свои сто двадцать лошадей, пойдет сухая без дождей дорога, а потом глядишь, через сто метров, уже жарко палит солнце.

Когда дождевой шум стих разом, Антонову вдруг пришла шальная мысль. Он вспомнил долгую и валкую дорогу, как он подъезжал к ее дому, горы горячего после просушки зерна, асфальт, который он варил в котлах ноль семьдесят пять куба.

—А самолет ты видела, — неожиданно спросил Антонов.

—Откуда ж мне было видать-то его, — сказала она шепотом, сбивая дыхание свое, и снова обцеловывая Антонова. — Ни самолета, ни мужика близко нету. А так, они-то летают, иногда пролетит какой. Протрачусь только. Да куда я от ребятишек-то, с ними-то я на всю жизнь. Да и зачем мне самолет-то, Антонушка? Разве что с тобой куда улететь, милый.

Потом она сказала Антонову: если бы однажды было синее небо.

Она бы купила новое платье и туфли.

Она бы купила новую косынку и кожаную сумку вишневую.

Косынку бы купила синюю в белый горошек. И когда бы он к ней пришел, это было бы ее счастье.

—Остался бы милый, сказала Настя утром, сладко мне с тобой.

Антонов ничего не сказал, только крепче обнял ее.

Тогда Настя ему сказала: я же воду из-под тебя пить буду, Антонушка. И дома все выскребу. И печку побелю.

Я ж не злая и на работу скорая. От жизни это все.

Вот такая у нее была жизнь, а сейчас станет другая.

—Учиться мне надо, Настенька, — сказал Антонов.

—Сколько же учиться? — спросила Настя тихо.

—Три года, — сказал Антонов.

—Как в армии, — вздохнула Настя, — долго.

—Долго, — сказал Антонов.

Утром Настя собирала его в дорогу, как своего мужа.

Пока он спал, она постирала всю его одежду. Развела огонь в дворовой печке и раскалила чугунный утюг. Потом просушила под утюгом всю его одежду: гимнастерку, военные штаны и рубашку.

Антонов смотрел на нее, как она принесла чистые его брюки и гимнастерку. Глаза ее и лицо просветлели после ночи. Он вспомнил ее дрожащее тело, и ему стало горько.

Приедешь в город если, сказал Антонов, заходи.

На клочке бумаги он написал ей адрес общежития.

Настя вышла вслед ему, но не пошла дальше сены.

Антонов сел в телегу, и, не оглядываясь, дернул Лысого.

Настя не смотрела ему вслед. Она закрыла глаза, чтобы все, что было у них, увидеть снова и оставить в своем сердце навсегда.

Когда она открыла глаза, Антонов был уже далеко, дорога изогнулась крючком на подходе к сопкам, и Лысый шел будто теперь к ней, выискивая колею колесами,

и лицо Антонова будто бы было тоже обращено к ней, и он тоже шел к ней, и он что-то говорил ей, близко, в самые губы.

Она же говорила ему: если бы однажды было синее небо.

Она бы купила новое платье и туфли.

Она бы купила новую косынку и кожаную сумку вишневую.

Косынку бы купила синюю в белый горошек. И когда бы он к ней пришел, это было бы ее счастье.



Илья Криштул

МИНИАТЮРЫ

ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ЗНАМЕНИТЫХ МУЖЧИН

Великие эпохи измеряются масштабом деяний их главных героев. А кто были главные герои всех великих эпох? Кто эти люди, честно прошедшие семь морей и двадцать семь царств, гении, переломившие ход истории, мечтатели, воплотившие в жизнь свои грандиозные замыслы? Кем были мореходы, с помощью одной астрологии совершавшие поразительные географические открытия, перевернувшие представление людей о планете? Ответ известен – все они были мужчинами. Именно мужчины с гордостью помещали свои имена на глобус, даря миру новые земли, моря и океаны. Знаменитые путешественники, бесстрашные покорители Северного и Южного полюсов, великие альпинисты и спелеологи, мореплаватели и завоеватели, учёные и картографы – все они представляли мужскую половину населения планеты и именно их усталые глаза впервые увидели вершину Эвереста и океанское дно, мыс Горн и Бискайский залив, кратеры Луны и пустоты Марианской впадины, стаи прыгающих кенгуру и табуны бегающих утконосов. Но...

«Историю творят женщины», – написал кто-то умный, может быть, даже я. «Ну написал и написал, красивая фраза и ничего более», – подумал кто-то неумный, может быть, снова я. Как женщины могут творить историю? Они рожают, воспитывают, готовят, стирают, некоторые даже гладят и моют посуду, часами что-то ищут в своих сумочках и шкафчиках... У них нет времени не то что творить историю, просто что-нибудь натворить у них получается редко. Правда, метко, но сейчас не об этом. Фраза про женщин, творящих историю, засела в голове, и я решил найти хоть какие-то свидетельства о жизни этих героических женщин, узнать, как сложились их судьбы и открыть, наконец, их имена человечеству, которое обязано будет вознести их на алтарь вечной славы. Я не знал, не догадывался, что ждёт меня каторжный труд в архивах разных стран мира, что женщин этих многие и многие тысячи... За каждым путешествием, за каждым великим открытием, за каждым военным походом стоит женский силуэт, из-за плеча каждого первопроходца, исследователя и философа выглядывает очаровательное женское личико. Светлые образы этих бесстрашных женщин, как и архивная пыль, уже навеки останутся в моих лёгких, в моём сердце и в моей памяти... Перед вами три короткие истории. Три судьбы, три великих миссии...

Донья Фелипа Монис де Палестрелло, дочь мореплавателя времён принца Энрике, жена Христофора Колумба. Они поженились в тысяча четыреста семидесятом году, и именно тогда у Колумба проснулась тяга к дальним и, главное, долгим плаваниям. Он участвует во многих морских торговых экспедициях, дома бывает наездами, а через шесть лет после свадьбы, оставив жену в Генуе, вообще уезжает сначала в Португалию, а потом в Испанию. Там его жизнь налаживается, он находит работу в монастыре, не связанную с путешествиями, знакомится с милой и тихой женщиной, которая рождает ему сына, как вдруг... Двадцать пятого июля тысяча четыреста девяносто второго года Христофор Колумб получает письмо. «Господин мой! – пишет уже забытая им донья Фелипа, – с трудом нашла твоё нынешнее пристанище. Я соскучилось по тебе, милый друг, и через месяц приеду со всеми домочадцами, чтобы скрасить твоё одиночество и разделить твои беды». Надо ска-

зять, что особых бед до этого письма у Христофора Колумба не было, но он всё понял и ровно через месяц, за час до прибытия экипажа с доньей Фелипой, вывел три своих корабля из гавани города Палос-де-ла-Фронтера и отправился на поиски неведомой и, естественно, далёкой Индии. Кстати, по некоторым признакам можно сделать вывод, что Индию Колумб всё-таки открыл ещё во время этого своего первого плавания. Вот что, например, он пишет своему покровителю королю Фердинанду: «...умоляю Вас не говорить жене моей Фелипе про открытую мною некую страну, где обитает множество слонов и растёт множество пряностей, – и чуть ниже объясняет, почему, – ... так как тогда я буду вынужден, завершив свои путешествия, провести остаток дней своих в одном доме с нею, ни будучи никуда более отпущенным, ведь нрав её суровый вам хорошо известен...» Видимо, королю Фердинанду действительно был хорошо известен суровый нрав Фелипы, так как он внял мольбам великого мореплавателя и ничего ей не рассказал. Вот так, благодаря непростому характеру простой женщины Фелипы Монис де Палестрелло, Христофор Колумб продолжил свои плавания и европейцы получили не только Индию, но и Америку с множеством открытых по дороге к ней прекрасных островов, на которых так любят в наши дни отдыхать потомки Фелипы и Христофора...

Опустимся сквозь толщу веков в ещё более стародавние времена. Сепфора, дочь священника Иофора, не имела отношения к географическим открытиям. Но она сделала даже больше, ведь с её помощью целый народ обрёл страну и свободу...

Мужчина по имени Моисей, сбежавший из Египта, где он совершил страшное преступление, нашёл приют в доме некоего Иофора, который слыл человеком добрым и мягким. Он не только дал беглецу кров и работу, но и отдал замуж за него свою единственную дочь, красавицу Сепфору. Брак был неравным, так как Иофор был богат, а Моисей нищ, и, острая на язык Сепфора, часто попрекала этим своего мужа. Со временем упрёки становились всё острее, всё больше становились похожи на оскорбления, а однажды утром Сепфора сказала отцу, указывая на Моисея: «Зачем он ест хлеб наш? Зачем он спит с дочерью твоей? Я не единоверна ему, пусть возвратит он меня или придётся мне умертвить его!» Моисей услышал эти речи и под покровом темноты ушёл из дома. Он вернулся на берега Нила, собрал друзей-единоверцев и вместе с ними отправился в долгое сорокалетнее скитание по пустыне. О чём думал Моисей? Куда вёл он народ свой? Только на тридцать девятый год скитаний, когда обессиленные люди начали роптать и малодушествовать, Моисей обратил свой взор на них и сказал устами брата Аарона: «Скоро, очень скоро откроются пред вами врата Земли Обетованной, и за трудности великие станете вы народом Избранным...». В то же время есть свидетельства близких друзей Моисея, что они часто слышали от него загадочную фразу о «...Земле Обетованной, которая там будет, куда никогда не долетят сварливые речи жены моей Сепфоры, и куда сама она явиться не сможет из-за пути великого и непроходимого». Так что, израильтяне, помните и не забывайте женщину по имени Сепфора, благодаря которой у вас появилась «земля, подобная сосцам, сочащимся молоком и мёдом»... Хотя, конечно, лучше бы эти сосцы сочили нефтью...

Теперь заглянем во времена не столь далёкие. Деятнадцатый век, Россия, грязный городишко Боровск, где двадцатого августа тысяча восемьсот восьмидесятого года в церкви Рождества Богородицы венчались раб божий Константин и раба божья Варвара...

Раб божий Константин носил польскую фамилию Циолковский. Никакого приданого за невестой он не взял, свадьбы не было, и сразу после венчания моло-

дые приехали к отцу невесты, где и собирались жить. Наутро после первой брачной ночи Константин Циолковский впервые задумался о создании «дирижабля, на котором можно устремиться далеко вдаль и отрешиться от всего земного...» Вторая брачная ночь только укрепила его в этих помыслах, а после третьей ночи Циолковский задумался о строительстве ракеты для межпланетных полётов. Вот что он сам позднее писал в своей автобиографии: «В страданиях от неудачной женитьбы и в попытках покинуть нелюбимую мной Варвару с её постоянным желанием плотских утех я построил мансарду, в которой запираюсь и пытаюсь работать. А надо бы строить реактивный звездолёт, чтоб уж наверняка. Чертежи звездолёта я подготовил. Мансарда моя не спасает от нашествий этой психопатки, она ломает замки любых хитроумных конструкций и требует от меня бесстыдств, к коим я не предрасположен. Только находясь в межгалактическом пространстве, я смог бы посвятить себя высшим целям...»

Именно благодаря «этой психопатке» человечество сегодня успешно осваивает космическое пространство. Из-за неё придуманы ракетное топливо и шасси, аэродинамическая труба и суда на воздушной подушке, ведь это её постоянное присутствие в доме учёного заставляло его работать в мансарде сутками напролёт, спускаясь вниз только для приёма пищи. Конечно, многие чисто по-человечески жалеют Константина Циолковского из-за его нескладной семейной жизни и небогатого мужского здоровья, но почему никто не пожалеет Варвару, положившую своё женское счастье и свою судьбу в основу космонавтики? Ведь если б не её неуёмная сексуальность, не её постоянное желание близости с мужем, Россия получила бы просто ещё одного хорошего школьного учителя и многодетного отца, но мир не получил бы основоположника ракетостроения, писателя, философа и учёного, решавшего небывалые по сложности задачи...

Три короткие истории, три судьбы, три великих миссии... А сколько таких судеб осталось за строками этого рассказа и обречены вечно оставаться в неизвестности! Мир желает знать только героев-мужчин и даже слышать не хочет о своих дочерях, сделавших для него несоизмеримо больше! Мы ничего не хотим знать о Еве Браун, а ведь именно после женитьбы на ней Адольф Гитлер впал в депрессию и совершил самоубийство! Двадцать четыре часа понадобилось Еве, чтобы избавить человечество от одного из самых кровавых преступников в истории! За двадцать четыре часа она совершила то, что за много лет не смогли сделать разведки СССР, США и Великобритании! А Элизабет Баттс, жена Джеймса Кука, которая буквально заставила мужа взять ссуду на строительство просторного дома в лондонском Ист-Энде и уйти в плавание к Гавайским островам, где он и был сожран аборигенами. Ссуду отдало Британское Адмиралтейство, которому капитан Кук принёс множество дивидендов. Выгоду из смерти бесстрашного капитана получили все – Адмиралтейство получило почёт и деньги из казны, аборигены – сытный ужин, сам капитан – великую посмертную славу... Все, кроме несчастной Элизабет Баттс, благодаря которой мир получил Новую Зеландию... А жена Фёдора Конюхова, пригласившая погостить в их семейное гнёздышко свою маму и вынудившая мужа впервые в истории человечества переплыть Индийский океан на двух верблюдах! И таких историй множество! Безьянные жёны полярников, которые сделали всё для того, что б их мужья не мешались под ногами, а тихо сидели на льдине в компании пингвинов и научных приборов, оставив дома зарплатные карточки. Безьянные жёны космонавтов, бьющих рекорды по продолжительности нахождения на орбите... «Возвращение домой, на Землю, в семью, это стресс, по сравне-

нию с которым перегрузки кажутся детскими забавами...», – сказал в интервью один из космических рекорсменов, которого только силой удалось засунуть в спускаемый аппарат... Героические жёны тех мужчин, которые мечтают о полёте на Марс, зная, что вернуться домой им будет не суждено...

Но рано или поздно справедливость восторжествует и имена этих героических женщин вышлывут из мрака нашего беспамятства и золотом засияют на обновлённых картах мира! И я уверен, что скоро Америка будет зваться Хуанигией, в честь мудрейшей Хуаниты, первой гражданской жены Америго Веспуччи. А река Гудзон, которую открыл и исследовал Генри Гудзон, будет переименована в Язу, в память о величайшей женщине Яузе Гудзон, от которой и пытался спрятаться Генри в основанном им городе Новый Амстердам (будущий Нью-Йорк)...

Только жаль, что не вернуть уже сгоревшего на костре инквизиции Джордано Бруно... Ведь гореть на том костре должна была Мария, его скаредная любовница! Джордано никогда не хотел писать свои еретические книги, он хотел сочинять милые и безобидные детские сказки, но Мария требовала и требовала денег на новые наряды. «За сказки так мало платят, любимый, – говорила она Джордано, – сочини-ка что-нибудь о бесконечности вселенной и о естественном происхождении всех организмов, ведь я так хочу новые туфельки...» И Джордано сочинял...

*Илья Криштул, при помощи великой Елены
Кругловой и её слов о желании купить новое пальто*

МЕЛОДИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Ах, эти чарующие, эти волшебные звуки! Они преследуют нас всюду – на рынках и в бутиках, в музеях и на стадионах, в ресторанах и в пивных, в лимузинах и в метро... Да что там говорить, если как-то в парной общественной бани, под аккомпанемент бьющихся о тела веников, я услышал «Турецкий марш» Моцарта! Кто принёс в парную мобильный телефон, я не знал, хотя догадывался, что это бывший военный, ныне владеющий модным бутиком итальянской одежды в каком-нибудь торговом центре. Как я догадался? Ну то, что марш в мобильном может быть только у военного, это понятно, а «Турецкий»... В бутиках итальянской одежды в наших торговых центрах трудно найти не турецкую вещь, если только вам очень повезёт и вы купите китайскую. Так что всё просто, я давно уже выстроил все логические цепочки и всюду пользуюсь этим своим методом. Несколько раз, кстати, он меня здорово выручил, ведь по мелодии мобильного телефона можно узнать не только о профессии владельца, но и о его возрасте, поле, благосостоянии, сексуальной ориентации и даже о его тайных пристрастиях и намерениях. Странно, что ни компетентные органы, ни психологи до сих пор этим не заинтересовались. К примеру, вы возвращаетесь поздно вечером домой и вдруг из темноты слышите «Наша служба и опасна и трудна...» в исполнении мобильного. Не пугайтесь и смело идите дальше – это всего лишь киллеры, поджидающие свою жертву, вы им неинтересны. А вот если до вас донесётся «Мурка» или «Таганка», будьте осторожны, это полицейские, а они, как известно, имеют финансовый интерес ко всему, что пыгается мимо них пройти, проползти или проехать. У священнослужителей мобильные играют мелодии из репертуара «Битлз», проститутки предпочитают «Натали» Григория Лепса, сутенёры берут трубки под восточные напевы, представители сексуальных меньшинств любят песни Пугачёвой, а студенты консерваторий группу «ДДТ». У скрытых алкоголиков в мобильных играет мелодия, которая

играла и при покупке – им некогда скачивать-перекачивать, дел много, у работниц дворцов бракосочетаний в почёте траурные мелодии, а у могильщиков, наоборот, весёлые и задорные песенки. То есть женить вас будут под реквием, а хоронить под «Чунгу-Чангу». Какая-то мудрость, кстати, в этом есть. У продвинутой молодёжи в мобильные забит Цой, у отстойной – Тимати. У самого Тимати в мобильном звучит тоже Тимати. А если вы занимаетесь бизнесом и у вашего будущего делового партнёра мобильный не звонит, а говорит что-то типа «Владелец чёрного БМВ, возьмите трубку!», дел с этим человеком лучше не иметь, потому что никакого БМВ у него нет. У него вообще ничего нет, кроме телефонной трубки. У солидных бизнесменов в телефонах играет гимн Лиги чемпионов для звонков от друзей, гимн России для соратников по бизнесу, гимн Украины для любовницы и Ваенга для жены, потому что «это она туда сама с телевизора записала». Смех Масяня забит в телефоны таких же придурков, как и сам (сама?) Масяня, мычанье коров почему-то предпочитают водители троллейбусов, рёв ишаков – шофёры маршруток, а звук взлетающего самолёта – дальнбойщики. У пятнадцатилетних девочек всё просто – сколько номеров, столько и мелодий, причём все из репертуара группы «Фабрика». У шестнадцатилетних уже сложнее – «Фабрика» осталась для первой любви, для нынешнего пацана шансон типа «Судья рыдал, но вышку всё же дали», для родителей Шнур, для подруг Земфира, «ну и ещё там мелодий сорок, я уже и забыла про них». Совсем всё просто у олигархов – у них десять аппаратов и каждый в момент звонка говорит хорошо поставленным голосом известного артиста: «Кремль», «Налоговая», «Банк», «Прокуратура» и так далее. У чиновников высшего звена то же самое, только есть ещё один телефон, дешёвый – на работе выдали, для звонков от населения. Они его стараются не доставать, даже если он изредка пищит там что-то. Поэтому в стране то лекарств нет, то гречки, то зарплаты – не дозвонишься никому. А если у человека двадцать пять телефонов и все звонят по-разному, то этот человек не суперолигарх и даже не Абрамович. Это вор-карманник и у него удачный день. У Абрамовича, как известно, один аппарат и в нём четыре мелодии – одна для президента России, вторая для будущего президента России, третья для жены и четвёртая – для будущей жены. Мелодии для президента России нынешнего и будущего совпадают и вбиты навечно, а для жён меняются довольно часто. Особенно мелодия для будущей жены. Футболисты и тренеры, для экономии, звонят Абрамовичу на городской, остальные – на телефон его помощника. А там звучит почему-то частушка «Евреи, евреи, кругом одни евреи...», хотя помощник - араб... У евреев, кстати, со звонками не очень хорошо - у них же на всех всего две мелодии, «Семь-сорок» и «Хава Нагила». У одного еврея зазвонит, пол-Израиля за трубки хватается. Вот в Зимбабве наоборот, на всю страну два телефона, оба у Вождя и оба не работают, потому что разрядились, а «зарядку» он в общаге забыл, когда в России учился. У Жириновского в телефон забито его собственное выступление на митинге, у Собянина, разумеется – «Очарована, окольцована, вся ты словно в плитку закована...», а телефон Куклачёва постоянно орёт дурным кошачьим голосом. У Анастасии Волочковой двенадцать трубок – под сапоги, под плащ, под вечернее платье с растяжкой, под вечернее платье без растяжки, под растяжку без платья, а мелодия зависит от любимого – вечером лезгинка, с утра – африканские тамтамы, к обеду – хоккейный марш, через час – песни мира в исполнении хора Турецкого. У моей жены телефон играет «Роллинг Стоунз», хотя она уверена, что это группа «Би-2». Группа «Би-2», правда, тоже уверена, что она играет как «Роллинг Стоунз»... Мы с женой, кстати, как-то пошли в

театр, на «Гамлета», и во время спектакля четырнадцать раз прослушали мелодию из «Бумера», семь – как раз что-то из репертуара этой «Би-2», четыре раза Кобзон спел про мгновения, дважды звучала тема из «Крёстного отца» и сорок три раза фирменная мелодия телефона «Nokia». Сделав вывод, что в зале находятся четырнадцать менеджеров среднего звена, из них семь с жёнами, четверо провинция лов, два депутата Государственной Думы и сорок три любителя выпить, я решил себя проверить и на выходе из театра провёл соц. опрос. Ошибся я только в одном – мелодию «Nokia» играл один телефон, у Гамлета, а он уже две недели как не пил. И весь спектакль ему жена звонила с проверками, чем он там занимается – искусство народу несёт или в пивной анекдоты рассказывает за сто грамм. Моя на меня с уважением посмотрела и «Би-2», в смысле «Роллинг Стоунз», из телефона убрала. Теперь у неё там Луи Армстронг, хотя она думает, что это Стас Михайлов, просто поёт не по-русски...

ЖИЗНЬ ПОД ВИДОМ

Майор полиции Иванов вышел из дома и под видом водителя сел в свою иномарку. Затем, под видом участника дорожного движения, он доехал до здания с вывеской «Сауна» и зашёл внутрь. В сауне майор полиции Иванов под видом клиента купил проститутку, попарился с ней, расплатился и под видом хорошо отдохнувшего человека вышел на улицу. Приняв вид посетителя, он зашёл в японский ресторанчик, где вкусно пообедал и, под видом оборотня в погонах, не рассчитался. День начинался явно удачно. Под видом майора полиции он доехал до родного отделения, где под видом посредника принял три взятки от родственников задержанных преступников и, под видом поездки на следственный эксперимент, развёз этих преступников по домам. Собрав после этого своих подчинённых, майор полиции Иванов под видом начальника отделения потребовал больше задерживать лиц с достатком выше среднего, а не нищих убийц, грабителей и насильников, с которых и взятка нечего, а коттедж так и стоит недостроенный. После собрания майор полиции Иванов под видом татаро-монгольского ига объехал несколько кафе, где собрал дань под видом штрафов за незаконных узбеков, а самих узбеков под видом благодетеля поселил жить в детский садик. Этот садик майор полиции Иванов ещё на прошлой неделе под видом обеспокоенного полицейского закрыл из-за несоблюдения мер по обеспечению детской безопасности, для чего пришлось ночью сломать качели, да и директриса дань платить отказалась. Закончив с этими делами, майор полиции Иванов под видом старого друга заехал в соседнее отделение, где за ящик коньяка купил у своего однокурсника почти раскрытое дело об ограблении прохожего. Под видом доброго следователя он уговорил этого прохожего поменять адрес ограбления поближе к своему отделению и под видом честного и усталого полицейского поехал в управление отчитываться. Под видом небогатого человека майор полиции Иванов доехал до управления на трамвае, но всё равно после отчёта денег осталось мало. Выйдя из управления, он под видом мужа и отца позвонил домой и сказал, что скоро придет под этим же видом. Недалеко от своего дома майор полиции Иванов увидел агрессивную группу молодёжи и под видом добродушного старичка-пенсионера быстро прошмыгнул в охраняемый подъезд, откуда и хотел вызвать полицию, но пожалел своих сотрудников. У лифта к нему подошёл снимающий в этом же доме квартиру и находящийся в розыске за терроризм добропорядочный южный бизнесмен. Бизнесмен протянул майору по-

лиции Иванову пухлый конверт, который тот случайно под видом слепо-глухонемого человека взял, сунул в карман и стал шарить по стенке лифта в поисках нужной кнопки. Уже через пять минут майор полиции Иванов на своей кухне под видом главы семейства ел стерляжью уху и пил виски.

Кстати – родился майор полиции Иванов под видом грудничка.

Именно благодаря таким людям, как майор полиции Иванов, жители России спят спокойно под видом покойников на всех кладбищах нашей необъятной Родины.



Леонид Гиршович

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО

Мемуарная повесть 2008 года

Много воды утекло... за пару месяцев. Как выкипело. Мало чьи упования исполнились, разве что Ле Ключье. (У Вл.Ем., когда присуждалась Нобелевская премия по литературе, упования сменялись запоем – он тоже был среди «выдвиженцев» и, пока дышал, надеялся.)

«Во что же нам обойдутся билеты на самолет в будущем году?» Летом, когда мы собирались в отпуск, нефть уже стоила полторы сотни за баррель, ужас! Кто бы подумал, что через пару месяцев цена на нее упадет вдвое, и это будет «ужас, ужас, ужас». А я буду злорадно потирать руки: так вам, исламистам, и надо, а заодно и вам, душителям свободы на московском телевидении.

Когда Сусанночка складывала чемоданы, победа Обамы была неочевидна. Лично мне интересно поглядеть на него в роли президента: вы нас черненскими полубите, а беленькими нас всякий полубит. Я оправдывался: лучше избрать Обаму сегодня и не переизбирать завтра, чем наоборот. Это звучало (а отчасти и значило): лучше пусть нарубит дров сегодня, чем завтра – на что ответом мне было: «Гм...». В начале лета положение еще не выглядело столь кригическим, «завтра» еще не наступило. У Обамы нет сторонников среди моих знакомых. Хоть и застенчиво, с оговоркой «не потому, что черный», все разделяют «особое мнение» Сергея Доренко: этот парень, в отличие от Маккейна, чужд нашей культурной ориентации, не пощадит он нашей славы – ни Лондона, ни Парижа, ни Москвы. И как-то упускается из виду, что героическому Маккейну принадлежит авторство пьесы «Барракуда или Малодушие».

Летний отпуск это не только когда сбегáешь подальше от оркестровой ямы, это еще и шестинедельное прости-прощай занятию, которое я про себя никак не называю («Ха-Шем»).

Приостанавливая безмянное это занятие на целых аж шесть недель, поминишь: незавершенный текст, если к нему долго не прирагиваться, черствеет в том месте, где был прерван. Другая метафора: вращает колесами в землю. Поэтому не паркуйся на точке, бросай на полуслове, чтоб дописать, когда вернешься. Паркуйся под углом в сорок пять градусов на ручном тормозе. И тогда текст заведется легко.

Отпуск был в трехчастной форме. Примерными западными супругами, что ездят в отпуск вдвоем, мы были на две трети, последние десять дней я был предоставлен самому себе. Сусанночка должна была возвращаться в Ганновер, в этом году в Нижней Саксонии «школьный колокольчик» зазвонил в половине августа, а частных учеников по осени считают. (Любино замечание о российском – еще советском – обыкновении «отдыхать» порознь: «А знаете, во Франции это послужило бы основанием для развода».)

Первые три недели отпуска – Израиль. Это святое, здесь в переносном смысле. Туда едешь, как когда-то на дачу в Рощино к дедушке с бабушкой – как когда-то к своим дедушке с бабушкой в Иерусалим ездили наши дети. Но они – Иосиф и Мириам – выпорхнули из кокона, и теперь кто-то другой, свой Набоков,

бьет по ним рампеткой. От иерусалимского квартета дедушек и бабушек остался только один голос – слабеющий голос моей тещи.

Наступило, точней, вернулось, время, в которое я мысленно помещал себя в первые годы своего отцовства (это слово по сю пору странно и даже неловко прозвучит в первом лице). С рождением первого ребенка я стал воспринимать себя отстраненно: «чьим-то детским воспоминанием», черно-белой карточкой своего отца. «Мидор ле-дор» – «из поколения в поколение». Однажды в Летнем саду в виду умирающих языческих богов мне было сказано: «Как сильно в вас чувство рода». Да, сильно.

Израиль – местность дачная,
Но дачников все где-то черти носят (В. Глозман)

Я отвык от того, что в Израиле четыре времени года. Давно уже, тридцать лет, как для меня там вечное лето, вечная праздность, от самого горизонта ровный синий цвет. Иерусалим – всегда июльский, с его цветом, запахом и вкусом. То есть светом, с которым в последние годы все заметней вступает в бой почерневшая от лапсердаков улица. Запах «затра» плавно переходит во вкус, поскольку неотделим от арабо-израильской кухни, где царит знойная идиллия. Если судить по числу потерь, победа на арабской стороне – это однозначно, с некоторой киббуцно-армейской оговоркой, дабы иных побед арабская сторона не ведала.

В Иерусалиме стареет моя молодость, болеет, кое-кого разок даже открычали. Прикрикнул Ха-Шем на Молхомовеса: «Я тебе! Еще не исполнился его срок». Давным-давно Глозман, к которому я так привязан, вернувшись из «милуим», рассказывал: на полигоне снаряд прилунился чуточку мимо и теперь у него двойное имя, «Владимир-Хаим». Какое же у вас, Володенька, третье имя? (Нет, не могу не рассказать вчера услышанный анекдот. Набожный еврей влюбился в шиксу, спрятал пейсы под шляпу, купил букет, идет к ней, и тут на полном ходу его сбивает машина. «Что же Ты... меня, своего раба...») И голос с неба: «Хаим, Я тебя не узнал».)

«Вскочила на последний сперматозоид», – Генделев о беременной жене-москвичке. И правда, его средняя дочь годится младшей в матери, а старшая – в бабушки. В своей коляске Генделев носится по Старому Городу, народ почтительно расступается, торговцы принимают его за сумасшедшего американца. Просить: «Миша, не разгоняйтесь», бесполезно. Я эскортирую его. Прогулка с ним – отличный способ для похудания. На нем пробковый шлем, жилетка с театрального развала, короткие клетчатые штаны. На гербе написано: «Верен себе до гроба»
<сноска: Поэту Михаилу Генделеву оставалось жить полгода>.

По пятницам к Меламидам ходит молодежь, это их сохнутровский трофей. Чета Меламид – богема с русским flowig, живущая в «Чреве Иерусалима», прямо на рынке. На два года они завербовались в Россию от Сохнута, и якобы из молодых людей, среди которых они миссионерствовали, несколько к ним прилепилось. Средний возраст «прилепившихся» под тридцать, большей частью «компьютеры»: по-компьютерному скоры, реплики этикетками напоказ. Первая помятость, «дела бабьи» – кое-как запудренные физической молодостью. В мое время в таких компаниях меня не держали: ненаходчив, некрасив, неуместен – одни сплошные «не».

Я напоминаю: всякая, даваемая нами характеристика, это в первую очередь характеристика самих себя. Но я решительно не жалею этого «себя», которого никуда не приглашали, ну, если что на правах бедного родственника – и так до первой публикации, даром что блеску во мне не прибавилось. Распечатка моей устной речи

своей корявостью и сейчас поспорит с позами в стоп-кадре документального кино. Тогда как игровое останови, где хочешь, – в картинке не будет косноязычия.

Зато я познакомился на Давидке, в единственном тогда на весь Иерусалим русском книжном магазине, с профессором Нероном. Великие филологи литературно порочны. Он меня растил, и я с ним за это сквитался.

Расстояние между Иерусалимом и Тель-Авивом шестьдесят километров в длину и восемьсот метров в высоту: можно съехать, сидя на одном месте (двусмысленнейшим образом). Выбрав пристанищем Иерусалим, разделяешь его отношение к Тель-Авиву: сумасшедший дом, влажность чудовищная, по вечерам нечем дышать, молодежь на танцуйках обкуренная.

Тель-Авив, естественно, отвечает Иерусалиму взаимностью: «Шабэс! Пейсы!» – кричал, бывало, Зямик из своего «форда-капри» перебежавшему улицу герою анекдота. Для живущих у моря Иерусалим суров, пейзаж и нашпигован «двоюродными братьями» – пускай подавятся своим Эль-Кудсом! Хорошо, так не говорят, даже в сердцах, тем не менее для них Израиль кончается за иерусалимским почтамтом.

Нет ничего нового под солнцем. Как и во времена, когда это было сказано, страна поделена на два царства: Израильское, ходящее к чужим богам, и Иудейское, упорно блюдущее первую заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Но с каким ужасом вырвалось у Сусаночки и с какой нежностью одновременно: «Тель-Авив... это же мимоза...», – когда на Тель-Авив посыпались «скады» и идолопоклонники кинулись искать спасение в Иерусалиме, в том числе и семья Зямика.

Тель-Авив, если не считать неперемного посещения Гробманов, это Зямик, с которым мы вместе росли с трехлетним отрывом друг от друга, вместе учились на скрипке, тут разница была не в три года, побольше – вообще много чего «вместе», вмещающее в себя и многолетнее «врозь», мы же двоюродные братья. Впрочем, то же было и между сестрами, родившими нас. И проявилось это даже в том, как окончили они свои дни: обе погибли. Но одну убили филистимляне, другая утонула.

У Зямика не выключается кондиционер, на красивых тарелках очень вкусная еда – благодаря Аллиной стряпне и некошерному гастроному «Тифтам». Книг больше, чем квартира может вместить. Он чахнет над своим книжным золотом. Он орет на каждого и безадресно. В доме стоит неумный ор. Безудержное сквернословие несовместимо с сентиментальными воспоминаниями. Что бы ни делалось – быстрее, быстрее, быстрее. Страх погони. Он торопит время, он вечно его торопил: сперва по молодости лет, теперь грозясь вечной молодостью. Талант и хулиганское обаяние еще при нем, они только играют в прятки, но беда – не с кем играть. Никто не пойдет их искать: человеку седьмой десяток, коллеги вот-вот поднесут ему золотые часы на прощанье. Так в тель-авивской филармонии заведено, это же не просто оркестр, оркестров с такой судьбой нет и, Бог даст, не будет (что не будет – точно, к тому времени не будет симфонических оркестров).

Вылазки за стены Иерусалима уже второй июль кряду достигают дальних рубежей. Проскакиваем поворот на Бар-Илан, где живут Зямик с Аллой. Минуем финикийскую гавань Нахшолим, куда Сусаночка без меня ездила с детьми. Проезжаем Хайфу, куда я ездил без Сусаночки, но меня там покусали комары. Оставляем позади аккуратно разлинованную айне кляйне гемютлихе Нагарию, славную своей причастностью к немецкому миру. И, не доезжая пяти километров до Рош Ха-Никра, за которой для нас земли нет, въезжаем в ворота мошава, ну, как бишь его? С правой стороны от шоссе. А слева за леском тянутся пляжи – платные, бес-платные, вовсе дикие. Вся поездка продолжалась 2 ½ часа.

На две ночи мы сняли по объявлению в интернете айне кляйне гемютлихе бунгало: перед входом гамак, в ванной комнате джакузи размером с двухспальную кровать. Преклонного возраста хозяева. У него пальцы батрака и прическа а-ля Виниту: прямые седые волосы забраны на затылке и спускаются на спину кистью: его жена – художница, *poblesse oblige*. Они демонстрируют свой – всяко лучше моего – немецкий. Я предпочитаю иврит. Мне не нужны доказательства того, что любовь сильнее смерти, это я знаю и без них. К дверям бунгало приколото вырезанное из бумаги красное сердечко. Сейчас придёт расстрельная команда. Эти сердечки во время экзекуции цеплялись на грудь, чтобы легче было целиться. На сердечке написано: «Шошана ве-Леонид». Здесь обычно останавливаются молодожены, так что для начала все сначала.

Они хвалят ливанский ресторан в пяти минутах езды отсюда. Он в стороне от главного туристского шоу – морских гротов, куда по скале спускается фуникулер. Однако ресторан забит. Кругом машины самого разного достоинства. Рядом с пыльным фургончиком сантехника сверкающий джип, можно было бы решить, что местного воротилы, если б не армейский номер. Полковонец инкогнито. Пытаюсь вычислить его среди сседающих. За столами семьи, в полном составе и фрагментарно: мама с дочкой. Мелкие частники в свой обеденный перерыв. Ветераны супружеской жизни, срисованные с наших хозяев: еда – секс пожилых. «Дальнобойщик» на привале –кавычки ввиду израильских расстояний. А вот друг против друга двое, которых отличает выправка и начальственная повадка. Они?

С прошлого июля здесь ничего не переменилось, кроме того, что флаг одного государства, с изображением ливанского кедра меж двух красных полос, висевший на стене позади кассы, уступил место флагу другого государства, с колючей голубой звездой меж двух голубых реек. Но за кассой все тот же беглый ливанец, с кем-то долго и заинтересованно разговаривавший, и по залу носят те же, или такие же, две молоденькие арабки – что арабки, у них написано на лбу, несмотря на джинсы в обтяжку и иврит. Когда потом, вернувшись в мошав, я поинтересовался, кто они, мне подтвердили: да, они из одной арабской семьи (здесь с арабами подчеркнуто ладят, здесь не Иерусалим).

Мне и прежде доводилось есть у ливанцев, это было в иных краях, где полно ресторанных вывесок, украшенных кедром. Но либо в Париже кедры не приживаются, либо прав был Башир Джумайль: спасение ливанской кухни в союзе с израильской – как ни трудно поверить в дружбу евреев с «финикиянами»: ливанцами, армянами, гемузскими кушцами; скорей уж поверю в мир с теми арабами, над которыми однажды простер лапу британский лев.

Вечером на пляже состоялись черепаши бега. Из песчаного инкубатора, отгороженного от пляжа железной сеткой, по протоптанной к морю дорожке, перекувыркиваясь, обгоняя друг друга, побежали десятки черепашат. Зрители болели за отстающих, беспомощно барахтавшихся, и испытали облегчение, когда волна унесла последнего, о котором ребенок впереди нас сказал: «мизкён» – «беденький». У организатора этого забега, человека с загорелым обветренным лицом и выгоревшими на солнце волосами, вполне был бы вид гринписовского праведника, когда б не кобура на поясе.

Мой голос тепшеет, когда произношу слово «Израиль»? Издатель вернул мне роман со словами: «Евреи, евреи, евреи – хорошие, хорошие, хорошие» (кто б говорил!). Об этом романе, «Бременские музыканты», ни одна душа мне слова доброго не сказала, обиделись за себя. Даже Шейнкер, всегда снисходительный ко мне,

в душе поморщился. Зато из эмигрировавших те, кто читал, одобрительно кивали головами (Люба – нет).

«Евреи, евреи, евреи – хорошие, хорошие, хорошие». Это мне всегда ставится в вину, заметьте – в вину! В заслугу никогда – теми, для кого «это» было бы заслугой. Логично. Одно дело обожраться своим еврейством, и совсем другое поглаживать себя после этого по животу. Если для кого-то я еврейский нарцисс, «еврей с зеркальцем», то только не для еврея по профессии (а поскольку данная профессия одновременно и хобби, то все мы немного профессиональные евреи). Для этих я святотатец – когда говорю о привычке приторговывать Холокостом, привычке, незаметно ставшей уже второй натурой. А еще я самоненавистник – когда отказываюсь быть объектом чьей-то политкорректности: не хочу! Установите мне планку повыше, навесьте еще пару дисков на штангу. И к тому же провокатор – видите ли, «кааба», что стоит на Лессингплац в Вене, изуродовала этот плац, не дав ничего взамен – ни мертвым, ни живым, за исключением кормящихся от разных фондов или жаждущих в очередной раз покрасоваться своими стигматами (и просто покрасоваться). И как язык повернулся такое сказать! Наконец я по существу поддакиваю врагам, говоря: если бы Царь Египетский и другие ряженые не пошли на Израиль войной в сорок восьмом, никакого Израйля не было бы. Да, именно так и говорю. И что Ангел шепнул Бен-Гуриону: пусть нападают, в этом наш шанс. Не нападут – все пропало. Пребывая в мире с арабами, Израиль рассосалась бы за несколько лет – довольно змугнет один палец: североафриканская алия. Бен-Гурион с его ленинским здравым смыслом поставил на то, что нападут, и... провозгласил независимость: в лице арабов он имел дело не с политиками, а с персонажами Священной истории.

Не Герцлю, не Бальфуру, не Бен-Гуриону и уж подавно не исторической справедливости обязан Израиль своей легитимностью. Арабам! За добро добром: отныне они, а не жившие под британским мандатом евреи, зовутся палестинцами.

«Какие они палестинцы, я – палестинка!» Голда Меир могла возмущаться сколько угодно. Нельзя быть палестинкой и израильтанкой одновременно. Тот, кто обрел легитимность на поле боя, обречен делиться ею с врагом; более того, сохранить ее он может только одним способом: сражаясь дальше. Семь мирных лет превратят Бар-Кохбу в Сарданапала, сделают из бригады «Голани» участников парада гордости. По счастью, великое пришествие русских совпало с первым вторжением американцев в Ирак, на что Саддам огрызнулся «скадами», к этому прибавим вторую интифаду. Операция «Размежевание», болезнь Шарона и вторая ливанская война тоже послужили хорошими «абсорбентами».

Да, я клеветник Израйля, но мой голос теплеет, когда я произношу слово «Израиль». Конечно, я здорово устал от своего еврейства. Жизнь и без того умеет много гитик, а тут еще взвалил на себя что-то химерическое, чертыхаешься, но тащишь, – исполненное бесчисленных запретов – того, другого, третьего... шестисот тринадцатого; у меня их наверно не меньше, чем у бедного Хаима: перебегая улицу с букетом цветов для шиксы, я боюсь тоже быть не узнанным.

(Только что обедал под телевизор. Программа RTVi – она же «ухо Москвы».
– Феминистка – это надзирательница в женском лагере.

Вырастит Бахмина своих детей, выставят клетку из-под олигарха в музее, сотрется из памяти имя особы, которую Вильгельм Телль российского политконферанса удостоил выстрелом. Но навсегда сокровищница афоризмов пополнится еще одним. А что Радзиховский – никудышный пророк, так он же атеист. «Уважаю», сказала мне одна растерявшаяся гусыня, когда я забрал рукопись, которую она поз-

волила себе расчеркать. И я уважаю – за смелость: пророк-атеист. Слушая Радзиховского главное – не забыть привязать себя к матче.)

На обратном пути из Рош Ха-Никра мы встретились с Таней Бен. Не знаю с чего, но я вдруг спросил у побывавших в Лондоне Глозманов, не сводила ли их там судьба с Таней и Жорой Бенами. («Уложив двухлетнюю Мириам спать, мы с друзьями – Татьяной и Георгием Бен-Ами...»). Так в романе «Суббота навсегда». Написание их фамилии в сентиментальном контексте.)

– А Жора умер.

Немая сцена по обе стороны рампы.

Жора был достаточно близок, но есть и поближе. Достаточно любим, но есть и полюбимей. Но что он есть, ты всегда это косвенно сознавал – косвенное сознание, как боковое зрение. И еще: где бы ты ни был, с кем бы ты ни разговаривал, Жора неизменно оказывался в числе «общих знакомых». («Жора? Ну, конечно...») Он настолько же примечателен, насколько и невозможен. («Ну, вы же знаете Жору...» – сколько раз приходилось мне это слышать со множеством оттенков одновременно.)

Мы познакомились, «сидя в подаче» (сохраним аутентичное выражение для потомков).

«...В квартиру вошел гофмановский кот, отошавший, ободранный и сильно близорукий, если судить по толщине стекол под бровями.

– Позвольте представиться, – произнес кот, трясая козлиной бородою, – Георгий Б.

Не успело пальто перекочевать с Жориных плеч на плечики вешалки, как мы с Сусанной, устыдившись своего благополучия, наперебой стали предлагать гостю отобедать с нами – лошадь д'Артаньяна не произвела на жителей Менга того впечатления, какое на нас произвела изнанка этого пальто.

Жора с достоинством согласился, сказав что действительно проголодался. Ему не хватало восьми тысяч. Уже несколько месяцев, как он ходил «по адресам» в попытке получить их в долг. И ходить бы ему не переходить, потому что добрый дядя, мой ли, еще чей-либо, так и не мог ни на что решиться. Но, как писал Шолом-Алейхем, счастье привалило: детанг, поправка Джексона, вопль на реках вавилонских – и в душе кремлевского барбоса совершается очередное таинство.

За столом Жора сидел чинно, ничего не опрокинул, ничего не смахнул, разве что только, придвигая к себе стул, промахнулся. Его рукава в процессе жестикюляции укорачивались – гармонически, от слова „гармоника“, – а манжеты почему-то медлили со своим появлением. Вскоре я уже с восхищением отмечал Жорину способность, грызя ногти, добираться до самых локтей. В этом, однако, не было ничего удивительного: Жора писатель, а писатели, сочиняя, грызут себе локти.

– Коньячку?

Жора кивнул. Когда чешская хрустальная вороночка окрасилась в коньячный цвет, он поднял ее над столом и, держась за сердце, провозгласил:

– За окончательную, полную, неуклонную, фактическую, максимально болезненную для них, минимально болезненную для нас, безвсяких оговорок, кривотолков и разночтений ликвидацию советской власти».

(Из повести одного начинающего автора, которому еще только двадцать пять, у которого впереди вся жизнь.)

Жора не был похож на кога – ни на гофмановского, ни на какого-либо другого, даже с козиной бороною, а был похож на Дон-Кихота. Не был он и писателем, а был переводчиком, хотя некоторые и это оспаривают. Дескать переводчики переводят с неизвестного языка на известный, а Жора переводил с неизвестного языка на неизвестный. О мертвых с прямою последнему пути. Одно я знаю твердо: там, где он сейчас, его профессия не нужна.

На Жорином лице выражение удивления и непонимания: «А почему нельзя?» И обижается. Он – Дон-Кихот от здравого смысла: «Какой резон писать „буйвол“ на клетке слона? Нет, должно быть, это все же буйвол». Но благодаря внешности это в нем органично. Он наделен обаянием литературного персонажа. В жизни литературный персонаж совсем другое, нежели в книге. Но я был избавлен от необходимости совместного с ним проживания – он обретался у меня на чем-то вроде книжной полки, не то чтоб зачитанный до дыр, но на почетном месте. Наше общение происходило по преимуществу в формате «выпить-закусить». При этом ничто – даже внезапное исчезновение собеседника – не могло помешать Жоре закончить начатую мысль.

Трижды в жизни я проигрывал спор: когда Генделев, вопреки моим представлениям о человеческих возможностях, сумел по-обезьяньи вскарабкаться до середины «Лестницы Иакова» в Гиват Мордехай; когда человек, уезжавший в Израиль из Ленинграда в девяностом году, собирался издавать там юмористический журнал на русском языке – этим человеком был Марк Галесник; и когда в разгар Войны Судного Дня Жора предложил мне пари: через четыре года либо он угощает меня обедом в Яффо, либо я его – в Александрии. Спустя четыре года они с Таней были среди первых, кто ездил посмотреть на пирамиды. Обедом угощал я. Правда не в Александрии, но это уже, как говорится, моя проблема.

Я сразу же набрал их лондонский номер. Потом номер тех, чьим общим знакомым с нами он являлся. Мне сказали, что это произошло месяц назад. И что Таня сейчас в Израиле – по такому-то телефону. На Танино английское hallo я стал сбивчиво отвечать урок. На три с плюсом. В плюс мне зачлось, что сам вызвался к доске. Она испытывала неловкость: «о Жоре» я узнал явочным порядком – от своих знакомых, а те от своих.

– Танечка, мы бы хотели вас повидать.

Уверен, ей было не до нас. Да и нам с купальными причиндалами как-то было не с руки сочувствовать чужому горю. Это был обоюдный долг, и он был соблюден.

Мы посидели на тель-авивской набережной, в первом попавшемся кафе, больше похожем на киоск с парой столиков. «На Васильевский остров я приду умирать». Жора умер там же, где семьдесят четыре года назад родился. Он ездил в Петербург по издательским делам и остановился у дочери. Услышав ночью какое-то движение, зять пошел посмотреть в чем дело. На кухне он застал Жору, которому захотелось воды. Напившись, Жора заодно пропустил рюмочку. «Поставь водку в холодильник», – с этими словами он навсегда закрыл за собой дверь. Наутро его нашли бездыханным.

– Жорка жил, как хотел, и умер, как хотел, – это не прозвучало эпитафией. С такой интонацией разводят руками: мол, вы же его знаете.

Иосиф, отвозивший нас три недели назад в «Тегель», за нами же и приехал. Как будто не уезжали, шва не видно. Так не замечаешь, что вздремнул на мгнове-

ние. Но микроскопическая трещинка сна обнаруживает себя: выпускает радужный пузырь сновидения.

Иосиф-Барбосиф... Вот кто мастер ублажать своих гостей. И Глозмань, и Зямик – между собой, кстати, незнакомые – говорят это в один голос, вспоминая тюбингенский праздник, с катаньем по Неккеру, когда, стоя на корме длинной узкой ладьи, Иосиф был за гондольера.

Для нас он придумал велосипедную экскурсию по Берлину. Мы редко видимся. В русском «Брокгаузе» Владимир Соловьев, в статье «Любовь», разделяет ее на amor descendes и amor ascendes – берушую и дающую, родителей к детям и соответственно наоборот – и супружескую, amor aequalis, уравновешенную. Я бы еще различал в родительской любви отцовскую и материнскую – святую, о которой говорить хочется четырехстопным ямбом: «Зачем ты балуешь солдата, как мать лишь балует одна». Что до меня, то, исповедуя набоковское «балуите своих детей, вы не знаете, что их ждет» (при этих словах Иосиф и Мириам начинали кивать головами, как члены британского парламента – на речи однопартийца), я все же в детях беру реванш. Я на них давил. Мягко, испуганно, но – давил.

Еще до того, как они вполне усвоили человеческую речь, более еще внимая ангельской, я сказал им – и себе: в доме никогда не будет двух вещей: комиксов и звучащей попсы. За это они пользовались свободой на несколько размеров больше той, на которую впряме был пригизать их возраст.

Мой эдипов комплекс даже не «заграница» – за(крытая)граница – а «образование до революции», что тоже из области мифов о загробной жизни. Я не одинок, посмотрите, сколько лицеев расплодилось в 90-е годы, где учат танцевать менуэт.

Я взял реванш. Или так: я взял реванш? Подобно заносчивому автору «Других берегов», мои дети могут сказать о себе: «Я совершенно владею тремя языками с рождения». (А я с рождения учился на крепостного скрипача: лучше играть в крепостном оркестре, чем работать в поле.) Оба закончили гуманитарную гимназию, по адресу которой в Гейдельберге и в Тюбингене прохаживаются: столовое серебро Нижней Саксонии. Список ее учеников представляет собою выписку из историко-географического атласа: Константин фон Рихтгофен, Мари фон Бисмарк, Фредерика фон Штауфенберг, Губертус фон Гарденберг, – одни дорожные указатели. Водящийся с ними Йозеф Гиршович, кто он, Сван или Блок? <сноска: Сван, Блок – персонажи эпопеи Марселя Пруста «В поисках за утраченным временем»> («Сван! Сван! Сван!») Мириам в том же Тюбингене готовится стать правоведем. Наш любимый анекдот поры их младенчества: «Доктору восемь, а адвокату два», – Сарра Абрамовна, на вопрос, сколько лет ее внукам.

На велосипедах мы объезжали Берлин, основной достопримечательностью которого для нас был, естественно, сам гид. Когда-то мы уже гуляли с ним, крошечным, по этому городу. Еще один анекдот, точнее анекдотический случай. Су-санночка с ним едет в Берлин поездом. В вагон входят гедеэзовские пограничники, вооруженные до зубов, только овчарок не хватает. «Мама, – на весь вагон, по-русски, – это разбойники?» Хочу думать, что они поняли.

Русский наших детей это их идиш – которого они не стыдятся, не втягивают голову в плечи, на котором они говорят между собой, а если тема не позволяет, переходят на английский – язык их переписки, категорически избегая немецкого, как избегают явной фальши. От этого одомашнивания вселенной у меня дух захватывало, теперь пообвык. Между прочим, докторская у Иосифа называется «Космополитизм и Левиафан».

Он привез нас в кафе, куда по пятницам ходит танцевать. Днем здесь ни души. Дом в глубине чахлого садика не ремонтировался со времен последней бомбардировки. Его восточноберлинская обветшалость, его облупившийся фасад уже просятся в золоченую раму, еще чуть-чуть и это будет Юбер. Внизу пустые столы. В фантазиях памяти запечатлелась крахмальная белизна скатертей в желтоватом полумраке и отрешенная фигура официанта в черной паре, с размашистыми черными усами – или это след от бангика, плохая гедеэровская печать? На первом (втором) этаже танцевальная зала, старый паркет, осыпающиеся стены и потолок с остатками былой лепнины. В такие места фотографы любят помещать свою модель, давая поддержать флейгу, или так, чтоб виднелась головка виолончели. А киношникам нравится усадить посреди гулкой пустоты настоящего виолончелиста, лучше всего Мишу Майского. И пусть, не снимая пальто, играет до-мажорную сарабанду Баха. Времена «обнаженных со скрипкой» канули в прошлое, пошляки сегодня продвинутые, зато и неззорно быть пошляком.

Следующая остановка этого лета – Литва. («O Litwo, ojczizno moja...»). («Мой дядя самых честных правил» польской литературы.) Литва появилась еще до Сусаночки, исподволь подготавливая встречу с ней. На тропинке, ведущей со станции, Зямик – подхваченный вечным праздником, повзрослевший за лето. И с ним Циля – безнадежная любовь многих, Суламифь нашей семьи, младшая мамина сестра. Их встречается затрапезно-дачное царство.

Слушайте! Слушайте! Они отыскали десять исчезнувших колен. Там говорят только на идиш (кстати, никогда не склоняйте это слово, не слушайте Бархударова, Ожегова и Шапиро, если уж – то только Ушакова). Даже дети с родителями говорят на идиш. Дщери этого племени все, как одна, из «Песни песней». И все в израильских купальниках. И всё там как за границей. Там далеко в море уходит пирс, по которому вечером фланируют, любуются на закат. Там едят дирижабли из картошки, там приговаривают вино из яблок, которое обожает пить английская королева. И зовется это волшебное место Палангой.

Они рассказывают взахлеб, наперебой, а все слушают: дед с бабой, я с мамой, Исаак, отец Зямика – могучий, вспыльчивый, ассоциировавшийся у меня с Аяксом Теламонидом – благодаря своему отчеству: «Соломонович», а еще с Менелаем – благодаря сходству с одной скульптурой, воспроизведенной Куном. Позднее к этим двоим еще прибавится Реувим из «Йосифа и его братьев».

На картине, которая мне рисовалась, Зямик парил, обнажившись с какой-то Авиной, писаной красавицей. Рядом с ним я совсем не умел летать. Зависимость превосходства в воздухе от превосходства в возрасте меня убивала.

– Для тебя там есть одна – Гога. Ей еще только девять, а вот такая грудь у чувихи. И конский хвост.

Кенгавр? В моих мечтах Гога с конским хвостом превратилась «в нашу гостью из ГДР, сейчас она покажет нам, как танцевать „липси“».

Со следующего лета мы в Паланге каждый год. С Литвой, говорящей на идиш, у нас культурный обмен. То к нам приезжают из Шяуляя, то я езжу туда на зимние каникулы. (Почему-то вспомнилось имя Гогиного отца: Аврумл. Причуды памяти, я видел его только раз. У Аврумла Хаитаса голубые глаза, кроткая улыбка. «И таких убивали», – подумал ни с того, ни с сего. Как будто других – нет.) Гога, Голда Хаитайге, к тому времени уже студентка музучилища, в один прекрасный день знакомила меня на пляже с сокурсницей:

– Сусанна.

Какое-то время мы на вы. Ей семнадцать: светящийся взгляд – из-под челки, как в «Римских каникулах». Чудо какая хорошенькая.



Сусанна - студентка первого курса вильнюсской консерватории

Она внимала, наклонив головку. Она была своим человеком в том, что касалось музыки (играла на рояле, доигралась до какого-то приза на республиканском конкурсе). Она всерьез читала книги – от природы страшно недоверчивая, а следовательно безжалостная выбраковщица текста. Откуда и взялась такая, в Литве, в Шяуляе?

Впрочем, она не «литвэчке», мы одних с ней корней: Касриловка, Одесса. И даже, как выяснилось путем позднейших генеалогических разысканий, производимых совместно стороною невесты и стороною жениха, состоим в отдаленном свойстве: мамин двоюродный брат дядя Абраша (легендарный киевский скрипач Абрам Штерн) женат на двоюродной сестре тети Мани, жены Сусанночкиного дяди по линии отца.

(Входит Сусанночка: «Обама победил». – «Гут тебя много появляется», – имея в виду исчерканные листки». – «Убери ее». – «Не могу». – «А что там хоть?» – «Что ты недоверчивая». – «Промархиваю все дорожные указатели? Умоляю, убери ее отсюда немедленно».)

На другой день мы сидели на скамейке в парке, где по вечерам перед дворцом Тышкевичей выступал камерный оркестр Сандецкиса. Я несу антисоветчину. (Запись в клеенчатой тетрадке того лета: «Существует формула „Цель оправдывает средства“. Так как достижение цели порождает собой новые, еще более сложные задачи, которые требуют обязательного разрешения, то и следование вышеприведенной формуле превратит всю историю человечества в поток беззаконий и преступлений, совершающихся фактически во имя грядущих беззаконий».)

А Сусанночка мне на это: «Слова, слова, слова».

Я: «Какие слова?»

По меркам века нынешнего она перебарщивает. Опущенные ресницы, еле слышная речь, многозначительные паузы, говорящее дыхание. «Все выдавало в ней заинтересованность, мне льстивую и меня поощряющую» (мнимая цитата). Она берет у меня из кулька черешню. В ожидании косточки я подставляю ладонь и, дождавшись, целую в губы – вопрошающе. Ответ последовал столь же невинный. Детям до шестнадцати вход разрешается, по крайней мере, в это лето. Это было

лето Шестидневной войны, Паланга гордо смотрела на мир, «спидолы» работали на полную катушку.

Мы гуляли вдоль моря, бродили по городку, прохаживались чинно по пирсу – не размыкая пальцев. Повстречали Гогу, которой я протянул Библию со словами: «Утешься».

Я тогда повсюду носил с собой карманную Библию – не только для форсу, но и читал, много читал, с упоением. «Гонимая нация, этим надо гордиться», – сказала мне мама. А папа однажды потихоньку сказал: «Если ты женишься не на еврейке, тоже ничего страшного не будет» – тяжела шапка Мономаха... бабушка, Циля, мама. В глазах темно – столько промиле в крови.

(Зямик о Даниэлке, своей младшей: «А мне это по ..., пусть хоть за негра выходит замуж. Жиды! Остоп...ло, блядь!»)

Это тогда я сочинял, считая на пальцах:

*Он был лет тридцати с фигурой дамы,
Принадлежащей кисти Иорданса,
И головой Черкасова младого.*

Заканчивалось же:

«Целуй!» – «Куда?» – «Сюда! Сюда! Сюда!»

В эпитафии стояло: «И вот некто из сынов Израилевых пришел, и привел к братьям своим Маданитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества, и взял в руку свою копье, и вошел вслед за Израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, Израильтянина и женщину в чрево ее... („Числа“, XXV, 6 – 8)».

Летом 72-го мы впервые уезжали из Паланги, не бросив в море монетку. В условиях строжайшей конспирации шли приготовления к отъезду. Спустя несколько месяцев, «беспачпортные», с билетом в один конец и полным сердцем счастья, мы улетели. И когда пилот объявил: «Под нами Вильнос», Сусанночка, до того несокрушимый флагман нашей эмиграции («Я рабов рожать не буду»), вдруг пролила слезу. Но сколько я ни предлагал: давай съездим в Литву – ни в какую. В Литву, в Палангу – ни за что. Ездил в Россию, в Петербург – еще больше зачервивевший, в декольтированную аж по Садовое Кольцо Москву – за «Букером», да коротка норковая лапка. Даже ву-краину. Только не туда. Литва, ставшая «юденрайн», представлялась складом картофеля. Там не осталось никого и ничего. «Литовцы?» Безразличное пожатие плечами. Они присутствовали где-то на обочине сознания: «лапландцы», «литовцы», «власовцы». В то, что призраки прошлой жизни могут отбрасывать тени, что тени, обведенные мелом, постепенно начинают обретать еще одно измерение – не третье, а неведомое какое – в это верилось с трудом. Хотя Кенигсберг обещает стать местом, где не мертвые хватают живых, а живые мертвых.

(О Петербурге – если кого-то покорило. Когда умирает Царь, то с ним хоронят его лошадей, его жен, его слуг. Не хочешь быть похороненным заживо, ступай на службу к другому, но не выкапывай из могилы полуразложившийся труп и не воздавай ему почести, как живому, он смердит.)

У нас был прямой рейс Берлин – Вильнос (жено, никогда не говори «жамэ»). Возвращаться на день в Ганновер не имело смысла. Как в комедии, подмена чемо-

дана – прилетаешь на курорт, открываешь, Боже, а там, теплые вещи. Сложенный в расчете на дождь и холод, этот чемодан дождался нас в Берлине.

Еще не автомобиль, но уже не трактор – якобы это сказал Форд о первенце советского автопрома. С таким же чувством ездили в Прибалтику: рыбацкий хор по радио, идешь в шортах по улице – милиционер не привяжется. («Сымай». – «Сам сымай».) Однако для выходящего на балтийскую сцену через западную дверь (мир – театр, а театр навсегда остался античным, о трех дверях), «Балтия» – это скорее название трактора, чем автомобиля. Прилетаешь, те же хрущобы, та же асфальтовая колдоба, лужи, в которых отражается вялое небо. Другое дело, знаешь же, куда ехал – зачем отправляться в горы и там морщиться: моря нету. Если же тебя манит «отчетливый привкус рабства», как писал Бродский о приехавших в Ленинград финнах, то в Прибалтике он отныне отсутствует. Аминь.

Первое, что делаешь, переступив границу бывшей братской республики – пробуешь ее на язык: как здесь с русским. Лизнул. Вроде б ничего. Окошко «чечн пойнт», понятно, не в счет. Араб в меняльной лавке тоже ответит по-русски. И по-китайски ответит. Всегда считалось, что прибалты – обычно рассказывалось про Эстонию – «если спрашивать по-русски, то не отвечают». Говорящий на государственном языке, и только на нем, не может себе представить, что кто-то его не разумеет: да они все прекрасно говорят по-русски!

Теперь я знаю, что по одной вымученной фразе опрометчиво судят насчет твоих познаний. Так по кости, пролежавшей миллион лет в земле, воссоздают несуществующее целое. Эстонец, смотревший на тебя, как баран на новые ворота, в сущности этим бараном и был. Если что-то он и понимает, далеко не факт, что он понимает все. А ты уже: «У, гад! У, фашист! Я тебе устрою вырванные годы!» На самом деле ничто не демонстрируют так охотно, как знание языков – хоть суахили, хоть английского, хоть русского.

Мы шагнули в Литву. Стоим – беззащитные в своем незнании: не знаем, от кого или от чего защищаться. Такси брать не отваживаемся – с приезжего сдерут. Литы... Никогда их не видал, только читал – у Булгакова? Или то были латы – в сортире? В месте своего хождения лобые деньги обретают значительность международной валюты. Срабатывает политкорректность в расширительном ее толковании: десять мосек равны десяти слонам не потому, что моська равна слону, а потому что десять равняется десяти. Робеешь цен, даже платы за проезд в автобусе.

Подходим к остановке.

– Не подскажете, как попасть на междугородную автобусную станцию?

– Это вам надо ехать на десятом.

На 10 лигах изображены сразу двое – в одинаковой летной форме, им тесно на банкноте, и они как один человек о двух головах. Почти что командир нашего самолета и второй пилот. Прелесть «ретро» в том, что всё «почти как сейчас»: они в таких же фуражках, в таких же костюмах, чуть отличаются лацканы и чуть иной взгляд – мертвых глаз. Эта разница в «чуть» – чуть сластит.

Подошел автобус, но другой – «достаем другую купюру». Нет, до автовокзала не доеду, нужно ехать на десятом, подтвердил шофер. «Подсказавшая» стоит с каменным лицом: а ей не поверил. Ведь русским языком сказала. Литовский акцент в русском, как сероватое на белом.

Ждать еще час.

Здание аэропорта той же постройки, что и в Ленинграде – эры светлых годов.... А с платформ говорят: «Это город Ленинград». – «А почему написано:

„Vilniaus“?) – «А хрен его знает». Не зная расписания автобусов на Палангу, мы уступаем давно уже присматривающемуся к нам владельцу транспортного средства, ржавого, провонявшего бензином, сигаретами, с рваными сиденьями и прочими приметам «Антилопы-гну». Под стать легковушке и хозяин: русский с землестым лицом, всю жизнь добывавший ногтями уголь. На таком не разоришься.

Мелочность, усугубляемая подозрительностью ввиду незнакомой обстановки, ничего общего не имеет со скупостью. Я не подам побирающемуся на Листер Майле «Местному Кривулину» (прозвищем обязан своему сходству с покойным поэтом) меньше одного евро, что в пересчете на литы по курсу сомалийских пиратов равняется сумме, ежемесячно расходуемой на содержание экипажа судна «Фаина». Мелочность – великий бог деталей в повседневной жизни. Но когда жизнь требует достать чековую книжку и хорошенько заправить ручку чернилами, мелочность отступает на задний план.

(В 1973 году некто головастый в смысле размера белой олимповской кепочки, из тех, что продаются в лоскутном ряду, наставлял меня первым наставлением в первый мой иерусалимский полдень. Слепило глаза и щемило сердце. «Понимаете, нельзя впадать в крайности. А то есть такие, что не купят себе колу в киоске и пять остановок пият пешком»).

Накануне, прямо в аэропорту, нам выдали голубую сотенную, с которой Герцль поздравлял нас с прибытием.

Представитель противоположной школы носил соломенную шляпу тоже рыночного происхождения: «Избегайте тратиться по пустякам, настоящих расходов не бойтесь». Не раз сызнова начинавший жить, он был первоначально наследник заводов, газет, пароходов – если быть точным, им принадлежала верфь в Риге – затем приговоренный к расстрелу, замененному на четверть века лагерей. Он дожил не только до реабилитации, но и до репатриации. А может, даже и до реституции.)

Дорогой хозяин «Антилопы-гну» рассказал, что квартиру оставил жене, а сам перебрался на дачу. Нанял одного литовца за столько-то лит в день – «лит», а не «литов» («грамм», а не «граммов»). Последнее время с сердцем плохо.

А сам курит одну дешевую сигарету за другой. Нечуткая Сусанночка просит перестать курить, но он говорит, что уже не может бросить – счел за медицинский совет. Узнав, что мы прилетели из Ленинграда – в чем какая-то крупница правды была – и направляемся в Палангу, он наш выбор не одобрил: почему не на юг? Дорого, да? А какие в России пенсии? Признаться, я имел слабое представление о курсе рубля и начислил себе пенсию в евро. Он только покачал головой: здесь выше. Тут я сообразил, что мы ровесники.

Расстались мы на «прерванном кадансе»: он советовал сесть на автобус в Клайпеде, а дотуда ехать в маршрутном такси, так и дешевле и быстрее. Он даже подвез нас к их гнезду, что Сусанночке не понравилось: «Лавочка – ты нам, мы тебе. С приезжих сдирают, не смотрят, что у них маленькая пенсия». Между тем, кто-то более доверчивый уже сидит в маршрутке, дожидается кворума. Мы покатили наш чемодан к автобусному вокзалу, провожаемые угрюмыми взглядами.

Это было правильно. Внушительного вида автобус, шофер в фирменной рубашке с галстуком, всем обликом своим говоривший: надежно, солидно, удобно. Почти что Соединенные Штаты Америки.

Мы сидели врозь. Выводов напрашивается два: либо автобус полный, либо полно свободных мест и можно расположиться с удобствами сверх гарантированного минимума. Тем более, что Сусанночка в автобусе не разговорчива. Читать

тоже не может – укачивает, в отличие от меня, который читает только в автобусе (в самолете, в вагоне, на разных собраниях и в иные антракты жизни). А дома кто же читает, дома пишут, каждую свободную минуту. Акранке мэч.

За окном разреженность – не монотонность России или Канады по бескрайности их. Уют малого пространства при рассредоточенном, расфокусированном взгляде. Полная противоположность Израилю, где на пяточке семь чудес света, а за отдельное спасибо тебя еще и в Петру свозят.

Разреженность внутри автобуса, разреженность вне его, на коленях «История кастратов» – все один к одному. (Книжка, изданная Лимбахом – пер. с фр. – о явлении, которое сопоставимо, по своей космической наглости, с возведением Вавилонской башни: певцы-сопрано. Притом что музыка – язык Бога. Именно та музыка, которую они исполняли: Перголези, Глюк.)

На зимних каникулах 69 г. я тоже ехал автобусом из Вильнюса – в Шяуляй. В Каунасе, где автобус стоял сколько-то там минут, я вышел. Было темно, лежал снег, я купил полого гипсового медведя, выкрашенного коричневой краской, с зелеными глазами, красными губами и золотой цепью. Помесь медведя с котом? От последнего цвет глаз и «златая цепь». Но все же я купил его у цыганки, а это классика: цыган с медведем. Как сосиски с капустой.

Это был единственный раз, что мы встретились с Сусанночкой в Шяуляе. Через месяц ей стукнет девятнадцать. Она меня не ждала. Да я и ехал не к ней. Впрочем, мы условились встретиться летом – в такой-то день, в таком-то часу в Паланге, на пирсе.

Пяти часов сельскохозяйственных угодий за окном достаточно, чтоб привыкнуть к мысли, что ты в Литве. Подъезжали задворками. Радости узнавания я не испытал: память сохранила все иным. Лишь к вечеру, когда, устроившись, успев искупаться, мы вышли на улицу Вигаутас – что-нибудь съесть – лишь тогда новейший культурный слой сделался пронизаем. Сквозь новые машины и позднейшие сооружения, сквозь удивительно похорошевших юных литовок и пузатых «локисов», косолапивших в долгих шортах, взору открылись фрагменты прошлого. Они срастались на глазах, все вскоре стало на свои места.

Памятник литовского деревянного зодчества, черный остов кургауза – год как сгоревшего – навеял воспоминания о сгоревшем дотла, у нас на глазах, ресторане «Юра», тоже реликвии буржуазного строя.

Мы стоим с Сусанночкой и смотрим, как «Юра» исчезает в огне – а с ним и Паланга нашего детства. После этого идиш пошел в Паланге на убыль, все каунаские розы и авивы, все шяуляйские мулики и шмулики как в дымоход улетели, как дым, рассеялись.

Прежде по Басанавичус прохаживались, демонстрируя содержимое израильских посылок. Ресторан «Юра» – там же – был эпицентром красивой жизни. Деревянное одноэтажное строение, выкрашенное в голубую масляную краску, представляло собою крытый дансинг, а вокруг столы, за которыми мужчины и женщины поколения наших родителей сидели и гуляли.

С середины 60-х «Юру» затмил ресторан-нувориш – двухэтажный стеклянный «стакан», современный до последнего писка. Еще одно заведение в ранге ресторана, т.е. куда вечером без пиджака могут и не пустить – на Вигаутас, ближе к парку. Мне случилось там пообедать с Зямиком (в то лето Сусанночки не было в

Паланге). Пронзительно помню и этот день, и этот обед, и осторожного литовца за одним столом с нами, который говорил совсем не то, что нам хотелось бы услышать. Собственно, мы устроили поминки. Зямику, помешанному на джазе, с самого утра не удавалось настроиться на «Radio Prague». А потом: «Киев бомбили, нам объявили...». Это было 21-го августа шестьдесят восьмого года.

За исключением немногих, столовавшихся приватно, что еще не гарантировало съедобность – по крайней мере, на мой тогдашний вкус – большинство отдыхающих утоляло послепляжный голод в самообслужках. Среди холодных блюд привычно доминировал майонезно-картофельный холмик, известный как «салат столичный». Однако, будучи «национальным по форме», литовский общепит предлагал и свой «литовский борщай» – холодный свекольник с горячей (верней, уже остывшей) картошкой, а на второе здоровенные, величиной с дирижабль, клецки с двумя смолотыми пилотами внутри. Именовались они «щепелины» – на буржуазный манер, если не сказать хуже: известно, у кого были щепелины, а у кого дирижабли.

По мнению моих знакомых – мулек, шмулек, авивок, розок, гог, цилек – «щепелинай» бывают вкусные и невкусные, но все мои попытки в этом убедиться были тщетны. Когда открылось новое кафе, национальное по форме в непосредственном смысле слова: в виде огромного деревянного башмака («клумпе»), перед ним проставляли часовую очередь – там делают настоящие «щепелины».

Мы пошли туда большой компанией: мама, Цилия, Исаак, Зямик, Цилина подруга Малка (что в переводе значит «Царица»), ее муж Меир, смотревший в Ленинграде балет... он забыл название... ну, «Заколдованные гуськи», и их сын Мулик (Самуэль). Очереди, будь они прямо пропорциональны ценам или наоборот, причают лелеять свое чувство голода. Но мне и очередь не помогла. Испытания настоящего «щепелина» прошли неудачно: я снова не почувствовал разницы между «настоящим» и «ненастоящим».

Мулик, приехавший в Ленинград в фуражке прибалтийского школьника (корпорантская Mütze, ношение которых уже сорок лет как запрещено в немецких университетах), всем говорил, что он из Вильнюса. Я не понимал, чем Шяуляй хуже Вильнюса. Я не видел разницы: те же два «щепелина». Ленинградец, я презирал только один город на свете – Москву.

Малку я называл не иначе как Мария Израилевна, так было написано у нее в паспорте. Сразу после войны, вернувшись в Шяуляй, она работала паспортисткой и рассказывала, к моему безмолвному ужасу, что от нее зависело, кого прописать, кого нет – они же все были за немцев. Обращаясь к ней по имени-отчеству, я чуть-чуть паясничал, но и чуть-чуть юродствовал, четкого водораздела здесь не имелось (так же и в Израиле я обращался к профессору Нерону «Омри Эммерихович», на что он неизменно мне отвечал «Леонид Моисеевич»). Впрочем, была в этом и некая имперская назидательность с моей стороны.

Когда между Муликом и барышней с языческим именем вспыхнула великая любовь и дело дошло до ЗАГСа, Малка почувствовала себя на краю гибели. Тут еще и Меиру бес в ребро: пустился во все тяжкие с одной «ашиксэчке», сослуживицей. Он работал на мясокombинате, и дом у них был полная чаша, лучше сказать, полный холодильник. О кошере если и вспоминали тогда, то только со смехом. К Литве, как ни странно, это относилось даже больше, чем к Ленинграду, где каткомбный идиш был освящен маранскими настроениями.

Господь помучал Малку – царицу израильскую – и сжалился над ней: Меира образумил, а невестку Зиту, оказывается, литовцы только воспитали – нашли в лесу

и воспитали, вообще-то она еврейка. Этих литовцев Малка бы прописала. Как и того, который вытаскивал на берег Мулика. Так исторически сложилось, что чем лучше человек говорит на идиш, тем хуже он плавает. Мулик прекрасно говорил на идиш. Мы с ним вошли в воду, ну, от силы, по грудь. Он bravо нырнул, зашлепал руками по воде, изображая «кроль». И вдруг его стало относить к пирсу, где дна уже не чувствуешь. Я за ним, благо идиш не знаю. Схватил его за руку, пытаюсь отбуксировать. Мы были у самого пирса, о сваи била волна. Мулик повел себя не героически, он завопил: «Спасите!» – вероятно, уже нахлебавшись. «Не кричи, я тебя вытаску». С пирса на нас смотрели, и мне было неловко. Но он продолжал орать – по-русски! Он, чей родной – литовский, у себя же в Литве – по-русски! Задним числом я это отметил: как тот грузин в анекдоте. (Позабыв, как будет по-русски «спасите!», грузин кричит: «В паслэдний раз купаю! Абыдна, да?») Из наших попыток плыть «за ручку» ничего не выходило. Он обхватил сваю, зеленую от водорослей, но удержаться не мог, соскальзывал, раздирая кожу о ракушки и с головой уходя под воду. Кто-то спрыгнул с пирса. Все дальнейшее, относившееся к спасению Мулика, ускользнуло от моего внимания. Я и сам изнемог, но справился своими силами, догадавшись забраться под пирс. Там не было волн. Присел на сваю, пеньком торчавшую из воды, чтобы отдышаться, и вскоре заметил на другом пеньке мужчину – оказывается, мама бегала по пирсу с криком: «Еще один! Еще один!» Убедившись, что я не нуждаюсь в его помощи, он уплыл. Долго потом я видел перед собой безумные глаза Мулика и испытывал чувство «законной гордости»: ни за что бы не позвал на помощь.

И опять я заказал «цепелинай» – козыри свежи, дураки те же. Место выбрано неудачное, прямо скажем. Столик на улице, там, где автобусы сворачивают с Витаутас на свою автобусную станцию. Но мы еще не освоились.

В воскресный день «понаехало тут». Вот и «подгулявший поселянин» (см. аннотацию к Четвертой симфонии Чайковского). Подгулял он изрядно, и, судя по всему, останавливаться на достигнутом не собирается. Он сидит за соседним столиком, перед ним шаровидная рюмка. Недавние советские люди со страшной силой овладевают западными технологиями – в русских сериалах все тоже хлопают из «непроливашек». За неимением никого другого по близости, свою потребность в общении мужчина удовлетворяет об нас. Т.е. противным его природе способом, или скажем так: способом, во всех отношениях не самым приятным – по-русски. При помощи языка, на котором лукавить и кривить душой так же привычно, как сморкаться в кулак. Но что взять с пьяного человека, когда и от трезвого тебе от него ничего не нужно.

Одновременно мой цепелин подвергся нападению осы. Я бы, может, уступил его без боя (уже отведал кусочек), но уступать под давлением извне – демонстрировать свою слабость. А я – град Петров и стою непоколебимо, как Россия. Если для пьяного литовца я не представляю никакой опасности, то глупая оса рискует пасть жертвой моего принципиального бесстрашия. Не припомню, чтобы прежде в Паланге они с таким упорством кружили над тарелками, заставляя обедавших вдруг яростно боксировать с воздухом. Теперь же это происходит повсеместно.

Позднее мы облюбовали одно «цивильнеекое местечко»: под зонтиками на «приусадебном участке» – очевидно, хозяйка легализовала свой подпольный бизнес. И там тоже происходили сражения с осами. В ходе одного такого сражения мы разговорились с русской женщиной из Вильнюса. Женщина выглядела на западные

пятьдесят, значит, реально ей было лет за сорок. Это как размер: «У них такой-то, а по-нашему такой-то». В любом случае, она принарядилась не «чтоб себе было приятно», но и другим тоже (не подумайте дурного). Она приехала в гости к подруге – воображаю себе эти «гости», если зашла куда-то поест. Рассказала, что муж служил в Германии, потом они вернулись. Дальше мне непонятно: что значит, был офицером КГБ и в девяностых его послали в Чечню? Кто послал, если они жили здесь? Там муж погиб. Когда она выйдет на пенсию, то будет получать за него деньги от России, а пока что выплачивают дочери – за отца. Дочь кончила школу, поступила в университет. «Литовскую школу?» – «Литовскую, но все друзья у нее русские. „Мама, – говорит, – мне лишь с нашими ребятами интересно“».

Несколько раз на улице до моего слуха доносилась речь – не литовская, но и русской не назовешь. Это разговаривали «наши ребята». Надо сказать, у «наших ребят» в Израиле тоже свои компании, где говорят на иврите и по-русски в пропорции конь-рябчик (соответственно). То же и у «молодых львов» из Алжира – в Париже. А в Германии их турецкие сверстники говорят между собой по-немецки «голосами зверей и птиц».

Возвращаясь к осам, неизменно требующим свою долю пирога, едва ты за него принимаешься, выскажу предположение: не только общество охвачено переменами. По примеру бесправных и угнетенных народов, произошли какие-то мутации и в мире насекомых. Когда в девяностом году я впервые побывал в Ленинграде, то столкнулся с небывалым нашествием комаров.

Если вычесть из Паланги нынешней ту, сорокалетней давности, то разница будет равняться – нетрудно догадаться чему. Это приметы общих перемен, из коих главная когда еще была сформулирована применительно к человеку: *Er ist was Er isst* – он есть то, что ест. Папа повторял: «Не делай из еды культа. Мне – подавай хоть жареные гвозди». А как не делать культа из того, за чем выстраиваются очереди? И его высокопресвященство администратор «Юрь» раздает места за столиками что твои бенефиции. «Бывало в ресторан пойти...». Теперь, как минимум, на одну радость в жизни меньше. Кругом продаются жареные гвозди: с горчицей и с кетчупом, во фритюре и в виде пиццы, в целлофане и с огня – капающие тебе на футболку... виноват, тишорт. Кругом воинствующий кулинарный атеизм. К этому прибавить «иномарочный» поток по Вигаутас да луна-парк, в который превратилась Басанавичус. Вот где сплошное «чики-чики». У каждого iPod, в каждой ушной раковине по моллюску, каждый аттракцион – будь то «шестиместное такси-банан», будь то «двенадцатиместная летающая акула» (и т.п.) – снабжен динамиками. «А ты не ходи в наш садик, милой» (милиционер – гражданину, возмущенному, что к нему, видите ли, пристают мужички). И рад бы не ходить! Да он повсюду, этот садочек. У них в ушах «чики-чики», а у меня мозги пухнут. «В начале был ритм» – евангелие от музыки. Мне это говорилось в детстве неоднократно. Моим учителям страшно нравилось произносить со значением: «В начале был ритм... в начале был ритм...». Теперь имеем его массово, с первобытных времен прекрасно сохранился.

(Словесные «чики-чики» достают не меньше. Какие-то завсегдагаинтернета пишут на смерть Жоры: «Да будет земля ему пухом». А тело кремфировали. Я раздражителен до крайности, как когда-то был нетерпим до крайности. Все мне не по носу, не по губе, не по уху.)

Однако самосуществование Паланги, ее крошечное тельце, осталось неповрежденным. Пропал лишь «западный» фасон, который держала Прибалтика. В самобытной Литве он был не такой натужный, как в остзейской Латвии или в запинающейс

на каждой букве Эстонии, хотя установочно ничего не менялось. А установка такая, что в Советском Союзе должно быть все свое: и сопки, и пальмы, и ледники, и пески, и небоскребы. И уж, конечно, свой Запад. А когда злые чары рассеялись, Паланга из советского Довиля-Трувиля сделалась тихим северным курортом пятидесятих годов. До глобализации еще далеко. Насчет автомобилей, правда, режиссер не доглядел. Пожалуй, сестры «лесных братьев», вблизи рынка разложившие на перевернутых ведрах по огурчику да помидорчику, – они в кадр тоже не вписывались.

С каждой минутой память делается все разговорчивей. С каждым взглядом. Вот та скамейка, которой давным-давно бы уже стоять в черешневом саду... Не присели – энергичным предпенсионным шагом прошли мимо, спеша на выступление камерного оркестра. Эти концерты под открытым небом, как и раньше, зовутся «Ночные серенады» – с характерно русским тавтологическим заскоком («Айне кляйне нахтмужик» – Бродский). Среди музицирующих ни одного знакомого лица, что не мешает смотреть на них, как на себя со стороны. Все про них знаешь, кончится отпуск, и сам будешь такой же.

При подсчете, кого больше, оркестранток или оркестрантов, счет ничейный, благодаря духовым. У струнных ведут женщины. Тенденция повсеместная, скоро оркестры станут называться *Damenkapelle*. Согласно Сусанночке, превращение профессии из мужской в женскую – верный признак того, что она себя изживает. Сусанночка приводит пример: сперва были мужчины – телефонисты, на смену им пришли «барышни», после чего институт телефонисток прекратил свое существование. Так же и для Мириам, рвущейся в бой, профессионально притягателен род занятий, являющийся прерогативой правоведа-мужчин. Надо идти только в ту дверь, где написано «for men». Но стоит мне поддакнуть: да-да, грядет унификация пола, грядет биологическая революция, – как обе, и Сусанночка, и Мисенька: п-ных! Сразу иголки дыбом. Их это коробит: женское тело священно. Материнство здесь даже играет подчиненную роль.

(Спрашиваю у Сусанны: «Почему?» – «А это последний бастион».)

Память совсем разговорилась. Помнится, на ночь у основания пирса разбиралась часть дощатого настила – неужто и вправду, чтобы на песке отпечатывалась стога вознамерившегося предать родину вплавь? Пограничник, будь бдителен: вон кто-то на закате, облокотившись на деревянные брусья парапета, смотрит в одну точку.

Ба, аптека на Витаутас – узнаю ее, бревенчатую. Пора под музейное стекло. В восемнадцатом веке срублена (о чем мемориальная табличка), а все еще не сгорела. Молодцом.

На другой стороне изба-читальня, во внутреннем дворике кафетерий – читаешь и пьешь кофе. Высокая Прибалтика. А еще у них унитаз со стульчаком. В свое время дирижера Курта Зандерлинга как эмигранта-антифашиста поощрили путевкой в санаторий. Там, подученный кем-то, он пришел к директору: «Товарищ директор, я срать орлом не умею». У меня та же проблема, что у Курта Игнатьевича. В читальне сей читал я «Праздник, который всегда с тобой». (А со мной никогда!) Праздник начинался с рю Муфтар, «узкой, всегда забитой народом торговой улицы, которая выходит на площадь Контрэскарп. В старых жилых домах на каждом этаже возле лестницы имелся клозет без сиденья, с двумя цементными возвышениями для ног по обе стороны отверстия, чтоб не поскользнуться». На рю Муфтар мне пришлось бы плохо, а здесь знай себе читай.

Сколь ничтожна моя доля участия в памятных мероприятиях под названием «Шлинггароп или Паланга летом». Сколь малым владеет моя память. Все заемное, с

бору по сосенке. И уже, глядишь, лесок. Реденький, он ведет к морю. И он же дремучий от слова «дремать». В нем вкушают послеобеденный сон идишскоговорящие наниматели комнат с улицы Смилчу, где часом раньше из каждого окна несло: «Шлингароп!» («Проглоти!»). Теперь они расположились на раскладушках, на подстилках, накрывшись по самые свои огромные уши махровыми халатами цвета пожелтевшей хвои – той, что, осыпаясь с деревьев, устлала землю. А с началом сумерек лесок пробуждался, наполняясь уморительными восклицаниями на языке мертвых (Cum Mortuis in Lingua Mortua, «С мертвыми на мертвом языке»). Мальчик Сёма Донской, «блондинистый еврей» из пришлых – сын начальника милиции – играл на баяне – правда, не «Картинки с выставки». Подбирал по слуху «Катюшу» и прочие фрейлахсы, хватая не те аккорды, что не умаляло его успех у взрослых.

(Параллельное место. Первый вечер в части, куда меня то ли отвезла Сусанночка, то ли я сам добрался попутными машинами: тогда это практиковалось – Гилада Шалига еще не было на свете. Меня уже немножко по арене погоняли, хлыстом пощелкали, и теперь я без пять минут «дзобник», хотя какой job мне определят, еще не ясно. Мой скрипичный футляр всех воодушевил: «Сегодня „кўмзиц“, что-нибудь сыграешь?» На «кўмзиц» – посиделках – атмосфера леска в Паланге. Но я не Сёма Донской, а скрипка – не гитара и не гармонь. Несколько девиц подтянули было вслед за мной «Иерушалайм шель захав» и разочарованно смолкли.)



Я еще застал остатки народной еврейской армии, возможно, лучшее в социальном плане, что я видел в Израиле – да и вообще в моей жизни.)

Причина, почему до сих пор мы ни разу не были в Паланге, это Сусанночкино «не поеду в Литву, там нет никого. Всё». У нее там никого и прежде не было – при ее врожденном умении ни с кем не сходитьсь (ближе чем на пять шагов). Но она имела в виду другое: из Паланги «дух выветрился». Приехать – как положить камешек на могильную плиту. Но если прах перезахоронен, а то и вовсе осквернен (выброшен из могилы), какие уж тут камешки. В ее представлении Паланга разделила судьбу крошечного еврейского кладбища, на которое я когда-то набрел в даль-

нем лесу. Всего лишь несколько старинных надгробий. Каждое лето я ходил навещать их. Так было и в победоносном шестьдесят седьмом. Но уже год спустя нам с Исааком открылось зрелище, достойное этого позорного августа. Все разрыто, вид обглоданных смертью костей. Искатели жемчуга. Исаак кое-как засыпал кости землей. Мы ушли, и больше я там не был. Не тянуло.

Вот и Сусанночку не тянуло в Палангу, на постсовковое гульбище: «новые литовцы» на свои литовские бабки понастроили себе склепов из красного кирпича и катаются взад-вперед на броневиках. Да гори они огнем!.. А что оказалось – дачи, дети, такой же «шингарол». Я прежде не замечал литовских детей, литовских дачников. Они не занимали здесь комнаты, разве что состояли в родстве с хозяевами и тогда смотрелись если не местными, то полуместными. Теперь силами местной труппы у нас на глазах разыгрывалась пьеса, переведенная на литовский с идиш. Литовка в роли «идише мамэ». В роли «нас» – литовские подростки, такие же стайки, сосредоточенные на себе. То там, то сям дед с бабой пасут свое внучатое дитя, совершая с ним, одетым в курточку с капшоном, ежевечерний моцион вдоль берега или по Басанавичус, чья деревянная оконечность, немного согнутая в суставе, тянется вглубь моря.

Кто разучил с ними эту пьесу? Кто суфлирует? Ясно одно: «дух не выветрился» и требует своего воплощения. Точнее, в незримых пустотах, как в формах, отлились копии – отлились сами собою, из другого состава. И крамольный вопрос: а если это «очередные» копии? Мы-то самонадеянно держим себя за оригинал. Еврейские дачники, не были ли они реинкарнацией совсем других дачников? Их обезьянами?

Из ездивших в Палангу никто и слыхом не слыхивал об оскверненном кладбище. (Верена Дорн – прототип Иоганны Витциг из «Бременских музыкантов» – у которой не далее как вчера мы были в гостях, паломница к еврейским могилам, чья книга «Baltische Reise» начинается с описания Паланги, Верена впервые узнала об этом от нас, опять же не далее чем вчера.) С тех пор само место – «Гора Наглиса» – сильно «цивилизовалось». Туда вела асфальтовая дорожка, вечером уютно освещенная. По ней «взад-вперед» катались в прокатных велоколясках, крутя вчетвером педали. На резном деревянном столбе в стиле народных промыслов было написано: «Наглио Кальнас». Мы взошли на языческий курган, побродили по лесу, в робкой попытке отыскать еще один погребальный холмик. Понятно, не нашли. Что могло остаться от считанных могил, ставших добычей чьей-то безбожной алчности? Да еще в Союзе.

Для очистки совести я спросил у хозяйки, сервильной, заинтересованной в дачниках – если не смотревшей у себя телевизор, то возившейся на кухне:

– Вида, не знаете, в лесу были могилы... далеко...

Вида давно нас просекла – неважно, что из Германии, неважно, что русские.

– А, кладбище? Знаю, да. Это там, за Наглио Кальнас Мы там грибы ходим собирать.

– Оно еще существует?

– Да, существует. Надо искать.

Был серый нераспогодившийся полдень. Стволы сосен, тоже серые, как в дымке, заштриховывали мне кругозор. Это походило на декорацию «Пелеаса и Мелисанды», выполненную единомышленником Метерлинка. Мы с Сусанночкой делились – вдали, между полосками стволов, желтел ее дождевик, все дальше в дымке. Кроме сказанного Видой, ничто не предвещало нам успех. Так можно искать до вечера. Будь еще в этом какая-то надобность...

И тут среди деревьев я увидел неожиданно близко от себя несколько фигур, вполтину моего роста. Они стояли неподвижно, словно ждали меня.
– Сусанна! – и торжественно: – Нашел!



Это были вертикальные надгробья, изборозженные морщинами древнееврейских писмен. Строки по горизонтали совмещались со строками восходящими и нисходящими. На земле стояли сгоревшие поминальные свечи. Кладбище, насчитывавшее три-четыре плиты, было огорожено. Имелась и надпись – по-древнееврейски и по-литовски.

Я почувствовал, что еще какой-то жизненный цикл подошел к концу. Их много, и они неравнозначны. Одни уже завершены, другие еще только ждут своего завершения, некоторые так и не дождутся. Во всяком случае, все, что должно было быть засеяно – засеяно, и что должно было быть посеяно, то уже посеяно.

У нас сложился распорядок дня. Приятно обзавестись привычками на час, чтобы впоследствии вспоминать: «однажды мы отправились после обеда в Крентингу...», «как-то раз я купалась на женском пляже...»

Характерно, что женский пляж, этот реликт викторианского стиля, Верена восприняла как достижение литовского феминизма. В молодости она сражалась под лиловыми знаменами. Я ее разочаровал, сказав, что без факультатива отдельных пляжей невозможно представить себе «всесоюзные здравницы». Это то же са-

мое, что вообразить себе в недавнем прошлом гостиничный номер без Библии на ночном столике.

В один из пляжных дней (не все были такими, хотя я по-королевски купался в любую погоду) по дороге на море мне повстречалась коробейница – русская, с литовкой скучно: для меня мера всех вещей не человек, а человеческая речь. Русская коробейница предлагала патентованное средство от всех несчастий.

– Берите, мужчина, крем, не пожалеете. Читайте. Он разработан в научно-исследовательском институте под Москвой. Специально для космонавтов. Хорошо от верикозного расширения вен. И если храпите. И если хотите, чтобы ваша жена испытала более глубокое удовлетворение. Или язва желудка, намажьте немного на хлеб и покусайте.

Бо-о-же... Но коль развезжает с полными сумками, коль тратится на дорогу, коль скоро кто-то это добро ей поставляет, и не ей одной, – нет-нет, значит, народ это хавает, мажет на хлеб и хавает. Всеядность людская безгранична, отсюда безудержная наглость, с какой вам втирают очки.

За bed & TV мы платим около пятидесяти евро. Полагался бы «...& breakfast», но Литва, в том, что касается свежих булочек, не только не вошла в НАТО, она еще не вышла из Варшавского Договора: хлеб хранится, как у моей тещи, в целлофане. По телевизору можно принимать знакомую мне спутниковую «РТР-планету» и незнакомое «REN TV», тоже спутниковое. Но нет ни «RTV», ни «EuroNews». Последние – новостной европейский официоз с тонким антиизраильским душком, впрочем, поубавившимся (кого что занимает: когда четыре года назад я познакомился во «французском Лионе» с сотрудницей русской редакции, кажется, с Украины, то ее больше беспокоило, нет ли антироссийского душка – понимай, антикремлевского – который они стараются, по возможности, заглушить). Пресный, как и всякий официоз, этот канал чем-то напоминает мне журнал «Англия» советских времен.

«RTV» куда интересней – в той своей части, где наполняется «Эхом Москвы»: в Москве ухо, а у меня око. «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать» было нацарапано на «Доме глухонемых» в Рошине. Тем паче, что случаются сценки. Особенно щедра на них приметная личность с «говорящей» фамилией – говорящей, что проливы должны быть наши. Пришел на передачу в дымину пьяный, «панямаш, на стол морду ложит». Пузатый дядько отдувался за двоих: он же и спрашивал, он же и отвечал, благо родом был из тех мест, где сами спрашивают – сами отвечают.

Или этот же, так сказать, «леонтьев», бегает по студии. Дядько ему: «Да, Миш... да не уходи... побудь еще немного...» А он свое: «Не буду с ним... не хочу с ним...». Лимонов, с которым он «не хочет», сидит пайнойкой: немножко чеховский доктор, немножко революционный демократ, немножко Троцкий в Мексике (типун мне на язык!).

Увлекательное занятие – наблюдать за теми, кому до тебя в этот момент нет дела. Им важен не зритель, им важен слушатель, лицо всаднического сословия – тот, кто скачет по Садовому кольцу с включенным радио. А что им я – что им перископ, в который смотрит немецкий подводник.

А немецкий подводник, между тем, составляет себе мнение об этих людях – по тому, как они себя ведут, как жестикулируют, во что одеты: о некоем политическом обозревателе – по его «представительскому» костюму в полоску; о некой ведущей, которая любит свой вырез на платье – и поскольку не без основания, то, верно, не она одна его любит.

Мимикой удесятерятся интонации, тон превращается в тончик, особенно у дам. Иные выглядят набитыми дурами, которым только чай гонять из красных чашек. Генделев на меня рассердился, когда я высказался в таком роде об одной из них: мало того, что мы ленивы и не любознательны – другими словами, невежественны как школьный военрук – мы еще и чудовищно косноязычны. Генделев: что я такое говорю! Он целых полгода был в нее влюблен: умница-красавица (так и подмывает продолжить: всем трамваям мать).

Не знаю, это обман зрения у меня – или у него слуховая галлюцинация. Москвич, побывавший у нас в гостях – лицо всаднического сословия – впервые увидев «Особое мнение», был поражен: «До чего же непрофессионально». На слух он этого не ощущал. Зримая песня.

Но вернемся к тетке-коробейнице, у которой народ все схавает. Что жареные гвозди! Сорокинская норма – их ежедневный рацион. Когда началась Осетия, РТР прорвало таким геббельсом, что я беру назад все вышесказанное о свободолубивой радиостанции: простите меня, девицы-разумницы, простите меня, улицы-красавицы – стар и шаловлив стал.

Надо сказать, я опоздал к началу грузинского кино – в телевизор заглядывал редко. «REN TV», как ни включишь – все про пришельцев (может, это особенность спутниковой версии). Прикажете смотреть последние известия по РТР только за то, что там любят Израиль со всем пылом запретной страсти – боюсь сказать, инцеста? Хотите знать, что такое «ласка огневая», послушайте их «шефа нашего ближневосточного бюро» (на кого работаете, сударь?). Причем я верю в глубину и силу его чувства, с таким впору жениться на Израиле. Только, боюсь, невеста разборчивая. Смотреть эртээровские «Вести» – то же, что снова читать между бровей у Брежнева. В остальном РТР – это когда из телевизора несутся райские напевы. Ресторан – земной рай, соответственно ресторанный музыка – райская музыка. Имеется еще большой выбор передач про культуру, которую собою воплощают народные и заслуженные касперле. Сказано «будьте как дети». Для детей Петрушка, Касперле, Буратино живые существа: говорят, действуют – а что за ширмою прячется Карабас-Барабас, им до этого дела мало.

Поэтому я и опоздал к началу – включил свой безальтернативный ящик, когда звездная пара уже в полный голос делала свои государственные заявления. Сильная половина возвратилась со спортивных мероприятий и озвучила свое виденье вопроса с той подкупающей честностью в голосе, которая призвана подсказать зрителю, кто в этом кино хороший.

(Мама говорила мне, посмотрев очередную серию «Далласа» или «Денвер-клана»: «Я умная, сразу поняла, кто хороший, а кто плохой». Еще она говорила с гордостью, от которой сердце разрывалось: «Душевная болезнь – это благородное заболевание». До благородного заболевания ее довели люди с Лигейного.)

Беда не в том, что ты Видок Фиглярин, а в том, что ты тоже горд – своими университетами. Что ты – нераскаянный Видок Фиглярин.

У государства два лица. Рядом с первым другое «первое лицо» смотрелось в привычном для себя свете: компенсировало взрослым словом «отморозок» то, что не достаёт до пола. Как из всех видов шарлатанства худшее – это шарлатанство от медицины, когда крадут чужое наследство, обирают будущую вдову и сирот, так из всех видов пропаганды недостойнейшая – та, которую ведут на фене. В двадцатом веке Россия была опущена, замочена в сортире, ссучена и, отмотав свои восемьдесят, старой лагерной сукой вышла на волю. С учетом «особенностей нацио-

нальной истории» и разговаривают с народом. С эсками на эзъем языке – чтоб не учуяли слабицу и не запрезирали. Сусанючка называет их говорящей подворотней. Неверно. Ленинградская подворотня так не говорила. Она была шпанистой, с похабно спущенными штанами, но не приблатненной. (Кстати, первоначальное «понуждение к миру» звучит лучше – по-старинному, по-книжному. Тем, кто правил президента, двойка. Чего испугались? И еще: говорят, в мире вот какое чудо, барчук греет постель дворовому мальчику. А ведь похож даже не на барчука, бери выше: с лица б спал да бороду наклейте – вылитый Государь-мученик, хоть золотую десятку чекань.)

Из последних известий невозможно было ничего понять, кроме одного: средством для промывания желудка промывались мозги. Меня бы рвало. Шла торговля тем самым, чем мажут космонавтов. Пусть даже у грузин и впрямь верикозное расширение вен, пусть баба и вправду мается на полатях, а мужик храпит-надрыгается, пусть прободная язва желудка – то, что мне всучивалось, ко всем этим напастьям не имело ни малейшего отношения. Крупный план и картонный пафос говорили сами за себя.

Но с другой стороны, по оговоркам, проговоркам и противоречиям, изобличающим явное вранье, тоже нельзя ни о чем судить. Неумение сочетать правду с полной должностной выкладкой еще не означает, что в интересах говорящего эту правду скрывать. Сабля наголо, пар из ушей: «Ура! Пятидневная война!» Это что же, утреждающий удар? Не завидую тем, кому он отдает команды: мало того, что идиот, еще и фанфарон.

(Порой умного от идиота не отличишь. Зимнею порой. Взять Грызлова. Зимой – умнейшая личность, а сегодня отличился. Оказывается, иностранцы потому русских детей стремятся адопировать, что у русских детей лучший генофонд в мире, они самые умные и самые красивые.)

В сущности, не важно, что говорится, важно, кто говорит. «Дас Шварце Кор» или «Рейх» писали чистую правду о большевиках. Все «озвученное из первых уст» об украинской государственности тоже чистая правда (будь Украина гомогенна, она давно бы узурпировала «русскую идею», а не придумывала бы себе биографию). Тем не менее жажда присоединения Севастополя к России московское градоначальство может на том же основании, на каком венский магистрат мог бы рассчитывать в один прекрасный день на карте Австрии обнаружить Лемберг.

В учебнике истории для седьмого класса русских школ (изд-во «Гельсингфорс», при поддержке министерства народного образования Финляндии) в разделе «Предпосылки Российско-Грузинской Пятидневной войны» читаем: «Основное отличие РФ от РПЦ состоит в том, что РФ, заявив себя правопреемницей Второй империи, в то же время отказалась соблюдать главный принцип созернитета, согласно которому вассал моего вассала не мой вассал. Лозунг „абхазцы, учите грузинский – грузины, учите русский – русские, учите английский“ был выброшен на свалку истории, по меткому выражению...».

Не исключено, что к тому времени я еще буду жив и смогу привлечь авторов учебника к суду по обвинению в плагиате. Этой ночью я уже листал в поисках доказательств «Субботу навсегда». Гиблое дело, восемьсот страниц! Никто никогда не одолеет, включая автора – раздолье для плагиаторов.

В отличие от Первой империи, во Второй империи вассальная зависимость перестала быть личной, субъектами сеньориального права стали целые этносы более или менее в границах своего обитания. Официально это именовалось чьей-то там

«национальной политикой». Только на условиях национального вассалитета этносы присягнули. Так возник Советский Союз.

И вот в третий раз в первый класс. Новые «бломкины», «полит-графоманы», балдеющие от собственных фантазий, вот-вот дофангазируются до того, что школу вообще закроют. Продержись прежние «бломкины» дольше со своими прожектами, Вторая империя бы не состоялась. Но тогда их смелó, и принцип вассальной зависимости подтвердил свою эффективность. Сегодня сметет подавно. (Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе, третье?) Только Третьей империи это уже не поможет. И будут спустя некоторое время их геополитические эзерсисы восприниматься как второе издание дневников Дриё Ла Рошель.

Что Волга впадает в Каспийское море, я твердо усвоил, прочитав «Дар». А еще – что все наоборот: смерть невозможна, а распад страны неизбежен. Географический статус-кво – это не для империй. Предприятно, чтоб не закрыться, надо постоянно расширяться. Но прирастать морями и землями больше не удастся. У Набокова что-то там «обложено пошლიною красоты» – гениальность России обложена таким тяглом «наших исконных российских мерзостей» (все тот же Набоков), что платить – себе дороже. А чтоб кто-то другой платил – нет охотников, кредит исчерпан. Лучше расползтись. Пик гениальности России пришелся на девятнадцатый, начало двадцатого века. Появится еще один «голован», наподобие Вены – Москва.

Многим гениям суждена короткая жизнь. Сегодня эта страна вполне заслуживает своего гимна, да будет он ей реквиемом, как был им для миллионов. Россия упустила свой исторический шанс постоять на коленях – стоило у каждого встречного спрашивать дорогу к храму (а фильм-то грузинский).

Эти злосчастные коленки стали главным соблазном либеральной риторики – оскоромимся и мы: «Чай, православным не грех постоять на коленях, а то, панимаша, каяться им не в чем... это, братие, бес наущает». Россия мучительна: черная сотня и красная сотня вперемешку, без дополнительных ингредиентов. Поскреби итээр-либерала – проступит роман «Что делать?» со всеми последующими осложнениями. А прочих и скоблить не надо: махровый Охотный ряд. Вкусовой эквивалент России: смесь черной икры с красной.

Да, был шанс, но к нему всем миром повернулись одним местом. Коль этой стране судьба и дальше крошиться (чем Севастополь, Минск или Харьков уступают в русскости Владивостоку или Санкт-Петербургу?), то главное, чтобы пугачевщина, скачущая с микрофоном между столиков, не преобразилась в свой омоним – звучит как «омон», не правда ли? Лично я всегда сознавал, что родится на кладбище и писать мне предстоит на мертвом языке – как Агнону, Монтеню или Башевису-Зингеру. (У меня в романе преподавательница латыни говорит преподавательнице русского: «Пожалуй, мы становимся соперницами. В мое время учащимся предлагали два классических языка на выбор».) Я всерьез не мог идентифицировать себя с этим государством. Если это моя беда – как мне сказал когда-то Пьецух – то я предпочитаю бедствовать.

Почему Грузия? «Почему стрекоза», а не муха, червяк или навозный жук – что-то менее декоративное? Их там предостаточно, «самоопределившихся». Саперные лопатки генерала Родионова еще не самое грозное оружие, которое центральная власть под занавес пускала в ход – вспомним вильнюсские события – а далекий

пятьдесят шестой был скорее «бунгом верности». Отдаюсь на волю вымысла. Интуиция меня подводила реже, чем других – знание.

Знаниями о Грузии, в отличие от моего гипотетического читателя, я обязан настенной живописи в шашлычных (не совсем Пиросмани): люди в папахах пируют на фоне гор и косуль, к ним приближается колхидская дева с амфорой на плече. Путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через желудок. Предпочтень «котлетам», где фарша меньше, чем хлеба, а также «ромштексам» толщиной с туалетную бумагу и зубонепробиваемым «лангетам» шашлычную – то же, что от своей благоверной сходить «налево».

Грузия не просто одна из «самоопределившихся», среди них она – неверная возлюбленная. «Грузины спят с нашими женщинами», и в ответ еще обиднее: «Ваши женщины – это наша шашлычная». («Сосо, а твоя жена кончает?») – «Что она, блядь?») Все это больше для психоаналитиков, с учетом того, что российское право первой ночи распространяется на всю Грузию. Русское подростковое сознание, «лыбясь», распевало про отечественных красавиц:

*Там усатые грузины,
Красное вино,
Та-та-та-та (не помню) апельсины
Ждут вас всех давно...*

Все шиворот-навыворот: Грузия – красавица на ладони у Кинг-Конга.

Считанные разы встречался я с настоящими грузинами – не «салонными». Пригласил поужинать заезжего дирижера: по моим понятиям, соотечественник. Одинок в чужом городе немолодому человеку (он вскоре умер – вообще-то не таким уж старым). Это был случай дирижера, буквально лепившего руками. Прямо как Рахлин, которому стяжать заслуженные лавры (понятно, по советским меркам) помешала безалаберность, полное отсутствие всякого присутствия. А этому что помешало? Впрочем, дирижерство – дело темное, сгоряча можно и переоценить.

После репетиции он сразу спросил: «Вы еврей? У нас в Грузии никогда не было антисемитизма». То, что я разделял его неприязнь к России, как бы само собой разумелось. Разговор ведется, естественно, по-русски. Его специальность на Западе – русская музыка: Чайковский, Рахманинов. (В перестроечное время одна Жорина приятельница, автор монографии о русском символизме, чье татарское происхождение было для меня отнюдь не очевидным, без устали клеймила русификацию Казанского царства.)

Недавно перенесший инфаркт, он очень долго всходил по лестнице. Пальто накинуто на плечи. У нас гостил Шейнкер, который, когда захочет – волшебный собеседник. На сей раз Миша себя никак не проявил. За столом привычно верховодил дирижер. Присутствовала также чета – виолончелист и альтистка (не из анекдотов про альтистов – замечательная, Таня Мазуренко). Еще к украшению стола звана была длинноногая чернокудрая Злотина – Мися, маленькая, поэт: «Очень черная, очень страшная» – под метр девяносто ростом. Дирижер не преминул сделать ей комплимент: «У меня всегда были очень высокие любовницы». Прелестный грузинский акцент, делающий всех грузин «чудесными», прибавлял очки его обаянию. А мешал профессиональный деспотизм: в Тбилиси у него был свой оркестр. Отметим патриархальность нравов: с достойной мужественностью положив глаз на чернокудрую ногастую соседку, он в то же время заявлял себя примерным супругом – был обеспокоен здоровьем своей львицы, которой лучшие немецкие врачи тщетно пытаются раздробить камень в почке: «Сына родила, а такой маленький камешек родить не может».

Он хотел сосватать какому-нибудь здешнему альтисту произведение сына – сочинение для альтя. Но вдруг засуетился: еще узнает Башмет. Видно, это было против правил. Испуганный, засуетившийся царь зверей. Так и представляешь себе его и подобных ему в униженной роли азиатских царьков в Риме. Дожидаются аудиенции, кто в тигровой шкуре, кто в наброшенной на плечи бурке, в душе скармливая своему презрению римский плебе, которому до сынов их племени – как до Луны.

Якобы не то Иоселиани, не то Мамардашвили сказал: «Последний грузинский нищий не стал бы есть селедку с газетки, а русский интеллигент может». Малые народы русских не столько ненавидят, сколько презирают – если уж кого ненавидеть, то немцев или турок. Немцы – палачи, турки – одно слово, «турки». А русские всего лишь свиньи. Грузинские лендлорды были ровней русским лендлордам. В своем фильме «Листопад» Иоселиани под музыку Дебюсси трепетно показывает нам увешанную дореволюционными фотографиями стену – та империя была также и их империей. И в том же фильме – экскурсия русских туристов, тупо смеющихся. Они появляются в самый неподходящий момент – олицетворением «глубоких и давних симпатий, связывающих наши народы».

Спародирuem вопрос армянского радио: «Правда ли, что Грузия суверенное государства? – Правда, но мы любим ее не только за это». Грузия завоевала сердце России – и через желудок, и потому что на холмах Грузии лежит ночная мгла, и своими фильмами, и тем, что из всех республик, включая «западенские», единственная не сделалась «совком». И это вопреки своей креативности (sic!), которая в советских условиях была губительна: позволяла стричь всех под одну гребенку.

Великая Октябрьская Социалистическая революция при всем своем величии оказалась бессильна перед породой, расой. Посмотрите на Гамсахурдиа, чья участь достойна стила Тацита («Гроб в полу он чачею кропит...») – ну, это, положим, не Тацит, это Елена Шварц), посмотрите на Нино Бурджанадзе. Да хоть на медведя Саакашвили. Их хохлила сама природа. И вы хотите, чтоб они вас любили? Вы – прошки, наливающие рюмку хересу своему барину. Теперь вы в его барском халате, ноги на стол. Вместе с вами с газетки есть?! Да мы ровня вашему барину. (Именно поэтому грузинам говорить об оккупации хором со всеми – опускаться до чужого прошлого: с батраками договоры не заключались, с царями – заключались.) Когда на исходе советских дней Астафьев обиженно что-то проревел, то был незадолго до этого вызван на бой. То есть полагал, что вызван на бой. На самом деле состоялась показательная коррида – с бандерильями, раздраживанием мулетой. Матадор блестел оперением, у быка блестели ятра. Что ж, история их рассудила...

Вот, собственно, «почему стрекоза». «Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность». Воевать Грузию, дробить Грузию, как камень в почке, потом оплакивать ее же – а в действительности себя – всхлипывая: «Не пой, красавица при мне ты песен Грузии печальной, напоминают мне оне...» Ох как напоминают! И ведь никто больше не утешит, не скажет со своим неповторимым акцентом: «Не горюй».

В последние дни распогодилось. Новые постояльцы вселялись к Виде только через несколько дней, и мы на эти несколько дней, к ее радости, остались – за счет Вильнюса. «Летом, в жару, – рассуждали мы, – менять море на город... Двух дней в Вильнюсе достаточно».

Обезлюдившие, было, пляжи ожили, женский перестал быть местом, где дветри крошечные Евы, самые несгибаемые из Ев, упорно продолжали купаться. Я видел

этих стойких одиночек из своего столь же дождливого и ветреного далёка, будучи и сам одного с ними поля ягода. Но миг все переменилось, и вот уже Сусанночка где-то там, среди прочих «феминисток», коими кишмя кишит женский пляж.

Перед отъездом мы бросили в море горсть литовской мелочи – не семьдесят второй год, не страшно.

Мы снова сидели врозь – теперь автобус был полон. Все рвались в Вильнюс, там проводился мастер-класс в помощь изучающим идиш. (Это я шучу. Всегда надо предупреждать, когда шутишь, а то рискуешь быть неправильно понятым.) Еще в Иерусалиме Дина Рубина – не сочтите за бахвальство, я действительно с ней знаком – узнав, что мы будем в Вильнюсе, простерла свою любезность так далеко, что связала нас с одним американским подданным, по имени Илья – чтоб нам было там интересней и чтоб ему было там интересней. Дело в том, что работодатель Ильи командировал его в Вильнюс изучать идиш (я не знаю, шучу я или нет). В один из дней мы созвонились с Ильей, который подтвердил свою готовность с нами встретиться, вместе погулять по Вильнюсу, познакомиться с разными людьми и т.п.

Эмигрант, дрейфующий на своей эмигрантской льдине, я охоч до разных людей. По дороге в Палангу я развлекался тем, что читал «Историю кастратов». На обратном пути «Кастратов» мне заменяет «землячка» (закавычил, потому в Петербурге жить, как в гробу лежать – в земле бишь – и нечего пенять мне за «червивость», не я первый). «Землячке» за тридцать, из поколения меламидовских «компьютеров». Чуть не оказалась в одном самолете с ними (поскреби любого горожанина, увидишь: каждый так или иначе подпадет под действие «закона о возвращении»). Закончила Политех, в нем же преподает. Темноволосая, короткая стрижка, красноватая сыпь. Путешествует одна, живет с родителями, отец моложе матери, мать – библиотечный работник. Из Вильнюса хочет на день съездить в Тракай. Активная пользовательница интернета. В какое кафе ходит? Назвала какое-то, но не которое у Мальцевского рынка, где крутят клипы. Хобби? Джаз. «О!..» Стараюсь не ударить лицом в грязь. Голощекин, «Ленинградский диксиленд». В бывшем театре «Правда», где фильмы шли вторым экраном, сейчас какой-то клуб. Она поправляет: «Филармония джазовой музыки». Да-да, правильно... («Правильно»: филармония музыки.) А мы ловили «Radio Prague». А кого она предпочитает? Дюка Эллингтона. Мама (та самая, которая библиотечный работник) слышала его в молодости, он приезжал со своим оркестром... На выборы? Нет, не ходила. А в принципе за «Яблоко».

Молодость ее мамы пришлось на мою молодость, Эллингтон приезжал при мне. А до этого Бенни Гудмен. Имитировать разговор о джазе я мог бы долго. Джазовые обмороки Зямика входят в эксклюзивный набор моих воспоминаний. Его комната в Рошине вся облещена изображениями припадочных импровизаторов: Телониус Монк, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер, Оскар Питерсон. У него есть «гигант» (пластинка), на плотном глянцевом конверте поверх носатой физиономии написано: «The Dave Brubeck quartet». А из стационарной «даугавы» замогильным голосом раздается: «This is the voice of America. Jazz hour». Я джаз не слушал, но был терпим к искателям джазового кайфа – от кого с души воротило, так это от «биглôв».

«Землячка» о своем хобби имеет слабое представление. Корю себя: пристаешь с расспросами, а в ответ выпаливают холостыми. Подавай тебе чью-то жизнь во что бы то ни стало, но то, во что это станет, исчисляется в атомах, составляющих тебя. Смени себя целиком на другого, на каждую его клеточку, и все в нем сдела-

ется понятно. Но сразу станет неинтересно. Слово берет защита: и отлично, что перестанет быть интересно. Эстафета передается дальше, следующему. До бесконечности. Утопия вечного двигателя – утопия познания. Это мракобесы учат: «Познай самого себя». Велика радость – гоняться за собственным хвостом.

...Но время прошло незаметно. В два мы были в Вильнюсе, весь день впереди, и еще завтрашний, послезавтра улетаем. Гостиничный номер о двух ночах. Гостиница, перестроенная из каких-то служб, имела вид постоянного двора: в соединении с современными удобствами это только прибавляет звездочку. Выходишь со двора, минуешь по-довоенному, по-польски продуваемый перекресток, за большими барочными воротами начинается старый город. Здесь польский дух, здесь Польшей пахнет. Пахнет ксендзом.

Для евреев, со времен Виленского Гаона, Вильно – «Иерушалаим де Литва» (пожить в «Вильнюсе» им не довелось – может, каких-то несколько месяцев). Но так как и церквей здесь – слава Богу, не меньше, чем в Иерусалиме, их прихожане тоже могли бы говорить: «Litewska Yerozalima» – мол, шалишь, брат мусью. И стало бы одним спорным Иерусалимом на земле больше. Подчеркиваю, на земле.

«Литовский Иерусалим» – цвѣта литовского акцента в русском языке: легкая серость на белом коне. У этого города женское лицо. Говорят: «У войны не женское лицо», а здесь женское: немного поблекшее, худощавое, тонкие губы, высокомерно-попный взгляд, который по-русски не прочитывается. К счастью. Ничего хорошего о себе не прочитаешь.

Чтобы читать по-русски, как мне объяснили, надо перейти через Нерис, там, за рекой, не то большой книжный магазин с русским отделом, не то магазин русской книги. Когда-то на весь Иерусалим тоже был один единственный русский книжный магазин – тот, где я повстречал профессора Нерона. Потом их стало два, три, пять, десять. Не в тютчевской «русской Вильне стародавней» – сегодня в Вильнюсе, надо думать, русских куда больше, чем их было в Иерусалиме начала семидесятых (пятой группы инвалидности за граница не признает, все мы русские). Мораль: если днями и ночами заниматься частным извозом, то и одного магазина будет много.

Я сгущаю, я тенденциозен. Был же здесь еще недавно свой «русский университет». Показывают по телевизору интервью с его ректором, а Сусанночка: «Ой, Женя Костин...» Они учились в одном классе. Хороший мальчик, говорит. А я смотрю на «мальчика», и чудится мне за всем этим промысел спецслужб.

Как бы там ни было, кириллица мне ни разу не попадалась. Даже в виде уничижительного: «Пункт приема стеклотары», на бумажке от руки, в окне полуподвального помещения (я фантазирую). Даже на мемориальной доске, что, дескать, в этом доме останавливался Иозас Бродскис – хозяин, как теперь выяснилось, был осведомителем, бедняга.

Я снова сгущаю: доска в память Карсавина на двух языках. Оттого, наверное, что в этом доме заночевал Стендаль по дороге в Москву в 1812 году, о чем доводится до моего сведения тоже на двух языках – так же по-французски. (Я фантазирую, я не помню... Подумать только, перед тобой точка пересечения – с разницей в сто пятьдесят лет! – мечтателя русского Ренессанса, обреченного вечной мерзлоте, и гения французской литературы, «сбивавшегося» в ледовой наполеоновский поход.)

Нет, я постоянно сгущаю краски. Какходишь в город, по правую руку Свято-Духовский монастырь, и там на вратах уж всенепременно по-русски: «...Святого Духа». За пышным барочным фасадом молилась «Анна всяя Руся» за прапорщика Гумилева, который из Вильны отправился «на театр военных действий».

– Войдем? – спросил я у Сусанночки, но она отказалась. Она плохо переносит запахи ладана. У нее с чувством рода еще покруче, чем у меня. – В Италии ты же ходишь? В Толедо, в Антверпене... – Там другое, а здесь – «авода зара» (служение чужим богам).

Много-много лет назад, еще очень молодыми, мы на Пасху решили сходить в «белую» церковь. То была церковь Марии Магдалины на склоне Масличной горы: ее золотые луковки среди кипарисов – известнейший из палестинских православных видов. Внутри шла служба, полно народу. Мы остались снаружи. В темноте я потерял Сусанночку. Оглядываюсь. В стороне смущенно жмется в кучку чужеродный элемент, между тем как другие, по внешности – духовные чада отца Ильи Шмаина, гордо вышагивают со свечками. И вдруг что я вижу: Сусанночка со свечечкой. Ей кто-то дал, она сказала «спасибо» и пошла. «Ты пшштó!!!» Она так перепугалась, что с тех пор от запаха ладана у нее растут рожки.

Есть города, в которые нет возврата, и наоборот – где трудно заблудиться. Есть города-лабиринты, по которым блуждаешь, как по Буэнос-Айресу твоего сна, где невозможно вернуться на прежнее место. И города, разлинованные, как Санкт-Петербург – эти солнца мертвых, испускающие лучи мертвых улиц.

Подле тех и других Вильнюс – простейшее. Как по пищевому тракту, только в обратном направлении, «с юга на север», прошли мы через весь старый город, вяловато-беловатый, декоративный, и вышли на улицу, которую Сусанночка знала еще как «Ленина». А как она называлась в «третьей польский период»? А как при царе? Не думаю, чтобы «Гедиминас» было исконным ее названием.

Наперекор синоптикам ударил дождь. Он настиг нас на абсолютно простреливаемой площади в виду большого белого портика (похожий на него меньший остался позади). Это – воскресенный Кафедральный собор. В связи с ним на память мне приходит картинная галерея – что неплохо. В пережитую эпоху стать картинной галереей, местом проведения органных вечеров или «Музеем истории религии и атеизма» еще не худшее по сравнению с перспективой сделаться бассейном, а то и вовсе быть взорванным.

Пока мы прятались под козырек газетного киоска, нас хорошенько окатило. Это стало доводом в пользу покупки черных концертных калош. Я не из тех, кто глазет на витрины, а уж по ту их сторону подавно редкий гость. Сам не пойду, таких приводят жены. Они же объясняют приказчикам, что «нам нужно», а мужьям говорят: примерь вот это, встань, повернись, пройдишь.

В полном должностном соответствии продавщица обложила нас коробками, я только следил за тем, чтобы не превысить ценовой лимит – Сусанночка, она, знаете ли, увлекается. У одной пары были неплохо соблюдены пропорции: удобство, цена и форма колодки находились в правильном соотношении. Попросили отложить: заберем по пути назад.

Консерватория, которую решили навестить, в двух шагах. По мне так учебное заведение на каникулах напоминает больничную палату в тот момент, когда сестра меняет постель, проветривает помещение, наполняя его бодростью чужого здоровья, а ты в ожидании: сейчас снова ляжешь и начнешь обживать эти обезличенные простыни.

На доске список вновь госпитализированных: струнное отделение, фортепианное отделение и т.д. Сусанночка читает их. В точно таком же сорок лет назад Сусанночка отыскала свое имя. Я никогда здесь раньше не был. Первое впечатление: училище при московской консерватории или петроградской – разместившееся в какой-нибудь дореволюционной гимназии. Планета малая, провинциальная, но

все равно – планета. «А в этом классе было... а в том классе...» Постояли перед одной дверью, перед другой, и пошли за туфлями.

«Приемыш гордый» еще с середины семидесятых, Илья жил поблизости от обувного магазина. Очень славная квартирка с ангресолями, переделанная из какой-нибудь полукommунальной норы. Работодатель Ильи был щедрым человеком.

На рубашке-поло у Ильи корпоративная нашивка: «US Embassy at Bagdad». Но особое мое внимание привлек добротный ремень светлой кожи – неужели от того, что я намного меньше ростом? Он носит обувь от «Наот», которую заказывает по интернету. В такой хорошо присматривать за черепашками в Рош Ха-Никра. Кажется, это израильский максимум, который Илья себе позволяет, а я имел глупость упомянуть имя Полларда...

Он общителен, умеет слушать, любит вспоминать Багдад. Но при этом немножко как тот литовец за столом в ресторане 21 августа 1968 года. Спрашиваешь: «Кого из двух кандидатов предпочитаете?» – «Моя сестра в Нью-Йорке за Маккейна». О Жоре он уже знает.

Если работодатель Ильи был щедрым человеком, то Илья был человеком гостеприимным. Нас ожидал аперитив с легкой закуской, сервированный, «как это принято у них» – перед ужином. Мы выпили, предварительно отсалютовав стаканами...

(Нет, должен рассказать. В Москве в азербайджанском ресторане отмечается день рождения, я среди гостей. Подымаю стопку – и вдруг человек меняется в лице: – Где вас учили смотреть в глаза, когда чокаетесь?

Можно было, конечно, ответить: «Не там, где вас».

– Вы забыли, я же иностранец.)

Хотя какой я иностранец. Как говорит Сусанночка, свой забыл, чужой не выучил. «Свой», положим, я холю и лелею, а что касается «чужого», то чистая правда.

Иностранец, американец – это про Илью. Во всем превосходит меня: и ростом, и тем, что, приезжая в страну, первым делом учит язык, например, литовский, и тем, что не «пьян собою» – не то что некоторые: что на уме, то и на языке. Его мысль лишена жеманства – все просто, все прямо. Но не мимо.

Я спросил потом об Илье у Шейнкера. «А, помню, ходил на выставки, высокий (Шейнкер моего роста). У него были неприятности с КГБ». Если у КГБ будут неприятности с ним, то «симметричный ответ» налицо.

Илья настоян на Америке, я же в ней бываю только по необходимости (две гастрольные поездки – одна в семьдесят пятом, другая в девяностом). Великое видится на расстоянии, а мне бы не хотелось быть в числе антиамериканцев – они глупцы. Сразу мерещится козварь с физиономией Франкенштейна (есть такой на российском телевидении). А в неметчине какая-нибудь фурия, соперничающая с себе подобной длиной волос подмышками.

Чтоб не быть в этой милой компании, я и придумал отговорку: мне Америка не по зубам, я по-английски ни бельмеса. (Как будто с немецким намного лучше. Я живой пример того, как, эмигрировав, русские выучивают чужой язык исключительно в рамках своей профессии.)

Но главное: я ни на мгновение не забываю, что в половине штатов казнят людей; что меня на той земле хранит Фемида, именем которой кого-то притягивают добротными ремнями к ложу. И, прежде чем испустить дух, человеческое существо испускает ступки космического ужаса.

В споре о смертной казни козырять аргументами бессмысленно. Это не вопрос целесообразности, это часть нравственного императива – как для тех, кто «за», так и для тех, кто «против». Поэтому апеллирую не к морали, сие невозможно в силу вышесказанного – апеллирую к здравому смыслу, конспектно, «стоя на одной ноге». Наказание смертью – нонсенс. Отнятие жизни – избавление от воздаяния. Мертви сраму не имут. «С Борисом Евстигнеевичем, случилось несчастье – он умер...» («Мертвецы в отпуске»). Если кто и наказан, то близкие. Это им вынесен приговор, это над ними он приведен в исполнение, это им было отказано в помиловании, это им затянули ремни на запястьях и на животе и над ними склонился врач, непременный участник экзекуции. Но и жаждавшим «справедливого возмездия» не легче от свершившегося. Они обречены танталовым мукам: их жажда неутолима. К возмездию неприложим эпитет «справедливое». Еще не придумали способ, которым может быть измерена справедливость – единицы справедливости еще не изобретены. Dxi.

Но я ни на мгновение не забываю и то, что Америка – это наше спасение. Это крик: вижу землю! («То ли берег, то ли планету» – «Суббота навсегда»). Грешно рубить сук, который Господь Бог для тебя вырастил. На это легко возразить: на суку не только сидят, но и вешают. Гм, тогда... Ты победил, Галилеянин – что мне еще останется сказать.

Пока же я влачусь за Америкой – прикован к ней спасительной цепью (это те, другие – гибельными ремнями). Мессианское предназначение этой страны в нашей семье сомнению не подвергается. Сусанночка – убежденная «штатница». Мисеньке, выросшей среди англосаксов, было проще найти язык со своими вашигтонскими кузинами, чем с соседскими детьми. Иосиф и вовсе учился в Брауне. Затопление Нового Орлеана Сусанночка переживала как личное несчастье: от дома ее подруги, где она останавливалась, и помину не осталось.

Эту подругу – Наташу – я видел лишь однажды, в год рождения Мириам, которую она называла Мурмышкой. Это поздней появились и Мися-Мурмися, и Мириам-Пумпирям, а сперва была Мурмышка. Сама Наташа, носившая в Шяуляе фамилию Огай, в Америке сделалась О'Гай – точно так же как некто Гершович превратился в Гершвина. Наташа приезжала с дочерью, тринадцатилетней Ново-Олеанской девой. Не верилось, что перед вами мать и дочь: маленькая азиатка Наташа была в своего отца – корейца, а Маша в своего – Томаса Венцлову (Бродский, обращаясь к нему, не стал склонять его фамилию – «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» – чем вызвал нарекания критика-пуриста из предыдущих эмигрантских волн). Мы тогда решили, что Маша будет американским консулом в свободной Литве. Наполовину сбылось.

У языка идиш, курс которого Илья «брал», сложные отношения с государством Израиль. Идиш травили. Это была травля своих – своими, самых родных – самыми родными. (Не магрибинцы же придумали «рак иврит» – «только иврит» – это позже они писали на домах: «Вус-вус, уезжайте к себе в Освенцим».) Что может быть горше плача Давида над Авессаломом? Только гипотетические слезы Авессаломы, которыми он всю жизнь оплакивал бы Давида. Сын и отец, в ярости стоящие друг против друга – какая ужасающая боль пожирает при этом обоих. А у еврея она еще острее: мидор ледор. Это не миф рода-племени, это Бог – отец и Библия – мать. (Я знаю, ересь чудовищная. А я себя и не выгораживаю: косвенные самохарактерики такие, что...)

Долгие годы «говорить на жаргоне» значило говорить на идиш. Сегодня идиш в фаворе – после того, как душа его отлетела. Он политкорректен: никакого сию-

низма. Милуйся хоть с Ахмадинежадом, по примеру пейсатой Натурей Карта – никакого риска быть обвиненным в антисемитизме – самом страшном грехе, по понятиям нашего времени. «Мама лошн» звучит и с университетских кафедр, и с концертных эстрад. На «мама лошн» читается Нобелевская лекция (я так и не смог одолеть «Шошу» в русском переводе, думаю, не только по причине его топорности – говорят, русский перевод не уступает авторскому английскому, с которого делался). А Тора переведена на идиш? Сталин, скорей всего, переводился – и мысль, от которой душа каменеет: «Майн кампф» в переводе на идиш.

На этих курсах выступал исполнитель еврейских песен, изумительно передавший звучание языка. Представим себе: маленький, слабый, тонкошей – горло ходит ходуном – с тонкими трепещущими перстами, с волосами назорья, одинакового уродства и привлекательности человек, одним своим обликом кричащий толпе: «Распни меня!» Ничего общего с той самодеятельностью, которая будет петь, плясать и закусывать по-всякому: и на идиш, и на иврите, и по-английски, а на бис выдаст «цыганочку» – и все с пудовым русским акцентом. Он разучил с аудиторией несколько песен в духе «Аф дем припэчек брент афойерл» («На приступочке огонек горит») – как разучивали в моем детстве песни по радио: «Возьмите карандаш и бумагу, приготовьтесь записывать». И еще спел одну песню на иврите, которого не знает, причем так, как это сделал бы «сабра» в пятом поколении.

Меня удивило, что такой еврейский типаж все еще встречается в Кишиневе. Почему он до сих пор не перебрался на Ближний Восток или Дальний Запад – безразлично куда. О чем я его и спросил с присущей мне непосредственностью. (Точно так же к Илье я пристал с Поллардом, отбывающим двадцатый год своего пожизненного заключения за передачу Израилю каких-то секретов. Поллард, будучи подкуплен своим собственным еврейством, не может рассчитывать на президентское помилование. Сразу начнется: «А им можно, да?») Одна надежда на «дер шварце», ему это скорей сойдет с рук, тем более, если надо будет что-то заглаживать перед Израилем *<сноска: Джонатан Поллард будет освобожден в 2015 г.>*)

Певец из Кишинева озлился до когтей – когтиности тщедушным людям не занимать. Похоже это его больное место. Как будто он – персонафицированный «идиш», а ему говорят: катись в Израиль. Выясняется, что он не только поет – он сочиняет, он близок к театру. В Кишиневе у него свой круг... ну, кружок. Притяжение «малой планеты» явно носило личный характер. Его и так приглашают выступать, – говорил он, вероятно, не мне первому, – и в Германию, и в другие страны, повсюду, где проходят фестивали идишской культуры.

Летний курс языка идиш привлекает людей типа Верены Дорн – автора «Reise nach Galizien» и «Baltische Reise» – или каких-нибудь ее студенток, еще двух-трех «туристов-экстремалов» и нескольких сентиментальных рантье преклонного возраста. Их немного, но это – интернационал. Среди участников был даже бритоголовый японец, похожий на буддийского монаха. Что ему идиш – двойная экзотика? Но вскоре я понял «что». В музее Холокоста он устроился с лэптопом у стенда Семпто Сугихара. И потом еще во дворе фотографировал каменное изваяние, напминавшее своей формой логотип японского автомобильного концерна, – памятник японскому консулу. («Генеральный консул Японии в Каунасе Семпто Сугихара (1900 – 1986) спас три с половиной тысячи польских евреев. Вопреки запрету своего правительства, Сугихара выдавал японские транзитные визы, по которым беженцы – через Сибирь, через Китай – могли попасть... на Кюрасао. Больше ни одно государство в мире их не принимало». Авторское примечание к роману «Обменные головы».)

Слова «еврейская культура» я вижу не иначе, как взятыми в кавычки: с миру по нитке, да еще чужой... ладно, оставим дискуссии. Это тот же извечный спор «миху ехуди?» («кого считать евреем?»). Идишская культура – да, это было. Иное дело, актуализация ее. «Идишкайт» сегодня – «яблочный сик, ще вже був увживанни».

(У меня есть «киевский» роман, называется: «„Вий“», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя). Полагаю, при переводе на немецкий именно идиш сошел бы за «шлатт-руссиш» – как определяет «украинську мову» Эльвира Зиновьевна Нечипоренко, которая вместо «Запорожья» говорит «Запарижье».

...Кстати: как с этим справится Люба, что она будет делать с суржилом? Я спросил у нее, а она: «Что-нибудь придумаю». Больше не спрашиваю. Я же понимаю... как там, «икорка, понимаем»? Придет время, что-нибудь придумаает.)

Илья повел нас в «Нерингу» и, когда официантка, переступая ногами, снятыми с плеч местного футболиста, подала счет, он решительно заплатил за всех, включая и Гедиминаса с Марьяной, заранее предупредив, что это «свои» люди. О'кей.

Прилюдно Марьяна обращается к Гедиминасу по-литовски, но вообще она москвичка, урожденная Бруни. «Нет, это жена Саркози – моя однофамилица». А когда надо что-то уладить: «Гедиминай...» «Свой человек», Гедиминас ненадолго исчезает, и то, в чем мне или Илье было бы отказано, например, в свободном столике, исполняется, словно по-щучьему велению. При этом выражение лица у Марьяны, как у фокусника.

Илья указал на ошибку «в меню»: «перебирая ногами», а не «переступая». То, что на обороте меню цитировался «Литовский дивертисмент», берет за живое:

*И веленья щучьего слыша речь,
подавальщица в кофточке из батиста
перебирает ногами, снятыми с плеч
местного футболиста.*

Я сначала это не закавычил. Нарочно. Цигата воспринимается иначе, никакой обиды за официантку. Гордость. Вот какие были они тогда. Официантка из «Неринги» и нападающий «Жальгериса» – еще одна звездная пара. А сейчас... И не царевна, и не жаба.

«Неринга» осталась как при Бродском: с такой же купелью для жаб посередине, со звездной панелью под потолком. И потому смотрится, как сегодня смотрелись бы «креповые» носки или «мохеровый» шарфик. Марьяна вспомнила с ностальгической ноткой, как они ходили в рестораны – дескать, были когда-то и мы рысаками, а может, в контексте «жареных гвоздей», обесценивших понятие «свободного столика».

Вдруг Илья устремился на улицу, позабыв о котлете «неринга», лишенной, впрочем, своего «внутреннего смысла» – сливочного масла. Мы поспешили за ним. По неширокому Гидеминасу, растянувшись, наверное, на полкилометра, энергичным шагом двигалась колонна с грузинскими флагами. Я узнал шедшего с краю Ландсбергиса. Он быстро прошел мимо, сильно наклонясь вперед, словно шел в гору.

Илья сделал несколько снимков – omnia mea mecum porto.

– А это... – он назвал фамилию, которую я не расслышал, по-моему, английскую. Волевое лицо, седой бобрчик, рука на перевязи – ветеран холодной войны.

(Не знаю, что представляет собою Ландсбергис, но Чуруленис, которым он занимался, явление чрезвычайно симпатичное. Можно подобрать и другой эпитет. Просто я исхожу из того, что сильное увлечение им в отрочестве, в двенадцать, в

тринадцать лет, сменилось у меня раздражением, правда не равной силы, так что на сдачу я все же получил конфетку «симпатия».

Чурленис – «Чурлянись» – в какой-то момент начинает раздражать, как все символисты. Общее между декадансом и салатом «оливье» в том, что и того и другого должно быть мало. А Чурлениса было много, его даже проходили по истории музыки народов СССР, где Литва была представлена кроме него еще Дварionaсом. Все это как-то не способствует... Но вот всякий раз, спускаясь в Тель-Авив, где-то за Мевассерет-Ционом мы видели перед собой на крутом каменистом склоне хвойные деревца, заставлявшие радостно вспоминать чурленисову рисованную фугу. Лет пятнадцать назад «фуга» сгорела, это случилось, когда в окрестностях Иерусалима бушевали пожары.

Другая аллюзия на Чурлениса – литературная, очень стойкая. Это было на фестивале «Варшавская осень – 85». Тогда в Варшаве я открыл для себя Борхеса – поздно, очень поздно он был переведен на русский. «В кельтской легенде рассказывается о поединке двух знаменитых бардов. Один, сопровождая себя на арфе, поет с восхода солнца до наступления ночи. Уже при свете звезд или в лунном свете он протягивает арфу другому. Тот отбрасывает ее и встает во весь рост. Первый тут же признает себя побежденным». Благодаря этому образу – ночи, звездам, сказочности – сдетонировала описываемая в том же рассказе – «Гуаякиль» – партия в шахматы: на холме, куда два войска бьются, два короля играют в шахматы. Я сразу вспомнил «Сказку двух королей» Чурлениса и то, как девочка подарила мне папку с его репродукциями – это была дочь папиного товарища, одного скрипача, после войны осевшего в Вильнюсе.)

Вильнюс вывесил грузинские флаги. «Капитулировал». Стал похож на Берлин сорок пятого. Из всех окон, на всех домах белые простыни, крестообразно перечеркнутые красной краской, и в каждом из четырех белых квадратиков по красному крестику. Крутом молодые люди с такими же простынками за спиной, завязанными на груди. «Псы-рыцари», отсылка к Эйзенштейну. Вечером у Медининских ворот, возвращаясь в гостиницу, мы повстречали мою автобусную знакомую – «землячку». «Ну, как вы?» – «Да вот...» – «В Тракай едете?» – «Завтра». – «Смотрели уже телевизор?» – «Смотрела». – «Ну что, лапшу на уши там вешают по всем правилам?» Не ответила. Это для меня «там». А для нее это там, где папа с мамой. Там, где политех. И между нами встает стена, та, что стоит между мною и теми, кто будет это читать.

Но не меньшей стеною я отделен и от другой массовки. Вечером следующего дня, нашего последнего дня в Литве, мы в большой компании. Завершился ежегодный летний курс идиш. Субъективное ощущение: тебе устроена «отвальная».

Только что состоялся концерт израильской певицы родом из Czernowitz – скажешь «из Черновиц», поправят: «из Черновцов», а другие будут настаивать: «Чернивыц». (Анекдот моей олимповской молодости: «А вы откуда?» – «Из города на „А“». – «А что это за город?» – «Черновицы». – «А-а...») Значит, певица родом из города на «А». Наследственный «идишкайт», отец – композитор, пострадал как «безродный космополит» в «новокрещенных землях»: был в лагере или послан. Я узнал ее: много лет назад мы познакомились у Генделева, она записала CD с песнями на его слова – к сожалению, песни предполагают еще и музыку, так что замнем для ясности. Она меня тоже вспомнила. Выяснилось, что теперь она жена Моти Шмига, скрипача, чей послужной список пришлось бы долго оглашать, довольно того, что он – один из действующих лиц нашего с Сусанночкой второго паланг-

ского лета, когда горела «Юра», когда Мулик декламировал мне свои стихи: «Мертистой мегас» – а мне представлялось: мир тесен... Настолько тесен, что «через два рукопожатия» все земляне знакомы между собой. Так говорят. Во всяком случае, «через одно рукопожатие» я знаком со всеми, с кем хотел бы познакомиться или мечтал.

«Что будет после съезда? Большой концерт...» Угадали, зал полон, как сорок лет назад на выступлении самодеятельного коллектива «Фрейлахс». Вывод неожидан, хоть и очевиден. Люди по-прежнему бедны, а жизнь обрела свою реальную стоимость – все сидят в августе в городе, а не на даче, как бывало.

Но нельзя же, всласть поаплодировав жене Моти Шмига, взять и разойтись по домам. Надо «пойти посидеть». Процедура отсева одних и прирастания другими, даже случайными персонами, всегда одинакова: вдрут какая-то суета, вопросы, повисающие в воздухе, предложение «подвезти», взгляды, бросаемые по сторонам, возникновение сразу нескольких центров, перебежчики... И вот уже *сгème de la сгème* сбит, можно подавать на стол.

Решили (всегда безличная форма) пойти в пиццерию. «А посол?» – «А его берут». У бывшего литовского посла в Израиле, похоже, паркинсон. Мелко-мелко шаркая ногами и для устойчивости опираясь на палку, он преодолевает многосантиметровую дистанцию за час. Так передвигаются, покачиваясь корпусом, механические игрушки, не имеющие колесиков, – чуть что опрокидывающиеся. На нем темносиний пиджак, темносерые брюки, белая рубашка с галстуком, черные туфли – после восемнадцати часов протокол предписывает черную обувь. Очень благородное лицо, отнюдь не старое: болезнь не поинтересовалась возрастом. С отрешенностью слепша он стоит там, где его поставят. Гидеминас усадил его в свою машину – у него что-то «джиповидное», остальные – безлошадные. Но идти недалеко.

Илья спросил, правда ли то, что писал Дар о своей жизни в Израиле. Я не читал писем Дара, только слышал об этих горестных посланиях *urbí et orbí*. А как могло быть по-другому? Когда старый жулик, задыхающийся в собственном табачном дыму, после стольких лет успешного морочения головы разным молодым гениям оказывается не у дел, ему скучно. И с ним скучно. Гномик с выпадающей буквой «н» (кажется, я кому-то это подарил, а может, и сам использовал – я тогда писал «Быт и нравы гомосексуалистов Атлангиды»). Хотя даже «это» в нем ненастоящее: как иные на всем делают деньги, так Давид Яковлевич на всем делал литературу.

Я перестал ощущать превосходство Ильи. А что как Давид Яковлевич Дар был его «профессором Нероном» – растлил его, но, в отличие от меня, Илья с ним так и не сквитался. У каждого свой «эдипов комплекс».

Пришли. То ли столиков не хватало, то ли хотели их сдвинуть, но «не-царевна не-жаба» усомнилась в допустимости этого. «Гедемнай...» – и веленья шучьего слыша речь, подавальщица... и т.д. Все мгновенно устроилось.

Сусанночка весело проводила время в обществе кишиневского назорей и его аккомпаниаторши, обладавшей прекрасным «туше» и разделявшей его сложные чувства к Израилю: с одной стороны, у нее там жил муж, с другой стороны, он там жил не с ней.

Отъез у Сусанночки полпиццы – с одной стороны, пицца это не мое блюдо, с другой стороны, мне хотелось есть – я двинулся по периметру стола, вступая в разговоры, если представлялся подходящий случай. Перемолвился парой слов с немецкой студенткой, которую через пять минут бы не узнал. Она собиралась еще

три недели колесить по Белоруссии на велосипеде, прежде чем вернуться в Гамбург. На это я сказал, что увижу Альстер раньше ее: тридцатого играю в гамбургской опере – правильное было бы сказать, сижу в гамбургской яме. В ее глазах я вымахал сразу до небес. («В гамбургской яме... о!...») О, высококультурные немцы, как нам мало надо.)

Слева от посла был свободный стул – кто-то ушел. Попросив позволения, я подсел. С послами я еще за столом не сживал, даже с отставными, больными. Пиджак поношен – покупал, когда еще был здоров? Меня ранила покорность, с которой он после концерта ждал на улице, что кто-нибудь, может, подвезет. Или посадят в такси. Я недоумевал, как он сюда добрался. Теперь же, видя его в большой шумной компании, порадовался этому. В конце концов, он был послом не в Саудовской Аравии и не в Абу-Даби, а в Израиле. Я питал к нему приязнь.

Он вырос в Швеции, потом перебрался в Питаты, но вместо того, чтобы стать «американским консулом в свободной Литве», как это мы прочили Маше Венцлове, сделался послом свободной Литвы в Израиле. Его речь изобиловала ошибками, типичными для иностранцев, учивших русский, но не считавших его изучение своей главной задачей. По его словам, переезжая из страны в страну, он учил языки, но одновременно забывал уже выученные. Так пришлось заново учить литовский (возможно, это была шутка, но я уже говорил: когда шутишь, надо предупредить). Упомянул, что между Вильнюсом и Каунасом «искрит». Я об этом слышал и от других: пригожая многоязыкая Вильна – и Ковно, истинный очаг национальной культуры.

(«Миф двух городов» – из моих любимейших. «Петербург – Москва» и перевертыш: «Москва – Ленинград». Или «Реал-Мадрид» – «Футбольный клуб Барселона». Почему я влюбился в Любин роман – там между Берлином и Парижем натянута струна, снятая с моего инструмента, кончиками пальцев я касаюсь ее.)

Для литовского посла в Израиле Холокост – тема номер один. Я подивился его прямоте: первые гетто создавались в местах с преобладающим литовским населением. Из Пабради, например, в гетто сгонять стали поздней. Оккупационные власти полагались на литовцев, полякам веры не было. При одинаковой любви тех и других к евреям, эти два народа в своем отношении к немцам существенно отличались друг от друга. По-видимому, какое-то время этим отличием можно было пользоваться.

(Несколько снимков в альбоме, и под ними папиной рукой написано: «Пабради, лето 1953 года». Хозяйина звали пан Кулевич. Два дома, хозяйство. Застреленная бешеная собака, свежая земля на том месте, где ее закопали. Между двух сосен гамак, из которого Зямик устроил качели. Гамак превращается в Цилины руки: выпав из него, я ударился головой о корень сосны и потерял сознание. Сосновая кора – идеальный строительный материал для корабликов. С кошелкам едут за клубникой – в полосатых пижамах, какие носили на дачах и на курортах. Паровоз. Окна вагонов провалились в черноту – незастеклены? В хозяйском доме на стене картинка: кто-то спит, укрывшись простынею, а у постели собралось двое или трое во имя его. «Он умер», – говорят мне хозяева. «А почему его не похоронили?» – «Не сразу хоронят». Странно. Потом дочь пана Кулевича была в Ленинграде, заходила к нам. На лбу волосы уложены «валиком». Сидит за круглым столом, накрытом плюшевой скатертью, поставив на него локоть и подперев висок кулачком. Когда я так сижу за обедом, мне делают замечание. «Почему ей можно?» – «Она не обедала». Какая разница? В том, что меня обманывают сомнений быть не могло. Сегодня я бы спросил, почему она не обедала.)

Я спросил посла, почему «оккупация», а не «аннексия»? Мы же не говорим «оккупация Боснии и Герцеговины Австрией» – аннексия. Не говорим «оккупация Австрии Германией» – аншлюсс. В эмиграции часто звучали голоса, утверждавшие, что Россия была оккупирована Советами, но поскольку подразумевалось, что в лице инородцев (евреев, латышей, китайцев), то принадлежали эти голоса черносотенцам, клерикалам, вчерашним погромщикам, тем, кто в свое время с надеждой взирал на фюрера немецкого народа, сравнивая его с Жанной д'Арк – этим сравнением Мережковский отличился, стоя уже одной ногой в могиле.

Я искренне хотел услышать доводы в пользу термина «оккупация». В случае их убедительности, у меня не было ни идеологических, ни эмоциональных причин их не принимать. С моей-то «русофобией». При том, что «ОАС» в Прибалтике, по иронии судьбы, наследует тем, кто когда-то преуспел, внушая мне чувство враждебности – по радио, в кино – к этой малопочтенной организации.

Однако есть вопросы, сама постановка которых недопустима. Например, можно ли поставить в заслугу Гитлеру падение безработицы или строительство автобанов? Или были ли положительные стороны у сталинского «менеджмента»? Вопрос выдавал меня с головой. Только что упомянувший литовский «вклад» в Холокост, посол сделался как передовица «Тиссы». «Это была оккупация», – сказал он, не утруждая себя подысканием аргументов: я покусился на святое. Плюс его недостаточное владение русским.



Скрипичный класс в Народичах, конец двадцатых годов.
Справа от учителя моя мать

Зато на меня ополчилась дама по соседству – без свойств, «тридцать-плюс», говорившая «господин посол» в третьем лице («Господин посол хочет сказать...»),

чем напоминала придворную даму, следовавшую за своим государем в изгнание. Все-таки не то, что мне подумалось вначале: один-на-один со своей немощью. Слона-то я и не приметил.

«Конечно оккупация! У нас было независимое государство!» Она лупила меня лозунгами, а могла б – делала это прямо транспарантом. Мое смирение только успевало подставлять щеки. «Помилуйте, ведь я эту власть ненавидел, как и вы». Удостоил ее сравнения с собой – комплимент, и немалый. «Мы были лишены одного и того же». Нет! Никаких «мы». «Но погодите, чем я хуже вас?» Моя деликатность безмерна. Не спрашивал: чем вы лучше меня? – «чем я хуже вас?». Не оценила. И царская Россия была чудовищна – хотя в защиту царей я слова не сказал. Но от меня этого ждали: «государства российского», бряцания имперскими кимвалами. Я же всего навсего настаивал на нашем с нею равенстве в ущемлении прав (всё комплименты ей, дурище). Нет! Где родились мои родители? Я – очень робко, на щипочках: вообще-то мама родилась на Украине, когда Украина не входила в состав Советского Союза – какая там была власть двадцатого апреля двадцатого года? Она ходила в еврейскую школу, она спивала мне колыбельную про то, как «батько диток шукаэ». (Вопрос на полях: достаточно ли этого для получения украинского паспорта или необходимо еще пройти тест на знание украинского языка?)

Я мог говорить что угодно, стлаться горным туманом у ее ног – кто усомнился в правомерности термина «оккупация», тот заслуживает головного убора в форме конуса, разрисованного языками пламени. Ему уготован костер и вечные муки на том свете. «Но не бывает оккупации без коллаборации – можно ли считать Баниюниса коллаборационистом?» – «Нет, у него не было выхода». (Замечание на полях: тем не менее я всегда чувствовал себя здесь оккупантом. И остальные тоже. Некоторые, наливаясь при этом сознанием своей силы, некоторые же, как я – сглатывая слюну.)

Баста! Сменили пластинку, литовский дивертисмент закончился. Двух станов не боец, это не про меня. Обоих станов боец – это я бьюсь сам с собою. Формула вечного мира. В действительности моя беда: у меня нет середины, либо колоссально, либо «а ну его». Хотя именно то, что «между», средний класс – это всё. Вместо того, чтобы ставить на него, я говорю ему: «пшол вон». В итоге я один... и разбитые очки, без которых трудно разобрать новый текст.

(окончание следует)



Мария Баженова

БАШНЯ БЕЗМОЛВИЯ*

Глава 1

В бурлящем мире никто уже не придает значения как обращаться друг к другу. Позвать по имени или употребить прозвище? Имя — это так банально, так просто. Имен много, но и людей, что носят одно и то же имя, бесчисленное количество. Позовешь человека по имени, а на призыв повернется несколько лиц с немым вопросом в глазах: «Что вы хотите от меня?» Неудобные ситуации, которые можно избежать. Прозвище. Оно в большей мере создано для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность человека. Но на самом деле прозвища обезличивают. Они выполняют роль ярлыков, которые навешивают на игрушки.

Его настоящее имя никто не знал. Даже он сам не мог с точно сказать как же его зовут, согласно свидетельству о рождении и паспорту. Его имя не имело никакого значения. Оно есть, потому что должно быть у каждого человека. Но оно не нужно. Никому. Все называли его — Безумный кролик. Все, даже отец. Безумный кролик, Безумный кролик. Он и сам себя называл только так.

Учителя в школе избегали употребления первой части прозвища. Безумный — это негативная характеристика психологического состояния человека. Совершенно не педагогично использовать какие-либо оценки личности в прямом обращении. За глаза — сколько угодно, пока не надоест. А в лицо — ни в коем случае. Они называли его Кроликом.

- А на этот вопрос нам ответит... Кролик.

И никто не задумывался что это абсурдно, совершенно абсурдно, когда общество обезличивает человека, используя ярлыки.

- Что от него ждать, он же Кролик, - обсуждали низкую успеваемость мальчика учителя в школе. Они забывали, что Кролик, в данном случае, не наименование вида, а просто подмена имени. Для них он становился животным. Забавным милым зверьком. Не человеком.

- Кто опять обидел Кролика? - спрашивал классный руководитель, невозмутимо реагируя на взрыв смеха. Это же дети. Они видят все в ином свете. И для них все забавно.

- Опять драка? Кто начал это безобразие? - строго вопрошал учитель, неодобрительно складывая руки на груди. Если избили Кролика, то педагоги лишь пальцем грозили, демонстрируя неодобрение. За издевательства над животными смысла наказывать нет. Это же дети. Но если зачинщиком был Кролик! Отца вызывали в школу, обращались в мисрад хахиных. И - слава всей этой учебной системе! - у работников мисрад появляется дополнительное активное занятие.

А в армии ему повезло. Для других день за днем сидеть практически в одиночку в офисе и выполнять монотонную работу — наказание. Для Кролика это было маленьким раем. Его никто не замечал. Как и раньше. Но никто над ним и не издевался. Почти что.

После армии жизнь у Безумного кролика не стала легче. Университет. Здесь обитают изощренные мучители. Годами они учились насмеяться, издеваться и унижать. Можно испуганно забиться в угол, с надеждой: вдруг пожалеют? Но Кро-

лик потому и Безумный, что ведет себя неадекватно. Он пушистый, ведь он — не ежик. Все что у него есть для защиты — маленькие зубки, да крохотные коготки. Он кусается — и противник начинает истекать кровью. Он царапается — и у соперника полосы по всему телу. У него ничего нет. Но ему и терять нечего.

- Ты — монстр, - злобно выдавливает миловидная блондинка, прикрывая своего парня. Сейчас в глазах окружающих именно Кролик — источник зла и агрессор. Ведь он не забился в угол. Не стал пищать, как мышь в страхе и ужасе. Он дал отпор. Ведь он — Безумный Кролик.

- Ваш сын опять нарушает порядок! - декан факультета любит театральность. В том числе закатывать глаза, вскидывать пафосно руки и трагично вздыхать. - До каких времен это будет продолжаться? Если он не образумится, мы будем вынуждены принять меры!

Тонкие, почти что истеричные, нотки голоса прорываются в его словах. Для декана не имеет никакого значения, что в конфликте участвовало две стороны. Виноватым может быть только один. И только он должен быть наказан.

Отец забирает Кролика из университета.

- Зачем тебе вообще было сюда поступать? И без диплома проживешь. Будешь помогать мне.

Помогать. Это значит — работать в похоронном бюро. Каждый день новый постоялец. Кролик привык. Он с детства видит мертвецов, лежащих в гробах или на анатомическом столе. Их нужно забальзамировать, привести в порядок. У них — важная встреча. Самая последняя, прежде чем к ним не придут черви.

- Ха, вот это ирония судьбы, - с насмешкой произносит сын местного владельца фабрик, заводов и пароходов. Он богат, избалован и не намерен так легко отказаться от любимой игрушки. Без Кролика учеба в университете не доставляет никакого удовольствия. Отыскать в небольшом городе излюбленный объект для насмешек — да как нечего делать!

- Рожденный под звездой, несущей смерть, обрабатывает мертвецов!

Слова произнесены. Ставшее уже привычным заявление, звучащее как обвинение в преступлении. Кролик привык. Он иного и не знает. Сколько себя помнит — ему всегда говорят об этом. Откуда пошло? Кто так решил? Откуда этот кто-то узнал, что все именно так? Где находится эта звезда? Вопросы, вопросы, вопросы. Они иссякли еще во времена его детства. Не важно, ведь эти обвинения не имеют никакого основания под собой. Люди говорят — только воздух сотрясают. Но иногда их слова надоедают. Вот и сегодня. Кролик не сдержался. Ведь он — безумный. Ударить, но не для того, чтобы причинить боль. А для того чтобы очистить воздух от этих слов. Как это сделать, если их источник стоит на ногах? Правильно. Сбить с ног. Одним ударом.

Снова арест, снова запись в личное дело, последнее предупреждение, штраф и слова отца:

- Ты вечно меня позоришь!

Самое страшное для отца — пятна на добром имени. Даже если оно размером с песчинку — трагедия.

- Ты — мое проклятие! - раздраженно бросает отец Кролику, когда они оказываются дома. Кролик молчит. Он ждет, пока отец не выскажет все что думает, все что чувствует. Все? Хотя бы что-то. И отец говорит:

- Отныне из дома — ни шагу! Я сам буду ходить в магазины и по делам. А ты — сиди и не смей выходить за порог! Чем меньше будешь пересекаться с людьми, тем меньше позора на мою седую голову!

Отец строг. Даже жесток, если судить не предвзято. Но Кролик его не судит. Уже давно. В последний раз он расстраивался из-за отца, когда был совсем маленьким. Неуклюжий, но порывистый, спешащий жить, он бежал на встречу всему. И споткнулся. Камни иногда имеют свойства прятаться в траве и подло выскакивать под ноги малышей. И Кролик налетел на ржавую железяку. Она воткнулась в ногу и глубоко прошла внутрь. Боль сковала мальчика так, что он не мог двигаться. Минута за минутой. Часы за часами. Становилось темно, холодало. Кролик все так же не мог пошевелиться. Он не мог даже вытащить железку. Пальцы сводило от потери крови и от холода. Сил совсем не было. Но он ждал. Папа должен прийти. Уже поздно, он заметит, что Кролика нет дома и, обеспокоенный, пойдет его искать. Кролик ждал. Папа не может не прийти. Надо потерпеть, совсем немного. Его уже ищут. Он ждал. Папа не пришел. Дома так тихо. Это должно было обеспокоить отца. Если ребенка не слышно — либо шкодит, либо ранен. Этот закон знает каждый родитель. И реакция у каждого одна — бежать и отыскать. Но дома ведь так тихо и спокойно. Зачем куда-то идти? Нужно насладиться покоем. Что, собственно, отец и делал, пока Кролик ждал его, истекая кровью. После этого он отца больше не судил. А смысл? Что бы он не решил, как бы не подумал — ничего не изменится. Так же как тогда, когда от его слез и надежд отец не пришел на помощь. И он пополз. Как маленькая змейка, как дождевой червь, оставляя за собой кровавые разводы. Его увидели, его взяли на руки и понесли. Впервые его кто-то взял на руки. Он не знает кем был тот полуночный спаситель. Но Кролик помнит, что от него пахло свежескошенной травой. И солнцем. Хотя солнце не имеет запаха, но Кролику хотелось верить, что тот запах, названия которого он не знает — солнечный.

Он пытался отыскать этого человека. Множество раз Кролик спрашивал у отца, что тот помнит о человеке, принесшем его тогда. Хотя что-то, хоть какую-нибудь мелочь. Но отец ничего не говорил. И тогда Кролику стал сниться один и тот же страшный сон. Что к ним привозят нового мертвеца, которого нужно обработать. И от него пахнет свежескошенной травой и солнцем. А его руки... те самые руки, что так крепко сжимали Кролика и вытирали текущие от боли слезы. Он стал бояться засыпать. Он глотал кофеин в любом виде, только чтобы не заснуть. Потому что в каждом сне он видел этого человека. Мертвым.

Мертвецы — это не страшно. Они, в отличие от живых, никогда не причинят боли, не оттолкнут, не высмеют. Мертвецы всегда выслушают, всегда поймут. Кролик любил разговаривать с мертвецами. Он разыгрывал целые представления перед ними. Потому что скоро единственное, что они будут лицезреть — это крышка гроба.

- Вам нравится? - с трепетом спрашивал Безумный кролик, взглядываясь в застывшие, словно маски, лица. И отвечал за них:

- Еще бы!
- Конечно!
- Ты молодец!

А потом он плакал, когда их хоронили. Слезы Кролика, в отличие от многих других плачущих, были искренними. Эти люди, которых опускали в землю, не жалели своего последнего времени для него. Им было не трудно выслушать его и поддержать. Кролик считал, что он хоронит своих друзей. Мертвецы — это не страшно. Его пугало другое. Иногда ему казалось, что они более живые, чем он сам.

Глава 2

Люди рабы. Обстоятельств, чувств, обязательств, работы. Они живут на бегу и останавливаются лишь когда дорога закончена. «Жизнь пронеслась мимо меня», - с обидой заявляют они на смертном одре. Но жизнь идет своим чередом. Это люди бегут сломя голову, ни на что не обращая внимания. Нескончаемые заботы «ни о чем» и «ни для чего». Люди с нетерпением ждут выходных. Это время, которое они могут прожить для себя. Потому как все остальные дни они посвятили великому божеству, имя которого Работа. На работе все мысли о работе. И дома — тоже лишь о ней. Выходной — день для себя и только для себя.

Но не смотря на человеческие планы - каждый день кто-то умирает. И их нужно хоронить.

- Выходной, когда же наступит мой выходной? - патетически вопрошает отец Безумного кролика, обращаясь к небесам. Небо молчит. Оно знает, что его ответ не нужен. Суббота — всегда день покоя. Даже в похоронном бюро, заполненном мертвецами. День за днем отсчитывается до наступления последнего дня недели.

- Да, я скоро приеду. Да, да, - торопливо бормочет выбегаая из дома отец, поднеся телефон к уху. - Сначала мне нужно захватить за продуктами.

- Купи, пожалуйста, витамины для Белки, - говорит Кролик отцу, когда тот садится в машину. Отец слышит, ведь он уже закончил разговор. Но в ответ ничего не произносит. Времени нет, чтобы тратить его на лишнюю болтовню. Скоро начнется шаббат, все магазины закроются. Каждая минута на вес золота. Он уехал.

Для себя Безумный кролик ничего не просит. И никогда не просил. Кролики всеядные и неприхотливые. Они могут выжить в любых условиях. Кролику ничего не надо, он доволен тем что есть. Главное чтобы с Белкой все было хорошо. Она лезит, вальяжно потягиваясь и томно щуря глаза. Красивая, бодрая, здоровая. Так может сказать любой, кто не знает истинного положения дел. Белке уже около двенадцати лет. Может быть и больше - Кролик не знает её точного возраста. На белой шкурке неряшливой россыпью выступают черные и рыжие пятнышки. Когда-то они переливались, как яркие бусины, а теперь лишь тусклое подобие. Белка стареет. Она уже не так резва на ноги и предпочитает лежать, а не носиться по саду. Она больше не играет любимыми игрушками и давно не ловит мышей. Впрочем ей и не надо. Для грызунов закупают отраву, а кошку кормят отборными кусочками мяса.

Белка — суррогат. Она подмена. До её появления была другая Белка. Та, другая, выглядела точно так же. Только по характеру — более спокойная и ленивая. И безумно любила огурцы, партизански совершая налеты на огороды соседней. Другая Белка была лучшим другом Кролика. Именно она вылизывала его, как своего детеныша, когда он болел. Слово мать, что гладит непослушные спутавшиеся волосы сына, когда у того жар. Она пела ему колыбельные, намурлыкивая странные мелодии. Когда он плакал из-за издевательства одноклассников, именно другая Белка вытирала слезы. Другая Белка будила его по утрам, чтобы собирался в школу. Провожала до двери и долго сидела на подоконнике, смотря ему в след. Иногда, Кролику казалось, что его умершая мама воплотилась в эту кошку и, таким образом, заботиться о нем. Потом её не стало. Кролик пришел из школы, но Белка его не встречала. Она не выбежала на звук его голоса, покачивая хвостом, как флагом. Не приблизилась, чтобы погладиться лбом об его ноги. Кролик обошел весь дом в поисках кошки. В его комнате, свернувшись комочком на кровати, лежала она. Внешне — точная копия Белки. Но ему ли не увидеть различия? Взгляд — другой,

ухмылка — другая. Поворот головы, движения тела, подрагивание хвоста — все совершенно иное нежели у Белки.

Дети обычно верят в хорошее. Они наивны и просты. Им тяжело представить, что мир не такой радужный каким они его видят. Дети не настолько подозрительны, как взрослые. Они еще не научились видеть во всем подвох. Им тяжело понять многое, потому что взрослый мир подчас не логичен. Но Кролик догадался, что случилось. Конечно, он не хотел верить. Он пытался выяснить всю правду. Пусть неприятную, но доказуемую. Что-то, что не поддается сомнениям, что не стремиться, выгнувшись, превратится в кошмар. Он бродил за отцом, повторяя один и тот же вопрос:

- Где Белка? Где Белка? Где?

Ответ он знал. Её больше нет. Но ему не нужен был ответ, ему нужна правда. Он видел похороны многих мертвецов и плакал вместе с их родственниками. А его самого лишили права предать земле тело любимого существа. Безумный кролик знал, что не имеет права судить отца. Но у него есть право не прощать. И он не простил.

- Я думал он не догадается. Столько сил потрачено, чтобы найти точно такую же кошку. А он все равно меня достает. Сил моих нет терпеть это! - высказывал отец Кролика своему помощнику, даже не подозревая, что мальчик все слышит.

Безумный кролик, закрыв уши, убежал в свою комнату. Он сидел на полу, прижав ладошки к голове. Не слышать, не помнить, не думать, забыть. Одно дело догадываться обо всем, другое дело — быть уверенным в этом. Когда только догадки то есть надежда на что-то лучшее и светлое. Когда уверенность — это как последний гвоздь в крышку гроба. Конец всему.

Новая кошка проявляла удивительное упрямство. Её не замечали, но она вертелась вокруг. Дефилировала по комнате, вскидывая голову. Мур-мур. На неё не обращали внимания. Она поддела лапкой маленький шарик от пинг-понга и направила его в сторону мальчика. Ничего. Кролик сидел, погрузившись в пучину внутренних страстей. Обида на отца, горечь утраты и всепоглощающее чувство вины. Если бы он был дома! Если бы он не пошел в школу! Если бы он знал! Все могло быть иначе! Он бы никогда не потерял любимое существо. Самое любимое. Единственного друга. Единственную опору. Потерял. Навсегда.

- Мур-мур, - настойчиво требовала своей порции внимания кошка. «Посмотри на меня», - гипнотизировала взглядом прозрачно-зеленых глаз. Кошка — охотник. Она привычна к тому, чтобы сидеть и выжидать. Она ждала. Кролик отвлекся от горьких дум. Не потому что уловки кошки удались. Дети не способны слишком долго концентрироваться на чем-то одном. В горестях — это их спасение. Именно поэтому их души так чисты. Страдания не успевают выжечь все то светлое и нежное, что есть в детях.

Кролик заметил одинокое белое пятно. Кошка свернулась в маленький комочек прямо возле порога, жалобно посматривая на мальчика. Она здесь, но она никому не нужна. Она, как он — никому не нужна. Она — другая. Она не та самая Белка, но все же — Белка. Кролик протянул руку и кончиками пальцев коснулся кошки. Отзывчиво выгнув спину, она подскочила на мягких лапах и приблизилась к мальчику. Он погладил её более уверенно. Кошка довольно мяукнула, а затем пару раз поддела лапкой шарик.

- Хочешь поиграть? - вытирая сопли рукавом рубахи, спросил её Кролик, против своей воли улыбаясь. Новая Белка совершенно другая, но это ведь не плохо.

Ему не хватает прежней, но что он может изменить? И Кролик стал учиться любить новую Белку, помня о предыдущей.

Он жертвовал самыми вкусными кусочками. Деньги тратил не на исполнение своих желаний. Лакомства, витамины, игрушки: все самое лучшее - для неё. Смотри на кошку, Кролик не мог забыть, что она — лишь подмена. Однако, именно поэтому он любил её сильнее. В ней он видел себя. Никому не нужна сама по себе, а лишь как инструмент воплощения эгоистичных потребностей. Кролик думал, что должен относиться к ней по-особому. Тогда, возможно, найдется кто-нибудь, кто поступит с ним точно так же.

А теперь Белка состарилась. Каждый день наблюдая как смерть, шествуя, косит людей, Кролик со страхом ожидал неизбежного. Не сегодня — слава Богу! И так день ото дня. В нормальном положении вещей сначала рождение, то есть жизнь. Потом смерть. Безумный кролик переживал все наоборот. Утром — страх смерти, тревожное ожидание конца. Однако, под вечер — торжество жизни и бескрайний простор. Он верил, что витамины могут помочь продлить дни жизни Белки. Помощник отца, покупая для него очередную порцию кошачьих витаминов, говорил:

- Что ты забиваешь голову лишним геморроем? Все равно подохнет. Вместо неё возьмешь другую. Такого добра теперь навалом и бесплатно.

Но Кролику не нужна другая! Можно заменить сломанные детали машины. Можно купить новый чайник. Но нельзя заменить друга! Нельзя заменить единственного, кто способен понять! Другая кошка — это всегда другая! Для них животные, как трупы, с которыми приходится работать. Внешне вроде разные, но внутренности у всех схожие. И что не менее важно — каждый труп как пустое жилище.

Кролик никогда не задумывался о том, есть ли у животных душа. Он знал, что у них точно есть эмоции. Кошки могут злиться, могут радоваться, скучать, расстраиваться. Кошки — живые! А ничто живое нельзя поменять так просто, словно это носовой платок.

- Хочешь пить? - спросил Кролик у Белки, доставая из холодильника пакет с молоком. Кошка приоткрыла глаза и выразительно кивнула. Для себя он бы безо всяких колебаний налил холодное. Но для Белки все самое лучшее. Кролик поставил молоко в микроволновку подогреться.

- Что бы, что бы.... Что бы мне поесть, а?

Он всегда делал выжидательную паузу, когда разговаривал с кошкой. Словно она сейчас должна ответить. Словно она — активный собеседник, мнение которого очень важно.

- К молоку бы витамины не плохо пошли, как ты думаешь?

Белка безразлично взмахнула хвостом. И Кролик обрадовался такой реакции. Он знал, что отец забудет их купить. Все что Кролик просил, отец всегда забывал. Сейчас он, скорее всего, играет в карты с друзьями. Это традиция, которой уже очень много лет. Как-то однажды Безумный кролик случайно услышал, как отец разговаривает со своим помощником:

- Терпеть не могу эти посиделки с картами! Мало того, что каждый раз одно и то же. Они еще радуются не понятно чему. Дурацкое занятие созданное для глупцов!

- Но ты-то почему-то не против в него поиграть, - ехидно подметил помощник. - Каждую субботу бежишь к ним так, словно медом намазано.

- Да все что угодно, только бы не быть дома, где одни мертвецы! Хоть один день в неделю хочу поговорить не о похоронах и трупах.

Кролик тогда не сдержался и влез в разговор:

- Ты можешь со мной иногда поговорить.

Но произнес он это так тихо и так неуверенно, что его скорее всего не услышали. Однако, Безумный кролик больше склонился к тому, что его просто проигнорировали. Как всегда.

Пока Кролик отвлекся на рассматривания содержимого холодильника, из микроволновки донеслось выразительное фырканье.

- Ой, молоко! Молоко закипело! Ой! Что делать? Что делать-что делать? - причитая забегал по кухне Безумный кролик. Последнее молоко и то теперь не пригодно к употреблению. То есть сам бы он его выпил безо всяких проблем. Кролики ведь не привередливы. Они всеядные. Но Белка такое пить не будет.

- Что делать, что делать?!... Белка, что делать? - он повернулся к кошке, ожидая от неё подсказки, но та не шевельнулась. Первая мысль, которая пришла — она спит. Но следом за ней тревожно шевельнулось что-то в сознании — спит ли? Кролик медленно приблизился к кошке, надеясь что она вот-вот взмахнет хвостиком или поведет усами. Хоть что-то. Хотя бы маленькое неуправляемое движение. Он вглядывался пристально. Ничего.

- Белка, - тихо позвал кошку. Не отреагировала. Он позвал её еще громче. - Белка!

Кролик потряс тельце животного рукой. Сжатый комочек не пошевелился. Тогда он поднял её и прижав к груди, беззвучно заплакал. Слезы текли по лицу и падали на шкурку Белки. Он снова остался один. Но теперь он был абсолютно один и полностью одинок.

«Рожденный под звездой, несущей смерть», - набатом раздалось в голове воспоминание о брошенных словах сыночка богача. Пустота внутри окрасилась оттенком тревоги.

Глава 3

Из пяти существующих стадий горевания, Безумный кролик проскочил первые три, сразу же погрузившись в пучину депрессии. Люди много говорят о пользе потерь. Что-то вроде того, что «потери делают нас сильнее». Потерять сто шекелей, и смотря на оставшуюся тысячу, думать о жестокости жизни — делает сильнее. В следующий раз попав в такую же ситуацию, человек философски хмыкнет и двинется дальше. Но когда теряешь последний пятьдесят шекелей.... Единственные пятьдесят шекелей, что были у тебя за последние десять лет.... Все обстоит несколько иначе. Для Кролика потерять Белку — означало лишиться всего. Он уже давно не тот маленький мальчик. Он не верит, что все еще наладиться. Он знает — жизнь клоака и главное в ней не затеряться. Выхода нет, нужно терпеть и сносить нападку судьбы. Крепко сжимая пальцы, держаться за единственно важное, пока все вокруг бушует. Держаться больше не за что. Ничего нет.

Безумному кролику казалось, что все вокруг должны заметить, как рухнул его мир. Тот, чье внимание в данном случае было нужным, — не обратил никакого внимания. Те, кому знать не положено — узнали и предприняли меры.

Если бы труп Белки положили возле порога, то отец Кролика, равнодушно переступив, пошел дальше. Он неделями бы обходил разлагающееся тело, удивляясь откуда запах. Но он не обратил бы никакого внимания на то, что кошка сына умерла.

- Эй, эй, я же просил тебя приготовить завтрак, - строго окликнув Кролика, отец забирал из его рук пакет с молоком. - Чего застыл как статуя? Спишь что ли?

Кролик не спал. Со дня смерти Белки — ни разу. Он не мог заснуть. Без убаюкивающего мурлыканья — не мог. Без теплого комочка шерсти, что копошится под боком — не мог. Он закрывал глаза, надеясь хотя бы в воспоминаниях увидеть её. Но ничего не было. Только темнота. Вся его жизнь превратилась в одно черное пятно, размытое на холсте бумаги. Когда Кролик пытался убрать в ящик вещи Белки, руки отказывались двигаться. Он надолго замирал посередине комнаты, смотря перед собой. Но ничего не видел. Если бы солнце взорвалось в такой момент, то скорее всего он бы и не заметил. Да и какое значение вообще может иметь солнце? Что может быть более важным, чем Белка? Солнце есть или его нет — жизнь и так лишена света.

Безумный кролик больше не бегал по дому, приговаривая что-то себе под нос. Не было метаний по комнате, с причитанием одного и того же вопроса. Вопросов вообще больше не было. Вопрос — это попытка узнать что-то. Его же ничто больше в жизни не интересовало.

- Эй, парень, чего такой мрачный? Это всего лишь кошка. Давай привезу тебе новую, - дружелюбно предлагал помощник отца. Но Кролик знал, что это не проявление каких-то теплых чувств. Все просто. Банально и глупо. Раньше Кролику приходилось выполнять всю грязную и мелкую работу. После смерти Белки он стал бесполезным. Он мог часами сидеть на одном месте и смотреть в никуда. Работа не делалась. На ругательства — молчал. На подзатыльники — не реагировал. Он нужен как рабочая сила. Он для них ничто иное, как робот. Издает звуки или нет — не важно. Главное, чтобы выполнял поручения точно в срок. Не отлынивал. Не мешал. А Кролик сломался. Множество раз отец или его помощник налетали на неожиданно затормозившего Кролика.

- Да что ты творишь?! Я из-за тебя разбил....

Слова возмущения терялись в воздухе. Безумный кролик мог стоять и смотреть как отец распинается в ругательствах. Для него все это было как пантомима — безмолвное выражение чего-то. Но чего — он не понимал.

Отсутствие пользы не всегда самое неприятное. А вот когда путаются под ногами, мешая работать — выводит из себя.

- Иди на улицу и работай там! - поручал Кролику отец, и ворчливо замечал в разговоре с помощником. - Вырастил дармоеда на свою голову. И что теперь люди скажут? Лучше бы я умер, чем дожить до такого дня.

«А разве ты еще жив?» - с удивлением думал Безумный кролик, смотря как отец затаскивает маленький гроб. Если Белка умерла, если она мертва.... То весь мир, наверное, тоже. Или Белка жива, просто они умерли?... Кролик начал путаться в суждениях. Что правда, что вымысел? Где реальность, а где воображение?

- Кто показался на свет Божий, - с издевкой проговорил возникший неизвестно откуда, богатый наследник. - Слышал тебя стали выпускать из заточения. Помилование?

Но Кролик молчал. Не потому что не знал, что сказать. Он не хотел разговаривать. Он не хотел слышать. Но к сожалению контролировать слух, в отличии от речи, человеку не дано.

- А я вот думаю: схожу, проведу старого товарища. И такой приятный сюрприз — ты как раз на улице. Я везунчик.

«Ты балбес», - неожиданно для себя, агрессивно подумал Безумный кролик, складывая доски в углу сарая. Раньше разбирать материал для гробов было интересным для него занятием. Он рассказывал доскам, какими они станут. Расписывал

во всех возможных красочных оборотах речи, какая удивительная у них роль. Помощник отца всегда смеялся, когда слышал такие речи.

- Ты не Безумный, ты — Сумасшедший, - подмечал он, покачивая головой.

Для, вроде бы доброй от начала, человеческой души, свойственны издевательства. Над слабыми — из-за чувства превосходства. Над такими как Кролик — потому что они разрушают ощущение превосходства. Проще запятнать все вокруг грязью, чем вывести всего одно пятно на рукаве. А так — святой из святых. На фоне отребья.

- Слышал, у тебя трагедия, - насмехавшись продолжал мучитель, вышагивая возле забора. - Кошечка померла. Бедняжка! Хотя ей повезло, что она — животное. Была бы человеком, то не прожила бы с тобой так долго. Как твоя матушка.

При упоминании о матери, Кролик насторожился. Но на него навалилось такое бессилие, что доски из рук выпали.

- Что? Правда неприятно колет? Что поделывать, такова твоя реальность. Ребенок, рожденный под звездой, несущей смерть. Тот, кто будет приносить смерть своим окружающим. Для человечества большое благо, что твой папаша запер тебя здесь. Хотя и породил такого как ты, - немного соображает. Но нужно было ему избавить от тебя землю еще когда ты родился. Или после того как ты убил свою мать.

Обвинения подобно ударам хлыста, обрушивались на Безумного кролика. Жестокое обвинение. Беспощадные и справедливые? Он много раз слышал эту историю. В детском саду, в школе, в университете. Даже когда заходил в магазин, в наскоро оборванном разговоре он улавливал — говорят о нем. Люди очень жадные, когда речь идет о чужой жизни. Покопаться в чьих-то ранах приятное занятие. Любопытство удовлетворенно и никакого ущерба для себя. Свои болячки вскрывать слишком больно. Да и опасно. Люди часто обсуждали слух о том, что мать Кролика умерла при странных обстоятельствах. Никто не знал точно, что с ней случилось. Предположения строились разные. Кто-то говорил, что заболела. Кто-то упоминал несчастный случай. Некоторые предполагали, что имело место быть самоубийство. Однако, все сходились в одном и это пугало. Когда люди объединяются, то это толпа. У любой толпы есть два свойства: первое - поддержать, которое напрочь стирается под вторым — растоптать. Первое требует каких-то усилий, в то время как второе может даже принести удовольствие. Все люди уверены: мать Кролика умерла из-за того, что родила сына под звездой, несущей смерть. Более того в этом суеверии существовал еще один важный пункт. Такой человек будет чрезвычайно порочен. Поэтому от Кролика всегда ожидали все самое плохое. Ведь он был рожден для этого. Судьба, предопределение, неизбежность.

То, что когда-то казалось изощренной выдумкой у которой нет никаких оснований, теперь приняло облик истины. А вдруг они все правы? Годами люди пытались ему сказать правду. Они вкладывали в его голову разумное зерно, а он воспринимал это как издевку. Так, может быть, они правы? Кролику не хотелось в это верить. Но если они правы то, значит, он виноват в смерти Белки.... Он виноват в смерти всех тех, для кого имел хоть какое-то значение. Он обречен губить тех, кого любит. Обречен... Нет, не может быть! Они ошибаются! Люди не могут быть правы в чем-то одном, когда в другом лгут. Лжец — во всем лжец! Но... если он ошибается, что тогда? Если он ошибается, то из-за него может пострадать кто-то еще. Например, отец. Или любезная соседка, что всегда здороваается с ним. Он не может допустить этого! А если он не виноват?...

Цель любого издевательства — реакция со стороны жертвы. Возмущенная, болезненная, агрессивная — значения не имеет. Главное реакция. Если её нет, то весь смысл теряется. Мучитель Кролика несколько минут в молчании потоптался у забора. Жертва не нападала, как обычно, позволяя мучителю выставить себя борцом с несправедливостью. Не корчилась в явных страданиях от душевной боли. Жертва — расстроена. Жертва — сломлена. Теперь продолжать без пользы. Свалить человека еще ниже возможно, но реагировать он уже не будет. А это не интегрально. Мучитель ушел, оставив жертву наедине с самим собой.

Сомнения окружили Безумного кролика и словно повалили с ног. В растерянности он поддавался мыслям, не зная, что делать. Ему хотелось просто сесть на землю, сжаться в комочек, как это делала Белка. И сидеть так до конца жизни. Издевательства, лившиеся мощным потоком в его сторону, — сделали свое дело. Он начал сомневаться. Сомнения — это червь, что разъедает изнутри. И его разрушительную силу нельзя недооценивать.

Но в любой безвыходной ситуации бывает один момент. Когда все слишком плохо, да так что тьма колет глаза, луч света тусклым незаметным маячком сверкнет впереди. Кролику пришла в голову мысль: узнать правду о смерти матери. Он никогда особо не расспрашивал об этом отца. Отец вообще мало рассказывал Кролику. Но вдруг в смерти матери нет такого трагического ореола, как считают люди? И тогда все утверждения, что он несет смерть — простая ложь. А значит он не проклят и еще может испытать нечто хорошее. Хотя бы на мгновение.

Глава 4

Правда — это не то, что человек хочет видеть. Правда — это то, что человек хочет доказать. В таком случае правда — это всего лишь альтернативное мнение лжи.

Найти правду. Любыми средствами, любыми силами. Говорят, до правды нужно докопаться. Но её нет под землей. Иначе какой тогда в ней смысл, если чуть-чуть воды и правда окажется в грязи? Нет, правда где-то в другом месте. Кролик искал везде. В доме не было даже клочка бумаги, связанного с матерью. Медицинская карта, свидетельство о смерти... Даже свидетельства о браке нет. Единственный документ, доказывающий, что такой человек вообще существовал — свидетельство о рождении. Кролик смотрел на свое имя как обычно смотрят на незнакомца: недоверчиво и смущенно. Это его имя? Его ли? Но имя матери наоборот отдало чем-то родным и нежным. Мама. Будь она жива, он никогда бы не познал горечи. Она бы позаботилась о нем. Она бы оградила его от всего. Она бы никогда не поверила всем этим бредням о «звезде, несущей смерть». Нежные чувства к маме яркой каймой подчеркивали синеву отчаяния. Это он виноват в её смерти! Мама умерла по его вине! Все так говорят! Он убил маму тем, что просто был. И он виноват в гибели любимой кошки. Он.

Нет, все так! Кролик отбивался от угнетающих мыслей как мог. Это все не научно. Этого не может быть! Он искал доказательства, опровергающие слова людей. Он поверил тому, что болтают все вокруг. Однако, всем сердцем он хотел доказать, что это не правда. Просто потому, что иначе ему не стоило вообще родиться. Потому что иначе он, как чума для людей. От такого понимания Кролику становилось только хуже. Чуме легко бушевать по миру. У болезни, у эпидемии, у вируса, — чувств нет и быть не может. Чума даже приблизительно не способна понять, что чувствует

он сейчас. Как противно осознавать, что ты — язва на теле общества. И ты — не виноват в этом. Просто родился не удачно. Под звездой, несущей смерть.

Чем больше становились нападки противоречивых чувств и мыслей, тем сильнее он искал правду. Она должна быть где-то. Поиски толкнули Кролика нарушить запрет отца. Он вышел из дому, когда хоронили маленького мальчика, утонувшего в реке. Отец, занятый работой, даже не заметил исчезновения сына. Кролик пошел в больницу, где по словам людей, лечилась его мать. Вот записи о болезнях. Простые, обыденные заболевания. Ему не дали документы в руки. Но вежливая женщина все просмотрела и зачитала наиболее серьезное. Она же, в архиве, искала есть ли данные о вызове скорой помощи. Ничего. Ничем смертельным не болела. Аллергических реакций ни на что не было. Никаких отклонений или противопоказаний. Никаких срочных вызовов вообще. Даже в родильное отделение она приехала самостоятельно. Мама Кролика словно пропала в никуда. Данных о вскрытии тоже нет.

- Документы могли затеряться, - обеспокоенно засуетилась женщина, опасаясь возможного скандала. Отчаянная решительность Кролика пугала. Ему необходимо любыми средствами узнать правду. Любыми силами. Он готов на все. Но — ничего! Пусто! Он зашел в городской архив — записи о смерти его матери нет. Вышла замуж — запись. Работала там-то — запись. Уволилась — запись. Родила сына — запись. Дальше — пусто. Человек умер, человека больше нет, но все еще числится в живых. Это в книгах такое возможно. Мертвые души. Те, кого на самом деле нет, но по документам они живы. Разве такое возможно в век бюрократии? Некоторые люди смеются, что в современном обществе нельзя даже на лавочку сесть без оформления документов. Они иронизируют, конечно, но все равно бумажный след тянется за человеком до смерти. А тут после родов — пустота. Словно кто-то взял ластик и стер со всех листов и карт мира упоминание о матери Кролика.

Оставался только один способ. Самый ненадежный. Спросить у отца. То, что человек помнит о некогда произошедшем событии, очень сильно отличается от самого события. Память вычлениет лишь некоторые моменты. Воображение приукрашивает их кучей ненужных завитушек. От правды остается лишь замаскированный каркас, да и тот не совсем точный. Спросить у отца. Любой другой вариант, если бы только было можно! Кролик больше всего переживал не за достоверность информации, которую может предоставить отец. Память у отца очень хорошая. А Безумному кролику не нужны мельчайшие детали. Ему только узнать: виноват он в смерти мамы или нет. Больше — ничего. Все остальное уже не имеет значения, ведь прошло двадцать лет. Больше всего Кролик переживал, что отец ничего не скажет. Как всегда делает вид, что не услышал вопрос. А в худшем случае начнет винить сына в том, что тот лезет куда не надо. А ему как раз очень надо! Это и его касается тоже! Это его мама! Его мамочка! Он должен узнать правду о её смерти! В конце концов, он уже не ребенок!

В похоронном бюро тихо. Такую тишину называют «загробной» или «могильной». Здесь её называют «обычной». Мертвецы у людей вызывают священный трепет. Нельзя громко разговаривать. Нельзя смеяться. Нельзя топтать ногами. Каблуки на туфлях? Снять немедленно! Тут же покойники! На цыпочках, сдерживая дыхания — тихо! Тссс! Не побеспокойте, а то... Мертвецы от шума могут подняться. А на самом деле просто отец Кролика любит тишину.

Обычно после похорон отецв приподнятом настроении. Родственники покойников выплачивают всю сумму за услуги. Работа сделана. Жизнь прекрасна. Кро-

лик несколько минут наблюдал как отец приводит все в порядок. Иногда им помогала приходящая работница. Убирала мусор после похоронной службы. Но отец не хотел платить ей. Он предпочитает убираться сам. За редким исключением, когда работы слишком много. На сегодня покойников больше нет. Не сезон.

- Как умерла мама? - без предисловий спросил Кролик, пристально наблюдая за реакцией отца. Удивление. Недовольство.

- Умерла и умерла. Какая разница? - отмахнулся отец, торопливо вытряхивая мусор из совка.

- Я хочу знать правду. Скажи, из-за чего она умерла! - уже не вопросительно, а требовательно произнес Кролик, приближаясь к отцу.

- Почему я не видел тебя на похоронах? - избегая продолжения неприятного разговора, официально спросил отец. - Опять заснул на ходу?

Кролик не поддался на уловку отца и настойчиво вновь спросил:

- Из-за чего умерла мама?! Я хочу знать! Я должен знать! Скажи правду!

Скажи правду. Как призыв. Как девиз. Скажи правду — словно магическое заклинание. Скажи правду.

- Она.... заболела....

- Чем? - Кролик не уступал.

- Чем-чем.... Не знаю. Заболела и все.

- От. Какой. Болезни. Умерла. Мама? - с нажимом на каждое слово проговорил Безумный кролик. Он как хищник вцепившийся в кость, и не намерен отступать. Он выяснит правду. Любой ценой. Любыми средствами.

Отец замолчал. Он быстро закончил уборку и суетливо попытался сбежать. Кролик не отходил от него ни на шаг. «Скажи правду» - читалось в глазах, в движениях и даже в дыхании.

- Почему нет свидетельства о смерти? Почему вообще нет ни одной записи о её смерти? Папа! Скажи мне правду! Я больше не ребенок! Я должен знать!

- Почему ты решил, что я могу ответить на все эти вопросы? - возмутился отец, пытаясь перейти в наступление. - Я не Господь Бог, чтобы знать все и обо всем!

- Да, вот только всякий раз, когда хоронят тайну, именно ты прячешь за спиной лопату, - иронично подметил Безумный кролик.

- Если что-то похоронено, то зачем вытаскивать опять на поверхность? Трупный яд может отравить то, что еще живо. Оставь все так как есть. Не раскапывай прошлые тайны, - философски проговорил отец. Любой бы на месте Кролика решил, что отец заботится о нем. Оберегает, как истинный родитель. Но Кролик знал своего отца. Он слишком хорошо его знал, чтобы допустить такое заблуждение. Это всего лишь очередная уловка, чтобы не говорить правду. Чтобы защитить самого себя.

- Это касается меня. Мне самому решать, что делать! Я не хочу, чтобы ты решал все за меня! - звонко проговорил Кролик, схватив отца за предплечье. Он слишком много времени позволял отцу водить его за нос. Хватит! Пора освободиться от оков прошлого. Он должен разобраться правда ли все то, что говорят люди.

- Ты хочешь знать правду. - безо всяких эмоций в голосе, сказал отец. Он не спрашивал. Он констатировал факт. - Правду...

Словно читая кем-то написанный текст, а не рассказывая события жизни, отец поведал правду. Жуткую правду. С горьким привкусом, неприятную до тошны. Правду.

После разговора с отцом, Кролик поднялся к себе в комнату. Ему хотелось упасть где-нибудь и не подниматься. Упасть. Умереть. Исчезнуть. Но мысли не

знали покоя. Они окутывали его призрачным облаком. Тонкими нитями стягивали его душу, прорезая до крови. Мысли пытали его медленно и мучительно. Правда.

Правда такова, что его мать не умерла. Правда такова, что он на самом деле — монстр. Страшная истина, открытая отцом, парализовала болью, отдавала жаром в голове. Он — убийца. Он и правда виноват в смерти близкого человека. Вот только этим человеком была не его мама. Во время беременности она ждала близнецов. Она была счастлива. Сразу же два малыша. Вдруг мальчик и девочка? Тогда совсем хорошо. Она радовалась каждому дню. А потом на очередном обследовании врач вдруг не заметил одного малыша.

- Наверное спрятался за братом. В следующий раз должен показаться.

Не показался. Второго ребенка не было. Сердцебиение одного плода. Всего один ребенок. Как? Удивлению матери не было предела. Как так? Два ребенка, там было два ребенка! Было... Теперь один. Врач не хотел рассказывать всё матери. Скажите мне правду. Она тоже ходила, приговаривая эти слова. Врач не смог долго противиться. Сказал правду. Один плод поглотил другой, такое бывает.

Еще не родившись, еще не сформировавшись до конца, Кролик уже был порочен. Уже тогда он причинял зло. Его маленькая сестра или брат... Этот малыш не увидел света из-за него. Он — убийца.... Почему именно он? Проклятый до рождения — разве он виноват во всем этом? Виновен тот, кто наложил это проклятие. Виновен... Кто? Нет виноватых. Он проклят, потому что он — зло от начала мира. Как дьявол. Не потому, что он в чем изначально был хуже других. Такова судьба. И это только вопрос времени, когда он совершит то, для чего создан. Может быть он тот самый антихрист, который должен прийти согласно христианским пророчествам? Наверное, именно этого опасалась его мать. Отец рассказал, что она хотела избавиться от ребенка. Убить — не смогла. Она — не убийца. Даже ради веры в правое дело. Она хотела оставить его на усыновление. Пусть другие воспитывают этого монстра. Но отец не согласился. Кролик не стал спрашивать у отца, почему он отказался от предложения матери. Ответ очевиден: что скажут люди если вдруг узнают? Мнение людей превыше всего.

Потом та гадалка. Ваш ребенок родился под звездой, несущей смерть. Словно в подтверждение всем тем предположениям, что возникли у матери. Она утвердилась — её сын порождение дьявола. Он принесет великое зло человечеству. И тогда мать сделала единственное что казалось ей правильным в таком положении вещей: уехала. Она не умерла, она просто бросила их. Разрушенная семья — позору не меньше, чем брошенный ребенок. Лучше соврать, что она умерла. И все поверили. Не видя трупа, похорон и всего прочего — поверили. А то что «смерть» матери Кролика имела таинственный характер — идеальная среда для сплетен. Наверное, ребенок, рожденный под звездой несущей смерть, виноват в её гибели. Мать осудила прежде времени, люди заклеямили — живи, уродец.

Живи. Ради чего? Собственная мать не смогла вынести того, какой он. Люди воспевают материнскую любовь, считая её самой совершенной. Материнская любовь — безусловная любовь. Только мать любит ребенка не за что-то, а просто потому что он — её малыш. Но мама Кролика отказалась от него. Она отвергла собственного сына. Если бы он совершил какую-то ошибку и она указала на неё — он никогда бы больше так не поступал. Он делал бы все, что в его силах, чтобы мама никогда не расстраивалась из-за него. Но мама не дала Кролику никаких шансов. Она решила, что он — неисправимое зло. И бросила. Как бросают ненужный фантик от конфетки.

Если мать не смогла принять его таким, то чего ждать от других? Если бы люди знали правду, то давно бы сожгли без суда и следствия. Братоубийца. Злодей. Попробуй докажи им, что преступление, в котором он обвиняется, было совершено, когда он еще не родился. Им важно то, что по факту: было два младенца, а потом один поглотил другого. Виновен! Наказание за убийство — смерть. Око за око. Справедливое наказание. Он должен умереть. Но не от рук разъяренной толпы. Он сам сделает это. Если его мать права и он действительно должен принести большой вред человечеству, то он избавит мир от себя. В любом случае ничего хорошего с ним не происходит. Отец без него вздохнет свободно. Никто не будет расстраиваться. Безумный кролик никому не нужен. Он всегда думал, что главное — это не быть кем-то важным, значимым и знаменитым. Главное — быть с кем-то. Просто быть рядом. А теперь он знает, что для других людей быть рядом с ним может быть опасно. Прокраженных изолировали от общества. Чтобы не причинили вреда, не заразили. Больных чумой — сжигали. Инфекцию нужно искоренять. Он — зараза похуже проказы. Он — язва хуже чумы. Он — должен умереть.

Кролик залез на крышу дома. Только так он сможет сделать это. Вскрыть вены — больно. И умирать придется долго, пока не выйдет достаточно крови. Повеситься — это тоже не так просто и быстро. Говорят, это очень мучительно. Самый лучший вариант — таблетки. Заснуть надолго. Навсегда. Но может произойти простое отравление, его будет тошнить. И он умрет, захлебнувшись собственной рвотой. От одной мысли о такой смерти, Безумного Кролика передергивало. Нет, он уйдет из жизни не так. Прыгнуть с крыши. Внизу — камни. Пятый этаж. Высоко. Нужно только сделать шаг, несколько секунд полета, небольшая боль и все. Конец всему. Главное — сделать шаг вперед. Позади — ничего. Он все равно никому не нужен. От него все равно никакой пользы. Самое лучшее, что он может сделать для блага людей — умереть. Только сделать шаг. Но страшно. Господи, помоги! Кролик зажмурился и шагнул.

Глава 5

Многие говорят, что перед смертью у человека вся жизнь пробегает перед глазами. Прыгая с крыши, Кролик ничего не увидел. Лишь быстро улетающие вверх деревья и приближающиеся камни. Многие говорят, что после смерти человек попадает в светлое-светлое помещение. Там с ним встречается некто неизвестный и отвечает на все вопросы человека. А потом переправляет туда, где должна находиться его душа.

То, с чем столкнулся Кролик, выглядело несколько иначе. Не было яркого света. Не было и удушасющей тьмы. Пустота. Пустота не имеет четких описаний. Нельзя сказать: «она такая» или «вот такая». Если бы её было возможно описать, то она не являлась бы уже пустотой. Она была бы чем-то. А так — пустота. Отсутствие всего. Точнее там находился кто-то. Охарактеризовать его Кролик не мог. Это просто - кто-то. Вроде человек. Но человек плотный, а этот — прозрачный. Через него ничего не видно, а видно лишь все что внутри. А внутри клубилось что-то светлое. Словно сгусток энергии, который ищет выход. Словно шаровая молния, попавшая в не разбиваемый сосуд. Только на неё можно смотреть, не боясь за зрение. И Кролик смотрел. Смотрел и думал, что наконец-то он сможет о многом спросить. Наконец-то он сможет узнать все. Какой вопрос задать первым? Что наиболее важно? Или с чего правильнее начать? Вежливо было бы спросить о том, кто этот

некто. Но вопрос так и остался не произнесенным. Кролик хотел спросить, он открывал рот. Но — ничего. Ни звука, ни слова не слетело с его губ. «Быть мертвым не так уж и приятно», - подумал Кролик, испуганно ошупывая себя. Может, при падении он что-то повредил? Может, именно поэтому он ничего не чувствует?

- У тебя нет права задавать вопросы. Твое время еще не пришло.

Голос существа раздался повсюду. Он проникал в каждую клеточку Безумного кролика и растворялся в пустоте.

- Ты можешь только слушать. И смотреть.

Никаких эмоций в голосе. Никаких изменений на лице. Существо говорило, не используя рта.

- Я — ангел. Моя задача — выбирать, что именно увидит человек перед смертью. До того как человек должен умереть, я просматриваю все то, что он видел. И отбираю важные моменты. Все то, что было самым ярким в жизни человека. Это моменты, когда человек был счастлив. Чтобы он поблагодарил Бога за то, что не до конца ценил. Или это моменты, за которые человеку следует раскаяться. Попросить у Владыки прощения за содеянное. Чтобы получить милость. Для меня не существует времени. Ваши века или часы — все равно для меня. Я подготавливаю последнее что вспомнит человек в земной жизни тысячелетия вашего времени. Иногда это очень просто. Иногда бывает сложно выделить несколько важных моментов. Это приходится делать в ущерб чему-то другому. Я всегда старался понять человека, чью жизнь просматривал. Веками я ужасался падению людей. Тому как они развратились. Как презрели Создателя. Как высмеяли и осквернили Любовь. На тысячи людей — одна праведная жизнь. Всего один из нескольких тысяч прожил жизнь так, что приятно посмотреть. Я заранее брался за свою работу, чтобы потом еще не раз вернуться к ней. Что-то переделать. Что-то переправить. Чтобы стало идеально. Чтобы не огорчить Бога. И всегда следовал инструкциям. Проявить личные желания и предпочтения в том, для чего я предназначен — повторить судьбу Люцифера. А это — недопустимо. Но ты!!! - воскликнул ангел не сдержавшись. Чрезмерная эмоциональность не свойственна небесным существам. Сдержанные и уравновешенные. Они более совершенны в этом плане, чем люди. Кролик пытался понять, почему этот не таков. Может быть это не настоящий ангел? Все это подозрительно. И как жаль, что нельзя задать вопросы. Тогда можно было бы выяснить правду. Ангел тем временем продолжал:

- Твоя жизнь. Ты. Смотреть как ты жил. Что ты видел. Понимать, что чувствовал. Для нас не свойственны ваши чувства. Мы лишены их. У нас нет такой свободы выбора, которая дана вам. Бог столько вам прощает. Иногда трудно это понять. В этом Его любовь к вам.

Ангел заговорил короткими предложениями. Словно его смущили эмоции, проявившиеся в восклицании. И вдруг Кролик перестал в нем сомневаться. Почему именно — он не понимал. Просто поверил окончательно и безоговорочно. Ангел — настоящий.

- Вас, людей, создали для особой роли. Вам предназначено особое место в плане Божьем. Вы слабее нас. Ваши возможности ограничены. И при всем этом в глазах Бога вы намного выше нас. Несовершенные. Слабые. Порочные. Люди.

Безумный кролик почувствовал себя обманутым. Только ангел начал что-то говорить про него, как сразу же отвлекся. Как ни интересно слушать о других людях, о себе узнать намного приятнее. Кролик зашевелился, привлекая к себе внимание. Может быть, ангел вспомнит с чего все началось? Маневр Кролика оказался удачным. Ангел замолчал на мгновение, а потом продолжил:

- В твоей жизни не было ничего. Лишь одиночество, да покинутость. Чем больше я смотрел, тем больше испытывал жалость. Я знал, что ты должен умереть. Но мне было очень жаль тебя. Настолько жаль, что я захотел сделать что-нибудь для тебя. Помочь как-то. Но все, что я могу — показать как ты жил. Не то, что ты видел. А то, чего ты не мог увидеть. Ты увидишь некоторые моменты своей жизни так, как они происходили на самом деле.

Безумный кролик хотел бы знать, для чего. Но права задавать вопросы у него нет. Придется подчиняться. Тем более, что делать больше нечего. Спорить тоже нельзя.

И ангел показал. Знакомые до боли моменты жизни. С одним существенным отличием. Рядом с Кроликом всегда был Кто-то. Не нужно подсказки ангела, чтобы понять — это Бог. Многие дети сразу же узнают своих родителей, даже если не видели их годами. Интуиция, инстинкт — не важно что. Узнают и все. И Кролик безо всяких сомнений узнал Бога. В земной жизни он никогда особо-то не задумывался на тему Бога и веры. Говорят что есть Бог. А что Он и для чего — не имеет значения. Это были общие знания как, вроде того, что земля круглая. Знать, что она круглая и разбираться в солнечной системе — разные вещи. Слышать о том, что есть Бог и знать Бога — так же разные вещи. Но никто никогда не говорил Безумному Кролику, что он нужен Богу. Что он важен для Бога. Что Бог его любит. А смысл? Ведь он рожден под звездой несущей смерть. Таким как он Бог не доступен. Наверное, так все вокруг думали. Раз уж никто, даже раввин, что сотрудничает с его отцом, никогда не говорил с ним о вере в Бога.

У Того, Кто находился рядом с Кроликом в моментах, что показывал ангел, не было тела. У ангела оно в какой-то мере было. У Бога — нет. Кролик даже не мог до конца понять, что же он видит. Какая форма, что это вообще — он не знал. Но понимал — это Бог. Наверное, так же как нельзя описать любовь — какая она и что из себя представляет. Все знают какие это чувства — любовь. И любой узнает Бога, если Его увидит. Но описать, охарактеризовать — нет.

Кролик смотрел как Бог всегда склонялся к нему. Вот Кролик плачет — Бог рядом и, кажется, даже держит его за руку. Вот Кролику одиноко — Бог рядом и кажется ободряюще улыбается ему. Бог — улыбается? Безумный кролик понимал, что такие мысли сами по себе — уже странно. Но ему казалось, что все именно так. Когда он считал, что никому не нужен — рядом был Тот, Кто незримо выше всех. Ему захотелось плакать. Реветь, рыдать навзрыд. Но он не мог. Так же как не мог говорить.

- Ты еще не умер, - вдруг сказал ангел. - Я хотел показать тебе все это, но не смог бы сделать этого если бы ты умер. Мы, ангелы, наделены некоей сверхъестественной для вас силой. Но наши возможности ограничены. Мы всего лишь слуги. И каждый выполняет лишь свою работу. И лишь на своей территории. После смерти за душой человека присматривают другие ангелы. Я совершил преступление, не дав тебе умереть. Я буду наказан.

Кролик испытал прилив нежности к ангелу. Только что он узнал, что никогда не был один. Только что он узнал, что всегда был нужен кому-то. А теперь еще оказалось, что ради него один из ангелов пожертвовал всем. Ради него, которого все считали отребьем земли. Ради него — человека без имени. Ради него — отверженного всеми. Кролик попытался приблизиться к ангелу в глупом стремлении обнять. Но не смог. Он безо всяких усилий шевелился, но сделать даже шаг вперед оказалось невозможным.

- И хотя я знаю, что именно такова воля Создателя, - продолжал ангел с ноткой грусти в голосе. - Наказания мне не избежать. Чтобы спасти человечество, Бог

некогда отдал Своего единственного Сына за людей. Чтобы спасти тебя Бог не пожалел одного из Своих ангелов. Цени это.

И Кролик ценил. Если бы он мог сказать, то попытался бы выразить признательность. К Богу. Ему хотелось кричать от благодарности. Ему хотелось плакать — от благодарности. Его любят. Да, это любовь, конечно же любовь. Только из любви можно поступить так. Безумному кролику стало очень стыдно. Он ничего не знает о Боге. Совсем ничего. В голове пронеслись обрывки воспоминаний всего того, что он слышал о Боге. Не больше, чем известно большинству людей. Но сейчас этого казалось мало. Ему хотелось узнать все что только можно о Том, Кто так его любит. Он хотел расспросить ангела, забыв, что не может ничего сказать. Но ангел исчез. Кролик остался один посреди пустоты. Только теперь это была приятная пустота. Кролик знал, что есть Тот, Кому он нужен. А это способно раскрасить все что угодно.

- Ах, ты беденький! Такой молоденький! - вдруг услышал чье-то причитание Кролик. Вместе со словами на него обрушилась боль. Она отдавалась по всему телу яростными волнами. Он услышал свои собственные стоны и радостный возглас:

- Хвала Создателю, он пришел в себя!

Хвала Создателю.... Бог... Именно Он спас его. Кролик вдруг понял, что плачет. Он вновь мог плакать. Он плакал, но не из-за боли. Он плакал, потому что сердце ликovalo и радовалось. Он нужен Богу. Бог не оставил Кролика, несмотря на то что он родился под звездой, несущей смерть. Несмотря на то, что он в живот у матери убил своего близнеца. Несмотря на то, что он не хотел жить. Бог все равно любил его и любит до сих пор.

- Ох, Дмитрий, ну и заставил же ты нас поволноваться, - с облегчением произнес раскатыстый бас. - Я уже собирался уходить домой, а София все: «Подожди, вдруг мальчик оклемается?» А я и не верил. Думал все, того. А ты вон оно как. Молодец. Теперь выкарабкаешься, раз пришел в себя. Ты только это, держись.

- Ах, хвала Создателю! - снова воскликнула женщина. Наверное, это она и есть, София. - Что ж ты, Дима, так сглушил, а? Тебе жить, да жить. Ну ничего, теперь все хорошо.

Дмитрий... Дима.... Это... его имя? Они называют его по имени? У него теперь есть имя? Да, он знал, что оно у него есть. Он читал его в документах, но никогда не слышал, чтобы его называли по имени. А теперь эта женщина, чье худое лицо склонилось над ним. В её глазах он видел свое отражение. Но также в её глазах ему открылась вся вселенная. Глаза человека, которому ты не безразличен. Обладателя мужского голоса он не видел. Врач стоял в стороне и лишь тень на стене показывала его очертания. Но он не уходил безразлично, несмотря на то что его смена закончилась. Эти люди.... Бог вернул ему жизнь. Они вернули ему его имя. Дима. Не Безумный кролик. Дима. Его имя.

*Башни безмолвия (молчания), обычно высотой около шести метров, сооружаются из кирпича или камня на возвышенностях. На решётчатых площадках на их вершине выкладываются мёртвые тела, которые расклёвывают затем птицы-падальщики. Освобождённые от плоти кости собираются затем в глубокий колодец в центре башни. В этих колодцах кости продолжают тлеть и разрушаться, пока окончательные продукты распада не будут смыты дождевой водой. Строительство башен молчания связано с положением в зороастризме, согласно которому «нечистое» мёртвое тело не должно предаваться ни земле, ни огню.



Алексей Курилко

МОРСКОЙ ЛЕВ ЛИТЕРАТУРЫ

Эссеистический анализ и разбор главного произведения Эрнеста Хемингуэя

"Это проза, над которой я работал всю свою жизнь, которая должна быть лёгкой, простой и лаконичной и в то же время передавать все изменения видимого мира и сферы человеческого духа. Это самая лучшая проза, на которую я сейчас способен"

(Э. Хемингуэй, "Старик и море")

Сперва я попробую окунуть вас в недалекое прошлое, во времена, когда повесть увидела свет, чтобы затем мы смогли погрузиться в глубины авторского под-сознания. Нам предстоит долгий путь, наберитесь терпения, я буду вашим капитаном, доверьтесь мне. Если вы куда-то спешите, или не готовы сосредоточить свое внимание на ком-то другом более чем на несколько минут, или привыкли сразу удовлетворять мимолётное любопытство в результате скорого ответа, кратко и по существу; словом, если вас всегда и во всем больше интересует результат, а не процесс его получения, то даю совет, пропускайте мое эссе, не смею вас задерживать! Оставшихся прошу: мысленно перенестись в Америку, в середину прошлого века, далеко от меня не уходить, держаться вместе! В этом капиталистическом раю адская путаница и беспредел!

В сентябре 1952 года повесть «Старик и море» целиком выходит в одном из номеров журнала «Лайф». Читатели только о ней и говорят. Повесть произвела фурор. Такого Хема ещё не читали. Но – хуже того – ничего подобного от него уже и не ждали. Его последняя книга была обругана критиками, и при этом не была защищена вниманием читателей. А тут вдруг такой резкий и повсеместный восторг в связи с публикации! Не такой уж большой вещи в журнале «Лайф»! Счастливые обладатели этого журнального номера пересказывают сюжет повести тем, кто не успел его купить. Но в пересказе повесть совсем не производит того ошеломительного эффекта, который испытали те, кто читал и перечитывал эту вещь в журнале. Такое легко и, вместе с тем, невозможно пересказать. Это нужно читать! Поэтому, видя такой спрос, уже через восемь дней повесть печатают отдельной книгой. Все пятьдесят тысяч экземпляров, несмотря на высокую для такой тоненькой книжки цену, раскупают так быстро, что самые крупные издательства наперебой атакуют автора заманчивыми предложениями переиздать его «Старика». Вскоре эта повесть приносит Хемингуэю Пулитцеровскую премию и, по сути, становится поводом для присуждения Нобелевской. Кто бы мог подумать, что сия незамысловатая, на первый взгляд, история о том, как старый рыбак поймал огромную рыбу, но не смог довести свой улов до дому в целостности и сохранности, вновь сделает Хемингуэя лучшим писателем Америки, подтвердит его глобальное значение для мировой литературы, станет последним пиком его карьеры!

А ведь ещё совсем недавно Хемингуэя почти не рассматривали всерьёз как действующего писателя. Казалось, его время прошло. Поговаривали о потере творческой

потенции: да, он был великим писателем, но акцент падал в основном на слово «был». И крики, и литературоведы, и читательская публика охладели к его дару. В последнее время этот дар никому, кроме его верных поклонников, был и даром не нужен, во всяком случае, акции его дара стремительно падали в цене. Оно и понятно: в конце 1940-х – начале 1950-х Хемингуэй переживает глубокий творческий спад. Всему виной его тяжелое физическое и психическое состояние после пережитого на фронте плюс болезненный и нелегкий разрыв с Мартой Геллхорн... Он чувствует приближение старости. Учащаются приступы депрессии. Жизнь с каждым прожитым годом становится всё менее понятной. Всё это – многочисленные травмы, полученные им после переломов и ранений; одиночество, разочарование, утрата былого величия и неверие в собственные силы, – существенно сказывается на состоянии здоровья писателя и приводит к ослаблению его творческого потенциала.

В это сейчас слабо верится. Ныне кажется, что Хемингуэй никогда и ни в чем не знал поражения. Его книги, его высказывания, его манера жить и работать – легко переходя границы человеческих возможностей, рискуя, не зная сомнений – всегда давали ему повод гордиться собой и быть блистательным примером для подражания. Все, кто хотя бы немного был знаком с его биографией, восхищались его личностью, его мужеством, и даже порой его безрассудством. Судите сами! Почти всю свою жизнь он постоянно испытывает себя на прочность. Он словно нарочно дразнит Фортуну, и не боится играть со Смертью, ставя на кон всегда и неизменно собственную жизнь, словно ни чуточку ею не дорожит. Тут и участие в трех войнах, и состязания на ринге с профессиональными боксерами, и охота на львов в Африке, многочисленные попойки и уличные драки, дружба и сотрудничество с революционерами и контрабандистами, походы на маленьком катере «Пилар» в штормовом океане, игра в «русскую рулетку», болезни, авто- и авиакатастрофы... На его теле было более двухсот шрамов! А главное, он восемь раз был на самом краю гибели, но всякий раз после того, как практически чудом выкарабкался из цепких лап смерти, он не только не менял своего образа жизни, но, напротив, начинал ещё наглее играть со своей судьбой. Да, он был, как сказали бы сейчас, крутой мужик, но боюсь, один из его биографов абсолютно прав, утверждая, что он не бежал от смерти, а все время – долгое время неосознанно – искал ее. Впрочем, нам он признался в этом сам. И мы и безо всяких биографов пришли бы к такому выводу, если бы поверили в искренность его собственных слов, характеризующих писателя коротко и точно: «Пишет мало, а пьет много, но если бы не пил, давно пустил бы себе пулю в лоб». А ведь их многие принимали за шутливый эпатаж и некую позу... Но это то, что касается его натуры. А меня сейчас мало занимает Хемингуэй-человек, с ним мне все более-менее ясно. Меня интересует Хемингуэй-литератор. Причем особенно занимает меня писатель последнего периода – он весьма отличается от раннего Хемингуэя, и есть существенные отличия от того Хема, который находился в самом зените сил и творчества...

Понятно, что проза Хемингуэя – это всегда по-настоящему мужская литература! Сверх того – хорошая, добротная, настоящая Литература. Язык его прозы прост, ясен, лаконичен... Не только сам текст увлекателен и способен унести читателя к высотам катарсиса, но и тот глубокий подтекст, который в нем всегда явно чувствуется. Чаще всего в центре произведений или охота, или война, или борьба с противником, или, в крайнем случае (случае классическом!) борьба с самим собой. Как чемпион по борьбе с самим собой, ответственно заявляю: это самый тяжелый вид борьбы и весьма обидный, поскольку выигрывая, ты терпишь поражение,

но проиграв, – выигрываешь. Вроде бы, чудной парадокс, а, между тем, всё предельно просто и ясно (кстати, типичный случай для Хемингуэя!).

Его герой всегда готов с гордостью и непоколебимой верой в справедливость своих поступков достигнуть цели любой ценой, пройдя все испытания (идет ли он на подвиг или на преступление). Настоящий мужик, одним словом! Он готов принести в жертву жизнь – как свою, так и чужую – лишь бы знать, что он прав и жертва будет принесена не зря. Сначала кажется: почти все книги его такие. А «Старик и море» – это вообще ликбез для настоящих мужчин, не зависимо от положения, возраста, времени и места действия... Эта книга может служить пособием для проведения мастер-классов по самосовершенствованию! Я не шучу! При этом перед нами высокохудожественный шедевр мировой литературы. Хотя постойте! То, о чем Хемингуэй поведал в повести, когда-то, почти двадцать лет назад, он смог уместить всего лишь на нескольких страницах своего очерка в журнале «Эсквайр»! Но в том-то и прелесть, что язык его не изменился, манера писать осталась такой же сдержанной и сухой, как и в романе «Иметь или не иметь», он столь же лаконичен, как и прежде... Но! Именно в этом произведении впервые Хемингуэй предельно внимателен к мелочам или к вещам, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к главной, а можно сказать и единственной сюжетной линии... Да, обычно он пишет кратко, емко... А тут – целая книга, большое по объему распределение, но которое, как ни крути, и по композиции, да и по сути, – всего лишь рассказ: всего пара героев (а по гамбургскому счету герой один – Старик) и происходит пара событий в течение весьма непродолжительного времени – не более трех суток в целом. Всю историю можно пересказать за полминуты. Но в данном случае автор посчитал нужным поведать все обстоятельно, подробно, нисколько при этом не меняя собственную стилистику и манеру письма и легко удерживая наше внимание. Он мог написать в пять раз короче, но не пожелал. Почему? Потому что за те сутки, пока Старик был в море, благодаря его монологам, перед нами вырисовывается вся жизнь, казалось бы, простого и вместе с тем незаурядного человека. Только такой человек, просоленный жизнью, мог восемьдесят четыре дня выходить в море, возвращаться ни с чем, но все равно продолжать выходить, пока ему не попадется такая громадная рыба, которую доселе никто не видел! Нет, может, и видели, но поймать её и справиться с ней одному человеку не под силу... Старик не раз вспоминает мальчишку, который хоть в мелочах, но мог бы ему помочь, хотя всякий раз признает, что и вдвоем бы они с этой рыбиной не справились... Рыба, с которой так долго боролся старик Сантьяго, – прямо мечта всех истинных любителей рыбалки и невероятный трофей для профессиональных рыболовов: гигантский марлин, рыба-меч из отряда парусниковых. Хемингуэй ловил таких, но с ним всегда был его верный помощник Григорио Фунтес, человек, которого он сделал капитаном своей яхты и послуживший одним из прототипов Сантьяго. Они познакомились в конце двадцатых: легкая моторная лодка Хемингуэя попала в шторм, как назло – отказал двигатель. Оказавшийся поблизости на своем катере Григорио, пришел на помощь. Фунтес довез Хемингуэя до берега, помог согреться, они разговорились, выпили, само собой... Так завязалась их многолетняя дружба. Лишь только Хем приобрел яхту – он, не раздумывая, взял Григорио капитаном, платил 250 долларов в месяц. Такие деньги тогда мало кому платили. Но зато в лице Фунтеса он приобрел надежного помощника, друга, фанатично любившего и хозяина, и его яхту до такой степени, что со временем окончательно переехал туда жить и проводил на яхте все 365 дней в году, заботясь о ней,

как о родной дочери, которой у него никогда не было... Григорию после смерти папы Хема рассказывал, что они частенько выходили в море, невзирая на штормовое предупреждение, не раз оказывались в тяжелой, критической ситуации. «Хозяин любил играть с огнем», – признавался он в многочисленных интервью. Хотя в данном случае, правильнее было бы сказать «с водой». Впрочем, мы говорим об Эрнесте Хемингуэе! Он играл и с огнем, и с водой, и с огненной водой, и с теми, кто мог метать в него молнии и громыхать обвинениями, – с женщинами... Любил он и охоту, и рыбалку... Ловил и марлина, подобного описанному в повести. Но в отличие от Старика, он был моложе, сильнее и ему помогал Григорию, а от акул он обычно спасал свою добычу довольно своеобразно: пускал в них очередь из автомата. Этот необычный метод теперь называется методом Хема... Но за него сейчас можно получить серьезный тюремный срок. Да и далеко не каждому позволено держать на яхте такое количество оружия. Так что сам Хем звал часы триумфа! Как фанатичный поклонник рыбной ловли, он мог легко дать столь реалистичное описание противостояния человека и марлина, и мог представить, каково было бы рыболову, окажись он в такой ситуации в одиночку.

Герой Хемингуэя сразу же понимает, лишь только узнает, какого рода противник попался ему на крючок, какая крупная удача его настигла. И крупная она до такой степени, что справиться с ней – с удачей в виде этой рыбы – в одиночку ему не удастся. Он и вдвоем с помощником вряд ли бы справился, но шансы – пусть мизерные, – были бы... Заметьте, это очень важно: он признает, что они бы не справились и вдвоем, а между тем продолжает упорно бороться со своим морским противником, которого он с каждым часом всё больше уважает, уважает настолько, что начинает говорить с ним. Это наводит на мысли о том, что он очень одинок и не привык проигрывать, тем паче без боя. Старик, с каждым часом слабея, удивляется силе и упорству морского гиганта, и уважение скоро перерастает во что-то большее. И он не скрывает своих чувств: «Рыба, – позвал он тихонько, – я с тобой не расстанусь, пока не умру. Да и она со мной, верно, не расстанется», – подумал старик и стал дожидаться утра. В этот предрассветный час было холодно, и он прижался к доскам, чтобы хоть немножко согреться. «Если она терпит, значит, и я стерплю». Он словно почувствовал, что рыба и он – они родные души, оба сильны и упрямы, оба готовы сопротивляться до последнего, оба настроены решительно – победить или умереть. Он – старый опытный рыбак – по поведению рыбы догадался, что имеет дело с самцом. Причем с таким, который уже побывал в подобных переделках, или наблюдал подобную ситуацию, поскольку рыба-самец ведет себя странно, слишком умно, грамотно и без трусливой, нервной суеты, словно преследуя такую же точно цель, какую преследует мудрый Сантьяго, – измотать, утомить своего противника. Можно было бы предположить, что это именно тот самец, который видел гибель своей подруги. Старик не случайно вылавливает из океана своих воспоминаний одно – случай, поразивший его некогда до глубины души: «Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую, и, попавшись на крючок, самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро ее изнурила, а самец, ни на шаг не отставая от нее, плывал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что старик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом, острым, как серп, и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул ее дубинкой, придерживая острую, как рапира, пасть с шершавыми краями, когда он бил ее дубинкой по черепу до тех пор, пока цвет ее не стал похож на цвет амальгамы,

которой покрывают оборотную сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал ее в лодку, самец оставался рядом. Потом, когда старик стал сматывать лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем ушел глубоко в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик не мог забыть, какой он был красивый. И он не покинул свою подругу до конца».

Сам Сантьяго не говорит о том, что такое возможно. Ведь этот марлин огромен, он вдвое больше его лодки, он признается, что ему ещё не доводилось видеть марлина таких размеров, а тем паче, ловить. Стало быть, тот самец был меньше, чем этот, утаскивающий его все дальше и дальше в открытое море. Но ведь с того дня прошло как минимум три месяца (мы же помним, что восемьдесят пять дней прошло с последнего удачного улова), а то и год, или полтора... Ведь Старик не говорит, что это произошло именно в тот, последний день, перед чередой несчастливых дней. Но даже взяв самый малый срок, прошедший с того дня, когда была поймана самка марлина, получаем, повторю, три месяца, не меньше. Для рыбы-меч три месяца – это большой срок. За такое время она, хищница, спокойно могла бы набрать вес и стать вдвое больше, чем была. Если допустить сие предположение и поверить в такое случайное стечение обстоятельств, то причина приобретает совсем иной оттенок: идет не просто борьба «кто – кого», идет принципиальное противостояние двух заклятых врагов, и Старик выступает для Рыбы неким злым роком, убившим когда-то его подругу, лишившим его спутницы, нанесшим душевную рану, а теперь добравшимся и до него. Это поначалу вас может рассмешить или расстроить, или разочаровать... Вот же, право слово, перемудрил этот наивный Курилко, да ещё и пишет о рыбе, словно о человеке. Да ведь не я, а герой наделяет холодную, бездушную рыбу и характером, и умом, и разумным поведением, и душой. Именно он наделяет её сугубо человеческими качествами и ощущает с ней родство душ с похожими стремлениями... Просто вспомните, как много он с ней говорит! И вспомните, что он ей говорит! «Рыба, – обращается он к ней, когда силы его почти на исходе, а та начинает свой последний бой за свободу и жизнь. – Рыба! Тебе все равно уже не жить, так зачем ты желаешь погубить и меня?» Таковы, по его мнению, её истинные намерения: не спастись, а погубить и его вместе с собой. Старик с самого начала относился к ней по-особенному, словно они и вправду равны. «По виду она спокойна, – подумал он, – и действует обдуманно. Но что она задумала? И что собираюсь делать я? Мой план я должен тут же приспособить к ее плану, ведь она такая громадина. Если она выплывет, я смогу ее убить. А если она так и останется в глубине? Тогда и я останусь с нею». Решение принято! Цель ясна! Однако, и Рыба, по его разумению, знает себе цену. Но, несмотря на ее внушительные размеры, Старик поначалу недооценивает её. Она же пока для него всего лишь рыба, обитатель морских глубин, а он человек, не привыкший и за восемьдесят четыре дня к неудачам и проигрышам. «Она громадина, эта рыба, и я не дам ей почувствовать свою силу, – думал он. – Нельзя, чтобы она поняла, что может сделать со мной, если пустится наутек. На ее месте я бы сейчас поставил все на карту и шел бы вперед до тех пор, куда что-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают; хотя в них гораздо больше и ловкости и благородства». Он недооценил противника, это было его ошибкой, которую он, как поистине честный и мужественный человек, относительно скоро признал. После этого его отношение к противнику пересматривается, он теперь внимательно ана-

лизирует каждое движение марлина, каждый его поступок предусмотрительно предугадывается или прорабатывается впоследствии: «Интересно, почему она вдруг вынырнула, – размышлял старик. – Можно подумать, что она вынырнула только для того, чтобы показать мне, какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою сведенную руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше. Хотел бы я быть рыбой, и чтобы у меня было все, что есть у нее, а не только воля и сообразительность».

Теперь старик Сантьяго впадает в иную крайность: он недооценивает себя. Он обладает не только волей и сообразительностью, но также верой в победу, упрямством, силой не только стареющего (хотя и закаленного трудом) крепкого тела, но и духа... В нем есть гордость, гордость человеческая и профессиональная... и всепоглощающее желание победить! Любой ценой! Или погибнуть! И точно такие же качества Старик начинает видеть в Рыбе. Вот тогда-то обыкновенное восхищение размерами добычи сменяется сначала уважением, переходящим затем в любовь. «Рыба, – сказал он, – я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер».

Так разве это я перемудрил?! Я лишь внимательно читаю, ибо Хемингуэй, вернее, проза его, только на первый взгляд проста и чиста, как вода в северных озерах. Но всё в этой повести глубже. Тут целое море идей и мыслей, и чем дальше – тем глубже. А море впадает в океан... Там всё иначе. Предельно честный за письменным столом, Хем, так долго толковавший о прозрачности, писавший в жанре жёсткого реализма, но усиленно работавшего над каждым словом, признавался: «Если писатель хорошо знает то, о чем он пишет, он может опустить многое из того, что знает, и, если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды». Кто помнит об этом хемингуэевском «принципе айсберга», тот будет по верхушке айсберга пытаться понять *что, где и каких размеров* скрыто от нашего взора. Особенно об этом нужно помнить при чтении его лучшей работы. Это не только моё мнение. Так, наверняка, полагал и он сам. Об этом догадывались лучшие из литературных мастеров. Скажем, не менее одаренный Фолкнер по достоинству оценил эту повесть: «Его лучшая вещь. Возможно, время покажет, что это самое лучшее из всего написанного нами — его и моими современниками. На этот раз они создавали сами себя, лепили себя из собственной глины; побеждали друг друга, терпели поражения друг друга, чтобы доказать себе, какие они стойкие. На этот раз писатель написал о жалости — о чем-то, что создало всех: старика, который должен был поймать рыбу, а потом потерять ее; рыбу, которая должна была стать его добычей, а потом пропасть; акулу, которые должны были отобрать ее у старика, — создало их всех, любило и жалело. Все правильно. И, слава Богу, то, что создало, что любит и жалует Хемингуэя и меня, не велело ему говорить об этом дальше». Замечательные слова, но и они больше прячут в себе, чем показывают, не правда ли... Нет, первая часть ясна абсолютно. Очень многие так и трактовали повесть-притчу. Но об этом чуть ниже. А пока – о том, о чем сказал Фолкнер и о чем недосказал, а также о том, что отвергал лично автор повести «Старик и море».

Если советские и европейские критики видели лишь мужество, стойкость и величие человека в борьбе за существование, а также призыв против обособленности и индивидуализма ради удовлетворения эгоистических амбиций и сугубо лич-

ных, низменных потребностей. То американцам и некоторым отдельным индивидуумам скорее понравилась идея величия человека над природой и стремление достигать поставленных целей, превосходя собственные возможности. Фолкнер и ещё ряд интеллектуалов отметили также ноту смирения, тень любви и принятия того, что всё правильно и разумно устроено в мире, кажущемся жестоким, несправедливым и суетным.

Теперь о недосказанном. Хемингуэй и сам признавал, что изначально задумывал написать роман со множеством героев, сменой картин и действий. Но затем, уже в процессе работы, найдя, наконец, идеального героя, его устами рассказал нечто простое. Его герой делает своё дело добросовестно и не столько ради корысти или гордости, а по причинам более прозаичным: так должно, каждый обязан собой, без утомительных и рефлектирующих поисков себя. Ты тот, кто ты есть, будь им всегда, смирившись с любой участью, гордо неси крест своего предназначения – и тогда ты победишь, даже потерпев поражение. Такие выводы особенно удобны для церкви и государственной власти. Право слово, ведь всем будет только хорошо, когда большинство наконец осознает: ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой. Всё, что ни случается, все правильно, все справедливо. Делай хорошо своё дело, и не тревожь лишними мыслями ни себя, ни других... «Может быть, мне не нужно было становиться рыбаком. Но ведь для этого я родился!» Верно! Не сомневайся! Делай привычный труд без сомнений, без колебаний и живи с миром в гармонии. Ты такой, какой есть, ты ничего не в силах изменить, тем более, если ты один.

«Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить своей судьбе. Её судьба была оставаться в тёмной глубине океана. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти её там, куда не проникал ни один человек. Теперь мы связаны друг с другом. И некому помочь ни ей, ни мне». Но ты не один. С тобой всегда такие же, как ты. Просто не уходи один далеко в море, а не то одиночество и сомнения сломают тебя.... Вот и старик испытывал нечто похожее: «Может быть, грешно было убивать рыбу. Думаю, что грешно, хоть я и убил её для того, чтобы накормить уйму людей. Нечего раздумывать, что грешно, что не грешно. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой». И всё! А над тобой и с тобой всегда мудрый Бог, или всеведущие боги, или родимая партия, или президент и парламент – главные слуги народа... Ты смиришься, главное, – и станешь так легко и спокойно, как никогда прежде... «А как легко становится, когда ты побежден! – подумал он. – Я и не знал, что это так легко... Кто же тебя победил, старик? – спросил он себя... – Никто, – ответил он. – Просто я слишком далеко ушел в море».

Когда в таком небольшом по объёму произведении такая плотная концентрация действий, чувств и мудрых мыслей, да ещё много чего таится между строк, то это всегда раздолье для интерпретаций: можно выбирать, на чем именно поставить акцент, что подчеркнуть, а что оставить в тени авторского замысла. Хемингуэй всегда этого боялся. Он не любил, когда в том, что он написал, кто-то находил то, чего там изначально не было, или, во всяком случае, им специально не подразумевалось, не закладывалось изначально. Впоследствии он яростно протестовал против того, чтобы его повесть считали полной тайных смыслов притчей, не понимая, что этот неожиданно ярко сверкнувший свет его дара был подобен большому взрыву, после которого он начал погружаться в кромешную тьму. Так иногда перегорает лампочка от перенапряжения, ярко вспыхнув перед тем, как погаснуть навсегда, по-

скольку вольфрамовая нить не может быть соединена вновь, разве что какой-то умелец рискнет разбить стеклянную оболочку в надежде все чудом склеить, как было. В любом случае, Хемингуэй, как и герой его повести, превзошел самого себя. Каждый из читателей, увлеченно следя за тем, как разворачивается драматическая история старого рыбака, извлекает из прочитанных страниц нечто труднообъяснимое, но понятное и близкое только ему. Поэтому анализ повести не менее интересен, чем анализ стихов, к примеру, Пастернака.

Что бы сам автор ни говорил, но Сантьяго хоть и похож на предыдущих героев Хема, почти всегда имеющих автобиографическую платформу, все-таки значительно отличается от них всех. Нет, он тоже весьма мужественен, целеустремлен, силен и телом, и духом; наблюдателен и великодушен, но он не мучается вопросами бытия, он этим бытием наслаждается. Он не сомневается и не ищет правильного пути или себя – и то, и другое он давно обрел и находится в относительной гармонии с миром и с собственной совестью. Его не особенно огорчают неудачи, хотя в последнее время они преследуют его непрерывно, он принимает как должное и ослепительное сияние жемчужных зубов Фортуны, которая наконец-то широко ему улыбнулась; и не теряет присутствия духа, когда улыбка Фортуны оказывается звериным оскалом неожиданного проигрыша. Он продолжает свой неспешный диалог с окружающим миром.

Кстати, вы заметили, что Старик не может вспомнить, когда именно приобрел привычку говорить с самим собой: то ли когда его покинул мальчик, ученик, то ли раньше, сразу после смерти жены... Да, он, как и его гигантская рыба (по моей версии), тоже потерял спутницу жизни, но продолжал жить, смирившись с утратой... Вот почему он особенно охотно общается со своим другом-врагом, самым рыбой-меч. У них много общего... Мне скажут, что вот это лишь ещё красноречивее подчеркивает его тотальное одиночество! И я не стану спорить! Но и это тотальное одиночество его нисколько не тяготит. И хоть он часто задумывается о том, много ли один человек – совсем один – многое ли он может? И приходит к единственному правильному ответу: немного... Но ведь он не один...

Не один? Да как же так? Он и живет в одиночестве, которое изредка скрашивается приходом его бывшего ученика. И когда рыба потащила его лодку в открытое море, он был совершенно один... Но ведь он сам, а через него автор, упорно убеждал, что человеку нельзя быть одному, что это неправильно! Так быть не должно! Тот, кто один, тот уже проиграл, тот уже заранее обречен, тот почти что погиб... Может, именно поэтому в Советском Союзе так пропагандировали именно эту вещь Эрнеста Хемингуэя? Мол, вот, он был один – и проиграл, а вот будь он в коллективе...то... То что? То он бы скорее сам скормил себя акулам, лишь бы мясо рыбы было вовремя доставлено в порт, откуда прямиком в спецайки и только исключительно членам Политбюро (деликатес, как-никак, это вам не килька в томате). Шучу, конечно... В Советском Союзе действительно книги Хема имели особый, просто колоссальный успех. И не только «Старик и море», но и «Острова в океане»... А также усиленно рекомендовали «По ком звонит колокол?» и «Прощай, оружие!» (в перерывах между вводами войск в соседние государства, с целью оказания интернациональной помощи угнетенным классам). Да просто Министерство образования СССР, как и члены премиальной комиссии, наградившие папашу Хэма (но совсем не за то, о чем он писал) ни черта в литературе не смыслили... Я позже объясню почему. Но пока для начала вспомним: трое суток борьбы, руки в кровь, силы на исходе, кто кого изматает, возьмет измором... Да... Старик, конечно,

– один. Но и Рыба – одна! Верно? А если «единица – ноль» и обязательно должен проиграть тот, кто один, то почему Старик не проиграл раньше? Он-то, в отличие от Рыбы, человек разумный... Что-что, а собственное одиночество, как и старость, а с ней и потерю былой мощи, он превосходно осознает... Да! Старый рыбак – один, хотя постоянно ведёт внутренний диалог то с мальчиком-учеником, то с рыбой, то с левой рукой, которая в любой момент может его подвести, то с морем, то с самим собой, то со всеми людьми сразу... Ему невероятно тяжело, но старик, несмотря ни на что, не сдаётся, и умудряется вонзить ей гарпун в брюхо, привязать это огромное тело к борту и по ветру определить путь домой. Победа? Почти! Ведь именно тут, почуяв сильный запах крови, появляются акулы... и съедают его добычу, его улов, растаскивают по кусочкам всю его победу! Он одолел более сильного противника сам, в одиночку! Ибо каждый из нас, если приложит максимум усилий, способен превзойти самого себя. Человек, даже когда один (а, может, именно потому что один), подобен Его Сотворившему и поэтому всемогущ! Он – царь зверей и венец творения! Но насколько человек всемогущ, настолько же он и беспомощен! Человек и мудр, и глуп, и велик, и ничтожен! И это не философия! Это жизнь! Самая что ни есть натуральная жизнь, во всем ее паскудстве! Вспомните историю, дорогие мои! Или взгляните на жизнь! На свою, на жизнь Ваших близких и друзей, соотечественников... И вы обязательно увидите и поймете: воюют одни, а награду почти всегда получают другие!

Уже обессиленный противостоянием с гигантской рыбой-меч, Старик все равно, даже понимая всю безнадежность положения, все равно, как мог и сколько мог, защищал свой улов... Но много ли он мог, если стар, слаб, изранен, утомлён, безоружен и одиноч! Вот мы и подбираемся к истине. Что может сделать один мощный старик, когда со всех сторон, почуяв кровь, к его добыче устремился целый и «сплоченный коллектив хищных товарищей» им же убитой большой Рыбы... А я объясню! Он возвращается назад одновременно и победителем, и проигравшим. Да, это победа, и неважно, что не осталось ни куска мяса. Он победил, хотя плодами победы ему не воспользоваться, а значит – он проиграл, и череда неудачных дней продолжает свой счёт... Хотя для Хемингуэя он победил, потому что выстоял. Он не сдался, он один сделал то, что другим не под силу совершить в паре или троём... И он вновь доказал, что он всё ещё самый лучший. Мальчишка верил в него не напрасно... А ведь сколько раз мальчику советовали не связываться с ним, ведь тот уже слишком стар, ему вечно не везет, он уже не так хорош, как когда-то, и сети рваные, паруса в заплатах, лодка древняя... Но мальчик выбрал именно его в учителя! Почему? А потому что они одной породы! Из породы крупных хищников... И настроены они на крупную добычу... На крупные победы... Жаль только, что, скорее всего, это последняя победа Старика. Вспомните, в конце рассказа – его сон про льва. Скорее всего, сон – это смерть старика. Но его дело будет жить в мальчишке, которого он воспитал настоящим мужчиной... Родители мальчика не разрешили приходить к Старика, только тот все равно приходил, приносил ему кофе, кормил... Неудачи Старика его огорчали, но не отпугивали. Он видел, что Старик стойко переносит все тяготы и испытания и знает себе цену. У Старика за спиной была тяжелая жизнь, она была переполнена опасностями, потерями, испытаниями... А он их словно бы не замечал. Это ведь Хему принадлежат самые правильные слова о настоящих мужчинах, которых с каждым годом всё меньше и меньше: «Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только

крепче на изломе. Но тех, кто не хочет ломаться, того он убивает. Он убивает и самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки». Это Эрнест Хемингуэй. Рекомендую даже прочесть вслух этот отрывок, вслушиваясь и вдумываясь в каждое слово. Если мысленно окинуть цепким взором всю жизнь Хемингуэя, то вы сразу поймете главного героя повести «Старик и море». Раньше я думал, Старик – это стремление к победе, к цели, несмотря ни на что, «до дней последних донца»... Думал я примерно так: море – это жизнь; акулы – препятствия, которые нас поджидают на пути к победе... Но теперь я понимаю, что ошибался! А ведь прошло всего двадцать лет! А я теперь убежден на все сто, что повесть «Старик и море» – не что иное, как духовное завещание Хема, его предсмертное письмо в виде исповедальной пригчи. Жизнь подходила к концу, пора было подводить итоги.

Возьмем для сравнения какой-нибудь его зрелый роман. Полноценный. Ну вот хотя бы... Вот! Его роман «Иметь или не иметь!» «Иметь или не иметь» и «Старик и море» чем-то похожи. Только в «Иметь или не иметь» герой – Генри Морган – никогда не проигрывал, но и ничего от победы не получал, разве только очередную порцию неприятностей. Но, в конце концов, в итоге Генри Морган умудряется остановить бандитов и сохранить деньги, правда, ценой своей жизни. В обоих произведениях вывод один: мы сильные и лучшие, мы победители, даже тогда, когда кажется, что мы повержены. Таким же хотел всегда быть, а порой и был, а иногда лишь казался таковым и сам Эрнест Хемингуэй.

Хемингуэй, как и его герои, никогда поверженным не был! Он же написал самые главные слова повести, явно выражая свою позицию: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения... Человека можно уничтожить, но его нельзя победить!» Это позиция льва – царя зверей. Хемингуэй – это лев американской литературы. Я не шучунисколько! Хемингуэй – это лев. Он всегда хотел быть первым, чем бы ни занимался. Журналистикой? Пожалуйста! Стану репортером полицейской хроники. Буду выезжать на место преступления вместе с полицией, а то и до неё. Буду проводить собственное независимое расследование! Что еще? Нужны репортажи из самой глубины воюющей страны? Ок! Готовьте первую полосу, господа! Я отправлюсь в самую гущу событий и достану самый горячий материал. Воевать – значит, я буду героем или погибну. А что если стать великим писателем? Нет, не просто писателем – это любой дурак сможет! Нет, не популярным, а именно великим! В общем так: писать – так лучше всех; что ни роман – шедевр! Уж таким он был! Уж таким уродился!

Лев, он и в Африке – лев! А кто главные противники льва? Подлые, ничтожные гиены. У льва же всего две миссии: расширять и охранять территорию, оплодотворяя самок, которых должно быть как можно больше, и продолжать свой род. Все! У настоящих львов ведь как? Охотой занимаются самки, но часто бывает так, что львицы – поймали добычу, папы еще нет, а тут вдруг – откуда ни возьмись – чертовы гиены, штук двадцать. Они подлые, хитрые и достаточно сильные. Единственный, кого они боятся, – это лев. Если папа, он же царь, он же лев, вовремя не подоспеет, гиены легко могут отвоевать добычу у львиц. Если царь подоспел, то, порой, одного его рыка достаточно, чтобы гиены кинулись врассыпную. И, тем не менее, запомните: старея, лев теряет силу. А теряя силу, теряет всё: самок, территорию, влияние... Хем любил охоту, изучал повадки зверей. Возможно, он знал то, что я лишь совсем недавно понял, а именно: на львиную долю всегда претендуют гиены.

Да, Хем всегда хотел быть львом... Вероятно, лев был его тотемным животным...

Отсюда и его неуправляемое кошащее увлечение женским полом. Будь его воля, и не столь горячо защищающие нравственность и нормы приличия законы Америки, – то наверняка завел бы себе гарем... То есть, прайд... Впрочем, он и так: расстался с одной, почти тут же женился на другой и при этом был увлечен третьей. Официально он был женат четыре раза. Наверное, Хем не мог писать без женщин, он писал и посвящал им свои романы. Так что женщины его вдохновляли! Но я, хоть и уважаю творчество Хемингуэя, идеализировать его не стану. Вряд ли женщины, попадающие к нему в постель, проникали ему в душу. Не зря он когда-то написал: «Я знал многих женщин, но всегда оставался одиноким, бывая с ними, а это – худшее одиночество!»

И вот мы стремительно приближаемся к финалу. А из глубины моря повествования вновь всплывает тема одиночества, что, само собой, не случайно! Вы, наверное, догадались, к чему я клоню? Мне кажется вполне реально, если не доказать, то хотя бы предположить, что «Старик и море», как ни крути, Хемингуэй написал о себе! А что? Всё сходится! Уж чересчур активно он отвергал в этой лучшей своей повести наличие некой притчи!

Попробуем пофантазировать, не более. Итак! Старик – Хем, открытое море – литература, Большая Рыба – его роман, а чертовы акулы – литературные критики и журналисты, раскритиковавшие его лучшую книгу в пух и прах... Особенно, если вспомнить, как он упорно доказывал, что море имеет не средний род, и ни в коем случае не мужской... Море – женщина! Литература! И когда он понял, что кризис затянулся, он ушел далеко-далеко в море, а ведь раньше, как все, рыбачил спокойно у берега, поближе к людям... А тут отплыл далеко, а рыба потащила его ещё дальше...

Вот вам отрывок из повести. Прочтите, заменяя слово «море» словами «проза» или «литература», а слово «рыбаки» – словом «писатели». Сразу же истина откроет вам свои жаркие объятия! И вам останется только либо пойти этим объятиям навстречу, либо вернуться от них, так как вы предпочитаете всё подвергать сомнению. Я приму любой ваш выбор! Я ведь и сам пока в процессе работы. И не могу знать заранее, чем увенчается мое исследование. Но фрагмент о море представлю непременно: «Мысленно он всегда звал море *la mar*, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходят на моторных лодках, кушанных в те дни, когда акуля печенка была в большой цене, называют море *el mar*, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, – что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», – думал старик». Ну разве вы не слышите, о чем на самом деле идет речь?

Однако же, стоп! Не всё так идеально укладывается в стройный ряд моей безумной теории. А мальчик? Мальчик тогда кто? Кто он, тот, кто смотрел на него с восхищением, кому он передавал свой опыт... Что-то никого конкретно я не помню из его биографии?

Тут у меня всего два предположения...

Первое: «да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было...». Не зря же сам Сантьяго, думая о нем, только лишь раз назвал его по имени. «Писатель, если

он хорошо трудится, невольно воспитывает многих своих читателей», – эти слова принадлежат Хемингуэю. А конкретного ученика у него никогда не было. Только в его воображении. Я же говорю: абсолютное одиночество... Выдумал он себе ученика. Нафантазировал...

Второе: этот мальчик из далекого прошлого самого Хема... Это он сам, верный мечте, прислушивающийся к своим предчувствиям, верящий слепо, без каких-либо доказательств, без гарантий и без колебаний в то, что пройдет весь путь, пройденный стариком, станет великим мастером, легендой... И никто его не остановит. Никто не отговорит и не собьёт с пути, даже родная мать.

Мать совершенно иначе хотела распорядиться его судьбой. Но он не желал, как его отец, находится у неё под каблуком. Та всю жизнь помыкала отцом, винила мужа в том, что из-за него она пожертвовала карьерой. Словом, трепала ему нервы и ползизни только тем и занималась, что с истинным аристократизмом эгласия выедала ему мозг маленькой серебряной ложечкой. Его мать стала не последней причиной глобального разочарования отца в жизни. А может и самой главной причиной его нервного срыва, приведшего и к самоубийству. Эрнест любил отца. А вот мать он ненавидел. Она сама виновата. Как и отца, мать частенько кригиковала Эрнеста, а тот не терпел никакой критики. Он старался с ней не пересекаться. Поэтому в семнадцать лет он покидает дом, путешествует по миру, затем отправляется на войну, а вернувшись из госпиталя после тяжелого ранения, против согласия матери, практически назло ей, женится... Хотя не исключаю, что таким образом он лишь скрывал свою латентную любовь к ней, через чересчур явную и ярко выраженную агрессию. И такое бывает. Но она умела доставать его и на расстоянии. К примеру, после смерти отца, мать прислала сыну ружье, из которого отец застрелился, сопроводив свой подарок глупой запиской: «Чтобы ты помнил, как жить нельзя!»? Он не жалел оскорблений в её адрес. Но как только мама умерла – у Хема началась депрессия. Это лишь подтверждает мою теорию латентной любви. Раньше ему было кому доказывать, что он лучше, чем о нём думают, доказывать, что он никогда не станет таким, как отец. Но теперь уже некого в чем-то убеждать: мать умерла, а миру он уже все доказал. И вот он уже замечает признаки старости, усталости, тоски... Предпоследняя книга старика вызвала море негатива у критиков, мод, сдулся Хем, повторяется! Всё, как он предсказал. Его одолевают приступы паранойи и депрессии. Он страдает манией преследования, и не без оснований. По этому поводу есть шутка: «Может у меня и паранойя, но это не значит, что за мной не следят». ФБР действительно следила за писателем: это был период холодной войны, а он – личность крупного калибра, к тому же коммунист, живет на Кубе, дружит с Фиделем Кастро. Им важно, о чем будет следующая книга, с кем встретится, что скажет. Хемингуэй подозревал всех, даже свою жену, в сотрудничестве с ФБР. Он понимал, что болен, его уговорили пройти курс лечения. Накануне отъезда в Америку Хемингуэй, прощаясь со своим садовником, многие годы проработавшим у него на вилле, сказал: «Хосе, я много раз прощался с тобой, уезжал, но потом возвращался. Вернись ли я на этот раз? Не знаю. Я чувствую, что болен, и не думаю, что это долго продлится. Врачи на Кубе не знают, что со мной. Животные и люди не должны умирать долго и причинять страдания другим, и их самих нельзя обречь на страдания».

Лечение не помогло. Болезнь набирала обороты, а после принудительного лечения, страшного лечения, так называемой, электросудорожной терапии (его били током) он потерял возможность сосредотачиваться на работе. Он более не может

писать... Это практически смертный приговор. Жить более незачем. Лев, не способный добывать себе пищу, уходит из прайда, затем его охватывает апатия и вскоре он умирает. Но это в животном мире, а в человеческом тебе так просто уйти не дают. А зачем его мучить жизнью? Ведь он, альфа-самец, всю жизнь стремился к совершенству.

Вы только представьте себе человека, который постоянно, без устали, всю свою жизнь создавал образ сильного мужчины-победителя, который для него важнее всего! Вот такой он человек. Это надо понимать! Хем никогда не допустит проигрыша. Это его главная жизненная установка. А тут ему за шестьдесят... Силы не те... Роман «За рекой, в тени деревьев» раскритикован. Сжав зубы, он пишет «Острова в океане» и «Праздник, который всегда с тобой». **НО ЭТО ВСЁ ДАЕТСЯ ОГРОМНЫМ УСИЛИЕМ ВОЛИ.** Пишет он с трудом, очень медленно, буквально по строчке в день. Эти последние романы казались ему на редкость слабыми, хотя это прекрасные произведения. Они опубликованы уже после его смерти, кажется, вдовой. Он более не мужчина. Не воин. А теперь и не писатель уже. Это было началом конца. Думаю, Хем хотел вовремя уйти со сцены – он же герой: воевал, боксировал, рыб громадных ловил... **ЕГО ЗНАЮТ ВО ВСЁМ МИРЕ, ОН УЖЕ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ,** он лауреат нобелевской премии, у него есть всё: есть слава, есть деньги, куча детей, бездна почитателей – он добыл это сам! И...теперь всё... Все и возможные и невозможные, словом, всевозможные цели достигнуты, жизненная система завершена, задача выполнена. Зачем дальше жить? Надоуметь уходить вовремя. Он же написал в повести «Старик и море»: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» – это и было главным в философии жизни Хемингуэя.

О том, что после его самоубийства люди и пресса будут распускать порочащие его имя сплетни он, конечно, не думал. Он просто хотел уйти достойно и быстро.

Так было нужно! И я его понимаю. Со сцены жизни и из профессии надо уходить вовремя. Смотрите, полмира обожало Жерара Депардьё, а теперь мы видим рыхлую тушу, которая все время пьёт и позорит некогда сильный образ. Хем такого не допустил бы. Он говорил: «Работа – лучшее лекарство от всех бед». Но работа не шла... А других лекарств Хемингуэй не признавал.

И напоследок ещё раз, для закрепления, вместо эпилога, или в качестве вишенки на торте, превосходная цитата из повести «Старик и море»:

«А как легко становится, когда ты побежден! — подумал он. — Я и не знал, что это так легко... Кто же тебя победил, старик? — спросил он себя...

– Никто, – ответил он. – Просто я слишком далеко ушел в море»

И покорило это море! Стал его...Ох, простите! Для него оно женского рода! Тогда так! Стал её властелином! Ведь он царь морей и океанов, превзошедший кумира своей юности – Морского волка Джека Лондона – он – Эрнест Хемингуэй – **МОРСКОЙ ЛЕВ ЛИТЕРАТУРЫ!**

Ноябрь 2015 – 13 марта 2016 г.
Киев



Александр Бирштейн

ГАРРИ ПОТТЕР ибн ХОТТАБ

Я уже довольно много времени размышляю над популярностью Гарри Поттера. Ну, прямо весь мир покорило. Может быть, потому что — волшебник! Действующий. Причем сам колдует. В отличие от наших, вроде Емели и его многочисленных генетических родственников из русских сказок, которые греют бока, каждый на своей печи, да гадают, не подвернется ли щука говорящая или золотая рыбка, а то и Конек-Горбунок... Сами знаете — извечная мечта нашего человека, чтоб все делалось само по себе.

Советская литература тоже подарила нам такого героя — Вольку Костылькова, при котором в роли щуки подвизался вообще иностранец, то ли еврей, то ли мусульманин — Гассан Абдурахман ибн Хоттаб.

Впрочем, Волька был для нас, в ту пору его ровесников, посимпатичнее всяческих Емель. И прежде всего потому, что был, как и мы, пионером. А значит шустрил, везде попевал и вносил посильную, подростковую лепту в процесс строительства коммунизма.

Итак, пионер Волька Костыльков перед экзаменом пошел пере экзаменом испугаться. И это нормально. Я тоже не упускал такой возможности — все равно через какие-то полчаса должно было решиться — пан или пропал, чего уж тут бояться утонуть. Нырнул Волька раз, нырнул два...

... И вот в тот самый миг, когда у него закончился воздух и надо было всплывать, его рука вдруг нащупала на дне продолговатый предмет. Волька схватил его и вынырнул у самого берега и смог рассмотреть находку. Это был скользкий, замшелый глиняный сосуд, похожий, если верить рисункам в учебнике, на древнюю амфору. Ее горлышко было наглухо опечатано. С этого все и началось...

Зачем я все это излагаю? Лишь затем, чтобы у вас в памяти всплыла ваша детская книга «Стари Хоттабыч». Отнестись к сказке Лагина можно двояко. С одной стороны, она была восхитительно волшебной и пропитанной свободной авторской фантазией, хотя в первый раз вышла в суровом 1938 году, когда, сами знаете, шаг вправо, шаг влево одинаково считались побегом. С другой, автор переписывал книгу еще дважды — в 1953 и 1955 годах (книга хорошо расходилась), но всякий раз вносил в него поправки, отвечающие оценке международного положения страны с точки зрения партии, и, стало быть, подвергающие резкой критике международный империализм во всех его отвратительных проявлениях. И это, конечно, придавало милой сказке достаточно противный привкус. Но тут уж ничего не поделаешь.

Ну, а теперь для того, чтобы сохранить объективность оценок, пройдемся, так сказать, по тексту.

О чем думали юные ленинцы в тех случаях, когда им приходилось находить клады? Как поступил бы пионер Волька? А он явился бы в Н-е отделение милиции и вручил дежурному клад из редких старинных золотых вещей, найденный им на дне реки, на очень глубоком месте. Клад был бы, естественно, передан милицией в Исторический музей...

Грешен, но я на месте Вольки поступил бы как жалкий троцкист. Помнится, мы нашли однажды в руинах дома напротив нашего несколько ящиков с запалами

от гранат, фашистскими орденами, офицерским обмундированием. Возраст: от 6 лет (у меня) до 14-ти у старших. Спросите, понеслись ли мы сдавать это добро в милицию? Сейчас! Разбежались! Такая глупость никому и в голову не могла прийти. Ордена очень даже классно ploщились на рельсах, под колесами 23-го трамвая, пуговицы от немецких мундиров шли по двугривенному при игре в ушки, а запалы мы трудолюбиво калечили молотком до тех пор, пока один не взорвался. Слава богу, без последствий. Но и тогда наши исполошившиеся родители не стали все это добро сдавать, а трудолюбиво утопили от греха подалеже в дворовой уборной.

Ну, да ладно. Пошли дальше. Ясное дело, сосуд был вскрыт. А там, внутри, как нам известно из песни В. Высоцкого, оказался джинн. Ничего нового. Однако джинн этот оказался нетипичным. Он решил стать рабом Вольки надолго. А поскольку хозяину предстоял экзамен по географии, а Хоттабыч полагал себя крупнейшим специалистом именно в этой науке, он решил Костылькову поспешествовать... А тот...

Скажите на милость, если у вас есть возможность безнаказанно – повторяю: безнаказанно! – содрать откуда-нибудь материал экзаменационного билета, вы что сделаете? Будете, как книжный Волька отпихивать своего спасителя: «Спасибо, только никаких подсказок мне не надо. Мы – пионеры — принципиально против подсказок. Мы против них организовано боремся...»? Или пожмете руку дающего и сдерете все до последней запятой?

Видимо, автор догнал, что перестарался и на ходу передумал фабулу. Между ним и Волькой состоялся компромиссный диалог.

— Просто не знаю, что мне с вами делать, Гассан Хоттабыч, — притворно вздохнул Волька. — Ужасно не хочется огорчать вас отказом... Ладно, так и быть!.. География — это тебе не математика и не русский язык. По математике или русскому я бы ни за что не согласился на самую малюсенькую подсказку. Но поскольку география все-таки не самый главный предмет...

Вам хочется прослезиться? Не надо. Чуткий автор свел инцидент к изящной шутке. Пользуясь совершенно «достоверной» информацией Хоттабыча, Волька с треском завалил экзамен. Сказка – ложь, да в ней намек, «пионерии урок!» В дальнейшем было не легче.

Парнишка вдоволь от Хоттабыча настрадался. То бороду ему джинн отрастит, то скандал в кафе учинит. Но даже в самые трудные минуты Волька с автором стояли на страже социалистической собственности!

«— Я превращу в пыль все товары, и все столы, и все оборудование этой презренной лавки!

— Ты с ума сошел! — вконец возмутился Волька. — Ведь это государственное добро ...»

Ясно? А чего, собственно, вы ждете от мальчика из нормальной советской семьи, где отец задерживается на заседании завкома, мать после занятий в вечернем Институте марксизма-ленинизма, очевидно, заходит за ним на завод... Как там у Галича: «Она вышила Дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую...»

Но продолжим. Сказка, позаимствованная товарищем Лагиным у господина Ф. Энсти, и дальше перекраивается на советский лад. Волькиного друга Женю Богорада Хоттабыч отправил в Индию. А Индия, как было известно в те годы, оставалась рассадником английского империализма и образцом угнетения простого народа! Женю надо было спасать, для чего, ясен пень предстояло в эту Индию слетать. На чем? Не вопрос. На ковре-самолете, конечно! Полет проходил нормально,

пока... ковронавты не замерзли. И тут обнаружилось, что Женю можно вернуть более простым способом. И вернули. И вот что он запомнил из своей первой поездки за бугор.

«Если бы ты только видел, какие там худющие люди, — крестьяне, рабочие!.. А нищих какая масса! Полные улипы нищих — совсем-совсем голые! Тощие, как скелет в нашем биологическом кабинете, только коричневые! Даже смотреть на них невозможно: ужас как обидно! Только почему они не борются? Знаешь, если бы я остался там рабом, я бы обязательно организовал восстание, честное пионерское!.. Как Спартак...»

Одержимый желанием хоть чем-нибудь порадовать Вольку, Хоттабыч дарит ему дворцы, караваны с ценным имуществом, но... Не на того напал!

«Кому нужны друзья за деньги, слава за деньги? Ты меня просто смешишь, Хоттабыч! Какую славу можно приобрести за деньги, а не честным трудом на благо своей родине?»

Не правда ли, в наше время когда все и вся, в том числе и звания, слава, признание, продается и покупается, приятно читать такое? Вот, что отвечает пионер запутавшемуся в полигэкономии джинну! И присовокупляет: «Человек, который приносит больше пользы для родины, зарабатывает у нас больше, чем тот, который приносит меньше пользы. Конечно, каждый хочет заработать больше, но только честным трудом».

А у Вольки и его друга Жени облом все-таки вышел. Решил Хоттабыч, что кольцо, которое купил некий импортный гражданин не простое, а принадлежало, видимо, самому Соломону. Хоттабыч лукавит, утверждая, что с ним, могущественным джином, "ничего не мог поделаться сам Сулейман ибн Дауд". Ведь кто такой этот Сулейман? Все просто — царь Соломон. Шломо бен Давид. Соломон же, как известно, носил кольцо с надписью "Все пройдет". И кольцо это повелевало джинами и, стало быть, всеми на свете Хоттабычами. Вот Хоттабыч и «свинтил» в подчинение к импортному дженгльмену.

«Скажем прямо: не ценили мы Хоттабыча, — самокритически промолвил Женя и сокрушенно вздохнул...»

Но Хоттабыч, быстро раскумекал, что ошибка вышла, и вернулся. За ним прискакал и иностранец. А раз иностранец, то к нему, понятное дело, есть с чем пристать.

«Можно вам задать вопрос? — неожиданно обратился к нему Волька и по привычке, как в классе, поднял руку. — Почему в Америке линчуют негров?»

Ну, о чем еще пионер может спросить капиталиста? И неудовольственный ответом Волька повел себя исключительно правильно. «Вон из нашей страны! Чтоб здесь твоего духу не было! Катись отсюда!»

А сам Женя с Хоттабычем и Женькой пошел на футбол. Ну, это история всем известная. Недаром все команды, пропустившие полную торбу мячей, до сих пор ссылаются на Хоттабыча. Словом, вошел старик в историю...

К чему я затеял этот рассказ о Вольке и Хоттабыче? Во-первых, чтобы напомнить вам, сильно, надо полагать уставшим от реальной политики, информации об АТО, выборов, коммунальных тарифов и прочих ужасов нашего городка, о том, что на свете существует еще кое-что, к чему мы обязательно возвратимся, когда весь

этот бедлам закончится и, даст бог, в нашу пользу. Во-вторых меня всегда занимало, как в детской литературе определенного времени — у Гайдара, например, или вот Лагина, — неизбежная социальная ложь, уложенная в матрицу умной фантазии, поданная с помощью точных лексических форм, отвечающих психологии юных героев, странным образом перестает быть ложью, становится, в принципе, несущественной. Фальшивые в устах взрослых декларации, будучи произнесенными мальчишками и девчонками, приобретают иной, очищенный, идеальный смысл; наполняются светом веры, что ли... Ну, и третье наблюдение, ручаюсь, совершенно для вас неожиданное.

Давайте-ка внимательно присмотримся к тексту? И мгновенно обнаружим странные вещи — джинн из глиняного кувшина, хоть и одет, как араб, бормочет свои заклинания на иудейском наречии!

«Вместо ответа Хоттабыч, кряхтя, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово "леходидили-краскало"...»

Как же это пропустила цензура? И почему Лагина не посадили в 38-м, когда сказка была опубликована впервые? Ведь это известнейший еврейский гимн, который ортодоксальные иудеи поют перед каждой субботой! "Лехо доди ликрас кало, пней шабес некабело", что означает — "иди, мой друг, навстречу невесте, встретим лик Субботы". Это вам не какой-то там "трах-тибидох-тах-тах" из фильма, где некогда в роли Хоттабыча снялся актер Одесского русского театра Николай Волков.

А вот вам еще. Волька обозвал старика балдой. И тот осведомился:

« — Да позволено будет мне узнать, что ты, о бриллиант моей души, подразумеваешь под этим неизвестным мне словом "балда"? — осведомился с любопытством старик Хоттабыч.

Волька от смущения покраснел, как помидор.

— Понимаешь ли... как тебе сказать... э-э-э... ну, в общем, слово "балда" означает "мудрец".»

Нужно заметить, что над этой фразой я тоже смеялся. В детстве. Но, оказываясь, смеялся последним автор. И вот почему. По-еврейски "баал дат" означает, правильно, "мудрец"! Не соврал Волька Костыльков! Этого не знали только советские партийные идеологи, да и цензоры, конечно. Детство Лазаря Гинзбуга — так на самом деле звали писателя — ЛА от Лазарь, ГИН от Гинзбург — прошло в Витебске, местечке, где он родился 21 ноября 1903 года и где до революции на семнадцать христианских церквей приходилась пятьдесят одна синагога. Здесь же, в Витебске, он окончил хедер. Тут и нужно искать корни Хоттабыча и его иудейских высказываний.

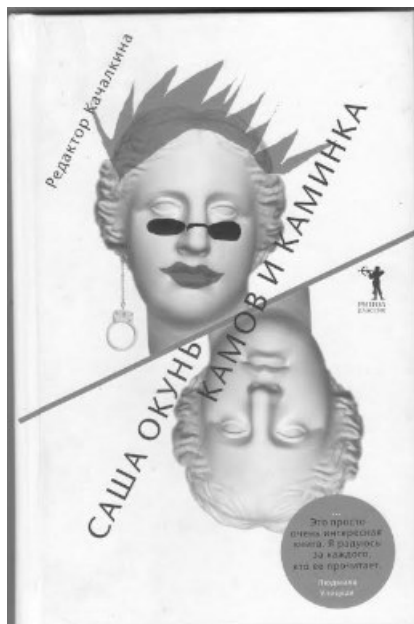
Кстати, еще о национальности Хоттабыча. Он утверждает, что был заточён в кувшин Сулейманом и сам верит в Аллаха, то есть является мусульманином. Но во эпоху древнееврейского царя Соломона (того самого Сулеймана), в X веке до н.э., ислама ещё не существовало...

Вот какая простая книжка попалась нам в детстве. А мы, понимаем ли, Гарри Поттер, Гарри Поттер...



Михаил Юдсон

БУНТ КОНФОРМИСТА*



Вполне необычная книга, написанная талантливым художником Сашей Окунем – о кунсткамерном искусстве, о жизни человеческой, катящейся в метафизическую дыру и о чудесном физиологическом отравлении, называемом творчеством.

С обложки соблазнительно звучат слова людей замечательных и знаменитых: Игоря Губермана, Юлия Кима, Людмилы Улицкой – Людмила меж двумя руланами-богатырями: «Это просто очень интересная книга. Я радуюсь за каждого, кто ее прочитает».

В предвкушении, для затравки читки набросимся на аннотацию: «Два художника – две судьбы. В прошлом лучшие друзья Михаил Камов и Александр Каминка встречаются после многих лет разлуки в Иерусалиме, а путь их начинается ещё в андеграундном богемном Ленинграде пятидесятых годов прошлого века, где красивые женщины проповедуют свободную любовь и даже полковник КГБ становится ярым поклонником прогрессивного искусства. Один художник станет скучным конформистом, а другой сохранит веру в творчество и победит скуку, доказав, что гораздо важнее на самом деле быть, чем казаться. Этот роман написан в духе лучших вещей Дины Рубиной и обладает долгим послевкусием настоящей качественной прозы!» Лучше и вещей не скажешь! Вот и Дина Рубина присоединилась к хорошей компании – тут уж грех не обречь книгу на успех...

Итак, два главных героя с говорящими фамилиями: приспособившийся Каминка (явно «some in», вхожий) и творяга Камов («some off», маргинал). Конфор-

мист и нон. Словно перевернутое бормотание под кайфом: «А к ним аки во мак!» – потому как остальные персонажи, похоже, вынырнули из травки босховского Сада – какие-то рожи, хари, мордки, уши зубастые, головы на ходулях, кружащиеся на страницах в живописном хороводе. Автор неустанно иронизирует, обращая лозы прозы в желчь и саркастически сознавая вину – может, истина как раз в этой вине?.. Скачут, выются перед нами монстры местного розлива, «хворческого» истеблишмента. И стёб лишь ментальность затрагивает – местечково-израильскую, провинциально-снобистскую.

Звонкоструйно описана (во всех смыслах) иерусалимская Академия художеств «Бецалель» и цельные кучи происков, интриг и прочих нехороших художеств ихнего начальства. Вот, скажем, ректор по имени Дуду: «поджарый, с седыми висками и лаковой чернотой плотно прилипших к черепу волос, глубоко сидящими под накатом пологого лба горящими глазами, острым носом и маленькой шёлкой беззубого рта...» Да это злой колдун какой-то, основатель «дудуизма!» Средиземномор!

К этому кощю плавно примыкает молодая академическая Баба-Яга, мадам Смадар: «костистая бронетка лет под сорок, одетая в чёрные тайфы и спадающую с плеч чёрную накидку с палестинским орнаментом. Пальцы тяжелых больших кистей рук были закованы в крупные перстни. Под синего цвета волосами в правой издьяминой черной брови блеснула золотая булава, из крашенных тёмно-фиолетовой помадой губ свисала сигарета, а чёрные, конские, окружённые тонким колечком синеватого белка зрачки мрачно метались в тёмных глазницах...»

Данные красавицы со своей камарильей всячески гнобят и шучат несчастного Сашу Каминку, мягкого и безобидного преподавателя, придумывая ему провинности, давя ступой и гоня метлой – вроде как постаревшего Гарика Поттера. Запрещают, злодеи, преподавать перспективу, академический рисунок – знай себе распыляй по холстам краску из аэрозольных баллончиков да ходи по ним босиком, вот тебе и трансцендентный акт! Посконный и сермяжный!

Весь этот развеселый скотный двор, иерусалимский серпентарий, все эти вечнотелёные чёртики и синевласые ведьмы, занимающиеся, как сказал бы кузнец Вакула, «малеваньем» – в книге даны выпукло, сочно, яркими красками. Фигуративная проза. Хорошо видно. Чувствуется, что автор таки преподавал перспективу! Первое моё читательское побуждение, естественно, сопереживание – да их всех надо вязать, зашивая в «скорую» и отправлять скопом с горы Скопус в тихое местечко Кфар-Шауль, в маленькую психиатрическую больницу, где мой друг Гриша заведует отделением. А какой там с койки открывается дивный вид! Натюрморт пейзажа!

Короче, в книге достаточно подробно показана робкая бесполезная борьба Каминки с абстраксистами-халтурщиками (вспомним пророческие слова древнего мыслителя, незабвенного товарища Хрущёва: «Рисуют дрянно из помойной ямы»). Мы наблюдаем своеобразный бунт конформиста – осмысленный и щадящий. Потихоньку-полегоньку... Вежливо, интеллигентно... Так бы и остался наш бедный герой на бобах, но на помощь явился товарищ – Миша Камов. Камов грядеши!

Старый питерский друг андеграундной ленинградской юности, харизматичный художник, «похожий на древнерусского князя», приходит в Иерусалим на лыжах, в ушанке и ватнике – а чаво, однако, «это у вас тут тепшьнь, а у нас – снега». Так в центре повествования вырастает могучая фигура православного голубоглазого богатыря, слезшего с полатей (исполать, исполин!) и по первой пороше попер-

шего «увидеть и поучаствовать». Добрыня в ватнике издавна привык бороться со злом, привычное дело, тем паче забавное в фантастических израильских реалиях. А то ж прилетаешь на Святую землю – глядь, а это планета обезьян! Визги с экранов и лиан о свободе безумной совести и идиотского слова, повсюду сидят под пальмами макаки и обвиняют друг дружку в маккартизме – один правый, другой левый, два весёлых пейза... Израэлопштеки!

А вокруг творческих затей не слаще – художники круга Хомы, упыри с вурдалаками! Прыткие господа – зубы стучат, глаза боятся, а руки бегают! Так и слышится балагановский вопль: «Я же машинально!» Израильский художественный каббалаганчик с его микроскопическими премудростями, кукольными страстями и клюквенной кровью обрисован автором смешно и арлекинно – чистое кино, цирк на дому, шапиро-шапито, жалкие потуги сменить район Шило на виноградники в Арле. «Цвет израильской тусовки» – жуткое жуликоватое убожество, даже не Егупец с Кабцанском, а пуше прежнего вздурившаяся Касриловка, воображающая себя Парижем.

Книга Окуня переполнена добрым сарказмом и злой иронией – о, израильский изобразительный маразм, крепчающий на дивном пленэре, среди библейских холмов! Эта страна вообще не для творчества, а для молитв? Вовсе нет. Автор, конечно же, живописует не израильских художников как класс (среди них, несомненно, немало достойных), он шпьянет лишь «чиновников от искусства», чванливых чинуш-кураторов и хитрозадых шарлатанов, захвативших высоты мольберта и жирные куски холста. Ну, это общемировая проблема и здешняя стая лишь пятнышко на планетарной заляпанности. Именно поэтому роман-памфлет Окуня интересно читать не только в тель-авивских окрестностях Иерусалима, но и в Москве, и в Нью-Йорке. Это «всеобщее письмо», а не этнографический экскурс – увлекательное повествование о «культурной бюрократии», о великих кураторах – уродливых карликах-нибелунгах с эго богов, кующих фальшивые имена, крошках Цахесах, пожирющих цимес искусства. А также, безусловно, речь идет о талантах и бездарностях.

Талант, как известно, – древняя мера веса, где-то двадцать пять кило. И тем бедолагам, кому Бог не дал ни таланта, ни пуда, ни даже фунта сего божественного изюма – доводится ох несладко! Вдобавок, ежели муза – грывза, совсем придется лаптем лихо хлебать! Они, горемыки, вынуждены тогда хлопотливо выцарапывать гвоздём на стекле и заборе разнообразные «концепции», переливать из Пустого в Порожнее, превращать унылые ряды консервных банок в якобы хлеба и рыбы.

Вся эта консервированная живопись в жестянках, гиль и дичь, которую академические урхолуи выдают за Снайдерса с Мясоедовым, очень смешно отражена в книге. Остап Бендер легко стал бы в «Бецалеле» старшим преподавателем, ловко орудуя по художественной части – обучение по комплексному методу! Но что там делать настоящему художнику, с душой и даром? Юлий Ким отменно объясняет с обложки: «У художника Окуня есть картина “Неудавшийся побег”. На ней совершенно голый мужчина с неописуемым выражением восторга устремляется навстречу ясному свету. Его слабо удерживают женщины, так что побег безусловно удавшийся. Я глаз не мог оторвать от этой картины. В ней я почувствовал почвенную мощь Сезанна, темперамент Гойи и человечность Рембрандта. Что-то похожее я испытал, прочитав книгу художника Окуня про художников. В ней также описан порыв – и прорыв! – к свету. Оказывается, и перо послушно мастеру, как и его кисть».

Но вернемся к сюжету. Как добрый дух без машины, на лыжах появляется Камов – этакый Аввакум в Иерусалиме, паломник с двумя посохами. Он и проповедует по-протопопову, и топает по жизни с той же истовостью – до самой смерти, Маркович (отец Марк его крестил)! Лыжной палкой, яко копьём побивает Камов-Победоносец главного змия Става Альперона – куратора Иудеи, узурпатора, пытавшегося объегорить творчество, соблазнить истинное искусство. «Карьерист, спекулянт, сноб, жулик», по выражению Каминки, заслужил и от Камова ревущее: «Скотина! Сатана! Предатель!»

Зло, таким образом, было временно покарано, покарябано, но оно ж неистребимо! Увы, друзьям пришлось спасаться бегством. Куда ж бежать? Тут для меня началось самое интересное. Оказывается, под рынком «Кармель» в Тель-Авиве, на некоторой глубине находится Подпольная Академия Художеств (ПАХ), и в этом тель-авивском паху, в самом корне, так сказать, преподают умершие гении – паханы искусства, катакомбные академики. Исаак Ильич, Казимир Северинович, Пабло, Винсент, Поль, Анри, Леонардо, далее сами уясните... Печально, конечно, что и эта академия устроена под рынком, под чревом, под Железистой Пятой, но так уж, видно, суждено художникам. А я хочу привести напослед слова Игоря Губермана: «Это очень, очень необычная книга. Она читается как увлекательный роман, хотя её сквозная нить – глубокие и тонкие размышления о современном искусстве. Они печальны, эти размышления, но глава о подпольной школе давно умерших гениев оставляет надежду. Почитайте – не пожалеете».

Воистину, Окунь словно окно открывает, врата распахивает в причудливый храм живописи, приглашает радушно – разуйте глаза и дерзайте! Входите. А там уж как карма ляжет.

* Саша Окунь, «Камов и Каминка», изд. «РИПОЛ классик», Москва, 2015, 384 стр.



Игорь Ефимов
ЗАКАТ АМЕРИКИ
Саркома благих намерений

(окончание. Начало в №1/2015 и сл.)

ЭПИЛОГ

Крутые ступени цивилизации

Судьбою павшей Византии

Мы научиться не хотим...

Владимир Соловьёв

Вглядываясь в туман грядущего, великий русский «дозорный», Фёдор Михайлович Достоевский, так описал, каким ему представляется 20-й век:

«Раскольнику грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга».^[1]

Сегодня мы можем составить длинный список названий, под которыми «новые трихины» прокатились и продолжают катиться по земле: анархисты, большевики, нацисты, фашисты, хунвейбины, чёрные пантеры, красные кхмеры, талибы, хамас, хезбола, Аль-Каида, Боко Харам, ИГИЛ. Все они в какой-то момент, как и предсказывал Достоевский, начинали резать и убивать друг друга. Но тем не менее успели произвести опустошения, которые превзошли опустошения, принесённые эпидемиями чумы, холеры, жёлтой лихорадки, малярии, испанки.

Как было сказано во вступлении, человеческой душе присуща и жажда свободы, и жажда справедливости. Мы не устаём восхвалять порыв к свободе и склонны забывать, какую высокую цену приходится платить за неё в реальной жизни. Свобода моего ближнего не только облегчает для него возможность напасть на меня, ограбить, унижить, убить. Она также даёт ему возможность превзойти меня во всех жизненных начинаниях, обнаружить мою слабость, ограниченность, бедность ума и чувства, наполнить душу завистливой тоской, от которой я буду искать спасения в равенстве всеобщего рабства.

Именно на этом свободном выборе миллионов людей и держится могущество старых и новых «трихинов». Под их тоталитарной властью неравенство сохраняется, но оно обезличено. Мой ближний, поставленный на высокий пост, занимает

его не потому, что он лучше меня, а потому что господствующая партия или мусульманская улема поставили его туда. Регулярные чистки правящего аппарата, уничтожение верхнего слоя только укрепляют рядового человека в преданности режиму.

Другое благо тоталитаризма: он дарует подданным сознание непогрешимости. До тех пор пока я разделяю догматы марксизма, гитлеризма, Красного штатника, Корана, душа моя защищена от микроба сомнений. Я упиваюсь своей гарантированной правотой во всём, цельностью картины мира и готов растерзать всякого, кто посмеет покушаться на неё.

Американцы воображают, будто тоталитаризм рождается там, где группа злых заговорщиков прорывается к власти и подчиняет себе благонамеренное большинство. Они не замечают, как легко метастазы деспотизма возникают в их собственной среде в виде всевозможных культов. Харизматический проповедник обращается к своим слушателем с простым призывом: «Отдайте мне свою свободу, подчинитесь моим заповедям и правилам жизни, и я вознагражу вас сознанием исключительности и непогрешимости». Именно на это откликнулись последователи Рона Хаббарда, создавшего учение и церковь Саентологии, Джима Джонса, увлекшего тысячу своих приверженцев в Гайану, где они отравили себя и своих детей, Дэвида Кореша, закончившие самоожжением в своём лагере в Вэйко (штат Техас). Если подобные массовые добровольные отказы от личной свободы возможны в стабильной структуре цивилизованного государства, мы не должны удивляться тому, что целые народы совершают их после революций, разрушивших социальный порядок.

Порыв к свободе порождает революции, которые, как правило вырождаются в кровавые раздоры, от которых люди ищут спасения под сильной государственной властью. В междоусобной послереволюционной борьбе Сталин, Муссолини, Гитлер, Атанюрк, Франко, Мао Цзедун, Кимирсен, Кастро продемонстрировали наибольшую силу и вознеслись на вершину абсолютной власти над своей нацией. Но выстраивали свои культы они на том же фундаменте: на отказе миллионов людей от брени опасной свободы.

Во вступлении я писал о дозорных на мачтах государственного корабля, всматривающихся в туман грядущего и в тайны мироздания. Но есть среди них и очень важный отряд тех, чей взор обращён не вперёд, а назад. Мы называем их *историками*. И за последние сто лет им удалось необычайно расширить наши представления о пути, пройденном человечеством за обозримые пять-шесть тысячелетий. Они открыли для нас дела, обычаи, верования, семейный уклад, военные столкновения «племен минувших», которые не были известны Локку, Монтескье, Адаму Смиту, Жан Жаку Руссо, Гегелю, Марксу, Шпенглеру и другим политическим философам прошлого.

Картина, открываемая для нас новыми поколениями историков, опровергает убеждение Экклезиаста в том, что «нет ничего нового под солнцем». Повсюду мы видим, как медленно, но неуклонно менялась жизнь народов, населяющих землю. Почти каждый из них проходил разные стадии овладения силами природы. Сегодня уже с уверенностью можно выделить четыре ступени цивилизации: народ-охотник, народ кочевник и скотовод, народ-земледелец, народ-машинистроитель. ^[2]

Примечательно, что рудиментарные остатки первых двух ступеней существуют и в наши дни. Охотой и рыболовством продолжают жить племена в верховьях Амазонки, на некоторых островах Гвинеи, отдельные группы австралийских

аборигенов. Кочевниками-скотоводами остались многие семейные кланы в Монголии, бедуины на Синайском полуострове и в Израиле, масаи в Кении, ненцы, пасущие оленей на Севере России. Эмиши в Америке пытаются остаться на сельскохозяйственной стадии, не входить в индустриальную. Но основная территория земной суши поделена – захвачена – земледельцами и машиностроителями.

Самыми драматичными и трудными в истории народов являются моменты переходов с одной ступени на следующую, которые растягиваются на десятилетия и века. В эти периоды особенно гущаются военные конфликты, кровавые раздоры, социальные потрясения.

Вглядимся сначала в феномен военного противоборства. Для упрощения разобьём известные нам войны на три типа:

Первый: противники говорят на разных языках, но обладают почти одинаковым вооружением. Примеры: войны между племенами американских индейцев, войны Древнего Рима с Карфагеном и Персией, Наполеоновские войны в Европе, две мировых войны в 20-ом веке.

Второй: противники одинаково вооружены и говорят на одном языке. Примеры: любая гражданская война на любой ступени цивилизации.

Третий: противники говорят на разных языках и находятся на разных ступенях, поэтому один сильно уступает другому в качестве и количестве вооружений. Примеры: колониальные захваты, нашествия кочевников-скотоводов на земледельческие страны, экспансия викингов-норманов, войны американцев с индейцами, США против Вьетнама и Афганистана.

То, что мы расплывчато называем сегодня Страны Третьего мира, есть на самом деле народы, стоящие перед необходимостью перехода со ступени сельскохозяйственной на ступень индустриальную. В их городах уже есть электричество, радио, асфальтированные улицы, заполненные автомобилями, есть аэродромы, шахты, нефтяные вышки и прочие достижения технического прогресса, но нет одного: собственного машиностроения. Почти всю технику и всё современное вооружение они должны покупать в индустриальных странах.

В течение всего 20-го века переход на индустриальную ступень совершали Россия, Испания, Турция, Мексика, Китай, Индия и многие другие страны. Эта трансформация влекла за собой такие огромные социальные сдвиги, что каждая страна расплачивалась за них тяжелейшими гражданскими войнами и революционными взрывами. Но и страны, обогнавшие их, в своё время заплатили за переход такую же кровавую цену.

17-й век – Голландия завоёвывает независимость от Испании, на территории Германии полыхает Тридцатилетняя война, гражданская война в Англии и свержение короля, религиозные войны и Фронда во Франции.

18-й век – Война за независимость в Америке, революция и гражданская война во Франции.

19-й век – революции в Германии, Франции, Венгрии, гражданские войны в Италии, Соединённых Штатах, революция Мэйдзи в Японии, Парижская коммуна во Франции, революции в Южной Америке.

Примечательно, что в веке 20-ом одна за другой распались великие многонациональные империи: Испанская, Австрийская, Турецкая, Британская, Российская. Одновременно многие европейские страны предоставили независимость своим колониям: Франция, Бельгия, Португалия, Голландия. И то, и другое произошло потому, что после вступления в индустриальную стадию земля перестаёт быть глав-

ным источником богатства, и народы начинают усиленно развивать свои промышленные и технологические потенциалы.

Проступающую здесь закономерность можно сформулировать так:

В истории человечества народы проходят разные ступени освоения сил природы, и каждый переход с одной ступени на другую чреват социальными и военными потрясениями огромной силы.

Опираясь на этот постулат, мы можем по-новому взглянуть на судьбы народов прошлого, открывшиеся для нас в новейших исследованиях дозорных-историков. Изучение процессов перехода кочевников к осёдлому земледелию позволяет нам лучше понять и даже предсказать пути, по которым будут двигаться народы Третьего мира, пытающиеся в наши дни достичь индустриальной ступени. И в первую очередь нас будет интересовать феномен иррациональной враждебности отставших народов по отношению к ушедшим вперёд.

Параллельно с войнами Первого и Второго типа, войны Третьего типа заполняют три тысячелетия, разделённые посредине датой рождения Иисуса Христа. И главная черта этих войн: безжалостность нападающих к обороняющимся.

Уже в первых книгах Библии мы находим свидетельства того, как жестоко обходились кочевники-иудеи с земледельческим населением покоряемых территорий.

«И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стональничков, пришедших с войны, и сказал им Моисей: “Для чего вы оставили в живых всех женщин?.. Убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя”» (Числа, 31:14-17).

Это поголовное истребление местного населения продолжается и в Земле Хаанаанской. При взятии Иерихона иудеи «предали заклятию всё, что в городе, и мужей и жён, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, всё истребили мечом» (Иисус Навин, 6:20).

Вот в 390 году до Р.Х. кельты врываются в Рим. «Стоны женщин, плач детей, рёв огня, треск рушащихся зданий терзали сердца воинов на стенах Капитолия... Толпы вооружённых варваров носились по знакомым улицам, неся гибель и разрушение. Никогда ещё люди с оружием в руках не были в таком жалком положении – запертые в крепости, они должны были смотреть, как всё, что было им дорого, гибло под мечами врагов». [3]

Арабы, начавшие в 7-ом веке по Р.Х. нападения на близлежащие страны, часто вырезали поголовно захваченные селенья, если жители отказывались принять мусульманство. «Семьсот мужчин были перебиты в захваченном после осады еврейском городке. Им связывали руки, обезглавливали и сбрасывали в вырытый заранее ров». [4]

Особую свирепость демонстрировали монголы. «При осаде в 1221 году персидского города Нишапур (родина Омара Хайяма) зять Чингис-хана был убит стрелой со стены. Чингиз предложил своей овдовевшей дочери, беременной к тому времени, выбрать наказание для города. Она приказала перебить всех жителей и сложить отрубленные головы в три пирамиды: одну из мужских голов, другую – из женских, третью – из детских. Её пожелание было выполнено». [5]

Киевская Русь долго отбивалась от кочевников печенегов, половцев, хазар, булгар, но монголо-татарское нашествие сломило её и пронизало страхом народное сознание на три века вперёд. При взятии Рязани «князь Юрий, его семья и все при-

близённые были перебиты. Рязанцев расстреливали на улицах, насаживали на кол, сдирали кожу, сжигали живём в пылающих домах... Монахи и жители, запершиеся в храмах, могли лишь беспомощно взирать, как насиловали молодых женщин и монахинь... Потом и они погибли в подожжённых церквях». [6]

Князь Владимир тоже был сожжён в храме вместе с женой, дочерьми и внуками, «и их обугленные тела валялись на полу среди других трупов и растоптанной знаменитой иконы Богородицы, которая в прошлом одарила жителей Владимира столь многими чудесами». [7]

«6 декабря 1240 года Киев был взят улица за улицей. Последним оплотом сопротивления был храм Богородицы... но так много перепуганных горожан вскарабкалось на крышу и в колокольню, что здание рухнуло, погребая не только беженцев, но и защитников... Город, который когда-то правил Россией, был полностью разрушен и разгнанные тела валялись на полу среди других трупов и растоптанной знаменитой иконы Богородицы, которая в прошлом одарила жителей Владимира столь многими чудесами». [8]

Тщетно рациональный ум будет искать причины или мотивы этих зверств. Здесь явно демонстрирует себя та же иррациональная злоба отставших к ушедшим вперёд, которую мы в таком изобилии наблюдаем в наши дни. Только «смерть большой сатане – Соединённым Штатам», только полное уничтожение индустриального Израиля видит своей целью земледельческий мир Ислама. «Джихад – это только Коран и автомат». Ал-Каида, Боко Харам, ИГИЛ, йеменские хуситы обуреваемы теми же страстями, могилы и кочевники древнего мира. Как те атаковали Египет, Рим, Китай, Индию, Византию, Русь, так эти будут продолжать свои атаки на индустриальный мир, не считаясь с реальным соотношением сил.

Иррациональность этой ненависти высвечивается тем фактом, что не только отдельные войны часто идут на верную смерть, но и целые народы пускаются в самоубийственное противоборство с более сильным противником. Когда в 102 году до Р.Х. племена кимвров и тевтонов напали на Римскую республику, превосходство римских легионов было настолько очевидным, что кимвры были уничтожены полностью и исчезли из мировой истории. Сегодня Израиль настолько сильнее сектора Газы, что мог бы стереть его с лица земли за неделю. Тем не менее Хамас снова и снова провоцирует израильтян ракетными обстрелами и подземными туннелями для заброса террористов, навлекая на бедных жителей анклава сокрушительные ответные удары.

В арсенале приёмов террористов всё чаще мелькает такой: выносятся смертный приговор деятелям культуры индустриального мира якобы за оскорбление Корана и пророка Мухаммеда, а приведение его в исполнение оставляется на долю фанатиков ислама, которые уже живут на Западе и имеют возможность свободно перемещаться там. (Последние примеры – убийства членов редакции сатирического Парижского журнала «Шарли», взрывы в Брюсселе и Париже.) Однако недавно этот приём был расширен: джихадистам удаётся узнавать имена и адреса лётчиков, бомбящих их базы, и командиров подразделений, ведущих антитеррористические операции, и они размещают в интернете угрозы расправиться с семьями своих врагов. По сути, это равносильно захвату заложников, и может производить такой же парализующий эффект.

Выше я перечислил гражданские войны, полыхавшие в странах, переходивших с земледельческой ступени на индустриальную в 17-20 веках. Но такие же кровавые междоусобия окрашивали и жизнь кочевников накануне скачка в сторону оседания.

Свирепо враждовали между собой колена Израилевы в течение двух веков, предшествовавших созданию их собственного земледельческого государства.

То же самое – персидские племена накануне их броска на завоевание Вавилона, Двуречья, Малой Азии под водительством царя Кира.

То же самое – гунны, которые разделились на южных, ассимилировавшихся в земледельческом Китае, и северных, ушедших на Запад, на завоевание Европы.

Война между племенами, населявшими Аравийский полуостров, предшествовала объединению их под знаменем пророка.

Первую половину своей жизни Чингис-хан участвовал только в междоусобных войнах монгольских племён.

Следует ожидать, что эта закономерность будет соблюдаться и в странах Третьего мира в наши дни. Никакой народ не может перейти на следующую ступень цивилизации единоклассным и одновременным скачком. Раскол Кореи, Китая, Вьетнама отражал разную степень готовности их населения к переменам. Там, где более готовым не удалось отвоевать для себя территорию, происходило массовое бегство, как, например, кубинцев во Флориду или «лодочных людей» из Индокитаю.

Гражданские войны, раздирающие сегодня Ирак, Ливию, Сирию, Ливан, Египет, Судан, Нигерию, Руанду, Сомали и другие земледельческие страны многими чертами похожи на междоусобия кочевников, переходивших на новую ступень. Поэтому индустриальному миру необходимо готовиться к тому моменту, когда в каком-то из народов появится лидер, способный объединить враждующих и обратить их военную энергию вовне.^[9] Тогда тлеющие сегодня войны Третьего типа перерастут в полномасштабное нашествие, последствия которого будут опустошительными.

Осама Бин Ладен был близок к тому, чтобы продолжить линию знаменитых завоевателей прошлого – персидского Кира, гуннского Аттилы, арабского Мухаммеда, монгольского Чингиз-хана, тюркского Тамерлана. Но он не смог вырваться из рамок своих суннитско-вахабских верований и традиций и призвать под свои знамёна *всех мусульман* без различий. Когда на сцене появится лидер, которому удастся объединить суннитов и шиитов, это может высвободить энергию такой же силы, какая высвобождается при соединении двух половинок атомной бомбы.

Индустриальный мир убаюкан сознанием своего технического превосходства, его правительства видят главную опасность в усилении той или другой термоядерной державы – России, Китая, Индии, Пакистана. Но точно так же в 7-ом веке по Р.Х. Византия и Персия изматывали друг друга бесплодными войнами, не замечая того, что происходило у них под боком на Аравийском полуострове. Нашествие кочевников-арабов застало обе земледельческие державы врасплох, и они потерпели полное поражение.

Арабский военачальник Халид, вторгшийся в персидскую провинцию в 634 году, отправил её губернатору послание, предлагавшее жителям на выбор: принять мусульманство, стать вассалами и данниками арабов или готовиться к смерти. В конце послания была фраза: «Пришли люди, для которых смерть за веру так же желанна, как для тебя жизнь». Персы попробовали сопротивляться, но были разбиты, губернатор убит, и вскоре страна стала частью Арабского халифата.^[10]

Ту же самую тему готовности к смерти поднимает Осама Бин Ладен в своём призыве, написанном в декабре 2001 года: «Если мусульманин спросит себя, почему наши братья по вере достигли такой степени унижения и разгрома, ответ очевиден: потому что они безумно рванулись к наслаждениям жизни и забросили книгу Аллаха. Евреи и христиане соблазнили нас дешёвыми удовольствиями и жизненным комфортом, они сначала наводнили наши души тягой к материальным благам и лишь потом

вторглись со своими армиями... А мы стояли, как женщины, и ничего не предпринимали, потому что жажда смерти за дело Аллаха покинула наши сердца. О, юноша-мусульманин! Возжаждай смерти, и жизнь будет дарована тебе». [11]

Одиннадцатое сентября 2001 года показало всему миру, какие страшные удары могут нанести индустриальному миру войны, «возжаждавшие смерти за веру». Их воспалённая гордость не может смириться со статусом второсортности, в который их ставит принадлежность к земледельческой ступени. И какую альтернативу может предложить им индустриальный мир? Демократию, права человека, мультикультурализм, отделение церкви от государства? Алкоголь, карикатуры на пророка, женщины, разгуливающие голышом по пляжам или, ещё хуже, восседающие в судейских креслах? Не напоминает ли это попытки христианских священнослужителей обороняться от монголов при помощи икон и святых мощей, выносимых в крестном ходе перед воротами крепости?

Всё вышесказанное можно свести к нескольким постулатам.

1. Переход любого племени и народа с одной хозяйственно-технологической ступени цивилизации на следующую чреват необычайным внутренним напряжением, которое может привести и к расколу. (Недавние примеры: Корея, Вьетнам, Судан, Китай – Тайвань, Индия – Пакистан – Бангладеш, Эфиопия – Эритрея и т.д.)
2. Переход этот не сводится к овладению трудовыми приёмами и навыками новой ступени, но связан с глубинными переменами в моральном и психологическом строе народа, которые растягиваются на жизнь многих поколений.
3. Враждебность отставших народов к народам, ушедшим вперёд, имеет иррациональный характер и не поддаётся объяснениям в категориях причинённого вреда или ожидаемой выгоды.
4. Кочевники-иудеи, кочевники-арабы, кочевники-монголы часто поголовно уничтожали население покоряемых земледельческих стран без всякой видимой пользы для себя. И точно так же в наши дни, мусульмане, застрывшие на ступени земледелия, считают заранее оправданным убийство любого американца, россиянина, израильтянина, вообще «неверного гяура».
5. Уступая земледельцам в вооружении и численности, кочевники компенсировали это необычайной сплочённостью в бою. В 21-ом веке сплочённость наступающих будет выражаться в том, что любой приказ, отправленный по интернету из какой-нибудь горной пещеры, будет безоговорочно выполнен отрядами террористов, разбросанными в городах индустриального мира.

Моя книга обращена прежде всего к дозорным. Мне бы очень хотелось заинтересовать их постулатами, перечисленными выше. Но ещё больше мне бы хотелось, чтобы они расстались с образом доброго и разумного «естественного» человека, сочинённым Жан Жаком Руссо, права которого необходимо защищать во все времена и во всех странах.

Любой человек есть клубок страстей, среди которых полыхают и созидательные, и разрушительные. Как сказал Экклезиаст, «всему своё время: время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.» (Эккл., 3:1-8) В одной и той же душе могут уживаться страсти творить, любить, спасать с не менее сильными страстями разрушать, мучить, убивать.

Особенно последняя проявляет себя в наши времена с пугающей наглядностью. Никакие «новые трихины» не могли бы вербовать себе миллионы соучастни-

ков и сторонников, если бы микроб душегубства не таился в человеческом сердце. Благодатная среда для его размножения – ненависть, гноящаяся в душах народов, отставших на переходе в индустриальную стадию. Я рискну высказать предположение, что и враждебность ирландцев к англичанам, басков – к испанцам, северокавказцев – к россиянам, чёрных американцев – к белым, скорее всего, имеет ту же природу.

Противоборство Древнего Рима с наступающими кочевниками длилось тысячелетие. Когда империя распалась, на её территории образовались земледельческие государства, сохранившие в своих названиях отзвук имён тех народов, которые мечами прокладывали здесь себе путь к оседанию. Франция напомним нам о франках, Германия – о германцах, Бельгия – о бельгах, Шотландия – Scotland – о скоттах, Венгрия – Hungary – о гуннах (Hunny), Саксония – о саксах, Болгария – о булгарах.

Можно ли по аналогии предсказать распад Америки на независимые государства? Какую-нибудь Мексифлориду, Кубофлориду, Пуэрторикию, Исламофарраханию? Думается, до этого ещё слишком далеко. Гораздо более вероятным представляется повторение другого момента античной истории: перерождения Римской республики в Римскую империю в I-ом веке до Р.Х. Это произошло не потому, что Сулла, Помпей, Катилина, Антоний, Юлий Цезарь, Октавиан Август были какими-то неукротимыми честолюбцами жадными до власти. Просто и сенату, и всадникам, и легионерам, и рядовым гражданам в какой-то момент стало ясно, что сохранить государственный порядок в гигантской многонациональной стране будет невозможно без перехода к единовластию. Так и в сегодняшней Америке патовая ситуация в противоборстве президента и конгресса парализует все законодательные и административные инициативы.

История великих империй длилась тысячелетия. История великих республик, вступавших на путь экспансии, расширения, открытия своих границ миллионам инородцев, до сих пор не превысила 250 лет. (Примеры: Афины, Карфаген, Венеция, Флоренция, Генуя, Новгород, Псков и так далее.) Если это правило сохранится, нам следует ожидать кризисной точки для Американской республики в 2025 году. Недаром проницательный американский политик и мыслитель, Патрик Бьюкенен включил эту дату в название своей книги: «Самоубийство сверхдержавы. Просуществует ли Америка до 2025 года?»^[12]

Стремительный технический прогресс наших дней может привести к тому, что человечество окажется перед лицом нового скачка: со ступени индустриальной на пятую ступень – назовём её предположительно электронно-космической. Если это будет сопряжено с такими же социальными и военными катаклизмами, какие сопровождали предыдущие скачки, разрушительные последствия их предсказать невозможно. Нужно считать чудом, что за 70 лет, прошедших с Хиросимы, человечество проявляло достаточную сдержанность, чтобы не использовать термоядерное оружие в своих непрекращающихся войнах. Но вечно это длиться не может. Рано или поздно «новые трихины» доберутся до бомбы и используют её для утоления своей иррациональной ненависти.

Модель ступенчатого развития мировой цивилизации разрабатывает и известный американский политолог Чарльз Купчан. Он считает, что народы, пережившие в своё время охотничью, скотоводческую, земледельческую, индустриальную стадии, оказались сегодня на входе в следующую ступень, которую он назвал digital era.^[13] Необычайные возможности эффективного обмена информацией, вносимые компьютером и интернетом, в огромной степени влияют на все производ-

ственные процессы, повышая их эффективность. Такую же роль в своё время сыграла письменность для народов, поднявшихся с кочевой ступени на земледельческую, или телеграф, телефон, радио для народов, входивших в индустриальную эру. В отличие от Фрэнсиса Фукуямы, Купчан считает, что мы достигли не конца истории, а начала следующей технологической эры, и что на этой новой ступени США утратят свою доминирующую роль в мире.

В своей книге «Без буржуев», вышедшей в 1979 году, ^[14] я описал кризисное состояние СССР, но и представить себе не мог, что двенадцать лет спустя советская империя развалится. Сегодня, назвав свою книгу «Закат Америки», я не имел в виду пророчить гибель США. Страна выживет, может быть, даже усилится в военном и экономическом отношении при усилении исполнительной ветви власти за счёт трёх других ветвей, как усилится Древний Рим во втором веке по Р.Х. при императоре Траяне. Но это будет закат и перерождение той страны, которую мы знаем и любим сегодня.

Долг наших дозорных – взглядеться в туман ближайших десятилетий, вслушаться в гул волн Океана Истории, разбивающихся о грозные утёсы. Избежать вступления на новую ступень цивилизации невозможно. Опять какие-то народы вступят на неё первыми, и на них обрушится враждебность отставших. Но, как сказал Шекспир – «готовность это всё». Если мы осознаем историческую неизбежность противоборства между народами, находящимися на разных ступенях, мы сможем встретить очередную волну «новых трихинов» во всеоружии.

Примечания:

^[1] Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание». Собрание сочинений (Ленинград: Наука, 1973), том 6, стр. 419-420.

^[2] Подробно эта тема разработана в книге Игорь Ефимов. «Метаполитика». Ленинград: Лен-издат, 1991.

^[3] Livy. *The Early History of Rome* (Baltimore: Penguin Books, 1960), p. 388.

^[4] Armstrong, Karen. *Muhammad* (San Francisco: Harper Collins Publishers, 1992), p. 207.

^[5] Weatherford, Jack. *Genghis Khan* (New York: Free Rivers Press, 2003), p. 73.

^[6] Chambers, James. *The Devil's Horsemen* (New York: AtheneumBooks, 1979), p. 73.

^[7] Ibid., pp. 74-75.

^[8] Ibid., p. 80.

^[9] Подробнее об этом см. в книге Игорь Ефимов. «Грядущий Аттила», Ст.-Петербург: «Азбука», 2008.

^[10] Durant, Will. *The Age of Faith* (New York: Simon & Schuster, 1950), pp. 151-152.

^[11] Bergen, Peter. *The Osama Bin Laden I Know* (New York: Free Press, 2006), p. 369-370.

^[12] Buchanan, Patrick J. *Suicide of a Superpower. Will America Survive to 2025?* New York: St. Martin Press, 2011.

^[13] Kupchan, Charles A. *The End of the American Era*. New York: Vintage Books, 2002.

^[14] Ефимов Игорь. «Без буржуев». Франкфурт: «Посев», 1979.



Журнал «Семь искусств» № 6 (75) /2016 — Ганновер:
Семь искусств. 2020. — 325 с., 20,3 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка Марины Жуковой



Семь искусств
Ганновер 2020

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"

